

М. В. АВДЕЕВ

Поездка на кумыс

УФА
БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987





М. В. АВДЕЕВ

Поездка на кумыс

УФА
БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987

Составление Н. Б. Четвериковой

Предисловие, комментарии к тексту
и письмам С. М. Аюпова

Авдеев М. В.

А 18 Поездка на кумыс. Роман. Рассказы. Очерк.— Уфа: Башкирское книжное издательство, 1987. — 384 с. (Серия «Золотые родники»).

В книгу М. В. Авдеева (1821—1876) вошли роман «Подводный камень», поднимающий вопросы эмансипации женщин в России того времени, очерк «Поездка на кумыс», описывающий путешествие автора из Петербурга в Башкирию, и рассказы.

В данном объеме творчество М. В. Авдеева предлагается советскому читателю впервые.

А $\frac{4702010100—40}{М\ 121\ (03)—87}$ 65—87 84 Р 1

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО М. В. АВДЕЕВА

Интересна и самобытна творческая судьба Михаила Васильевича Авдеева, автора популярных в его время романов, повестей и рассказов. Теперь сочинения этого писателя лишь изредка упоминаются в научной литературе.

Между тем Авдееву, как не многим современным ему прозаикам «второго ряда», выпала завидная литературная участь. Его произведения пользовались сенсационным успехом, читались нарасхват, возбуждали огромные толки и в публике, и в журналистике [1].

Творческая активность Авдеева была связана с влиятельными периодическими изданиями середины XIX века: «Отечественными записками», «Делом», «Вестником Европы», «Санкт-Петербургскими ведомостями» и особенно с «Современником», где были напечатаны самые значительные его произведения. На страницах разных журналов 1840—1860-х годов помещались статьи, рецензии, заметки об Авдееве, написанные такими видными литераторами, как А. В. Дружинин, А. А. Григорьев, Н. Г. Чернышевский, М. Е. Салтыков-Щедрин. Н. К. Михайловский, Н. Н. Страхов, А. Ф. Писемский, М. П. Погодин, Н. В. Шелгунов. В годичных критических обзорах русской литературы того времени имя Авдеева стояло рядом с именами Тургенева, Григоровича, Гончарова, Писемского, а его роман «Подводный камень» был назван наряду с «Накануне», «Первой любовью» Тургенева, «Грозой» Островского и с главами «Обрыва» Гончарова одним из лучших произведений 1860 года в обзорной статье журнала «Современник» [2].

Длительное время поддерживались дружеские отношения между Авдеевым и Тургеневым, отразившиеся в их опубликованной переписке [3]. Тесная дружба связывала Авдеева с известными «шестидесят-

---

[1] Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. Спб., 1891. С. 217; Искра. — 1861. — № 7. — С. 98.

[2] (Панаев И. И.). На рубеже старого и нового года (Грезы и видения Нового Поэта) // Свисток: Собрание лит., журн. и др. заметок. Сатирич. приложение к журн. «Современник». — М., 1981. С. 200. (Знак // означает: В книге:)

[3] Кийко Е. И. Письма М. В. Авдеева к И. С. Тургеневу // Тургеневский сб. М.; Л. — 1964. — Вып. I. — С. 406—434.

никами» М. Л. Михайловым и Л. П. Шелгуновой. После осуждения Михайлова на каторгу Авдеев оказывал ему материальную поддержку, распространяя лотерейные билеты в пользу этого «государственного преступника». Существенное историческое значение имеет опубликованная переписка М. В. Авдеева с Н. А. Некрасовым, И. С. Аксаковым, А. В. Дружининым, А. А. Стасюлевичем, А. Н. Веселовским, Я. П. Полонским, А. Н. Плещеевым.

Михаил Васильевич Авдеев родился 28 сентября (10 октября), 1821 года в Оренбурге. Его отец, Василий Никитич, участник Отечественной войны 1812 года, занимавший административные должности в уральском казачестве, потом перешел на гражданскую службу. В отроческие годы воспитателем Авдеева был сосланный из Вильнюса в Оренбург польский поэт-романтик Томаш Занд, близкий друг Адама Мицкевича. Занд оказал влияние на формирование общественных и эстетических взглядов будущего писателя. К оренбургскому периоду жизни Авдеева относится его знакомство с М. Л. Михайловым, его земляком. В начале 1830-х годов семья Авдеевых переезжает в Уфу. Здесь будущий беллетрист учится в местной гимназии. В 1837 году юный Авдеев становится студентом петербургского Института путей сообщения. По окончании института Авдеев работает на строительстве канала, который должен был соединить р. Москву с Волгою, но не был завершен; потом он занимает должность начальника дорожной дистанции в Нижнем Новгороде. Выдающимся эпизодом в жизни молодого Авдеева является встреча в середине 1840-х годов с В. Г. Белинским, о которой сам писатель рассказал скупо, связав ее всецело с замыслом своего первого романа «Тамарин». Каким же в те годы воспринимался Авдеев окружающими его людьми? Немногие известные воспоминания об Авдееве целиком связаны с нижегородским периодом его жизни. «Здесь (в Нижнем Новгороде — С. А.), — рассказывает в мемуарах о своем двоюродном деде советский писатель Б. Д. Четвериков, — протекли самые светлые годы писателя. Ему нравилось окружающее его общество, ему доставлял удовольствие успех собственных сочинений, которые стали одно за другим появляться в печати»[1]. Человеком некрасивой наружности, «саркастического ума», «доброго сердца», «очень любимым» нижегородцами — таким предстает Авдеев в воспоминаниях его младших современников П. Д. Боборыкина и М. П. Веселовского[2]. Характерной чертой Авдеева, как отмечают мемуаристы, было желание нравиться

---

[1] См. с. 338 настоящего издания.

[2] Записки М. П. Веселовского (1828—1882) // ОР и РК ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Ф. IV, Л. 861. — Л. 310 и об.; Боборыкин П. Д. За полвека: Воспоминания: В 2-х т. М., 1967. — Т. 1. — С. 63—64.

женщинам губернского общества. Эта слабость молодого человека вышучивалась и беззлобно высмеивалась в веселых куплетах, сочиненных местными остряками. Два таких куплета приводит Боборыкин:

«Штабс-капитан у нас Авдеев
Он счастие нашел в усах,
Огонь похитил Прометеев
И разразился в остротах.
Когда усы путейцам дали,
То Нижний весь затрепетал.
Усы чем больше подрастали,
Авдеев больше всех пленял».[1]

Кроме стихотворных пародий, Авдееву посвящались веселые шаржи. В одном из них он изображен «пьющим чай и заедающим его, вместо сухарей, сердцами, которых перед ним стоит целая корзинка»[2].

Наблюдения и размышления Авдеева над жизнью губернского города отразились в его романе «Тамарин». «Все (действующие — С. А.) лица были «расписаны», начиная с самой героини», — отмечал Боборыкин, видя в этом причину исключительного успеха романа в Нижнем[3]. Веселовский дополняет Боборыкина. «Авдееву, — сообщает он, — очень нравилась одна из девиц Махотиных, и говорили, что некоторые черты ее характера воспроизведены им в «Вариньке»[4]. Примечательно, что в этих мемуарах Авдеев назван «сердцеедом», также отзывается о главном герое «Тамарина» рассказчик Иван Васильевич[5]. Позже, в путевых очерках «Поездка на кумыс» (1852), публикуемых в настоящем сборнике, Авдеев так писал о нижегородском периоде своей жизни: «Я провел в Нижнем шесть лет молодости и сохранил одно из самых приятных воспоминаний о радушии и гостеприимстве его общества»[6]. В 1849 году Авдеев был назначен в Ярославскую строительную и дорожную комиссию, а через несколько месяцев был переведен в Петербург помощником столоначальника в департаменте проектов и смет. Вместе с Авдеевым в ярославской комиссии работал и Иван Аксаков, один из ведущих деятелей славянофильства, который в одном из писем к родным так характеризовал своего товарища: «Он вовсе не теоретик, не мыслитель, но человек с теплою душой, с талантом и преданный искусству»[7].

В 1852 году Авдеев выходит в отставку. В то время он уже известный беллетрист, постоянный сотрудник «Современника», печатает-

---

[1] Там же. — С. 63.
[2] Записки М. П. Веселовского. Там же. — Л. 310.
[3] Боборыкин П. Д. Там же. — С. 63.
[4] Записки М. П. Веселовского. — Там же. — Л. 310.
[5] Авдеев М. В. Тамарин (роман в трех повестях)//Соч. М. В. Авдеева: в 2-х т. Спб., 1968. — Т. 1. — С. 10.
[6] Авдеев М. В. Поездка на кумыс. // Там же. — Т. 1. — С. 201.
[7] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Часть первая. М., 1888. Т. 2. — С. 375.

ся в других столичных повременных изданиях. Основной причиной отставки Авдеева явилось, как утверждает Четвериков, его «какое-то произведение» той поры («Поездка на кумыс» — С. А.), вызвавшее сильное раздражение графа Клейнмихеля, главного управляющего строительством московско-петербургской железной дороги. Ярость последнего была беспредельна: «Это что это? Этот самый Авдеев? — стучал пальцем по столу аракчеевец. — Инженер-путеец? И это самое? Сочиняет? Я этого не потерплю! Мне нужны инженеры, а не бумагомаратели!» «Хотя никаких распоряжений Клейнмихеля не воспоследовало, — продолжает Четвериков, — но Авдееву передали эти слова главноуправляющего, и Авдеев тотчас подал в отставку»[1]. «На прошении об отставке, — сообщает Житков, — имеется резолюция графа Клейнмихеля: «...давно бы пора его уволить; очень рад избавиться от такого офицера и сожалею, что зачем удерживал на службе»[2].

Лето и осень 1854 года Авдеев провел в столице Грузии — в Тифлисе. В крымскую войну его назначают начальником дружины Оренбургского ополчения, однако участия в военных операциях дружина не принимала. О жизни писателя во второй половине 1850-х годов сохранились лишь обрывочные сведения. Известно, например, что с июля 1857 года по апрель 1858 года он совершает первую поездку за границу, посещает Германию, Австрию, Швейцарию, Францию, Италию. «В Берлине,— как пишет Четвериков,— Авдеев встречается с Тургеневым, у них устанавливаются хорошие дружеские отношения, они едут в Париж и даже некоторое время живут в одном доме»[3]. Наблюдения и впечатления романиста отразились в его цикле увлекательных «Писем из-за границы».

С наибольшей полнотой общественные симпатии и антипатии Авдеева проявились в бурную противоречивую эпоху «шестидесятых годов» (1856—1868), когда каждый честный и благородный человек должен был определить свое отношение к наболевшим вопросам современности и в первую очередь — к крестьянскому. В начале 1860-х годов усиливаются связи Авдеева с прогрессивно мыслящими людьми. Он ведет дружескую переписку с Е. К. Барановской, женой самарского гражданского губернатора Е. И. Барановского, известного своим либерализмом. Об общественных настроениях Авдеева той поры можно судить хотя бы по тому, что в одном из писем к Авдееву Барановская допускает ряд непозволительных для подданных его величества отзывов об Александре II. Однако отсутствие в ответном письме какой-либо реакции Авдеева на антимонархические выпады его корреспондентки косвенно свидетельствует о молчаливом согласии писателя с

---

[1] См. с. 342 наст. изд.
[2] Житков С. М. Биография инженеров путей сообщения. Спб., 1889. — Вып. 1. — С. 6.
[3] Четвериков Б. Д. Там же. — С. 23.

ними, что и было отмечено Следственной комиссией «по делу Авдеева»[1].

Накануне крестьянской реформы 1861 года Авдеев стал членом правительства по крестьянским делам присутствия, работавшего в Уфе. Взгляды писателя на проводимые преобразования проявились в его «корреспонденциях», освещающих ход крестьянской реформы в Оренбургской губернии. В этих материалах, опубликованных в газете И. С. Аксакова «День», рассказывается о всеобщем недоверии крестьян к мировым посредникам, «даже самым добросовестным», что в итоге часто ведет к конфликтам и насилию. Каково отношение Авдеева к этим фактам? Он, сам принимавший непосредственное участие в реформе, полагал, что выработанные «Положения» прогрессивны и необходимы, а потому не мог не осуждать упорное сопротивление крестьян нововведениям. Однако, и это очень существенно, Авдеев считал «невежество» и «тупость» крестьян в отношении реформы «неизбежными последствиями крепостного права», фактически тем самым снимая с них вину за неудачный ход реформы[2]. По мнению автора «корреспонденций», помещики сталкиваются со злом, которое они породили сами. Позже, в романе «Меж двух огней» (1868), он вывел автобиографического героя Камышлинцева, деятельность его в губернском присутствии находила поддержку и сочувствие крестьян.

При всей несомненной близости в те годы Авдеева к демократической интеллигенции, к простому народу, его политические взгляды не выходили за либеральные рамки. Участие писателя в реформе 1861 года явственно отделяет его от представителей революционно-демократического лагеря, которые разоблачали антинародный, грабительский характер проводимого правительством «освобождения» крестьян. Вместе с тем необходимо помнить, что Авдеев принадлежал к немногочисленной прослойке дворянства, ратовавшей за скорейшее претворение «Положений», за их строгое соблюдение. Осознав в начале 1860-х годов бесперспективность честной и справедливой деятельности на поприще реформы, Авдеев уходит в отставку. В 1862 году он намеревался вторично выехать за границу, но был арестован в связи с делом М. Л. Михайлова. Любопытно, что арестованный Авдеев был помещен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где содержались особо опасные государственные преступники. Небезынтересно также отметить, что в книге узников крепости за июль месяц Авдеев числится седьмым вслед за Н. Г. Чернышевским и Н. А. Серно-Соловьевичем. С обвинением Авдеева в причастности к делу Михайлова были связаны отзывы уфимской полиции, характеризующие писателя как человека политически неблагонадежного. По высочайшему повелению его высылают в Пензу; год спустя он получает разре-

---

[1] ЦГАОР. Ф. 109. — 1 эксп. — 1862 г. Д. 230. — Ч. 85. — Лл. 12. — 13.

[2] Авдеев М. Из оренбургской губернии // День. — 1861. — 23 дек.

шение переехать в свое имение Буруновку, близ Стерлитамака. В ссыльные 1863—1867 годы однообразная жизнь писателя была прервана десятимесячной поездкой за границу для лечения. Там он часто встречался с Тургеневым, виделся в Женеве с Герценом. В эти годы Авдеев задумывает издавать политическую и литературную газету, а также впоследствии организовать издание такой газеты за рубежом. Однако в обоих случаях замысел реализован не был. Неудачей завершилась и попытка взять в аренду демократический журнал «Дело». Лишенный возможности заветной редакторской деятельности, испытывая денежные затруднения, Авдеев после долгого перерыва вновь поступает на службу, но вскоре окончательно выходит в отставку. После открытия в Уфимской губернии в 1874 году земских учреждений он активно включается в их работу, переехав на жительство в Уфу. Осенью 1875 года писатель возвращается в столицу. До последних дней своей жизни он не прекращал литературной деятельности, помещая в журналах небольшие рассказы и очерки. Умер Авдеев в ночь на 1 февраля 1876 года. Похоронен на Волковом кладбище в Петербурге.

Первой литературной пробой тогда шестнадцатилетнего петербургского кадета Авдеева явилась повесть «Стальное кольцо» (Быль)», напечатанная в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» за 1838 год. Эта повесть, выдержанная в духе романтизма Марлинского, прошла незамеченной критикой, хотя была не лишена художественных достоинств. Упомянутая встреча с Белинским во многом определила идейно-художественную направленность его первого романа. Как вспоминает об этом сам Авдеев, его «поразила» мысль критика о преемственности образов Онегина и Печорина, которое «составляют один тип»: «характер Печорина есть тот же характер Онегина, изменившийся при последовательном развитии»[1]. Тамарин — главный герой задуманного в 1845 году произведения — трактуется как модификация онегинского типа. По мнению романиста, формирование определенной части дворянской молодежи 1840-х годов происходило под сильным влиянием лермонтовского Печорина. Именно ориентация на популярный литературный тип породила в быту «класс действительных Печориных», ряд типических черт которого воплотился в авдеевском Тамарине. Изображение такого рода героев получило достаточно широкое распространение в русской литературе конца 1840-х — 1850-е годы. В произведениях Тургенева, Писемского, Островского, Льва Толстого, Щедрина, Евгении Тур отразились различные грани характера героя «печоринского» типа. Такой герой обладал рядом устойчивых признаков своего литературного прототипа: ведением дневника или записок, манерой поведения и фразеологией в духе Печорина, часто ссылался на источник своего подражания. Все это имеется

[1] Авдеев М. В. Тамарин (роман в трех частях). Там же. Т. 1. С. V.

у Тамарина. Вместе с тем эта добровольно принятая схема поведения не выдерживает напора живого непосредственного чувства. В романе мы видим не только героя, надевшего маску «демонической» личности, холодного, расчетливого, остроумного, но и человека совершенно иного психологического склада. В задушевном монологе о любви не как о светском, огражденном этикетом и приличиями чувстве, но как о высших изначальных устремлениях человеческого «я» Тамарин предстает романтичным, сентиментальным, тоскующим по красоте и гармонии человеком. Его монолог о любви — момент полного высвобождения от избранной им роли. Однако за этим следует опять уход в наигранное, неискреннее, не свое. Схема сковывает, порабощает героя, но одновременно она дает ему возможность возвыситься над бытовым однообразием, над местным провинциальным обществом, «живущим по обыкновенному порядку вещей». В «Записках Тамарина» — сердцевине всего романа — перед нами исповедь способного, но не нашедшего своего места в жизни и личного счастья человека и потому увлекшегося печоринством. Примечательной чертой внутреннего мира Тамарина является постоянное колебание его мыслей и чувств между полюсами «игры» и «искренности», борьба в нем естественных и «книжных» начал. Отмеченная особенность тамаринского «я» становится источником личной драмы и душевного кризиса героя. Не течение событий как таковое, а движение «души человеческой», стремящейся обрести свое «я» в драматическом столкновении противоборствующих начал, огранизует сюжетную канву произведения. В отличие от большинства современных ему писателей Авдеев исследовал в своем Тамарине не комическую, а драматическую сторону известного литературно-бытового явления. Познавательный философский интерес романа Авдеева заключается в художественном исследовании проблемы «своего» (коренного) и «чужого» (наносного).

Роман начинающего литератора вызвал оживленные сочувственные отклики современников. Лестную характеристику первых частей «Тамарина» дал Некрасов. «Я с большим удовольствием прочел Вашу повесть («Варинька» — С. А.). В ней много хорошего, и Вы имеете несомненный талант». «Это мнение не только мое, но и многих других», — добавлял он после прочтения «Записок Тамарина»[1]. «...повесть г. Авдеева, — писал Дружинин в «Современнике», — обнаруживает замечательный талант», «читается с большим интересом»[2]. Художественную убедительность Тамарина подчеркнул Тургенев, назвав его в одной из статей нарицательным именем для подобного рода явлений[3]. Упоминание о романе Авдеева содержится в юношеских дневниках

[1] Некрасов Н. А. Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1967. — Т. 8. — С. 85; С. 94.

[2] (Дружинин А. В.) Письма Иногороднего подписчика в редакцию «Современника»... // Современник. — 1849. — № 10. — С. 320.

[3] Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28-ти т. Соч. Т. 3, С. 379.

Л. Н. Толстого и Н. А. Добролюбова, последний даже некоторое время подражал авдеевскому герою. Между тем композиционное оформление идеи произведения вызвало во многом справедливые упреки и возражения. Близкое сходство структуры «Тамарина» с построением «Героя нашего времени» дало критикам повод обвинить Авдеева в недостаточной творческой самостоятельности, что в целом не могло не ослабить общего благоприятного впечатления от произведения. Удачный дебют в «Современнике» открыл Авдееву дорогу в большую литературу. Вскоре выходят в свет отдельные издания его сочинений: в 1852 году роман «Тамарин», а в следующем году — двухтомник собрания сочинений писателя.

В 1854 году в журнале «Современник» была помещена первая большая статья Чернышевского «Роман и повести Михаила Авдеева». По мнению критика, в произведениях Авдеева нет главного: злободневного общественного пафоса, ориентации на насущные вопросы современности. Повествовательное же мастерство Авдеева Чернышевский оценил как достоинство второстепенное для художественного произведения середины XIX века. Подвергнув суровой критике, по мнению Чернышевского, подражательный характер «Тамарина», некоторых других сочинений беллетриста, тем не менее автор статьи в заключении выразил надежду, что, может быть, преодолев серьезные недочеты, Авдеев создаст «истинно прекрасные» произведения [1]. Самое появление критического отзыва в «Современнике», направленного против его же сотрудника, было беспрецедентным фактом для русской журнальной этики того времени. Оно говорило о том, что внутри редакции «Современника» наметилось расхождение, приведшее в 1860 году к идейному расколу. Возмущенный Авдеев прислал в редакцию журнала «ругательное письмо», в котором заявил, что «он, Авдеев, больше в журнале участвовать не будет» [2].

После разрыва с «Современником» творческая активность писателя снижается. Основным жанром в художественной практике Авдеева тех лет становится жанр «писем». Как правило, это рассказ об увиденном во время путешествия, повествование, не претендующее на обобщение и глубину анализа. Обращение писателя к «нейтральному» жанру можно объяснить его поиском «своей» темы в период наступления новой общественной ситуации. Показательно письмо Авдеева 1857 года Дружинину, где он заявляет, что сам не знает, что он такое [3]. Эта самохарактеристика Авдеева свидетельствует о понимании им того, что прежняя проблематика его сочинений уже не соответствует новым общественным запросам, которые несла с собой эпоха «шестидесятых годов». В конце 1850-х годов Авдеев пишет для жур-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 221.

[2] Колбасин Е. Тени старого «Современника» // Современник. — 1911. — Кн. 8. — С. 234.

[3] Летописи Гослитмузея. Кн. 9. М., 1948. С. 22.

нала «Искра» рассказ «Возвращение на родину», который был запрещен цензурой ввиду сатирического изображения тайного советника В. П. Буткова, занимавшего тогда ответственный пост государственного секретаря.

В 1860 году возобновилось сотрудничество Авдеева в журнале «Современник»: там был напечатан его второй роман «Подводный камень». Частная жизнь человека, его поведение в быту неизменно привлекали внимание русских писателей и мыслителей прошлого века. Особенно возрос интерес к этому в эпоху «шестидесятых годов». Д. И. Писарев в статье «Схоластика XIX века» писал, что основная задача русской критики заключается в обращении к «вопросам частной нравственности и житейских отношений», затемненных и запутанных «разным старым хламом»; «...стороны нашей всегдашней жизни,— утверждал Писарев,— нуждаются в пересмотре и расчищении»[1]. Т. А. Богданович в книге «Любовь людей шестидесятых годов» отмечала, что «для «шестидесятников» личная этика была «пробным камнем» для испытания действительной ценности человека»[2]. Морально-этические конфликты эпохи в сознании современников соотносились с так называемым «женским вопросом», получившим тогда большой общественный резонанс. Появление в 1859—1861 годах цикла статей М. Л. Михайлова, посвященных всестороннему (социальному, экономическому, историческому, эстетическому, физиологическому) анализу проблем женской эмансипации вызвало, по словам Шелгунова, «в русских умах землетрясение»[3]. Именно в контексте ожесточенных споров о правах и обязанностях женщины и был воспринят современниками новый роман Авдеева. Одна из причин его большой популярности кроется в том, что волновавший тогда всех «женский вопрос» получил актуальную трактовку. Русский Жорж Санд — таким именем назвал Авдеева один из его рецензентов. Роман не случайно появился в «Современнике». Его жизнеутверждающий пафос, гуманная идея раскрепощения женщины и в любви, и в семье, мысль о необходимости общественной деятельности женщины,— все это гармонировало с боевым демократическим духом «Современника». Недаром консервативно настроенные критики той поры Н. Н. Страхов и А. Ф. Писемский видели в романе Авдеева проповедь ненавистного им «нигилизма», потрясения семейно-бытовых устоев русского общества. В этом смысле Страхов в одном из писем к брату прямо ставил Авдеева в один ряд с Чернышевским, Писаревым, Панаевым, Вейнбергом, то есть с наиболее радикальными сотрудниками «Современника» и «Русского слова». Между тем руководителей журнала привлекла в романе не только постановка

---

[1] Писарев Д. И. Соч.: В 4-х т. М., 1955. Т. 1. С. 106—107.

[2] Богданович Т. А. Любовь людей шестидесятых годов. Л., 1929. С. 20.

[3] Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: В 2-х т. М.: Худож. лит., 1967. Т. 1. С. 121.

важной общественной проблемы, но главным образом ее художественное решение. В знаменитой статье «Русский человек на «rendez-vous» Чернышевский, анализируя поведение г. Н., показал, как бы должен был вести себя «истинно прекрасный человек» «в решительную минуту» своей жизни. Поведение на «rendez-vous» Соковлина, одного из героев «Подводного камня», его отношение к Наташе во многом было созвучно этическим воззрениям «шестидесятников». В отличие от героев русской литературы 1840—1850-х годов, выглядевших в аналогичных ситуациях нерешительными, слабовольными, пассивными, герой Авдеева рисуется человеком, смело идущим навстречу своему счастью, хотя и ему присущи сомнения и колебания. Признание за женщиной свободного выбора в любви, готовность пожертвовать своим счастьем ради счастья любимой, испытывая при этом не горечь, не боль, а радость и наслаждение, — такова нравственная позиция Соковлина на «rendez-vous». Особое место в романе занимает коллизия «любовного треугольника», трактуемая оригинально. Как отмечала в упомянутой книге Т. А. Богданович, «любовный треугольник» представлял собой распространенную форму морально-бытового поведения части радикально настроенных кругов русского общества. Достаточно вспомнить, например, взаимоотношения И. И. Панаева, Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой или характер любовно-этических связей Н. В. Шелгунова, М. Л. Михайлова и Л. П. Шелгуновой, хорошо известных романисту. Узнав о чувствах жены к Комлеву, с которым Соковлины поддерживали взаимно теплые приятельские отношения, Соковлин не теряет ни уважения к жене, ни любви к ней, ни собственного достоинства, а также уважения к невольному сопернику. Драматизм положения усиливается тем, что каждый из троих считает себя виноватым перед другими, хотя каждым движут самые лучшие и искренние побуждения. Финал, развязка такой ситуации в русской литературе первой половины XIX века был во многом традиционным, устойчивым. Как правило, «треугольник троих» заканчивался дуэлью противостоящих сторон. В «Подводном камне» развязка совершенно иная. Вместо дуэли — разговор прежних приятелей, стремление разобраться в случившемся и, наконец, предоставление Соковлиным полной свободы жене, за которой остается право впоследствии вернуться к мужу, в семью. Сегодня такой исход кажется обычным, ординарным, но тогда это воспринималось читателями едва ли не как переворот в семейно-бытовой этике и практике. И сказанное не преувеличение. «Роман г. Авдеева, — писал журнал «Искра», — в Петербурге произвел фурор, а о провинции и говорить нечего. Мы получили из провинции уже несколько писем, в которых пишут, что №№ «Современника», где помещен роман Авдеева, истрепаны до последней возможности»[1]. Позднее известный историк литературы и критик А. М. Скабичевский таким образом отметил влияние «Подводного камня» на обществен-

[1] Искра. — 1861. — № 5. — С. 67.

ную жизнь эпохи: «Сколько молодых жен разошлись со своими солидными мужьями непосредственно под впечатлением чтения этого романа»[1]. Демократическая критика тепло встретила роман Авдеева. В частности Чернышевский, прежде критически писавший о его сочинениях, назвал Авдеева одним из писателей, «пользующихся известностью»[2].

При чтении этого произведения вспоминаются эпизоды написанного три года спустя романа «Что делать?», которые связаны с любовным «треугольником» — Лопухов, Вера Павловна, Кирсанов и самый этический характер взаимоотношений героев Чернышевского. И Комлев, и Кирсанов до семейного кризиса являются самыми близкими друзьями супругов Соковлиных и Лопуховых. В возникшей острой любовной ситуации Комлев и Кирсанов не выступают в амплуа «традиционного» соперника в любви. Это придает своеобразную напряженность семейной драме. Кирсанов по своему характеру ближе к Вере Павловне, чем ее муж Лопухов, в отношении к которому с ее стороны больше благодарности и уважения, нежели любви. Подобное же проявляется в отношениях Наташи и Комлева. Отметим также, что Наташа, как и Вера Павловна, полюбив другого испытывает сильное душевное потрясение; обе они борются со своим чувством и все-таки не в силах ему противостоять. «...дитя мое, пока есть силы, не уступай и того, что нам осталось», — с робкой надеждой обращается Соковлин к жене[3]. «Борись пока достает силы», — говорит Лопухов Вере Павловне[4]. Вместе с тем Соковлин, как Лопухов, не верит счастливому исходу назревающей драмы. «Я подозревал, что начиналось, но ничего не делал, чтобы остановить, да и не остановишь...», — говорит Соковлин жене о ее любви к Комлеву[5]. «Я знаю, что это будет бесполезно», — твердо произносит Лопухов своей жене[6]. В обоих романах мужья в кризисный момент относятся к своим женам с уважением и бережно, безоговорочно признают абсолютную ценность и автономность женского чувства.

Особенная близость двух произведений сказывается в эпизодах деликатного объяснения Соковлина с Комлевым во второй части «Подводного камня» и Лопухова с Кирсановым в главе «Теоретический разговор (в романе Чернышевского). Здесь отчасти сходен даже психологический рисунок и — одновременно — прием, показывающий внутреннее состояние Комлева и Кирсанова в начальный момент их трудного объяснения: в обоих случаях авторы на какой-то миг передают душевное волнение своих героев.

---

[1] Скабичевский. А. М. Заметки о текущей литературе // Скабичевский А. М. Соч.: В 2-х т. — Спб., 1896. — Т. 1. — С. 851.
[2] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 950.
[3] Авдеев М. В. Подводный камень. С. 137. В дальнейшем ссылки на этот роман Авдеева по настоящему изданию.
[4] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 191.
[5] Авдеев М. В. Подводный камень. С.
[6] Чернышевский Н. Г. Там же. Т. 11. С. 191.

При появлении «Подводного камня» консервативная критика ополчилась на авдеевский роман, усмотрев в нем выражение этических принципов молодого поколения. Вслед за Н. Н. Страховым и А. Ф. Писемским, которых возмутила в этом романе проповедь «нигилизма», критик К. Ф. Головин-Орловский в книге «Русский роман и русское общество» назвал «Подводный камень» «наполовину проповедью новой морали»[1]. Половинчатость эта проявилась, по Головину, в возвращении Наташи, порвавшей с Комлевым, к мужу. Между тем в «Дневнике моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье» Чернышевского имеется запись прямо перекликающаяся с событиями второй части «Подводного камня». «А если в ее жизни явится серьезная страсть,—размышляет Чернышевский по поводу возможной любви его жены к другому человеку, — то есть я буду покинут ею, но я буду рад за нее, если предметом этой страсти будет человек достойный. Это будет скорбью, но не оскорблением»[2]. «А какую радость даст мне ее возвращение, — продолжает автор «Дневника», — потому что она увидит, что как бы ни любил ее другой, но что никто не будет любить ее так, как я»[3]. Как видно, создатель теории «разумного эгоизма» полагал, что совместная жизнь с женой после случившегося полностью отвечает его этическим воззрениям.

Приведенные сопоставления касаются лишь отдельных эпизодов и психологических подробностей названных романов, это отнюдь не отменяет идейно-политических разногласий либерала Авдеева и революционного демократа Чернышевского, сказавшихся в их произведениях. «Новая этика» в «Подводном камне» раскрывается в узко психологическом плане, а в романе «Что делать?» новые этические принципы являются составной органической частью оригинальной философской концепции, выражают последовательно передовое мировоззрение. И все же примечательно, что Авдеев некоторыми мотивами «Подводного камня» предвосхитил семейно-любовную линию романа «Что делать?».

Не случайно, после издания романа Чернышевского некоторые современники отметили близость сюжетно-любовиых мотивов «Что делать?» и «Подводного камня». Если в «Подводном камне»», по мнению критика Н. Д. Ашхарумова, нашла выражение самая атмосфера новых веяний в сфере частной жизни, то в «Что делать?» был уже разработан «самый строжайший кодекс» новых отношений, в котором «предписано было не только **что делать,** но и **что чувствовать;** не только **что чувствовать,** но и **чего не чувствовать»**[4].

---

[1] Головин-Орловский К. Ф. Русский роман и русское общество. Спб., 2 изд., С. 298.
[2] Чернышевский Н. Г. Там же. Т. 1. С. 528—529.
[3] Там же. — Т. 1. — С. 529.
[4] Ашхарумов Н. Д. Меж двух огней... // Всемирный труд. — 1869. № 1. — С. 34.

Сам Авдеев в книге «Наше общество (1820—1870) в героях и героинях русской литературы» поставил рядом родственные, по его мнению, характеры Наташи и Веры Павловны.

Вместе с тем с некоторыми злободневными мотивами «Подводного камня» сближаются мотивы тургеневских «Отцов и детей», изданных двумя годами позднее. Авдеевский Комлев, проповедующий утилитаризм и отрицающий возвышенную любовь, подобно «нигилисту» Базарову, отвергающему идеальную сторону этого чувства, глубоко переживает любовь к Наташе Соковлиной. Но если романтические черты в облике Базарова начинают проступать к концу романа, то в характере Комлева рационализм, утилитаризм, «строгий научный взгляд» с самого начала переплетены с романтическими свойствами его души, хотя первое, несомненно, преобладает над вторым. В облике Комлева контурно как бы намечены отдельные черты будущего тургеневского ниспровергателя консервативных устоев. Базаров в споре с Павлом Петровичем на вопрос последнего: «Как? не только искусство, поэзию ... но и ... страшно вымолвить...», — спокойно отвечает: «Все»[1]. То, что «страшно» произнести Павлу Петровичу — это бог, высшая нравственная мера и опора христианского мира. Смелый критицизм Базарова отчасти сродни ранее появившемуся в русской литературе авдеевскому Комлеву. «Она думала, — передает автор мысли Наташи о Комлеве, — как много нужно было смелости, твердости и высокого нравственного развития, чтобы отбросить все обольстительные и успокаивающие мысли, отвергнуть всякую опору и идти одному, идти прямо, честно, строго развивать и нести все благородные способности на службу человечеству — увидеть впереди одну могилу и ничтожество»[2]. В этой характеристике есть черты, которые можно отнести к типу тургеневского «шестидесятника» — Базарова. Общеизвестны слова Тургенева о своем герое в одном из писем: «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, **до половины выросшая из почвы,** злобная, честная...» (выделено мной — С. А.)[3]. Примечательно, что этимология фамилии героя Авдеева непосредственно перекликается с тургеневской характеристикой Базарова: фамилия «Комлев» образована от слова «комель». В словаре В. И. Даля оно, среди прочих, имеет и такой смысл: то, что следует после корня, корневища, как первое, выступающее над землей, выходящее из нее[4]. Показательно, что В. Г. Короленко увидел прямую связь тургеневского Базарова с авдеевским Комлевым. В «Истории моего современника» он писал: «За героем «Подводного камня» пришел тургеневский Базаров. В его «отрицании» мне уже чуялась та самая спокойная непосредственность и уверенность, которые были

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28-ми т. Соч. Т. 8. С. 243.
[2] Авдеев М. В. «Подводный камень». С. 125.
[3] Тургенев И. С. Там же. Письма. Т. 11. С. 341.
[4] Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. Т. 2. С. 147.

в вере отца»[1]. Различие между героями Короленко усматривает внутри присущей им обоим уверенности: у Комлева — «гордая уверенность в своей правоте»[2], у Базарова — «спокойная непосредственность и уверенность». Если твердая вера в его принципы возвышает Комлева в собственных глазах, дает удовлетворение, то для Базарова уверенность в себе — уже нечто само собой разумеющееся, не выделяющееся среди других его качеств. Сопоставление двух оттенков одного качества еще раз подтверждает мысль о близости двух характеров, о дальнейшей разработке этого типа героя в творчестве Тургенева.

Если в «Тамарине» и в «Подводном камне» общественный фон не был развернут, то в третьем романе «Меж двух огней» Авдеев стремился воссоздать панораму русской жизни кануна крестьянской реформы и первого года ее осуществления на практике. Основные события «Меж двух огней» сопряжены с важнейшими историческими обстоятельствами 1860—1866 годов: слухами и толками о близком освобождении крестьян; образованием губернских присутствий и других учреждений по проведению реформы; введением уставных грамот; петербургскими пожарами 1862 года; польским восстанием 1863 года. Заканчивается роман весной 1866 года — когда в апреле было совершено покушение на Александра II.

В романе «Меж двух огней» представлены почти все социальные группы одной из губерний России, ее высший административный аппарат: старый губернатор, его преемник молодой бюрократ Нобелькнебель, крупный петербургский сановник Темрюков и закоренелые крепостники, желающие все оставить по-старому, а также мелкие городские сплетники и интриганы, чиновники разных рангов — от начальника канцелярии губернатора до сутяг-крючкотворцев.

Основной композиционный принцип романа связан с постоянным чередованием сцен любовно-семейной и общественной сюжетных линий. Такой композиционной двуплановости, направленной на широкий охват жизненного материала, соответствует многопроблемность произведения. В нем освещается центральная проблема 1860-х годов — крестьянская, с которой нераздельно связана судьба главного героя — либерального деятеля Камышлинцева, вызывающего авторскую симпатию. Именно он находится «меж двух огней», сталкиваясь в ходе крестьянской реформы с радикалами и консерваторами. Весьма значительна в романе также роль передовой женщины 60-х годов Анюты Барсуковой. Ее образ, отчасти напоминающий Веру Павловну из «Что делать?», но лишенный идейно-политической заостренности, раскрывается и в любовных и в общественных ситуациях. С либеральных позиций дается писателем оценка социальных сил, противостоящих друг другу. Особенно явственно проявляются эти идейные позиции

---

[1] Короленко В. Г. История моего современника. Л., Т. 1—2. С. 259.

[2] Там же. С. 259.

в массовых сценах, где действуют крестьяне. При всей сглаженности социальных противоречий здесь впечатляюще правдиво изображено недоверчивое, настороженное отношение мужиков к барам, даже к самым либеральным из них.

В Камышлинцеве, в его деятельности Авдеев изобразил самого себя и свою работу в оренбургском губернском присутствии по крестьянским делам. Вместе с тем автору удалось схватить типические черты его времени, особенно ярко сказавшиеся в обрисовке противников проводимых преобразований. Столкновения между ними и немногочисленными сторонниками реформы является источником сюжетного напряжения произведения. Дворянин по происхождению, убежденный в том, что именно дворянство как наиболее образованное и культурное сословие должно было возглавить движение реформ 1860-х годов, Авдеев вместе с тем сурово осудил те дворянские круги, которые после 1862 года фактически встали на путь свертывания начавшейся демократизации страны и возвращения ее к старым порядкам. Остро сатирически освещены в романе дворяне-помещики местной губернии. Писатель изображает их темной невежественной и косной массой, совершенно равнодушной ко всякого рода преобразованиям, пока это их не коснется самих. Дворяне г. Велико-Федорска, среди которых верх образования представляют два-три человека из «недоучившихся» в различных заведениях, даже не слышали о существовании «Колокола» и Герцена. Показательна их реакция на рассказ Камышлинцева о знаменитом русском эмигранте. Прежде всего этих помещиков-крепостников возмущает то, что «господин Герцын» может свободно критиковать императора Франции и вообще вышестоящие власти. По их понятиям, необходимо было вызвать «господина Герцына» к министру «да такую головомойку задать, чтобы тот и внукам своим дал завещание пера в руки не брать»[1]. Одним из художественных средств, которые использует писатель для характеристики крепостников, являются «говорящие имена». Если фамилия Свистоухов комментариев не требует (в тексте романа она в сатирических целях употребляется еще как «Свистоносов»), то фамилия Канбуллин расшифровывается так. Слово «канбуллин» тюркского происхождения, образованное от слов «кан» — кровь и «булы» — «быть, пребывать»; поэтому «канбуллин» — «пребывающий в крови», или по-русски — залитый кровью, что указывает на деспотизм и жестокость помещика в обращении со своими крестьянами. Этот же прием сатирического обличения использован автором и при характеристике другой враждебной реформе общественной группы, врага более скрытого и опасного — высшей администрации. Фамилия губернатора Велико-Федорска — Нобелькнебель образована из слов «нобель» и «кнебель», представляющих собой кальки с немецких слов «nobel» и knebel», что в русском языке соответствует словам «благо-

---

[1] Авдеев М. В. Меж двух огней (роман в трех повестях) // Соч. Т. 2. С. 84.

родный», «барский» и «дубинка». Примечательно, что в одном месте романа «нигилист» Благомыслов называет фамилию семьи губернатора без прибавления слова «нобель» — Кнебели, то есть «дубинки». Именно административные верхи в лице Нобелькнебелей, вынужденные в период подготовки реформы поигрывать в либерализм, явились, по мнению автора, охранителями консервативных начал в жизни страны после резкого «поправения» правительственного курса с середины 1862 года.

Кроме Нобелькнебеля и помещиков, сатирически изображен и петербургский сановник крупный помещик и фабрикант Темрюков, считающий освобождение крестьян государственной ошибкой. Авторская оценка этого столпа чиновничьего мира насквозь иронична: «Действительный тайный советник и кавалер многочисленных орденов, Темрюков принадлежал к тем государственным деятелям, о великих заслугах и даже существовании которых отечество узнает впервые из некролога» [1].

В романе «Меж двух огней» писатель выразил прогрессивное понимание общественно-политической ситуации пред- и пореформенной поры. И выбором героя, и оценкой выведенных в романе общественных сил автор выражает мысль о том, что единственный приемлемый путь развития внутриполитического строя России заключается в его демократизации по примеру западно-европейских стран, в частности, Англии и Франции. Эти взгляды Авдеева были им развиты и дополнены в письме-проекте «Исследование современных потребностей России», поданного на имя Александра II.

Авдеев представляет интерес как один из первых русских писателей XIX века, отразивший в своих произведениях природу и народный быт Башкирии. Из произведений, вошедших в этот сборник — рассказ «Горы» и очерк «Поездка на кумыс»—непосредственно связаны с Башкирией [2]. Напряженные события рассказа «Горы» разыгрываются на живописных отрогах Южного Урала. Здесь даны яркие зарисовки башкирского быта. Особенно примечательны страницы, посвященные описанию дома зажиточного башкира, где причудливо смешались стили европейской и азиатской культур. Остановят внимание читателя описание чебызги — национального духового инструмента, а также живописные картины Башкирии, сделанные рукой влюбленного в свой край писателя. Значительная часть «Поездки на кумыс» связана с Башкирией, но здесь ее изображение уже лишено романтического ореола и национальной экзотики. Ежедневная бытовая жизнь башкир с их летними кочевками, домашним обиходом, с особенностями национальной психологии, с отношением к работе и многое другое, — все

---

[1] Авдеев М. В. Меж двух огней... Там же. — Т. 2. — С. 216.

[2] См.: Башкирия в русской литературе. В 5-ти томах. Составитель М. Г. Рахимкулов. Башкирское книжное издательство. Уфа, 1961. Т. 1. С. 291—337.

это читатель отыщет в очерках, написанных живо и увлекательно. Но главный герой путевых очерков — это кумыс, целебный и питательный напиток башкир, о котором написаны целые страницы. Современного читателя эти очерки, несомненно, привлекут красочными этнографическими подробностями из прошлой жизни башкир. Как писатель-этнограф М. В. Авдеев замечательно проявил себя и в рассказе «Огненный змей», насыщенном картинным изображением календарных народных русских обрядовых праздников и обрядов. «...как хороши в нем крестьяне и их быт, — отзывался об этом рассказе Авдеева журнал «Пантеон», — какой настоящей Русью веет от него, как безукоризненно верны и занимательны все подробности, все сцены и характеры этого рассказа, — все это нельзя пересказать словами...» [1].

Итогом литературной деятельности Авдеева стала книга «Наше общество (1820—1870) в героях и героинях русской литературы», вышедшая в 1874 году. В этих очерках, опираясь на классические образы русской литературы, на эти «верстовые столбы» нашего умственного прогресса», Авдеев рисует в общих чертах движение и смену основных общественных течений в России более чем на полувек. Высокую оценку критическим этюдам дал Тургенев, назвав их «умными, тонкими — и дельными» [2]. «Вы мне в душу забрались — и все подметили»,— писал он Авдееву по поводу его анализа образа Базарова, проникновенного и тонкого. «Надеюсь, что Вы не оставите издать замечательные этюды особой книжкой», — заключал Тургенев в письме [3]. Уже после смерти писателя в «Вестнике Европы» был напечатан незавершенный роман «В сороковых годах». Многие десятилетия спустя о романе положительно отозвался А. М. Горький, увидевший в нем удачное воспроизведение «замечательного десятилетия» в истории русской общественной и литературной мысли. Одновременно Горький высказал пожелание об издании этого романа [4]. К сожалению, ни «мастерские» (Тургенев) этюды Авдеева, ни его последний роман, ни его другие, не менее интересные произведения, еще не издавались в советское время. Настоящий сборник является первым опытом такого издания.

Салават Агпов

---

[1] Пантеон. — 1853. — Т. 8. — С. 9.
[2] Тургенев И. С. Там же. Письма. Т. 10. С. 141.
[3] Там же.
[4] Горький и советские писатели. Лит. наследство. Т. 70. С. 111—112.

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

РОМАН

Часть 1

1

В большой угольной комнате деревянного дома, назначенной, кажется, для того, чтобы исправлять должность спальной или чайной, но переделанной в кабинет, — за письменным столом, заваленным книгами, журналами и бумагами, сидел мужчина лет под сорок. Он был высокого роста, рябоват и довольно полон. Перед ним на столе стоял слегка дымящийся стакан чаю. Господин в одной руке держал зажженную сигару, в другой вертел карандаш и постукивал им по развернутой тетради.

— Так ты говоришь, что еще рано начинать сенокос? А по-моему, казалось бы, пора.

Эти слова были обращены к старосте, человеку небольшого роста с умным, приятным, но несколько помятым и морщинистым лицом, как у большей части наших пожилых крестьян. Староста стоял у двери, заложив оба большие пальца рук за кушак, которым был опоясан его коротенький кафтан.

— Это оно так, действительно пора, Сергей Иваныч. Только бы еще повременить немного, — говорил староста и во время речи прищуривался и приподнимался на носках, точно птица, которая собирается летать.

— Да зачем же временить, коли пора? — возразил барин, пустил струйку дыма и, прихлебывая чаем, поглядывал на старосту.

— Оно конечно, зачем и временить, коли пора, — сказал староста и приподнялся на цыпочки,— только вот скоро, чай, молодой народится, так посмотреть бы, как время устоит.

— Ну, этого нечего ждать, а с понедельника вели начинать, — решил барин.

— Да нешто, чего и ждать, начинать и надо. Только лугов-то у нас маловато будет, Сергей Иваныч.

И староста опять припорхнул.

— Отчего же это вдруг стало мало? Ведь прежде доставало — так и нынче достанет.

— Конечно, как их не достать. Не первый год. Доставало же прежде! Да травы-то ноне что-то плоховаты, Сергей Иваныч; да и у крестьян, и у вас, милостью божьей, скота прибавляется, а мы еще при дядюшке вашем, дай бог царство небесное, жуторились травами [1*].

— Да я бы рад купить или нанять, да где же их взять, коль нет!

— Известно, где их взять, коль нет! Чего и говорить! — староста припорхнул. — Одначе, этто, Василий Нохрин на базар ездил, так встретился с любанским мужиком, поразговорились — это и об лугах тоже, так он его и спросил: что, говорит, барыня не отдает ли лугов? — Он ему и говорит: как, говорит, чай, не отдает! У нас залишком остаются! Да у нас, говорит, у Разгуляя особнячок [2] есть, десятин с сотню, так она, говорит, чай, и продаст его.

— А ты знаешь место? Хорошее?

— Как не знать! Возле самой нашей грани, место потное и трава важная. Оно бы очень было сподручно.

— Хорошо, — сказал барин. — Я посмотрю. Ступай.

— Вестимо посмотреть надо, — отвечал староста, припорхнул, поклонился, повернулся неторопливо и вышел.

Барин покурил еще, пуская дымок сигары и посматривая в окно. Два ряда плотно построенных, довольно зажиточных изб тянулись вправо и влево длинной, суживающейся вдали перспективой. Прямо перед окнами был ветловый кустарник и запущенный лес. Погода стояла серенькая; на черноземной улице была вязкая грязь. Стадо недавно остриженных овец гналось домой; грязные, иззябшие, они с блеянием бежали на мостик; позади, подпрыгивая на трех ногах, плелись хромые; два мальчишки-пастуха подгоняли их, громко хлопая длинными кнутами, от которых при всяком ударе летела мокрая пыль.

Барин хотел было почитать, развернул какой-то журнал, но потом опять закрыл; ему надоело сидеть.

— Эй! — крикнул он.

Никто не отзывался.

— Эй, кто там? — он взял колокольчик и начал звонить.

— Кого вам? Нет никого, все разбежались, — высунув голову из двери, сказала толстая раздражительная старуха лет под шестьдесят.

---

* Примечания помещены в конце книги, в комментариях.

— Что Игнатьич делает, Марья Савишна? — спросил барин.

— Что делает — чаем наверху надувается! Что ему больше делать!

Вдали послышался скрип ступенек на лестнице и потом шаги.

— Вот он, легок на помине. Поди! Чай, уж раздуло от чаю-то! Барин спрашивает, — сказала старуха и скрылась, продолжая ворчать.

Вошел старик высокого роста, в замасленном казакине[3], с седыми усами, с серьезным и правильным, когда-то красивым лицом.

— Не хочешь ли партийку на бильярде, Игнатьич? — спросил барин.

— Извольте. Двадцать пять вперед.

— Двадцать.

— Нет, двадцать пять.

— Да и с двадцатью я не могу играть, а с двадцатью пятью наверное проиграю.

— Как угодно, а я меньше не стану.

— Ну пойдем, что ли, — сказал барин, лениво отправляясь в смежную комнату.

Это была гостиная. У задней стены еще стоял диван красного дерева с острыми углами, которые при малейшей попытке удобнее усесться на нем немедленно врезывались в бок или спину; над диваном и по боковым простенкам висели гравированные портреты генералов, бывших губернаторов этой губернии, и одного архиерея; средняя дверь выходила на балкон. Но и гостиная изменила свое назначение. Посредине ее стоял новый, недавно выписанный бильярд, и диван был приподнят на деревянное возвышение, чтобы с него удобнее было смотреть на игру.

— Эй, кто там? — крикнул барин.

Ответа не было. Игнатьич подтачивал кий.

— Эй, кто там есть? — крикнул опять барин.

Послышалась тяжелая, переваливающаяся походка, растворилась дверь, и высунулась опять голова старой ключницы.

— Нет никого. Кого вам? Все разбежались.

— Мальчишку бы надо какого-нибудь — считать.

— Вот я их шугну, чертенят, в сенях в бабки играют.

Тяжелая поступь, под которой скрипели половицы, начала удаляться. Хлопнула дверь, послышалась брань, и минуту погодя явился, запыхавшись, растрепанный мальчишка, бойко схватил шары, машинку, подал барину кий, и партия началась.

— Двадцать пять — и никого.

— Три и двадцать пять! — слышалось по временам тоненьким голосом среди молчания и стука шаров.

— Что, Игнатьич, Любанина приехала?

— Приехала-с. Ну, ну, ну, голубчик, вались! У-у-у, вот так! Пофитулило!

Шар, едва катясь, дошел до лузы, как будто задумался и свалился. Игнатьич повеселел.

— А что, разве съездить к ней хотите?

— Нет, я пошлю узнать, не продает ли луга.

— Да вы бы, сударь, сами съездили. Барыня добрая, енаральша, вас маленьких знала, — неловко.

— Не хочется.

— Нельзя, сударь. Обидится и не продаст: она такая почтительная.

— Как почтительная?

— Так. Значит, почтенье любит. Ну и пользительная.

— А пользительная отчего?

— А так, на всякий случай. Смолоду-то сама — у-ух была! У енарала-то, чай, затылок только чесался! Ну, теперь устарела. Я за то барыню люблю—нрав не изменила. Женить ли кого, помочь ли, угостить — молодец барыня. Съезди, барин, к ней!

— Ну ее! Пожалуй, еще женит.

— А что же, разве дурно? Что в самом деле, пора и честь знать, что бездомничать-то? Гляди, ведь седина в волосах прошибает.

Игнатьич, когда начинал горячиться, то говорил — по привилегии старого слуги — всем ТЫ. Сергей Иваныч добродушно смеялся.

— Да на ком же, Игнатьич? Разве на дочери? Ведь у нее есть дочь?

— Нет, какая дочь! Еще, чай, книжки учит. Ну, а вот Саморожева? Эка барыня-то здоровая!— сказал Игнатьич с особым ударением. — Кровь с молоком! У-ух, матушка!

И он поправил усы.

Но пока он горячился, Сергей Иваныч сделал двух шаров и кончил партию. Игнатьич рассердился и замолчал.

Они еще сыграли несколько партий, но вскоре стемнело, тогда игроки положили кии. Игнатьич на доске заметил черточками проигрыш и удалился наверх курить махорку; барин велел подать огня в кабинет, взял книгу, уселся с ногами на турецкий диван и погрузился в чтение; мальчишка немедленно убежал играть; и в доме опять ста-

ла скучная безлюдная тишина, изредка прерываемая тяжелой поступью и доходящим до кабинета ворчаньем ключницы.

2

Сергей Иваныч Соковлин был сын довольно богатого и сильно поразорившегося барина, дожившего свой век в московском английском клубе, в ежедневной болтовне о том, о сем, а больше ни о чем. Молодой Соковлин кончал курс в университете, когда умер его отец. Мать его, тоже московская барыня старого покроя, окруженная приживалками и моськами, ударилась под старость в ханжество, ездила к заутреням, толковала с монахами, игуменьями; в особенно важных случаях жизни советовалась с каким-то содержавшимся в сумасшедшем доме Иваном Иванычем; окончательно разорять имение и обкрадывать себя поручила вольноотпущенному Афоне, который давно уже на стороне величался Афанасьем Степанычем, — и заботы свои о сыне проявила тем, что аккуратно наводила справки, поздравлял ли он с именинами тетушку Арину Петровну, с крестом дядю Сергея Сергеевича, с рожденьем князя Петра Петровича.

Но — русский бог велик! — у нас как-то странно случается, что часто, несмотря на безурядицу воспитания, или лучше сказать — благодаря этой безурядице, у родителей, ничего не обещающих, вдруг какими-то судьбами явятся дельные дети, или в середине между двумя коптителями неба очутится сын — и умница, и образованный. Наследственность качеств и убеждений от отцов к детям составляет у нас величайшую редкость и держится в немногих счастливых фамилиях, в которых слабые умственные способности не помешали предку достигнуть высоких рангов, не мешают и потомкам при тех же средствах достигать того же положения.

Благодаря этому фатуму, переводимому по-русски фразой «видно, так на роду написано», Соковлин выдался, как говорится, «не в мать и не в отца». Он имел ум тонкий, пытливый, характер мягкий, впечатлительный, но честный. По выходе из университета вступив в большой свет, в который отворяли ему дверь положение и связи родителей, Соковлин не увлекся им и мишурными в нем успехами; даже более того — он устоял против матери, против сонма дядюшек, тетушек, кузин и нравоучительных покровителей, против всей окружающей среды, которая старалась втянуть его в тинистую и опутывающую мелочь светских

условий и отношений. Он привязался душой и убеждениями к небольшому кружку молодежи, честной, образованной, сочувствующей всему светлому, следящей за наукой и современными вопросами, который всегда водится около такого плодоносного центра, как университет. К крайнему огорчению своей родни и великосветских знакомых, Соковлина встречали часто с людьми бедными, плохо одетыми, толкующими весьма свободно о всяких высоких отвлеченностях и совершенно теряющихся при встрече с его великосветской тетушкой или кузиной. Иногда, одетый во фрак и белый галстук, он засиживался в бедной комнате, в дыму трубок и грошовых сигар, за стаканом чая и нескончаемыми разговорами и, к крайнему огорчению матери, **манкировал**[4] раутом[5] княгини Настасьи Зинзивеевны или балом князя Петра Петровича.

Прожив таким образом года три-четыре, отдаляемый от света своими наклонностями и кружком, отдаляемый от науки своими связями и положением, Соковлин скитался где-то по архивам, немного танцевал и волочился, много толковал с приятелями, но ничего не делал. Из кружка молодежи, в котором он бывал, вышло уже несколько людей, людей дела, а не одних разговоров, которые начинали приобретать известность в науке и литературе. Соковлин почувствовал бесплодность своей жизни, захотел серьезнее заняться наукой и, чтобы разом отрешиться от своей обстановки, выпросил у матери немного денег и поехал за границу. Это было в пору самого сильного развития и влияния германской философии[6]. Соковлин предался ей, слушал лекции в университетах, учился, читал, но в самом разгаре своих занятий из сферы отвлеченности был сброшен в самую прозаическую существенность письмом Афони, которое извещало о смерти его матери и продаже имения. Предупреждаемый друзьями и зная прежде о плутнях доверенного и любимца матери, Соковлин должен был возвратиться в Россию, чтобы спасти хоть что-нибудь из наследства.

Устроив кое-как дела, то есть очутившись почти ни с чем, Соковлин хотел посвятить себя науке и приготовлялся держать экзамен на магистра, как вдруг совершенно нечаянно, вследствие какой-то истории между его приятелями, «по обстоятельствам, от него не зависящим», должен был отправиться на службу в один из далеких губернских городов.

Этот случай разрушил все предположения Соковлина, разом окунул его в сферу чуждую ему во всех отношениях. Судьба как будто смеялась над ним и подшибала его вся-

кий раз, когда только он думал сделать решительный шаг и заносил ногу. Энергия его ослабела; он начал не то чтобы упадать духом, но почувствовал те смиряющие обстоятельства, которые гнели «Гамлета Щигровского уезда»[7].

Однако ж, оглядевшись в окружающей его обстановке, Соковлин думал быть полезным на новой своей дороге и отдался службе. Он работал усердно, не отказывался от самых мелких и беспокойных трудов, но и тут понапрасну. Начальство смотрело на него косо; его приемы с делом, его предположения — все не нравилось. Иногда, идя, как ему казалось, по самой прямой дороге, следуя самым честным побуждениям, он вдруг видел себя в положении самом запутанном, в положении тем более неприятном, что, вредя себе, он не только не приносил пользы, но даже вредил и тем, кому хотел помочь. Сначала он приписывал это своему незнанию дела, неприготовленности, непрактичности, но потом должен был сознаться, что для приобретения этой практичности надо жертвовать своими правилами, убеждениями, что он вносил новые взгляды и понятия в сферу, совершенно им чуждую, организацию, совершенно иначе построенную, что не только его маленькие силы, но совокупное стремление сотни подобных ему нововводителей изломаются в ней, как иголка в паровой машине. Его стремления не только были бесполезны, над ними не только смеялись, — их заподозревали в нечестности, им приписывали другие побуждения.

К этой неудаче по службе присоединились другие, еще более чувствительные. Почти лишенный возможности читать и следить за ходом науки и литературы — отсутствием книг, увлеченный близостью провинциальных отношений и, наконец, потребностью сердца, Соковлин влюбился в одну замужнюю женщину. Эта женщина, прелестная собою, но испорченная воспитанием и обстановкой до корней волос, сначала предалась ему страстно, потом обманула его, снова притягивала к себе, снова обманывала, и молодой человек, поглощенный страстью, которая одна доставляла ему несколько отрадных минут, видел всю наготу обмана, всю ложь этой женщины и едва имел силы оторваться от нее.

Измученный своими общественными и сердечными неудачами, обманутый всеми мечтами и замыслами, разбитый во всех предположениях Соковлин после долгой борьбы, озлобления, разочарований, вспышек энергии и новых разочарований наконец надломился и, может быть, совершенно бы упал, если бы подобная жизнь продолжалась долее. Но, к счастью, один бездетный его дядя вздумал

однажды умереть, и Соковлину досталось порядочное наследство. Воспользовавшись этим предлогом, Соковлин просил отставку; начальству он давно надоел, и оно радо было развязаться с ним; его уволили — с условием, чтобы он жил в имении.

Он уехал в деревню и поселился в ней уже без всяких замыслов и мечтаний. Он не думал изменять хозяйство, просвещать крестьян и улучшать нововведениями их быт. Крестьяне его, благодаря старику-дяде, который двадцать лет — без всяких затей, а только безобидно — прожил с ними, были в довольно хорошем состоянии. Соковлин позаботился, чтобы староста не слишком его обманывал и не притеснял крестьян. В ущерб, может быть, своим выгодам, он выбрал мужика смирного и честного и стал исподволь присматриваться к хозяйству; затем ждал, когда опытность укажет ему истинные нужды крестьян. Он в деревне искал одного — спокойствия. Благодаря доброму сердцу, благодаря ясному взгляду на вещи и, может быть, врожденной мягкости характера, Соковлин не озлобился, не сделался мизантропом, не упал духом — он просто устал. Он, как человек после дальней ухабистой дороги, чувствовал, что и тут болит, и там болит, что он весь поразбит и что ему надо отдохнуть и отлежаться, прежде нежели быть годным на какое-нибудь дело. Были у него отдаленные планы; он ждал, когда ему можно будет переменить образ жизни; но обстоятельства не изменялись. Он был почти доволен своей жизнью: выписывал много книг и журналов, читал, переписывался с немногими друзьями первой молодости. С соседями-помещиками он был знаком, но издали; у него не было с ними общих интересов, не было и столкновений. Большие баре считали его за человека образованного, но не соперника по выборам, и потому мало перед ним выпячивали грудь, а обходились как с равным; маленькие не боялись его и потому не гнули спину, а только немножко лебезили; все довольно любили и оставляли в покое, — этого только и желал Соковлин; иногда он тихо скучал, но был почти счастлив. Да что же такое и счастье как не тихая, безмятежная, легонькая скука?

Тут застает Соковлина наш рассказ.

3

Игнатыч и другие справки убедили Соковлина, что для пользы дела ему надо было самому съездить к генеральше.

Соковлин преодолел свою лень и поехал.

Был теплый, хотя немного облачный полдень, когда пара здоровых доморощенных лошадей подвезла Соковлина в маленьком тарантасике к подъезду большого одноэтажного деревянного дома Любаниной. Здоровый молодой парень, прислонив голову в угол передней, спал, сидя на подоконнике; рот его был полуоткрыт, и по толстым губам, несмотря на звучное дыхание, которое, как ветер, вырывалось между них, прогуливалось общество мух. Соковлин должен был разбудить его.

— Дома барыня? — спросил он.

Слуга вскочил и глядел н него, как на привидение.

— Дома барыня? — повторил Соковлин.

— Генеральша-с? Дома.

После некоторых господ, получивших в первый раз титул превосходительства, всего больше гордится им — прислуга.

— Как прикажете доложить?

Соковлин назвал себя. Слуга пошел докладывать.

Он вошел в залу. Дверь из нее в гостиную была отворена, Соковлин слышал, как слуга назвал, перековеркав, его фамилию. Вслед за тем в гостиной сделалось маленькое смятение.

— Талинька, прими его. Я только чепец... — говорил кто-то тем торопливым шопотом, который слышнее обыкновенного голоса.

— Но, мама, я...

Далее Соковлин не слыхал, но этот голос был тише и нежнее.

— Полно! Как не стыдно! Не маленькая! Я сейчас...

Затем послышалась переваливающаяся походка, скрипнула другая дверь — и сделалась тишина.

Слуга возвратился и сказал мрачным наспанным басом:

— Пожалуйте.

Соковлин вошел в гостиную, увидел за столом у работы женскую фигуру, поклонился, поднял голову, и какое-то теплое и мягкое чувство так и пролилось по нем, словно то сладкое чувство, заставляющее и улыбаться и недоумевать, когда северный уроженец в первый раз переедет горы и очутится вдруг на юге.

Прежде всего Соковлину бросился в глаза прямой и тонкий пробор, который рассекал густой засев темных волос и откидывал их двумя свободными волнами по обе стороны. Они спускались на маленькие горящие уши, не

прикрывая их, были собраны на затылке и свиты в косу, которая, изгибаясь узлом, казалось, бременила молоденькую головку. Потом он увидал нежное, загоревшее и ярко согретое румянцем и замешательством личико, овальное, с вогнутым продолговатым носом, темными пушистыми бровями, маленькими пунцовыми и несколько раскрытыми губами. Оно не имело правильной красоты, но в нем было пропасть неожиданной прелести, той неизбитой своеобразной прелести, к которой никогда не присмотришься, как не присмотришься к иному не резкому, но счастливо сгруппированному виду.

Соковлин, чтобы сказать что-нибудь, назвал себя и спросил про Любанину.

— Мама сейчас выйдет, — сказал девушка тем не установившимся еще голосом, в котором слышится и полудетский сопрано и прорываются полные контральтовые ноты.

Потом она подняла ресницы и взглянула на Соковлина.

Именно так и надо было сначала приподнять темную, длинную и загибающуся на кончиках завесу ресниц, чтобы взглянуть такими любопытными, испытующими, большими глазами. Соковлину показались они сначала черными, но, всмотревшись, он нашел, что они карие, но такие глубокие, так много в них самих было своего собственного, из них выходящего света, что они казались то черными как смоль, то ясными и спокойно-светлыми. Такие глаза непременно надо было прикрывать такими ресницами, чтобы оберегать их свет и чистоту, чтобы их взгляд не пропадал даром, не терялся.

Девушка опять потупила глаза на работу и начала торопливо шить, дыхание ее было несколько неровно.

Соковлин молчал и улыбался. Ему было отрадно и весело смотреть на эту прелестную смутившуюся девочку. Ее полудетский наклоненный стан, ее головка с черными густыми волосами, лицо — загорелое и ярко согретое румянцем и смятением, наконец, это смятение, которое делало ее похожей на пойманную еще не совсем ручную птичку, неожиданность встречи с таким свежим, только что развертывающимся созданием, — все это не то чтобы поразило, но ужасно светло и весело действовало на Соковлина, и он с эгоизмом опытного, знающего толк и не утратившего еще чувствительности холостяка любовался девочкой.

Наконец ему стало жаль ее.

— Вы, верно, недавно приехали в имение? — спросил он. — Я ваш недалекий сосед и только вчера узнал о приезде Татьяны Григорьевны.

— Н-нет. Мы здесь с ранней весны, — сказала девушка нетороплива, как будто боясь хотя бы из вежливости сказать неправду.

— Но, может быть, вы хотели отдохнуть от городской жизни и еще не принимали и не выезжали, — сказал Соковлин, чтобы поправиться.

— Напротив, мы были у всех знакомых, и у нас многие были, — отвечала она и зарумянилась еще более.

Если бы светская девушка так упорно не давала собеседнику случая выпутаться из неловко поставленного вопроса, тот бы мог счесть это или холодностью или желанием немножко наказать за поздний приезд, но Соковлин видел, что эти ответы были сказаны потому только, что это была правда; от него не укрылось и то, что девушка сама чувствовала, что эта правда не совсем идет тут, и смущалась ею, но, несмотря на то, не умела или не хотела смягчить ее.

— В таком случае, — сказал Соковлин, — виноват я сам или, лучше сказать, моя нелюдимость, благодаря которой я ничего не знал. Впрочем, я сам и наказан, — прибавил он.

— Чем же? — спросила она нерешительно.

— Да тем, что лишал себя большого удовольствия.

Соковлин чувствовал и сказал это так искренно, что девушка и не приняла фразу за любезность.

— Какое же лишение? Ведь вы нас и не знали, — сказала она, подняв ресницы и взглянув на Соковлина таким наивно-любопытным взглядом, как будто прямо хотела спросить его: «Что это? Вы, кажется, солгали?»

Соковлин это понял и улыбнулся.

— Вас я знал ребенком, но вы меня, конечно, не помните. А вашу матушку знаю... — начал он, но в эту минуту дверь растворилась, вошла высокая, очень полная женщина, с радушным лицом, в чепце немного набок, и из двери еще начала:

— Да как же не знать-то? Знала еще вот таким! И с матушкой-то покойной, дай бог царство небесное, были дружны. Что это за женщина была! Да и дядюшка-то Петр Степаныч—какой человек был!.. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей...

— Иваныч, — подсказал Соковлин, пожав ей руку, которую Татьяна Григорьевна, кажется, имела намерение подставить ему для поцелуя.

— Садитесь, пожалуйста. Как я рада, что вас вижу. А я уж говорила Талиньке: что это, видно, Сергей...

— Иваныч, — подсказала тихо и не подымая глаз дочь.

— Видно, я говорю, Сергей Иваныч загордился и не хочет вспомнить старуху.

— Я только на днях узнал, что вы приехали, — сказал Соковлин.

— Нет, уж мы с месяц здесь. Зиму-то в городе жили. Нельзя, Сергей... Мне-то бы что, старухе, да ведь дочь невеста... Нельзя! Вы ведь знакомы? Чай, помните? — спросила она, указывая на дочь.

При слове «невеста» Талинька вспыхнула.

— Я помню еще ребенком Наталью Дмитриевну, — отвечал Соковлин.

— Дочка моя, дочка. Как же! Рекомендую.

Соковлин поклонился.

— Ведь как растет-то, растет-то как! Ведь давно ли дитя была... Да и вы-то, Сергей... — забываю все по батюшке?

— Иваныч.

— Да и вы-то давно приезжали сюда, Сергей Иваныч, почти мальчиком. А теперь и узнать нельзя.

— Постарел, Татьяна Григорьевна.

— Постарел, постарел! А ведь, чай, лет-то немного еще?

— Да уж давно за тридцать...

— Ну, еще какие это года! Да ведь все занимаетесь, говорят, читаете все? Да уж пора бы и отдохнуть. Ведь умник — уж и без того знаем, что умник. А ведь это все убивает. Ну да и горе-то...

— Какое же горе? — наивно спросил Соковлин.

— Ну, дядюшки лишился, матушки...

«Эк, что тряхнула!» — подумал Соковлин.

— Да и несчастье-то! Слышала, слышала, Сергей... Так вчуже сердце кровью обливалось. Думаю, если бы покойница-то матушка твоя, дай бог царство небесное, была жива: ей-то, ей-то как бы это горько было!

У Татьяны Григорьевны навернулись слезы, и она их отерла кончиком платка.

Соковлина это совершенно неожиданное направление разговора, ударившегося в драму, смутило несколько. Он придумывал, как бы переменить тему; но Татьяна Григорьевна, не любившая сидеть молча, продолжала еще грустным и расстроенным голосом:

— Кофейку не хочешь ли, Сергей... Петрович? Или за-

кусочки, а? Что же это, право, там Аринушка не распорядится?

— Покорно вас благодарю. Я...

— Нет! Уж нет! Как же это не закусить? Да что любишь, Сергей? Ты прямо скажи, ведь у меня запросто. Ватрушечек, что ли, или...

— Нет, уж позвольте лучше кофею, — сказал Соковлин, видя, что от хозяйки не отделаешься.

— Я сейчас, мама, — сказала Талинька, кажется довольная, что нашла предлог уйти; встала и вышла.

— Скажи, скажи там Аринушке. Что это она? Все сама, Сергей, все сама должна посмотреть. Вот Талинька только. Ну да ведь почти дитя. Какая же она еще хозяйка? Где в саду погуляет, где поработает да почитает. А уж читать-то, читать-то как любит! Иногда ночи засиживается. Что это нынче за молодежь, Сергей... право! Мы, бывало, только бы потанцевать или понарядиться, а нынче все работают да учатся. Вот и Талинька — тоже. Э-э! Хе-хе!

— Ну, вам грех, кажется, быть ею недовольной, — сказал Соковлин.

— А что? — с любопытством спросила Татьяна Григорьевна. Лицо ее повеселело: она знала, что скажут похвалу Талиньке, и не могла отказать себе в наслаждении услыхать ее.

— Не будь я почти старик, а Наталья Дмитриевна почти ребенок, так я бы не смел сказать, но теперь не могу скрыть: я редко видал такую прелестную девушку.

— Право? Ты не льстишь, Сергей? Ведь ты, голубчик, видал много на свете — ну что, как она?

— Да я вам искренно повторяю, что я мало видал девушек — не говорю про красоту — от которых бы веяло такой прелестью!

Лицо Татьяны Григорьевны сияло добродушнейшей радостью.

— Правда! Правда, Сергей! Хорошенькая. Да что красота — а вот сердце-то, сердце-то какое! Ангел ведь просто! Уж не знаю, за что меня бог и наградил ею. Только и молюсь, чтобы сохранила ее царица небесная...

У нее навернулись слезы, голос начало перехватывать, но она торопливо утерла глаза, справилась и сквозь слезы засмеялась.

— Что это я, право, свою дочь расхваливаю! Ты прости меня, Сергей... Я ведь, право, с тобой как с родным, не могла удержаться. Люблю ее уж очень. Ведь она у меня как перст одна. Только одно меня огорчает: дика ужасно. Это на бал к губернатору — ну, звали непременно, да и

надо же вывезти, ведь семнадцатый год, — так точно на казнь везти! Приехала оттуда — нет, мама, говорит, этой пытке вы меня не подвергайте.

— Ну, это пройдет, — сказал Соковлин.

— Ты думаешь, пройдет?— спросила Татьяна Григорьевна, поглядывая заискивающим и боязливым взглядом, как будто ждала решения своей судьбы.

— Непременно пройдет! Теперь года Натальи Дмитриевны переходные: она не то ребенок, не то девушка, а в это время в них бывает много еще странного, полудетского, взгляд не установился.

— Дай бог, дай бог! Я и сама так думаю. Ну, вот еще другая странность: никакой она неправды, то есть не то что лжи, а так, ну, сам знаешь, на свете иногда и не то скажешь, что думаешь, — так выносить не может, вся так и вспыхнет.

— Ну, от этого дай бог и не вылечиваться, — сказал Соковлин.

— Ах, нет, Сергей! Оно, слова нет, прекрасно, чистая, значит, душа. Да ведь нельзя. Ведь с людьми жить-то, Сергей. Уж и не знаю, как это она будет в свете...

И Татьяна Григорьевна опять задумалась.

В это время вошел слуга с подносом, на котором стояла чашка для хозяйки, стакан для гостя с кофеем, сливочник, масло и целая груда сухарей, крендельков и лепешечек.

— Что это Аринушка меня балует — ведь я уж пила! Ну да выпить разве для такого гостя, — сказала Татьяна Григорьевна, страстная охотница до кофею. — А крендельков-то, Сергей? Это у меня особенно пекут, в книжечке вычитала — рассыпчатые.

Соковлин, охотник до домашнего печенья, не заставил себя просить и принялся расправляться с кренделями довольно исправно. Татьяна Григорьевна, принимаясь со своей стороны за кофе, не могла однако ж умолкнуть.

— Ах, уж как меня подарил ты сегодня, Сергей... все забываю отчество, прости меня, старуху. Да что это я **и ты** вам говорю, совсем забываюсь!

— Сделайте милость, и не изменяйте! Это мне напоминает доброе старое время, — сказал Соковлин, улыбаясь с добродушной иронией. — Мне, ей-ей, вы этим доставляете удовольствие, я думаю, что я моложе.

И в самом деле, Соковлину нравилось это бесцеремонное, но искреннее добродушие своей старой знакомой; он так отвык от него, что оно ему было ново и вместе будило давно уснувшие воспоминания, давно прошедший век.

— Да ведь я и сама не знаю, как это у меня сделалось. Право, точно дорогого родного тебя встретила. Ведь с матушкой-то твоей как жили-то, лучше родных. Да что родные-то, Сергей, какие нынче родные! Вот хоть бы у меня: Василий Данилыч. Брат ведь двоюродный, а ведь только грех один осуждать, прости, господи...

И Татьяна Григорьевна махнула рукой. Она взяла в рот кренделек и поневоле должна была замолчать.

Соковлин видел, что дело опять клонится к драме, воспользовался паузой и заговорил о цели поездки.

— А у меня к вам, Татьяна Григорьевна, просьба есть, — сказал он.

— Что, голубчик, что такое? — спросила она несколько беспокойно. — Я все, что могу...

Соковлин объяснил ей желание купить луга.

Татьяна Григорьевна несколько затруднилась.

— Ну, это уж я не могу тебе сейчас сказать, надо мне с Феоктистом поговорить, он у меня уж всем этим распоряжается: нельзя ведь, Сергей... ведь дело женское... Ну, а он у меня, ты знаешь, какой усердный и честный, так уж я им довольна, право! (А Соковлин и не слыхал ни про какого Феоктиста). Без него бы просто пропала. Его теперь нет, он в поле, а вот к вечеру приедет. Да ведь ты у нас денек-то пробудешь?

— Я было думал... — заикнулся Соковлин.

— Что! Домой? И не думай! Месяц глаз не показывал, да на полчаса приехать! Да этак я об деле и говорить не буду, — оставайся, оставайся. Уж и лошадей я велела отложить. Да что же ты не куришь? Я ведь это люблю. Меня покойник еще приучил. Трубочку, что ли? Есть у меня. Эй, мальчик!

— Покорно вас благодарю. У меня есть сигара, если позволите.

Вошел мальчик, лоботряс лет двадцати.

— Огню Сергею Григорьевичу... Да вели ихних лошадей отложить, да овса чтобы дали, и кучера... знаешь... Да не хочешь ли на террасу, Сергей? Или сад посмотри. У меня хорошенький сад. Ведь сама, все сама, — говорила Татьяна Григорьевна, отворяя дверь террасы и выходя на нее с Соковлиным.

На Соковлина пахнуло свежее и душистое тепло весеннего дня, напитанное смолистым запахом сосен и распускающихся цветов. Перед террасой, защищенной от солнца натянутым полосатым холстом, был разбит цветник с группами сирени и кустарника; дальше шел густой сад с огромными деревьями сосен, дуба и осокори. Прежде на

этом месте был лес. Татьяна Григорьевна, которая уже заявляла при удобном случае, что это она все сама, сама все... действительно, в первое же время замужества и принятия в свои тогда еще не очень толстые руки браздов домашнего управления велела расчистить лес и прорубить несколько аллей. В этом деле помогал ей один молодой отставной гвардии поручик, великий мастер устраивать разные приятные вещи, особенно для дам, — уменье, которое он купил собственными пятьюстами душами, улетевшими, как говорится, в трубу.

И в самом деле — сад, или скорее парк вышел отличный. Он был разбит неправильно, и, взглянув на него с террасы, нельзя еще было судить о нем; но Соковлину чрезвычайно понравилась неправильная аллея или, лучше сказать, дорога, которая начиналась от дому, вилась между огромными деревьями и пропадала вдали; нравились проглядывающие местами между зеленью небольшие луговины; всего больше нравилась эта густая тень, та теплая, душистая и ленивая свежесть, которая забралась в сад от разоблаченного яркого дня и лежала там между каждым листом, под всем сводом ветвей и кустов, точно усталая разметавшаяся красавица, и дышала оттуда и манила туда каким-то нежащим и расслабляющим призывом.

— Ах, как хорошо у вас здесь! — сказал Соковлин, остановясь неподвижно с вынутой сигарой и приготовленной спичкой, и, прищуривая глаза, полной грудью втягивал в себя воздух.

— Хорошо, Сергей, хорошо, что и говорить. Слава богу... Все сама...

Но Соковлин не слушал. И ему было так хорошо, такая лень и приятная неподвижность мысли овладели им, что он бы радехонек был, если бы радушнейшая Татьяна Григорьевна провалилась вдруг, как Дон Жуан в последнем акте [8], и скрылась надолго под террасой.

— Татьяна Григорьевна, пожалуйте сюда-с, — сказал сдержанным шепотом появившийся малый, подав зажженную свечку Соковлину и обратясь затем в полоборота к барыне.

— Что такое? Зачем? — спросила Татьяна Григорьевна.

— Пожалуйте-с. Вас спрашивают-с, — сказал слуга таинственно и, как бы во избежание дальнейших расспросов, поспешил удалиться.

— Как же это? Где же Талинька или хоть Магдалина Францевна?—говорила, беспокойно озираясь, Татьяна Гри-

горьевна, не стесняющаяся говорить всем **ты** после первых двух фраз, но считавшая верхом неприличия выйти без чепца (который, впрочем, ненавидела) и дать малознакомому гостю хотя минуту свободы, оставив его одного.

— Послушайте, Татьяна Григорьевна, вы меня принимаете как близкого и хотите, чтобы я был как дома, а сами церемонитесь со мной как с чужим, — сказал Соковлин и попал в самую чувствительную струну хозяйки.

— Ах, право, какой ты добрый, Сергей, как родной, право, как родной! Ты уж извини меня, нужно зачем-то очень. Ведь без меня ничего, все надо самой посмотреть,— говорила Татьяна Григорьевна, решившись удалиться, и скрылась за дверью, продолжая все что-то болтать.

Если бы Соковлин был полюбопытнее, он мог бы слышать, как в смежной комнате, выходящей окнами тоже в сад, женский дряблый голос таинственно начал расспрашивать, не нужно ли переменить пирожное к обеду, что повар спрашивает какого-то кардамону [9] и что́ подать к закуске, — словом, перед ним бы раскрылась вся загадочная необходимость, для которой по долгом колебанье ключница и наперсница Аринушка решилась вытребовать барыню на аудиенцию.

Но Соковлин ничего этого не слыхал. Он встряхнул на себе сюртук, расправил члены, свободно вздохнул, — словом, распорядился, как распоряжается всякий человек, вырвавшийся на свободу; потом поставил стакан с кофеем на маленький столик, уселся покойно на стоявшее тут кресло и, покуривая сигару, весь отдался лени и маленьким приятным мечтам, которые, как светлые облачка, незаметно меняясь, бесцельно проходили в голове.

Соковлин ни о чем положительно не думал, но ему было хорошо. Несмотря на различные невзгоды и неудачи в жизни, чрезвычайно добрый в душе, он остался оптимистом, а оптимисту, да еще в хорошем расположении духа, все нравится вдвое более. Так и Соковлину нравились в Татьяне Григорьевне и фамильярность ее, и добродушие, и услужливая слеза, которая появлялась тотчас при малейшем чувствительном разговоре; еще более ему нравилась в ней ее горячая любовь к дочери, которая проглядывала в каждом слове; а всего более понравилась сама дочь, и ее диковатое смущение, и полудетская прелесть, от которых веяло девственной свежестью.

На мыслях о Талиньке остановился Соковлин и варьировал их на разные темы, как вдруг в аллее мелькнули два платья и вслед за тем появились две женщины. В одной Соковлин узнал Наталью Дмитриевну, другая была лет

двадцати пяти, низенькая полненькая брюнетка; они говорили по-французски.

— Пройдемте направо, — говорила Талинька, — мне не хочется идти в гостиную.

— Полноте, какое ребячество! — говорила другая. — Мне, напротив, очень любопытно удостовериться.

В это время они взглянули на террасу и увидали Соковлина.

Талинька вспыхнула и готова была остановиться, но подруга ее пошла прямо к террасе и еще издали начала улыбаться.

— Bonjour, monsieur Соковлин! — сказала она нараспев, всходя на ступеньки. — Узнаете вы меня?

— Боже мой! Мадмуазель Кадо! Какими судьбами вы здесь? — спросил удивленный Соковлин.

— Я больше году живу у мадам Любаниной. А вы не думали меня здесь встретить, а? — и она засмеялась.

— Признаюсь, я полагал, что вы уже в своем родном Париже... замужем за каким-нибудь прекрасным соотечественником, — отвечал Соковлин.

— Нет еще, нет еще! Это не делается так скоро, — сказала мадмуазель Кадо, слегка вздохнув, но не переставая улыбаться. — Ну, а вы что? Деревенский житель? Может быть, женаты, отец семейства?

— Нет еще, нет еще! Это не делается так скоро, — смеясь пародировал Соковлин.

— Может быть, вы остаетесь верны воспоминаниям? — сказала она, лукаво улыбаясь, и потом как будто без умысла прибавила: — А что наши общие знакомые? Мадам Лохова? Что она поделывает? — и мадмуазель Кадо посмотрела на Соковлина невиннейшим образом.

Здесь нужно объяснить, что Лохова была именно та женщина, любовь к которой заставила Соковлина много и сильно перечувствовать и оставила по себе хоть неприметный, но глубокий и тяжелый след. Мадмуазель Кадо была в то время гувернанткой в одном близком к Лоховой доме и, благодаря прозрачности губернской жизни, хорошо знала отношения Соковлина к Лоховой.

Но прочно ли отрезвился Соковлин от прежней страсти или умел хорошо владеть собой, только вопрос нисколько, по-видимому, не затронул его.

— Мне бы вас следовало спросить об ней. Ведь вы уехали из В *, кажется, после меня? — заметил он улыбаясь.

— Да, но очень вскоре и ничего об тамошних не знаю. Так вы даже и не в переписке ни с кем?

— Даже и не в переписке, — отвечал Соковлин.

— О, как время все меняет!

— Да, но только не вас, вы так же все молоды и веселы. А я много постарел?

— Порядочно, — сказала мадмуазель Кадо и расхохоталась. — Вы пополнели, — прибавила она, — и стали походить на добряка.

— Я всегда и был им, — отвечал Соковлин.

— О, о! Знаю я, какой вы были добряк! От вашего язычка многим приходилось жутко!

— О, теперь я присмирел, — искренно отвечал Соковлин.

Талинька во время этого разговора села в стороне и развернула какую-то книгу, но очень наивно опустила ее на колени и смотрела с любопытством ребенка на разговаривающих. Видно было, что разговор очень интересовал ее и что она не умела или не хотела следовать примеру так называемых благовоспитанных девиц, которые глядят в книгу, а видят и слышат все, что делается вокруг: она просто смотрела и слушала.

Но вдруг раздался звон бубенчиков у подъезда, и вслед за тем на террасу взошел Петр Петрович Охвостнев.

Петр Петрович Охвостнев был помещик, лет под тридцать, худощавый, с длинными усами, с довольно умным и — как часто при этом случается — довольно некрасивым лицом. Он служил в уланах, попромотался, вышел в отставку и поселился в своей деревне, неподалеку от Любаниных. Затем занятие его состояло в том, чтобы выдумывать разные новости, развозить их, ссорить или мирить соседей и надо всеми смеяться. Он любил поесть и попить, но никто не видал его пьяным. Домашнее хозяйство его состояло из полдюжины разрозненных стаканов и хорошенькой ключницы Матреши. Он говорил, что живет в свое удовольствие.

— Здравствуйте, мадмуазель Кадо! Как поживаете? Прекрасны, как и всегда! — начал Петр Петрович, взяв у гувернантки руку и крепко тряся ее.

— Да оставьте мою руку! Отстаньте, месье Охвостнев! — пищала француженка с притворным неудовольствием.

— А ведь сама довольна. Ей-ей, довольна! Здравствуйте, Сергей Иваныч! А, барышня! Дадите сегодня ручку? Нет? И прекрасно! — говорил Охвостнев, переходя от одного к другой. — Вот Наталья Дмитриевна никому руки не подает, — продолжал он, обращаясь к Соковлину. —

Мне по крайней мере — никогда. И я нахожу, что отлично делает.

— Следовательно, вы находите, что я дурно делаю? — спросила мадмуазель Кадо, немножко жеманясь.

— Нет! Я нахожу, что вы еще лучше делаете, потому что делаете исключение для меня.

— Ну уж, затарантил! Ну, что, что такое? Расскажи, расскажи, — говорила, входя, Татьяна Григорьевна и подставила к носу Охвостнева свою руку.

Охвостнев знал слабость Любаниной к новостям, но даром ее ими не баловал.

— Есть новости, тетушка, (Любанина совсем не была ему родней) есть, — говорил он, чмокнув ее руку. — А у вас, говорят, есть отличная померанцевка; вот Сергей Иваныч до нее большой охотник.

— Разве любишь, Сергей Иваныч? Что же не сказал?

Любанина при всем своем хлебосольстве была на некоторые деликатные вещи скуповата и охотно ими потчевала только людей избранных.

— Нет-с, я не пью, — усмехнувшись, отвечал Соковлин.

— Нарочно, тетушка, не верьте! Сейчас говорил: как бы, говорит, хорошей померанцевки рюмку да закусить мелкими вятскими грибками, так мы бы, говорит, с вами, Петр Петрович, пожалуй, и проболтались бы кое-что о Шематоновых.

— Ну, велю, велю. Да ведь ты все выдумываешь про Шематоновых. Ну, что, что такое?

Охвостнев сплел какую-то историю, по которой оказалось, что Шематонова, толстого и рябого отца семейства, похитила сорокалетняя давно уж прозябающая в их доме приживалка.

Между тем подали закуску, вслед за тем позвали обедать.

За столом Охвостниев заметил вскользь, что похищение Шематонова — вздор, но что действительно у него в доме случилась история, про которую он расскажет после персиковой наливки. Выпив ее, намекнул в присутствии Талиньки на какую-то скандалезную историю про сношения жены Шематонова с уездным стряпчим, но подробности обещал сказать только по секрету одной Татьяне Григорьевне после чайного ликера.

Только что вышли из-за стола, Татьяна Григорьевна, получив удостоверение, что Соковлин ликеру не пьет, увела Охвостнева в другую комнату и там, должно быть, выпытала обещанные подробности, потому что вышла от-

туда, казалось, весьма занятая рассказом и только спрашивала с некоторым недоверием:

— Да ты не выдумал ли, Петр? Плохо что-то верится.

Охвостнев серьезнейшим тоном уверял ее, что это истинное происшествие, побожился и сослался на Сергея Иваныча.

— Правда, Сергей Иваныч? — спрашивала Любанина. — Ты слышал?

— Право, не знаю, о чем речь идет, — отвечал Соковлин.

— Ну да он тебе расскажет. Расскажи ему, Петр, а я пойду отдохну. Позволишь, Сергей? Вы останетесь тут, молодежь, погуляйте, а я уж не могу. Извини, Сергей.

— Сделайте одолжение!

Любанина ушла. Однако ж, видно, не тотчас легла отдохнуть, потому что, не успев еще затворить двери, начала:

— Аринушка, Аринушка! Слышала ты...

Но молодежь вышла на террасу и не слыхала продолжения.

На небе стало облачно, и жара спала. Мужчины выкурили сигары и, по предложению Магдалины Францевны, пошли в сад. Сначала все шли вместе, но потом повернули на узенькую тропу и должны были разбиться на пары.

Охвостнев, который от нечего делать врал турусы на колесах [10] мадмуазель Кадо, предложил ей руку. Француженка, кажется, ласкала себя мечтой сделаться русской помещицей и кокетничала с Охвостневым. Они ушли вперед. Соковлин остался с Талинькой.

Соковлин, по примеру Охвостнева, тоже предложил руку Наталье Дмитриевне, но она, смутившись несколько, уклонилась, сказав, что не привыкла ходить под руку и что так ловче. Он улыбнулся и начал какой-то веселый разговор, но поддерживать его одному было трудно, и он замолчал. Талинька не была угрюмого характера. Иногда она слушала болтовню Охвостнева и при некоторых действительно смешных и метких его выходках она смеялась от души откровенным, полным и звонким смехом, так что Татьяна Григорьевна, по-своему понимавшая приличая и немного боявшаяся мнения чужого и еще не совсем известного ей Соковлина, которого знала за человека хорошо воспитанного, даже говорила ей: «Талинька, что это ты, друг мой, как смеешься» и, обращаясь к Соковлину, прибавила: «Ведь еще иногда ребенок, просто ребенок!». Соковлину, напротив, эта редкая в ней, но непритворная и

откровенная веселость очень нравилась. Но у Талиньки совершенно не было так легко достающегося и так общего светским женщинам искусства говорить ни о чем, игриво поддерживать пустой разговор, по поводу пустяков сказать много милого и острого вздору и иногда проговориться умным словом. Ее смешило и забавляло смешное, но разговор о вещах, которые нисколько не интересуют, это маленькое напряжение и искусственное увлечение предметами совершенно чуждыми, которыми для оживления беседы так наивно морочат друг друга светские дамы и мужчины, особенно при первых порах знакомства, ей решительно не дались. Талинька сознавала это, делала над собой усилия, но все-таки не успевала. Так и теперь наступившее молчание смущало ее; она чувствовала, что разговор порвался, потому что она его не поддерживала, что следовало бы ей поднять его; но она решительно не знала, с чего начать, тем более что умственное превосходство Соковлина стесняло ее. Она не рада была, что пошла с ним гулять, проклинала свою застенчивость и подумывала догнать мадмуазель Кадо или просто выдумать предлог, чтобы уйти.

Но Соковлин понял ее положение и, сам немножко затрудненный предметом разговора, попытался начать его в другом роде. По случаю открывшегося из-за поворота аллеи вида на озеро он вспомнил швейцарские и ломбардские озера, заговорил о путешествии, описал ей прелесть своей жизни в каком-то скромном пансионе на берегу Женевского озера, потом невольно перешел к воспоминаниям об Италии, которую любил со всею нежностью поэтической натуры, и так увлекся сам, что говорил долго и с неподдельным одушевлением.

Талинька слушала его с заметным сильным участием; она так увлеклась, что забыла свою робость. Чтобы лучше слушать, она сама предложила, выйдя на озеро, сесть на скамейку, сложила на коленях руки и, немного нагнувшись, смотрела на Соковлина своими большими любопытными глазами.

Исчерпав разговор, Соковлин опять замолчал; но это было уже другое, непринужденное и приятное молчание. Он думал о невысказанных, но пришедших на память некоторых эпизодах своего путешествия. Не знаю, о чем думала Талинька, но взгляд ее немного прищуренных и как бы вглядывающихся во что-то далекое глаз бесцельно бродил по окрестному виду. Это продолжалось несколько минут; потом глаза их нечаянно встретились, и они, как будто поймав друг друга в общей шалости, оба улыбну-

лись. Это был первый шаг к сближению. Они оба почувствовали, что между ними порвалась какая-то преграда.

Тогда, с большею уже свободой, Соковлин стал слегка пытать умственную развитость своей молоденькой собеседницы. Он завел разговор о литературе, спрашивал, что читала Талинька, выпытывал ее взгляд на читанное. Оказалось, что Талинька читала мало дельного, что взгляд ее был неясен; она сама это чувствовала, инстинктивно понимала, что бродит впотьмах, что тут какая-то ложь, но не могла выбиться ни на какую сколько-нибудь светлую дорогу. Но, затрогивая этот предмет, Соковлин сам не знал, до какого живого и богатого источника он коснулся. После первых фраз отношения между ними вдруг переменились. Это были — не холостой гость с молоденькой девицею-хозяйкой, но ученица с любимым учителем. Соковлин почувствовал это, и ему стало совестно играть роль педанта и пользоваться своим умственным превосходством; но Талинька с таким жадным любопытством его слушала, так застенчиво сознавалась в своем невежестве, так пытливо хотела вникнуть в его мысли, высмотреть его взгляды, что Соковлин невольно, чтобы только ей угодить, начал высказывать некоторые общие, но новые для нее мысли.

Слова Соковлина были для Наташи как первое мерцание утреннего света, сквозь который начинают проступать и обрисовываться вещи в их настоящем виде. До этой поры ее прямая и чистая душа замечала только странные противоречия между законными требованиями правды и ответами, которые давала на них жизнь окружающей ее среды. Она услыхала первые простые искренние слова человека, здраво и ясно смотрящего на вещи, прямо ставящего вопросы и дающего на них положительные ответы. Их разговор или, лучше сказать, речь Соковлина переходила от предмета к предмету, касаясь вскользь того и другого, но все, до чего касалась она, как будто задетое солнечным лучом, выступало ясно и рельефно и поражало своей ясностью и простотой девушку, учившуюся у плохих учителей, взросшую в пустой и мелкой среде.

Может быть, долго бы еще продолжалась их беседа, если бы вдали по аллее не показалась, переваливаясь с ноги на ногу, тучная фигура Татьяны Григорьевны. При одном взгляде на нее разговор перервался сам собою. Есть добрые и хорошие люди, но такого свойства, что одна окружающая их атмосфера разлагает всякую мысль: говорить при них о предметах несколько отвлеченных совестно

и просто неприлично. Соковлин и Наташа молча пошли ей навстречу.

Татьяна Григорьевна была, кажется, приятно удивлена, найдя одних Соковлина с Наташей.

— Вот они где! И вдвоем! Сергей, прости, пожалуйста, старуху, что оставила вас с дикаркой-то моей. Да где те вертопрахи-то? Чай, скучали вы с ней?

— Напротив, я не видал, как и время прошло; я так увлекся и разораторствовался, что заговорил совсем Наталью Дмитриевну.

В самом деле, поглядя на Наташу, можно было поверить его словам. Ее разгоревшееся лицо, как после сильного одушевления, начало принимать утомленное выражение; на нем словно ходили какие-то тени мысли; она была рассеянна и даже не возразила Соковлину.

— Ну, полно, полно, Сергей, уж ты заговоришь! Да тебя, чай, как книгу, только надо слушать. Что, дружок мой, — сказала Татьяна Григорьевна, обращаясь к дочери, и, нежно улыбаясь, приложила руку к ее щеке, — вишь как разгорелась, милая. Поди-ка, милая, напой нас чаем.

Татьяна Григорьевна, зная робость дочери, кажется, нарочно услала ее, чтобы дать ей отдохнуть и оправиться от глаза-на-глаз с незнакомым человеком.

— Ну что, Сергей, скажи, голубчик, по правде, что, не глупа Талинька? — спросила она по уходе дочери и, подняв глаза с некоторым подобострастием на Соковлина, ждала от него ответа, как от оракула.

— По правде сказать, она не очень развита, — отвечал Соковлин, — но у ней замечательные любознательность и жажда во всем доискаться правды и ответа. Вы мне позволите прислать ей кое-каких книг, а после мы с ней, при случае, потолкуем об них.

— Ах, родной, сделай милость, по гроб обяжешь! Да скажи, не нужно ли выписать каких, я с радостью денег не пожалею.

— Нет, у меня есть, — отвечал, невольно улыбнувшись, Соковлин. — А что понравится ей, так можно после.

Вскоре явились и мадмуазель Кадо с Охвостневым, ходившие, как сознался последний, в оранжерею воровать персики. За чаем разговор был веселого и довольно легкого свойства. При некоторых довольно прозрачных рассказах и намеках Охвостнева мадмуазель Кадо смеялась; Татьяна Григорьевна только говорила: «Полно, полно, экой враль!». Но Талинька нисколько не смущалась: она была так чисто и счастливо создана, что все грязноватое скатывалось с нее, как вода с мрамора. Она очень серьезно хло-

потала с чаем и с какой-то особой заботой и уважением занималась стаканом Соковлина и подавала ему его.

Напившись чаю, Соковлин собрался ехать. Оказалось, что Феоктист еще не приходил, да и консультация с ним потребовала бы, вероятно, много времени. Он попросил Татьяну Григорьевну прислать ему ответ.

— А вам, Наталья Дмитриевна, если угодно, я пришлю книги, — сказал он, раскланиваясь с нею.

— Пожалуйста, — отвечала она, зарумянившись.

— Да чего присылать-то, Сергей, привози-ка лучше сам, голубчик, да потолкуй с ней. Право! — говорила Татьяна Григорьевна, провожая его до прихожей. — А уж с лугами-то мы как-нибудь сладим, — прибавила она вполголоса, точно обещая взятку. — Уж уважу тебе, только с Феоктистом поговорю.

Соковлин улыбнулся, и всю дорогу эта веселая улыбка не сходила с его лица.

Уже темнело и густая белая роса стлалась над травой, когда его большой деревянный дом как-то одиноко высунулся при въезде в деревню и скучно смотрел своими темными окнами. А в это время в едва освещенной сумерками гостиной Любаниных Татьяна Григорьевна, оставшись одна с дочерью, спрашивала ее:

— Ну что, Талинька, о чем вы говорили с Соковлиным? Каков он был с тобой?

— Ах, мама, какой он умный! — тихо сказала Талинька и припала смущенным и зарумянившимся лицом к плечу матери.

4

Странную перемену почувствовал в себе Соковлин после поездки к Любаниным. Свой дом казался ему еще пустее, хозяйство еще беспорядочнее; а между тем одиночество для него не было так однообразно, точно он привез с собою что-то нежное, милое и оживляющее; и когда ему надоедало читать, хозяйничать или работать и он, закурив сигару, садился в угол дивана или бродил по запустелому саду, это нечто сходило к нему, тешило, занимало и освежительно действовало на душу. Действительно, он вывез от Любаниных воспоминание о Наташе, и мысль об этой прелестной девочке занимала его.

Соковлин принадлежал к той многочисленной и ныне уже вымирающей фаланге людей [11], для которых в свое время поле деятельности было стеснено и замкнуто, и они, не находя его, жили более головой и сердцем. У этих лю-

дей, если можно так выразиться, и голова была в сердце. Их понятия, идеи, воззрения, не проверяемые на самой жизни и не вытекающие из нее, носили на себе печать их личных влечений; их логика была страстна; умозрительные математики, они забывали помножить свои выводы на тот практический коэффициент, который получается из опыта и один делает формулу приложимою к делу. От этого они так часто путались и спотыкались на нем. В жизни иногда следствие так плотно сливается с причиной, что трудно назвать то или другое по имени. Оттого ли эти люди были плохими практиками, что думали внести в жизнь планы и идеи, к ней не применимые, или рамка, которую отводила им действительность того времени, была так узка и сжата, что выталкивала из себя всякую сколько-нибудь широкую замашку, только не находя возможности приложить свои силы к общественной фактической деятельности, они жили в обществе преимущественно жизнью сердца. Соковлин принадлежал к такому числу.

Во время своей продолжительной и обильной перипетиями любви к Лоховой он сделал привычку любить: сердечная привязанность стала для него потребностью. Отрезвленный на некоторое время тяжелыми последствиями своего неудачного выбора, круто разорвав связь и с своей любовью и с обществом, он в деревенском уединении отдыхал от сильных ощущений и занятиями усыплял эту потребность. Но при первом удобном случае, при первой встрече старая привычка пробудилась и подняла голову. Соковлин не влюбился в Наташу Любанину: и годы, и рассудок брали свое и не позволяли вспыхивать опасному чувству, от которого он ничего не предвидел. Позволить себе, пока еще есть возможность совладеть с чувством, любить из любви к искусству, любить для любви, без цели и плана — было смешно в его года. Жениться? Жениться он вообще не располагал. Его прежние связи были такого рода, что оставили по себе дурное понятие о женском постоянстве, и женитьбу по любви в свои года он считал делом рискованным. Правда, в скучные минуты подумывал он, что хорошо бы завестись подругой жизни, но в этом случае он представлял себе эту будущую подругу не иначе как в виде женщины, перешедшей уже пору молодости и увлечений, чем-то вроде действительной подруги; в этом случае грешные мечты соблазняли его свободным, полюбовным, без всяких клятв и ручательств союзом с какой-нибудь вдовушкой средних лет и независимого положения. Но как подобной вдовушки он еще не нашел, то златая мечта оставалась пока мечтою. Следовательно, На-

таша Любанина никак не подходила к его планам. Если бы он и думал жениться, то разница двадцати лет казалась ему такой преградой, через которую в его года прыгать не приходилось, и хотя в хорошие минуты он был о себе мнения вообще довольно выгодного, но не думал, чтобы в такой молоденькой девочке, как Наташа, мог пробудить особенно нежные чувства. Так на него смотрела и сама старуха Любанина, с бесцеремонностью хваля свою дочь и расспрашивая о том, как находит он ее. А между тем столь неожиданно встреченное, такое прелестное и свежее существо, как Наташа, не могло не произвесть на него впечатления. Но это впечатление возбуждало отрадное и вместе спокойное, покровительственное чувство. Поверяя его, Соковлин нашел, что его влекло к ней влечением старшего брата или старого друга; ему хотелось, по выражению Гейне, «руки возложить на ее главу», ему даже пришло на ум, что родительская любовь должна быть чем-то вроде этого. Но улыбнувшись этой мысли, он в то же время грустно вздохнул: он почувствовал без фраз, что молодость его действительно прошла, что он в самом деле стареющийся холостяк — человек средних лет и почтенной наружности, как пишется в повестях.

Как бы то ни было, но его братское, дружеское или родительское влечение выразилось на первый раз тем, что на другой же день по возвращении от Любаниных, только что встав от сна, он принялся рыться в своей маленькой библиотеке и, отобрав несколько книг, немедленно отправил их с верховым к Наталье Дмитриевне. Затем он дожидался возвращения посланного довольно нетерпеливо, и только тот слез с лошади, как был позван им к себе.

Между ними произошел следующий разговор:

— Ну что?

— Отдал-с.

— Кому отдал?

— Степке-с.

— Что же, наказывали что-нибудь?

— Как же-с, приказали кланяться, приказали благодарить.

— Барыню, что ли, видел?

— Барыню-с. Сами они тут проходили. Скажи, говорит, барину, чтобы нас не забывал.

— А барышню видел?

— И барышню видел-с. Они на фортепьянах играли.

— Она ничего не сказала?

— Нет-с, и они тоже приказали кланяться, приказали благодарить.

— Больше ничего?

— Ничего-с. Только француженка эта подошла к ним и начала рассматривать да что-то говорить.

После этого разговора, несколько напоминающего разговор Подколесина с слугой в гоголевской «Женитьбе» [12], Соковлин велел рассказчику в знак удовольствия поднести чарку водки и отпустил его.

Дня через два Соковлин нашел, что надобно чем-то кончить с лугами, и вздумал опять поехать к соседкам. Он был принят так же радушно, как и прежде. Наташа тоже дичилась и смущалась по-прежнему; но на этот раз, не спасенный Охвостневым от мадмуазель Кадо, Соковлин после обеда попался под пытку ее языка, и словоохотливая француженка два часа кряду делала расспросы и намеки на прошлую жизнь Соковлина и, говоря неприличным слогом романов, шевелила его старые раны. Не знаю, больно ли было Соковлину это шевеленье, но наскучило оно ему порядочно, тем более что мадмуазель Кадо не давала почти случая поговорить с Наташей. Соковлин уехал не совсем довольный. Однако ж дело о лугах ладилось. Татьяна Григорьевна по зрелом совещании с Феоктистушкой уступала их Соковлину, и хотя весьма не обидела себя ценою, но со вздохом говорила другим:

— Нельзя ведь! Люблю его! Ведь вот каким знала еще. Да и с матерью-то покойницей друзья были. Кому же и порадеть-то, как не ему? Он же, господь с ним, ведь и без того натерпелся, да и хозяйство-то его какое—и-их!— и не говорите!

Словом, представляла Соковлина чуть-чуть не облагодетельствованным ею сиротою и пела Лазаря [13].

Одна эта сделка, кроме других побудительных причин, требовала поездок Соковлина в Любаньевку, и он начал ездить туда довольно часто. Любимыми минутами его были те, когда вдвоем с Наташей они сидели где-нибудь вдали, читали что-нибудь или говорили о прочитанном. Говорил, впрочем, более Соковлин; а Наташа, опустив по обыкновению руки на колени, наклонясь вперед, слушала его с глубоким вниманием; при этом она, прищурив немного глаза, как будто умеряя или скрывая длинными ресницами силу своего взгляда, пристально смотрела на Соковлина, точно хотела проникнуть до глубины его души, увидать мысль в самом ее зародыше и, проследив, как она переработывается за кулисами, прежде нежели является облеченной в слово, сверить ее с своей собственной и воспринять во всей полноте. И когда ей удавалось это, особенно когда заключение Соковлина было именно тако-

во, какого ожидала она, или когда, объяснив тонкую красоту какой-нибудь сцены, Соковлин прочитывал ее и вся мысль или картина поэта в полном и новом свете всецело ложилась во всей своей потрясающей красоте в ее молодую душу, — тогда Наташа быстро откидывалась назад и с разгоревшимся, полным мысли и жизни лицом большими и ясными глазами светло и благодарно смотрела на Соковлина. Такой взгляд составлял для Соковлина лучшую награду; точнее сказать, он был для него наслаждением.

Беседы Соковлина с Наташей не только не были прерываемы, но находили сильное покровительство со стороны Татьяны Григорьевны. Сначала она было пробовала послушивать их, выказывая сочувствие умиленной улыбкой да хлопаньем глаз; но, мало понимая, она замечала, что только стесняет своим присутствием, и потому оставляла их в покое, даже не любила, когда и мадмуазель Кадо своей болтовней мешала им.

— Да полно, тараторка, оставь, оставь их! Ведь они дело говорят, не то что мы с тобой,— говорила она и смотрела на Соковлина как на отличного и дарового учителя, которого Всевышний послал ей за ее молитвы и добродетели.

Талинька переставала дичиться Соковлина, заметно радовалась его приезду и искала случая говорить с ним; но она почти не высказывалась; иногда сделает вопрос, изредка и то с смущением намекнет на свой взгляд или мысль, но при малейших расспросах и попытках заглянуть в ее внутренний мир она, как «не тронь меня», пряталась в себя и избегала ответов. Наташа была необыкновенно пряма и безыскусственна по природе. Она не умела отделаться фразой, общим местом, смягчать или приноравливать ко взгляду другого свои слова; она, когда говорила, то высказывала всю свою мысль цельно, без уверток— так, как она родилась в ее умненькой головке. Тем труднее было ее положение.

Вообще репутация Соковлина, его ум и обширность сведений смущали молоденькую девушку. В первый раз находясь в обществе подобного человека, она боялась высказываться, считая себя слишком мало развитой, слишком ниже его, боялась сказать глупость, думала, что ее мнение и взгляд нисколько не могут быть интересны для такого человека, как Соковлин. Она рада была узнавать его, высоко ценила ту, как ей казалось, снисходительность, с которой он сближал ее с собою, смотрела на него как на существо неизмеримо высшее, но именно поэтому боялась и не хотела откровенно высказываться ему.

Соковлин это видел, внутренно досадовал иногда, но не показывал ни малейшего неудовольствия, не смущал ни разу ее пугливости какой-нибудь нетерпеливой выходкой. Напротив, бережно и нежно обходился он с ее застенчивостью, не добивался ответа, когда видел, что это тяжело для нее. Он хотел, чтобы она сама, привыкнув к нему, стала с ним откровенною, сознавая, что всякая попытка и торопливость только отдаляет ее. Он обходился с нею, как страстный, но опытный цветовод обходится с завязкой дорогого цветка: он окружал его заботами и вниманием, но ни разу не посмел отогнуть лепесток, чтобы заглянуть, что таится в тугой завязи почки, и ждал, когда, отвечая на заботы, тихо, незаметно начнут развертываться лепестки и сквозь зелень верхних листьев вдруг прорежется и выглянет свежая и яркая краска дорогого цветка.

Раз Соковлин, приехав к Любаниным, застал всю семью сидящею на террасе. Кроме того, тут был и Охвостнев. Он перессорил незадолго перед тем несколько соседей; те, перебранившись порядком, узнали, что кашу заварил Охвостнев, накинулись на него, и он, чтобы дать успокоиться буре, перестал к ним ездить и зачастил к Любаниным.

— А, месье Соковлин! — запела мадмуазель Кадо. — У меня есть к вам новость!

— Посмотрим! — отвечал Соковлин, поздоровавшись со всеми и усаживаясь.

— Нет, я вдруг це скажу. Это не говорится так, я вам скажу потом...

— Как хотите, — сказал Соковлин и заговорил с другими.

Но мадмуазель Кадо все поглядывала на него как-то выразительно и порой вздыхала; взгляд Наташи тоже останавливался на нем; особенно Татьяна Григорьевна была беспокойна: она не могла выносить невысказанную новость. Соковлину надоела эта таинственность, к тому же он был любопытен.

— Ну, теперь увидим вашу новость? — спросил Соковлин, обращаясь к мадмуазель Кадо.

— Но я, право, не знаю... — начала она, немного ломаясь.

— Э, да что ты его томишь-то! — воскликнула, не выдержала Татьяна Григорьевна. — Получила письмо она из В *, — продолжала она, — ну и пишут, что там... твоя-то... знаешь... знакомая-то... ну, как ее?

— У меня их там много, — холодно отвечал Соковлин.

— Madame Lokhoff! — сквозь зубы подсказала мадмуазель Кадо, стараясь покраснеть, как будто сказала что-то чрезвычайно нескромное.

— Ну да, вот Лохова-то! — продолжала Татьяна Григорьевна.

— Умерла? — спросил серьезно Соковлин.

— Нет, не умерла, а что-то хуже! Ну, да рассказывай скорей сама, Матильда, — нетерпеливо обратилась она к мадмуазель Кадо, облегчив себя полуизвестием.

— О, ужасная история! — заговорила мадмуазель Кадо, сама боявшаяся, что Татьяна Григорьевна передаст и испортит ее новость. — Ужасная история! Ее муж узнал все!

— Только-то! — сказал Соковлин и засмеялся.

— Только-то! Слышите? Вам хорошо говорить это, — зачастила мадмуазель Кадо. — Только-то! Безделица для замужней женщины! А что было потом?

— Что ж было потом? — улыбаясь спросил Соковлин.

— Потом он ее выгнал из дому. Мать тоже не хотела принять ее; бедная женщина чуть не осталась на улице! Это знал весь город! Наконец муж взял ее, но на каких условиях! Держит чуть не за замком, обращается ужасно, никуда не выпускает, не позволяет никого принимать, и она, говорят, чуть не умирает с горя!

— Вывернется! — сухо заметил Соковлин.

— Вот они, мужчины! — с горячностью заговорила мадмуазель Кадо. — Прелестная женщина, ангел доброты сделала ошибку, в которую они сами вовлекли ее, и потом... потом, когда она начинает искупать ее страданиями, они не дарят ей даже слова сожаления! — и мадмуазель Кадо бросила на Соковлина взгляд негодующей весталки [14].

Соковлин не обратил внимания на этот взгляд, но он увидел другой, и легкая краска выступила у него на лице. В больших черных глазах Наташи, которыми она глядела на него и тотчас же опустила, встретясь с его глазами, Соковлин прочел недоумение и какое-то смущение. Как будто Соковлин обманул ее ожидания, как будто она и удивлялась этому и сожалела, что обманывалась.

— Вы, женщины вообще и француженки в особенности, ужасно любите фразы, — сказал Соковлин мадмуазель Кадо. — Если бы я пожал плечами и с смирением сказал: «Ах, бедная мадам Лохова!» — вы бы нашли, что у меня чувствительнейшее сердце и ангельская доброта. И мне бы эта репутация, поверьте, стоила очень дешево. Но знаете ли, что иное искреннее равнодушие может стоить человеку гораздо дороже, чем ложное участие? Что гораздо легче ахать и сожалеть, когда ничего не чувствуешь, не-

жели оставаться холодным, когда имеешь право... (Соковлин приостановился) когда есть причины обнаружить гораздо худшее чувство...

— Я знаю только то, что вы сегодня так же злы, каким я вас знала прежде! — сказала мадмуазель Кадо, стараясь казаться сердитой.

— Ну уж и злой! — подхватила Татьяна Григорьевна, принявшая слова мадмуазель Кадо за наличную монету. — Ну какой же он злой? Да это божья душа просто! Чего, может, он натерпелся от этой, прости бог... ну, как там ее? Уж надо правду сказать: ведь и наша-то братья — иная навяжется такая, что и не приведи господи. Э-э! Хе-хе! — и Татьяна Григорьевна глубоко вздохнула.

Вмешательство Татьяны Григорьевны очень смутило Соковлина: он более всего боялся ее защиты, и потому встал с места, чтобы прекратить разговор, и попросил у Охвостнева огня.

Но Охвостнев был не из скромных.

— А что, эта барыня-то, видно, не без чертика? — подмигнув, спросил он Соковлина, зажигая спичку.

— Да и не без ангела, — тихо сказал Соковлин.

После вечернего чая Татьяна Григорьевна пошла толковать о хозяйстве с Феоктистушкой. Охвостнев занялся с мадмуазель Кадо и увлек ее куда-то, а Соковлин остался с Наташей. Он был угрюм. Старые ли воспоминания проснулись в нем, надоели ли ему намеки и расспросы гувернантки, которая при всяком удобном и неудобном случае направляла разговор на Лохову и давала чувствовать, что она кое-что знает, — только он против обыкновения был молчалив и зол. Глядя бесцельно в сад и куря сигару, он точно забыл, что недалеко от него сидела прелестная девушка и, пользуясь его задумчивостью, пристально и с участием смотрела на него. Во взаимных отношениях двух симпатизирующих лиц всегда так бывает, что по мере того как один огорчается чем-нибудь и становится холоднее, нежность другого увеличивается. Это вернейший признак зарождающейся склонности: тут как будто является общее чувство, в экономии которого убыль с одной стороны должна вознаграждаться прибылью с другой. Так было и теперь. Полны первой смущенной и стыдливой ласковости были глаза Наташи. Какая-то мысль, казалось, не давала ей покоя, и ей хотелось ее высказать, но она долго колебалась.

— Вы сегодня не в духе, — сказала наконец она добрым, но решительным голосом. — Впрочем, вы правы, — тихо прибавила она.

Соковлин быстро обернулся. Ему мелькнула мысль, что Наташа намекает на известие, которое сообщила Кадо, что и она хочет кое-что выведать о его чувствах к Лоховой. Это его рассердило.

— А отчего бы, по вашему мнению, мне быть не в духе? — спросил он холодно.

Этот тон еще более смутил Наташу.

— Потому что все часто говорят вам о... вещах, о которых не следует говорить... Но мать это делает, право, из участия к вам. Пожалуйста, вы не сердитесь на нее, — упрашивая, сказала она.

— О, я нисколько не сержусь, — отвечал Соковлин. — Что вы хотите? Мы все так созданы, что, входя в дом или встречаясь с человеком, только и хотим заглянуть в тот маленький уголок, куда прячется много разного хлама, который совестно показывать другим, и немного заветных вещей, которыми хочется пользоваться одному.

Соковлин старался это высказать вежливо, но в словах его проглядывала желчь.

— Это так! — подумав, тихо сказала Наташа. — Но зачем вы приписываете все любопытству, тогда как тут может быть более участия?

— Вы думаете? — сказал Соковлин с усмешкой. — Это участие заключается в том, что, подглядев в человеке место, которое он бережет и скрывает, тычут в него пальцем и спрашивают: «Ах, не болит ли оно у вас?». Это хуже холодного любопытства: от того можно отделаться скрытностью, шуткой; там просто хотят заглянуть, что в вас поделывается, — тут хотят вмешаться в ваш заветный угол, начать в нем хозяйничать и распоряжаться. Что нужды, что это делается с целью помочь или поправить! Поверьте, это только благовидный предлог, а сущность-то заключается все-таки в том, чтобы втереться, куда не пускают. Наконец, если и действительно хотят помочь, — да кто просит этой помощи? Почему думать, что нуждаются в ней, что их хлопоты и поправки понравятся? — и тут Соковлин, взглянув на Наташу, заметил, что она меняется в лице и слезы готовы проступить у нее на глазах. — О, — сказал он, смягчая голос и обращаясь к ней добродушно, — вы так молоды, вам так извинительно видеть все с доброй стороны. Может быть, вы правы... А относительно Татьяны Григорьевны правы наверное: в ее участии я не сомневаюсь. Но когда потрешься с различными людьми да не увидишь в них приятностей, тогда невольно делаешься подозрительным, становишься эгоистом и просишь одного — чтобы оставляли в покое.

Но замешательство и огорчение Наташи не уменьшилось от этой оговорки. Бедная девочка начала разговор именно с тем, чтобы загладить дурное впечатление, произведенное нескромными намеками на Соковлина, не зная сама еще, как это сделать; и вдруг вместо того чтобы успокоить, она только раздражила его, вместо того чтобы извинить других, сама сделалась участницей вины. И это ее огорчало тем более, что в первый раз она решилась выйти из своей страдательной роли немой зрительницы, в первый раз хотела заявить свое участие к Соковлину, как взрослая самостоятельная девушка.

— Или вы очень несправедливы, или я более других виновата перед вами, — сказала сквозь слезы Наташа дрожащим от волнения голосом.

— Вы? — быстро спросил Соковлин. — Каким же образом вы можете быть виноваты?

— Потому что мне тоже хотелось принять долю участия в вас. Мне так хотелось вас успокоить, сказать вам какое-нибудь доброе слово. Правда, я желала быть чем-нибудь для вас, но я не думала, что это будет вмешательство ненужное, непрошенное. Боже мой, мое намерение казалось мне так извинительно!

— Да кто же говорит про вас, моя добрейшая Наталья Дмитриевна! — сказала Соковлин. — Если вся эта история надоела мне, сердила меня, так именно потому, что она происходила при вас, что меня в ваших глазах делали то каким-то обманутым страдальцем, то оскорбителем невинности. Сознайтесь, еще давеча, когда я легко отозвался об этой Лоховой, вы сочли меня способным презирать страдающую женщину. Я это прочел в вашем взгляде.

— О, нет! Нет! — мгновенно зарумянясь, горячо сказала Наташа. — Я знаю, я уверена, что вы правы. Меня только удивил ваш отзыв: вы всегда были так добры и снисходительны, что я не ожидала его.

— Видите ли, это длинная и запутанная история... Я бы вам рассказал, но вы не можете вполне понять ее. Я сам не знаю, кто и на сколько тут виноват. Вот все, что я пока могу сказать теперь. Мне дорог ваш ясный и светлый взгляд именно потому, что мне дорога доверенность и сочувствие вашей неиспорченной и чистой души; я возмущаюсь, что вас делают свидетельницей разговоров, в которых вы не можете быть судьею. И вы могли подумать, что ваше участие может быть для меня лишнее и непрошенное, когда я только и желаю, чтобы вы, одни вы верили мне настолько, чтобы прямо и откровенно обращаться ко мне во всем, где вам может быть полезна моя

опытность, чтобы вы этим в свою очередь дали мне право иногда прибегать к вашему чистому, освежающему участию...

Лицо Наташи так просветлело и стало радостно сквозь недавнее огорчение и еще дрожащие на ресницах слезы, оно так проглянуло неожиданно ясно и весело, как иногда в первые весенние дни сквозь крупный дождь и белые облака прорвется яркая голубая лазурь и с нее светло и радостно ярким лучом брызнет солнце.

— Как! — еще с недоверчивым изумлением спросила она. — Вы дорожите моим мнением, моей доверенностью? На что они вам? Я такая неопытная, такая неразвитая в сравнении с вами... Что я могу значить для вас?

— Вы удивляетесь? — спросил Соковлин. — Но верьте, это так, и я говорю искренно. Когда долго поживешь на свете, когда насмотришься столько грязненького, попорченного, надломленного, когда и сам поизотрешься, вид такого чистого и свежего существа, как вы, становится отрадой. Есть потребность нравственно освежиться веяньем молодой и ясной жизни... И невольно хочется заслонить и уберечь ее от всякого сору...

— Так я в ваших глазах что-нибудь значу? — весело приподняв на Соковлина свои играющие радостью глаза, спросила Наташа.

— А меня вы не считаете за скучного педагога или, с мадмуазель Кадо, за озлобленного эгоиста? — улыбаясь, вместо ответа спросил Соковлин.

Вместо ответа они взглянули друг на друга, улыбнулись, и так ласков, так нежен стал их взгляд, что оба, по тонкому чувству стыдливой меры, отвели глаза и стали смотреть, не смотря, в зеленую чащу сада.

Солнце уже село. Небо заволакивало безвредными жиденькими серыми тучами; последнее мерцание дня, проходя сквозь них, замирало так тихо, спокойно и кротко, как засыпает дитя на груди у матери. Соковлину и Наташе было так хорошо, что они долго, полные молчаливого и радостного спокойствия, готовы были, не говоря ни слова, сидеть друг возле друга и бесцельно глядеть в темнеющую мелколистную чащу сада. Но невдалеке стали приближаться голоса, и Соковлин, послышав их, встал и взялся за фуражку: ему не хотелось встретиться с другими, он желал цельно и невозмутимо увезти домой впечатление последнего разговора.

— До свиданья! — сказал он.

— До свиданья! — сказала Наташа и, зарумянившись, в первый раз подала ему руку.

Соковлин взял ее и медленно пожал. Когда бывалая барыня или зрелая барышня подает вам при прощании руку, которую жали на разные манеры сотни других рук, и подает ее так развязно и любезно, как будто предлагает удариться об заклад, вы пожимаете ее так же развязно, как руку своего приятеля, или так почтительно и осторожно, как бы вам давали самую хрупкую стеклянную вещь, и вы выносите от этого рукожатия такое впечатление (если только выносите его), как бы вы помяли в руке не то дощечку, не то замшевую растушевку [15]. Но когда в первый раз стыдливо протягивают вам трепетную и девственную руку, тогда, независимо от нравственного удовольствия, вы ясно отдаете себе отчет в ощущении физическом. Так было и с Соковлиным и с Наташей. Он чувствовал тоненькие и нежные кончики ее пальцев, она чувствовала тихое пожатие его твердой руки. Они оба понимали, что это не простое форменное прощанье, оба взглянули они друг на друга и тихо улыбнулись.

— Та-та-та! Так вот вы как прощаетесь, барышня! — сказал явившийся откуда-то с мадмуазель Кадо Охвостнев. — Никому не дозволяете дотрагиваться до руки, а Сергею Иванычу соблаговолили. Хорошо-с, хорошо! А что-то скажет Павел Егорыч, когда приедет сюда? А скоро, чай, приедет, вы не изволите знать?

— Ну, полно, полно, что затараторил, — сказала появившаяся вслед за ним во всю дверь Татьяна Григорьевна. — Нашел про кого говорить! Вот язык-то без костей. Тебе бы только оконфузить кого-нибудь. Э-эх, пустомеля!

— Кто это Павел Егорыч? — спросил ее Соковлин.

— Так, студентик один, Комлев, наш сосед. Хоть бы детей-то в покое оставил, — продолжала она, укоризненно обращаясь к Охвостневу.

— Да-с, дети! — смиренно вздохнув, сказал Охвостнев. — Вы, Татьяна Григорьевна, тоже лет шестьдесят назад детей были, а потом — слава-те господи!

— Ну, ну, уж ты наврешь! И еще шестьдесят! Ты на моих крестинах кашу, что ли, ел?

Соковлин оставил их на этом споре и уехал.

Вмешательство Охвостнева не испортило для него впечатления, оставленного разговором с Наташей и её любезностью. Напротив, он, не отдавая себе прямого отчета, чувствовал, что подтрунивание Охвостнева над тем, что Наташа подала ему руку, придавало большее значение этой снисходительности, как ударение над иным словом. «Свинья этот Охвостнев, — думал он. — А впрочем, добрый малый. Только зачем он приплел тут какого-то Пав-

ла Егорыча? Но можно ли обращать внимание на болтовню этого враля?» Однако ж, несмотря на это решение, Павел Егорыч все остался какой-то маленькой занозой, вынесенной из счастливой встречи. Встреча была отличная, припоминать ее — наслаждение, а все бы лучше, если бы не было этой маленькой занозы, которая нет-нет да и заденет.

5

В жаркий полдень под тенью густой аллеи, сквозь которую едва пробивались лучи и, только изредка блеснув сквозь зеленую чащу, светлыми пятнами ложились на утоптанный песок, — под тенью этой аллеи быстро шли мужчина и девушка. Мужчина был молодой, очень молодой человек, в летнем парусиновом платье и студенческой фуражке. Это был Комлев. Он был среднего роста, стройно и крепко сложен, румяное круглое с небольшими веснушками и несколько вздернутым носом лицо дышало жизнью и откровенностью, большие веселые карие глаза и всклокоченные, кверху волнистые, коротко остриженные белокурые волосы придавали ему еще более выражения бойкости и смелой уверенности. Казалось, он входил в жизнь так же порывисто и свободно, как шел по этой аллее, и был уверен, что эта жизнь будет так же ровна и гладка для него, как аллея. Рядом с ним шла Наташа, лицо ее разгорелось и было весело. Она шла также быстро, и белое платье ее откидывалось назад от этой походки; но она, казалось, скорее была увлечена своим спутником, чем спешила по собственной воле.

Они вышли на широкую луговину, посреди которой стояло несколько высоких осокорей.

— Сядемте здесь, — сказала Наташа. — Куда мы бежим?

И она села на скамейку.

— Я так боюсь, чтобы нас не догнали да чтобы нам разными расспросами не помешали поговорить с вами, что готов бы увезти вас на край света, — сказал Комлев, остановясь перед нею.

— Зачем так далеко? — улыбаясь отвечала Наташа.

— Да я уж так напуган. Часа полтора не мог вырваться, а вы как нарочно не хотели помочь мне.

— Я не находила и надобности помогать.

— Как! Не видавшись год, вам не хотелось поговорить со мной, ничего не сказать мне?

— Напротив. Вы видели, как я была рада, но мы разве не говорили там и не могли продолжать?

Комлев посмотрел пристально на Наташу, в нем шевельнулось какое-то недоумение. «Что это — кокетство или маскированное равнодушие?» — подумал он. Но лицо Наташи было весело, откровенно и ясно.

— Неужели вы не испытали, — сказал Комлев, — что есть вещи самые невинные, которые не говорятся при других: есть лица самые добродушные, которые парализуют всякий задушевный разговор.

— Нет, когда я рада, мне хочется, чтобы все были свидетелями моей радости, — тихо сказала Наташа и задумалась, как будто вспоминая что-то или жалея, что нет у нее такой радости.

Есть в живых речах оттенки, которые невозможно положить на бумагу, есть звуки голоса, которые действуют сильнее слов. Помимо значения слова, они, как музыка, навевают на чутко настроенную душу свои мысли, погружают ее в особое расположение. Так в задумчиво сказанных словах Наташи прозвучало неясно сознанное стремление к какой-то полной, светлой, еще не испытанной ею радости, чуть внятно прозвучало или зарождающееся нежное чувство, или потребность его. И этот звук болезненно уколол Комлева. В нем мелькнул ревнивый вопрос: к кому это чувство? Явилось досадное сознание, что не об нем, не о прежних с ним встречах задумалась она. Обидное и горькое сомнение шевельнулось в нем, но он не поддался ему, хотел его поверить.

— Вы это говорите так грустно, — сказал Комлев, — как будто вам жаль каких-то прошлых радостей, словно вы боитесь, что они не воротятся.

— О нет! — сказала она. — Вы знаете мое прошлое: оно все было тихо, ясно, я его люблю и вспоминаю, но в нем нет никаких особенно светлых мест, о которых бы я жалела.

— Вам не жаль и наших прошлых встреч, — сказал он с горячим упреком, — и тех долгих теплых летних вечеров, когда мы здесь в саду по темным аллеям и по берегу озера бродили, мечтали и строили воздушные замки до тех пор, пока роса и Татьяна Григорьевна не выгоняли нас... Вам не жаль их!

Наташа подняла на Комлева свои тихие глаза и улыбнулась.

— Да, это были славные вечера, — сказала она, — и я их вспоминаю. Но неужели жизнь впереди не даст ничего серьезнее наших ребяческих мечтаний!

Кровь бросилась в голову Комлева от тех мыслей, которые, как спуганные птицы, поднялись в его молодом воображении от слов Наташи. Еще при первой встрече с ней он заметил, как много она выросла и сформировалась в истекший год; но он теперь только скорее почувствовал, чем увидал, что какой-то тихий внутренний огонь согревал все выражение ее лица и точно просвечивал сквозь него. Это не был зародыш жгучего огня страсти, который волнует и кипятит кровь. Наташа была физически слишком молода для него. Это была теплота новой начинающейся жизни — та внутренняя теплота, которая заставляет на заре стыдливо раскрываться почку цветка и ждать освежающей росы полуоткрытыми розовыми губами. Согретый этим нежным огнем, весь спокойный и ясный облик Наташи был одушевлен таким чистым чувством, что делал ее самоё похожею на свежий свободно и доверчиво распускающийся цветок. Комлев взглянул на нее, и ему так совестно стало своих мыслей, что он невольно опустил глаза; он хотел сказать что-нибудь и в первый раз смутился перед Наташей. И другие мысли быстро сменили прежние и увеличили его смущение. Он заметил, что Наташа едва ли не перегнала его в этот год, что это уже не тот полуребенок, над которым он, юноша, в прошлую встречу имел перевес и влияние, что ее женская быстро развивающаяся природа перегнала в это время его мужское более прочное, но медленное развитие, что он еще остался почти прежним юношей, а для нее промелькнул тот короткий промежуток, который вдруг из девочки-подростка делает девицу. И весь смущенный под влиянием разнородных и быстро сменяющихся чувств стоял Комлев перед Наташей. Ему было и досадно, что она словно ускользает из его рук, и рад он был, что она уже не девочка и что между ними может завязаться серьезная борьба; он и боялся, не любит ли она кого-нибудь, и надеялся, не к нему ли пробуждается в ней более нежное и сознательное чувство. Он много переживал в эти короткие минуты.

Наташа заметила его смущение.

— Что с вами? — спросила она.

— Я вам откровенно скажу: меня смутила перемена, которую я нашел в вас, — отвечал Комлев.

— В каком смысле? Много я выросла? Много... как это сказать... ну, помогите! Словом, стала серьезнее? — спрашивала Наташа с несвойственной ей живостью.

— Нет, не то. Вы много выросли и совсем сформировались. Но меня не это смутило. Я нашел, что... Можно говорить все? Вы не рассердитесь?

— Отчего?

— Но вы прежде были так застенчивы и пугливы! — подсмеиваясь, заметил Комлев.

Наташа раскраснелась.

— Я стала любопытнее, — немного смутившись, тихо проговорила она.

— Вот видите ли, я нашел, что вы или любите или готовы полюбить кого-нибудь, и меня смутила мысль — кто...

— Какой вздор! — сказала Наташа, прерывая его, и ей самой показалось странно, что эти в первый раз услышанные слова не рассердили и не испугали ее. Напротив, сдержанная, едва заметная самодовольная женская улыбка чуть-чуть пробежала у ней по губам, и, чтобы лучше скрыть ее, она отвернулась от Комлева и взглянула в аллею.

И как будто в ответ на вопрос Комлева ее глаза прямо встретились с Соковлиным... Он шел к ним по аллее и давно уже смотрел на разговаривающих. Ему не заметно было выражение их лиц, не слышно было их слов, он только видел под навесом зеленых склонившихся ветвей полную надежд, свежести и жизни молодую пару. Грустное и горькое чувство налегло ему на сердце, когда он невольно сравнил себя с ними. Но он подавил это чувство, и его умное лицо было спокойно и добродушно, когда он подошел к разговаривающим. Комлев тоже увидал Соковлина и подозрительно окинул его с ног до головы.

— А, Сергей Иваныч! — сказала Наташа, вставая навстречу Соковлину. Ей почему-то совестно было при Комлеве подать ему руку, но она подала. — Вы не знакомы? — спросила она и представила Соковлина и Комлева друг другу.

Соковлин обратился к Комлеву с радушной простотой. Узнав, что он еще слушает курс в университете, он стал его расспрашивать про некоторых профессоров, с которыми когда-то вместе учился и оставался дружен. Но Комлев отвечал несколько принужденно и неохотно: он почувствовал к Соковлину какое-то неприязненное чувство. Не то чтобы это была ревность: увидев добродушную, умную, но не молодую и не очень красивую наружность Соковлина, он не нашел в нем соперника. Но время появления Соковлина, его спокойный разговор, в котором сейчас почувствовал Комлев превосходство образования и опытности, если не ума (самолюбие его не допускало этого последнего превосходства), а более всего предмет разговора — все было неприятно Комлеву. Нет ничего оскорбительнее для молодого человека, как видеть себя очень молодым и еще недоучившимся перед глазами той, которая нравится. За-

метив или нет это скрытное нерасположение, Соковлин вскоре обратился к Наташе.

— А что, прочли вы «Старосветских помещиков» [16]? — спросил он.

— Прочла.

— Ну, как вы ее нашли?

— Кого?

— Повесть.

— Ах да! Прелестно, — рассеянно отвечала Наташа.

Наташа не была, казалось, расположена вести один из тех длинных разговоров, которые бывали у них прежде по поводу какой-нибудь книги или замечания. Комлев нарочно отошел немного и, прислонясь к дереву, вертел в руках ветку. Соковлин видел, что он помешал молодым людям.

— Однако жарко, — сказал он. — Прощайте!

— Куда же вы? — спросила Наташа.

— На террасу — там холоднее.

— Правда, пойдемте и мы, — сказала она, обратясь к Комлеву.

— Пойдемте, — нехотя отвечал он.

Соковлин нарочно пошел вперед. Когда он отошел на такое расстояние, что слова не могли доходить до него, Комлев спросил Наташу:

— Что, этот почтенный педагог часто у вас бывает?

— Этот почтенный педагог действительно очень почтенен, — отвечала Наташа, — и если вы не хотите говорить мне вещи для меня неприятные, то прошу вас не подсмеиваться над ним.

— Д-да? — значительно спросил Комлев.

— Да, — твердо отвечала Наташа.

Они оба замолчали и, придя на террасу, где сидели все остальные, расселись в разных углах. Завязался общий разговор, но Комлев не вступал в него.

День пошел обыкновенным порядком, но для Наташи и Соковлина установившаяся гармония была нарушена, им как-то было неловко. Комлев ни по чему, конечно, не был под пару Татьяне Григорьевне, с мадмуазель Кадо он был мало знаком, она нисколько не интересовала его, да при ней был Охвостнев, и для них третий, по-видимому, был лишний. Оставалась одна Наташа, с которой он был дружен с детства, возле которой и года и взаимные отношения указывали ему место. Это было ясно для всех. Если бы Комлев сошелся с Соковлиным, все бы могло идти по-прежнему, но с первой встречи видно было, что

это дело трудное. Комлев даже не хотел или не умел владеть собою настолько, чтобы скрыть свою холодность.

После обеда, когда Татьяна Григорьевна ушла по обыкновению спать, а Охвостнев подсел к гувернантке, Комлев взял фуражку и ушел в сад.

Соковлин начал расспрашивать Наташу про молодого человека и узнал, что он сын одного больного помещика-соседа, который не выезжает из дому. С детства Комлев почти рос в их доме, и покойная мать его была очень дружна с Татьяной Григорьевной. Наташа и Павлуша вместе играли, вместе учились, пока не отвезли мальчика в гимназию. Но и тут часто видались они: то в городе, куда на зиму переезжали Любанины, то летом во время каникул в деревне. Кончив курс в гимназии, Комлев два года назад поехал в университет, выдержал прекрасно экзамен и продолжал так же заниматься, приезжая на лето в деревню и ежегодно видаясь с Наташей.

— А однако ж вы странно встречаетесь с своим другом, — сказал Соковлин, когда Наташа рассказала ему о своих отношениях к Комлеву. — Только успели свидеться — и уж между вами явилась какая-то холодность.

— Почему вы это думаете? — спросила Наташа.

— Да не нужно быть очень проницательным, чтобы заметить, что молодой человек недоволен вами. Чем это вы огорчили его?

Наташа затруднилась ответом: ей не хотелось сказать настоящую причину размолвки и вместе с тем она не умела и притворствовать.

— Да, я, может быть, действительно не совсем права перед ним, — подумав, отвечала Наташа, — но я гораздо более рада ему, чем он думает. Что же делать, если я не умею этого выказать, — грустно прибавила она.

— Ну, это выкажется и заметится скоро, — сказал Соковлин. — И было бы уже замечено, если бы я не помешал вам. Пожалуйста, снимите с меня грех старых холостяков быть помехой молодости: оставьте меня и позовите Комлева. Вы оба будете в выигрыше.

— Разве вам скучно со мною, что вы меня гоните? — спросила Наташа и посмотрела на Соковлина каким-то смущенным и вопрошающим взглядом. — Правда, — прибавила она, опустив глаза, — я часто думала, какое удовольствие **вы** (она сделала ударение на это слово) можете находить в беседе со мной, не развитой, не знающей ни света, ни жизни.

— Однако ж вы видели, что я находил это удовольствие. Мне нечего уверять вас, приятны ли мне были наши

долгие беседы с вами, — вы это могли сами заметить; и если и вам они были не скучны, то верьте, из нас двух я был несравненно в большем выигрыше. Но теперь их надо кончить. Для вас наступает пора жизни. Один день ее научит вас более, чем все слова мои, — и ей надо дать дорогу... До свидания! — сказал Соковлин, вставая. — Я забыл, что мне к вечеру нужно быть дома. Извините меня перед Татьяной Григорьевной.

Он протянул руку Наташе и отвечал улыбкой на ее недоумевающий взгляд, старавшийся разгадать его. Она ничего не отвечала, не удерживала его, тихо пожала его руку и проводила глазами. Соковлин весело вышел, велел подать лошадей и уехал.

6

Доморощенная доброезжая тройка спорой рысью бежала домой, открытый тарантасик слегка подпрыгивал по мягкой торной колее проселка. Дорога шла веселыми перелесками и полями. Кресты и скирды сжатого хлеба грудно стояли мерными рядами по желтым далеко раскидывающимся жнивам; крупные кисти рябины виднелись красными шапками в зеленой опушке; на бледноголубом небе стояли местами без всякого движения жиденькие беленькие полоски облаков; было тихо, и жара спадала. Простая русская природа молча отдавала свои полновесные здоровые и простые плоды, как иногда молча и спокойно здоровая крестьянка родит в поле ребенка и тихо несет будущего работника в деревню.

Соковлин тихо подпрыгивал в тарантасе и с веселым лицом поглядывал по сторонам. Попавшийся ему навстречу чей-то крестьянин своротил с дороги, сняв шапку и, пропустив его, низко поклонился. Он так же весело отвечал на его поклон. «Барин какой-то веселый едет, — подумал мужик.— Как не быть веселым — бог хлебушка дал!» И поплелся он далее, может быть раздумывая: чей это барин, и много ли у него крестьян, и велика ли запашка.

Но крестьянин был плохой физиономист. Выражение лица у Соковлина было вроде той тупой и сладковатой веселости, с которою иногда посреди родни: папеньки, маменьки или мужа — прощаешься надолго с милой женщиной, желаешь ей много приятных вещей и улыбаешься, тогда как слезы готовы брызнуть из глаз. Он смотрел кругом, видел и хлеб, и рябину, и мужику ответил на поклон; но все это проходило у него перед глазами, точно перед зеркалом, не оставляя никакого следа, не прерывая ряда

мыслей, если только в мыслях у него была какая-нибудь последовательность. Но не только этой последовательности не было в его мыслях, вряд ли можно назвать и мыслями странную смесь каких-то начатков мысли, воспоминаний, предположений, которые толпились в его голове, зарождались, тотчас были покидаемы для других и вертелись сплошной вереницей. Соковлин был в положении человека, который сделал какую-то величайшую глупость, воспоминание об этой глупости беспрестанно лезет в голову, а между тем совестно и не хочется вспомииать ее, не хочется даже признаться себе, что она была сделана. Соковлин безотчетно держал себя в этой неопределенности самосознания, как иногда, долго вертясь в постели от бессонницы и желая во что бы то ни стало заснуть, отгоняешь от себя все мысли и стараешься ни о чем не думать. Он до того невольно подвергся этому отсутствию соображения, что, улыбнувшись Наташе, так и продолжал улыбаться, как будто эта улыбка засела у него на лице: он забыл про нее. И дом показался, и встретили его на крыльце дворовые мальчишки, и взошел он в пустые и тихие комнаты — а лицо его все носило веселенькое и приятное выражение, точно, проигравшись в карты, хотел он обмануть им окружающих. Только когда он разделся, закурил сигару и засел в угол мягкого дивана, когда его обступило унылое безлюдье, среди которого он привык анализировать и читанное и виденное, и себя и других, тогда эта привычка — в известной обстановке отдаваться известному настроению — взяла свое. Он задумался, и наморщенное лицо словно постарело от каких-то горьких и разъедающих мыслей.

Отчего бы, казалось, очутиться ему в таком странном и неприятном положении? Ничего особенного не случилось. Появился юноша, приезд которого не был для него нечаянностью. Наташа не оказала Комлеву никакого предпочтения, да если бы и оказала, так что же в том Соковлину, который в нее не влюблен и видов на нее никаких не имел, по крайней мере доселе. Но дело в том, что от этого появления юноши, только от одного появления его рядом с Наташей, надтреснул и осел весь счастливый мирок, который устроил себе Соковлин, в котором он спокойно наслаждался, обманывая себя и настоящими отношениями, и будущим выходом из них. В неприятном ощущении, которое пробежало в нем при виде Комлева рядом с Наташей, в маленькой добродушной уступчивости, с которой он посоветовал Наташе сойтись и помириться с Комлевым, он узнал знакомое ему чувство ревности, зна-

комую ему борьбу с соперником. Он столько любил, и ревновал, и боролся, что не мог не узнать этих чувств, хотя они явились тихо, скромно и в другом наряде.

Соковлин принадлежал к тем сильно развитым, но расколотым и слабым натурам, которым сознание слабости не мешает поддаваться ей, которые увлекаясь чем-нибудь, в то же время шаг за шагом зорко следят за собою и таким образом совмещают в себя и пьяницу, протягивающего руку к чарке, и блюстителя порядка, который говорит ему, что он попадет в часть.

«Что же это такое? — думал Соковлин, сидя на диване и с озлоблением дымя сигарой. — Опять любовь, что ли? Мало разве я любил, и обманывал, и обманывался? Боже мой! К чему же все уроки прошедшего, все передряги, от которых приходилось так тяжело, что думал и желал навек отделаться от них? Что за живучесть сердца, что за странная потребность любви! К чему вся жадность спокойствия и что это за жалкое благоразумие, когда с сединой в голове нельзя сойтись с шестнадцатилетней девочкой, чтобы не влюбиться в нее! Покровительственное чувство... Желание развить хорошенькую головку... В какие почтенные костюмы начало рядиться то кипучее чувство, которое, бывало, так смело являлось с поднятым забралом, с открытым лицом! И мы еще смеемся над влюбленными стариками, будто не найдется приличного костюма и для их бессильного чувства! И что за несчастная привычка немножко подрапироваться! — продолжал он. — Отчего бы мне не уйти под каким-нибудь предлогом или просто, не обращая внимания на размолвку, сидеть себе, как обыкновенно? Нет! Явилось сочувствие к юным сердцам! Да юные сердца, только оставь их на неделю, и без того так сцепятся, что их водой не разольешь, уж это известный закон взаимного притяжения! Нет, надо было закутаться в мантию добродетельного старца да и выставить из нее красный нос, чтобы узнали, что сам охотник до чарочки, которую советуешь подавать другому!..»

«Вздор! — решил Соковлин, быстро вставая, бросил окурок сигары и начал ходить. — Вздор! Ничего серьезного еще нет, и не надо давать волю скверной привычке. Для женитьбы на Наташе я стар; для того чтобы поиграть да и разойтись — достаточно честен, уж теперь не надуешь себя на этот счет старыми теориями. Будет! Поиграл в эту игру и проигрался порядочно, пора и честь знать. Да и шансы не ровны: мне ли ставить свою последнюю насущную копейку, когда у тех еще непочатый мешок? Сделал свое дело старый холостяк, развил немного девочку, при-

готовил, поддразнил — ну и прочь, и ездить перестану, — что мне там делать? Мешать им? Бог с ними! Разыгрывать добродетельного друга? Преглупая роль! Разве за старухой приволокнуться, чтобы ее наливки пить? Да и там есть счастливый соперник — Охвостнев. Вставайте же, старые забытые друзья! — вздохнув, чуть не сказал он вслух, подходя к полке с книгами и стряхивая с них пыль. — Вы теперь моя страсть и неизменные любовницы!»

Соковлин взял одну из недавно полученных и не разрезанных еще книг, ушел с ней в спальню и лег, чтобы почитать на сон грядущий и забыть недавние мысли. Однако ж должно полагать, что неизменная любовница оказалась или скучной, или глупой, потому что он весьма скоро положил ее на стол, дунул на свечи и перевернулся на бок. Скоро ли он заснул или нет — это покрыто мраком ночи и неизвестности.

Соковлин действительно засел дома. Он снова усерднее занялся хозяйством, чтением, перепиской. В нем была видна маленькая лихорадочная деятельность. Никаких так называемых им пустых мыслей он теперь в голову не пускал и отгонял их всячески. Когда становилось ему от них очень жутко, он брал ружье и охотился до устали. Так прошло дней десять.

В одно прекрасное послеобеда, которое было не лучше и не хуже других и ничем от них не отличалось, Соковлин сидел под окном и наблюдал за вороной, которая с оглядкой подбиралась к кости. Кучер, выспавшись в каретнике, протирая глаза, выходил из него.

Один взгляд на этого кучера, с которым Соковлин езжал в Любановку, вдруг какими-то судьбами перевернул все его размышления.

— Василий! — закричал Соковлин, увидав его. — Закладывай тройку в маленький тарантас, да живее!

— Слушаю-с, — отвечал кучер и пошел закладывать, а Соковлин пошел поскорее переодеться: он ехал к Любаниным.

Он рассуждал очень благоразумно: что глупо из того, что ему почудился вздор, оставлять своих знакомых и скучать, запершись дома; что отсутствие его может быть как-нибудь перетолковано; что, наконец, это просто невежливость, — и прочее... — и он торопил прислугу. Он, кажется, просто боялся уличить себя в постыдной слабости и одуматься. И он уехал.

Соковлин встретил все общество Любаниных в зале. Не успел он еще сбросить в прихожей свою летнюю накидку, как Татьяна Григорьевна уже запела:

— А! Поди-ка, поди-ка сюда, беглец! Где это ты, батюшка, пропадаешь? Что с тобой? Две недели глаз не показываешь — и не стыдно это тебе? Погляди-ка на меня... Да что это, родной, уж не болен ли ты был? Словно изменился в лице... — вдруг переменяя тон, сказала она.

— Нет-с, я здоров. Но рабочее время, Татьяна Григорьевна, сами знаете, нужно за всем посмотреть, да дела кой-какие... Ну и охота, — весело отвечал Соковлин, здороваясь с Татьяной Григорьевной.

Татьяна Григорьевна только покачала головой.

— Ох ты, хозяин! Хозяин ты мой! Чай, и в поле-то ни разу не был? А признайся-ка, все писал, чай, что-нибудь или читал... Ох, не зачитайся ты, Сергей, право, не зачитайся, — продолжала она с искренней заботливостью. — Ведь это бывает. Вот недалеко ходить: наш дьячок Селиверстов совсем свихнулся! Впрочем, ведь, говорят, это от церковных, — добавила она успокоительно, — а ты, чай, в них не заглядываешь?

Соковлин поздоровался с Охвостневым и мадмуазель Кадо, которые стояли ближе, и обратился к Наташе. Она стояла в стороне с Комлевым и все время смотрела на Соковлина. Когда он подошел к ней, она подала ему руку, не сказала ни слова, но только пристально поглядела на него. Этот спокойный и испытывающий взгляд смутил несколько Соковлина и он поспешил обратиться к Комлеву. Тот поклонился ему очень вежливо, но Соковлин заметил или ему так показалось, что Комлев стоял возле Наташи как-то особенно твердо, как человек, который знает, что тут его место и что его уже не собьешь с него.

— А я было уж хотела посылать проведать тебя, Сергей. Да вот кстати приехал, — сказала Татьяна Григорьевна. — Молодежь-то моя сегодня подбила меня в поле ехать чай пить. Тащусь, старуха, нечего делать! Да день-то уж очень хорош — что делать, надо потешить молодежь. Ты поедешь с нами, Сергей, а? Поедешь, голубчик?

— Отчего же нет? С удовольствием, — отвечал Соковлин.

— Только с кем же поедет Сергей Иваныч? — заметил Охвостнев. — Мы все уже разбились: Наталья Дмитриевна с Павлом Егорычем, я с мадмуазель Кадо — уж нас водой не разольешь.

— Ну что ж, а я с Татьяной Григорьевной. Так молодежь к молодежи, а пожилой к пожилым — не правда ли, Татьяна Григорьевна? — весело сказал Соковлин.

— Нельзя, — заметил серьезно Охвостнев. — У Татьяны Григорьевны тоже есть кавалер — Феоктистушка!

— Полно, полно, скалозуб! Поедем, Сергей, поедем. Феоктиста я хотела взять, чтобы он мне хлеба показал, да и Аринушку для компании — ведь я без них никуда. Да у меня дроги [17] просторные, а впрочем, если хочешь, Сергей, так Феоктиста и оставлю.

— Да зачем же, Татьяна Григорьевна? Ведь будет всем место.

— Как не быть! Еще двоих можно посадить!

— Ну так и прекрасно, так и поедем все старички, а я кстати у Феоктиста хозяйству поучусь.

Соковлин говорил весело и, казалось, был очень доволен поездкой. Только — неизвестно, почему — он с каким-то особенным наслаждением причислял себя к старичкам.

Все стали собираться, и вскоре подали экипажи. Наташа и Комлев сели в подержанную кабриолетку [18], Охвостнев с мадмуазель Кадо за неимением другого кабриолета поместились в узенькую двуколесную таратайку [19]. Француженке доставляло это большое удовольствие: она хохотала, говорила — «que c'est une délicieuse télégué» * и так долго усаживалась, что Охвостнев наконец, потеряв терпение, сказал: «Да ну, укладывайтесь, мамзель!», посадил ее насильно и прижал собою к стенке, что ей доставило снова возможность повизжать.

Между тем на большие дроги какого-то хитрого домашнего покроя, разнообразием и удобством которых помещики любят хвастаться друг перед другом, усаживались и Татьяна Григорьевна, и Соковлин, и Аринушка с бесчисленными узелками, которые подавали ей горничные, несмотря на то что целая телега с припасами пошла вперед. Почтительно прилепился и Феоктист позади барыни, долгушка на вязовых дрожинах только поскрипывала и выгибалась чуть не до земли, а места в ней оставалось еще на четырех. Тройка лошадей, запряженная под старую барыню, была чуть ей не ровесница, старый кучер Архип в обвислом армяке был не по одному названию старый кучер. Весь экипаж с седоками и их одеждой имел тот домашний, затрапезный, просторный и засаленный вид, в котором так любят обретаться у себя русские люди, когда не боятся посторонней насмешки.

Один Соковлин только выделялся из этой серенькой, бесцветной группы, но и его простой, не бросающийся в глаза наряд как-то покрылся общим тоном обстановки, и он, несмотря на веселую и исполненную светлого и сни-

---

* Что это за прелестная телега (франц.).

сходительного ума наружность, точно старелся и опускался на уровень его окружающих.

Бойко рванулась молодая и заносчивая лошадь с Охвостневым и француженкой, бодро пошел добрый конь в кабриолете, и вслед за ними, скрипя экипажем, апатично двинулась старая тройка.

Комлев оглянулся и, смеясь, сказал что-то Наташе. Наташа не обернулась и не отвечала.

Через час после этого на раскинутых коврах и подушках, снятых с экипажей, знакомая группа сидела в живописном беспорядке. Посредине стояли банки с вареньем, тарелки с крендельками и сухарями, заткнутая чистой тряпкой бутылка со сливками и пузырек с клюквенным морсом. В стороне у кустов, возле разведенного огня, дым от которого доносился до кружка и отгонял мух и комаров, кипел толстопузый самовар. Возле него хлопотала востроносая Аринушка в белом чепце, а степенный и дородный Феоктист, не теряя важности, медлительно и аккуратно подкладывал в огонь хворост. Здоровый молодой лакей, буйный Дон Жуан девичьей, не раз даже обеспокоенный розгами по приказанию Татьяны Григорьевны за нарушение чистоты нравов и посеяние смут между доморощенными весталками, — разносил чай. За кустами кучера, покуривая трубочки, стояли около лошадей. Дальше видна была крыша мельницы, и глухой шум воды и жерновов, то упадая, то возвышаясь, долетал от нее. Дневной жар замирал, и румяный осенний вечер начинал разгораться.

С деревенским аппетитом отдав дань яствам и любимому напитку, весело и незаметно проводила время знакомая семья. Мужчины, медленно допивая чай, курили, дамы занялись фисташками и кедровыми орехами, которые в виде сюрприза поднесла им Аринушка. Общий разговор долго шел то веселыми перекидывающимися речами, то маленькими спорами; но потом, как всегда это бывает в обществе, где есть умный и хорошо говорящий человек, он остался за сильнейшим. Речь была вызвана невыгодным замечанием мадмуазель Кадо о русской природе, и Соковлин вступился за свою родину. Он доказывал, что те из людей севера, которые горячо любят природу, в состоянии лучше ценить ее, тоньше умеют подмечать ее красоты, чем избалованные ею жители юга. Он очертил резко набросанную живописными группами красоту Швейцарии,

млеющую в нежных и роскошных красках прелесть Италии и потом, перейдя к нашей грустной бледной северной природе, метко обрисовал ее тонкую застенчивую прелесть и с глубоко прочувствованным знанием дал понять ее задумчивый и широкий покой.

Соковлин начал спокойно, но, увлекшись, одушевился и говорил с жаром; потом, дойдя до русской природы, речь его подстать предмету приняла какой-то тихий и грустный, задевающий за душу строй, и когда он окончил, сказав: «Да лучше посмотрите кругом», — все оглянулись на пышный закат, и среди глубокой тишины все недосказанное договорил осенний вечер.

Рассказ Соковлина даже на менее восприимчивых произвел впечатление. Но Наташа, слушая его, не спускала глаз с рассказчика. В душе ее рисовались яркие картины далеких и не виданных ею стран; но, переносясь туда, она слышала возле речь Соковлина, как будто бы и он переносился с нею; вспоминались ей и ее прошедшие беседы с ним; и когда потом взглянула она вокруг, она не видала ни облаков, горящих в алом огне на небе, ни розовых теней и полутонов по изгибам полей и перелесья, — словом, не видала никаких частностей картины, но весь вечер, вся поэзия его всецело отразилась в ее душе, и среди этого глубокого поэтического настроения, как туманы, стали подниматься воспоминания всего от него слышанного, всего вместе читанного.

— Хорошо, хорошо, что говорить! Везде божья красота!— вздохнув, сказала Татьяна Григорьевна.— Однако ж сыровато становится, поедемте-ка. Собирайтесь, Аринушка, да велите подавать лошадей. Ведь этого соловья не переслушаешь, — продолжала она, обращаясь к Соковлину. — Ох ты златоуст, Сергей, право, златоуст, жемчугом с языка сыплешь! Где ты научился этому? Наташа! Эк, засмотрелась, голубушка! Надень платок, сыро становится.

Все стали собираться. Татьяна Григорьевна сама надела и начала закалывать платок круг шеи дочери; хотела уже отойти, когда Наташа, стыдливо смутясь, нагнулась к ней и что-то тихо сказала.

— Правда, правда, — громко отвечала Татьяна Григорьевна.— Сергей! Тебе, голубчик, кажется, неловко ехать с нами, поезжай-ка с Наташей, а Павел со старухами потрясется — теперь его очередь; да и вечер же теперь, ты поосторожнее поедешь, чем этот молодец.

— Зачем же, Татьяна Григорьевна, разлучать молодых людей? — сказал Соковлин. — Мне, право, очень покойно и с вами. Да и больше под стать, — прибавил он.

— Всякому своя очередь, — возразил Комлев, который весь вечер не говорил с Наташей и, кажется, немного сердился на нее. — Я пользовался обществом Натальи Дмитриевны, теперь ее надо вознаградить за скуку со мной. Этого требует справедливость.

Соковлин хотел возразить, но Наташа взглянула ему в глаза и тихо сказала:

— Вы не хотите ехать со мной, Сергей Иваныч?

— Напротив, — отвечал он, — но...

— Да чего тут упрямиться? Ну, с твоими ли длинными ногами в долгушке ехать! Изволь в кабриолетку садиться, — решила Татьяна Григорьевна,— а молодец-то со старухами потрясется — нешто ему!

Подали экипажи, все уселись и тронулись. Соковлин посадил Наташу и поехал с ней позади других. Пыль густым облаком поднялась по мягкому проселку и долго стояла над ним, не разносимая ветром.

— Отстанем немного, — сказал Соковлин и задержал лошадь.

Вскоре передние экипажи скрылись за изгибом дороги, и они остались одни.

Догоревший вечер, как потухающий уголь, начал с востока подергиваться синевой и огненной лавой переливаться на запад. В воздухе становилась ночная тишина и чувствовался холод. Кругом сквозь полноту осенней жизни уже проглядывало тяжелое предчувствие близкого увяданья, местами из желтоватой зелени леса вырывался малиновый лист и уныло горел под последним лучом солнца лихорадочным румянцем. Соковлин и Наташа ехали молча.

Соковлин не хотел говорить. Говорить о пустяках ему было совестно и тяжело, высказывать то, что шевелилось у него на душе и давило ее, он не мог, да и было бы трудно. Возле него, закутавши в бурнус[20] едва округленные плечи, сидела полная задумчивой развертывающейся красоты Наташа. Белый платок, связанный косынкой у подбородка, весело играл концами на затылке и резко оттенял спереди черные волнующиеся волосы и овальное согретое нежным румянцем, одушевленное мыслью темноокое лицо. Эта девочка, чистая, как ясное утро, влекла его к себе всем обаянием своей нравственной и физической красоты и молодости. Она подняла в нем не страстное и порывистое чувство молодых лет и сил, но то глубокое влечение тонко-развитой, любящей натуры, которое Соковлин так долго и бесплодно носил, разбрасывал на предметы, его недостойные, и наконец, измученный и обманутый, думал схоронить в себе, как пустую мечту, как мо-

лодое стремление к слишком непрактически задуманному идеалу. И вот простая, взросшая в деревенской глуши девочка свела этот идеал с его недоступных подмостков и так просто, как просто все прекрасное в жизни, так естественно его олицетворила, что в заносчивые, отуманенные юностью годы он бы, может, ее не оценил и прошел мимо. И теперь, когда никакое внешнее препятствие, по-видимому, не становилось резко между ними, он внутренно сознавал препятствие безвыходное, неодолимое, тем более страшное, что оно было в нем самом. Этим препятствием были бесплодно и неотвратимо потраченные молодые годы, силы, верования. Этим препятствием были те сомнения в прочности любви, в неизменности чувства, которые невольно и глубоко засели в его убеждения от всего виденного и пережитого, это бессилие смело и свободно отдаться влечению, эта привычка вечно разбирать себя и других, по волоскам растеребливать каждое живое движение и чувство, докапываться до его основы в настоящем и подозрительно заглядывать в его будущее — единственный грустный и тяжелый дар, выработанный им из всего прошлого. Соковлин сознавал, что не под стать он такому молодому и свежему существу, как Наташа, что плохо отвечать нравоучениями и благоразумными советами на то, что просит не слов, а жизни.

А Наташа сидела тут, рядом. Колебанье экипажа заставляло иногда Соковлина дотрагиваться плечом до ее плеча и точно насмешливо поддразнивало его. И умирающий день, и дыханье осени в природе, и этот глаз-на-глаз с Наташей — все говорило заодно с его думами: что это, может быть, последнее веянье надежды, любви, молодости, счастья. И он снова видел их ослепительную вереницу тихо и навек удаляющеюся от него, и он должен был молчать и не сметь руки протянуть за ними. И Соковлин молчал и упорно глядел вперед по дороге, словно боясь пошевельнуться.

Не то было с Наташей. На ее прозрачном лице, не умеющем еще скрывать душевных движений, точно тени от облаков, проносились какие-то мысли и выдавали себя то слабо вспыхивающим румянцем, то едва заметными движениями просвечивающих сквозь кожу синих нерв. Ей хотелось многое выспросить, разъяснить себе в отношениях Соковлина, но врожденная молчаливость, стыдливость, наконец, неуменье приняться мешали ей, от внутреннего волнения сердце у ней сильно билось, словно она ждала чего-то. Ей так хотелось говорить, а она не решалась. А время шло, случай убегал.

— Сергей Иваныч, за что вы изменились к нам? — сказала наконец Наташа нетвердым, несколько прерывающимся голосом, не глядя на Соковлина.

Соковлину показалось, что слова ее точно зазвенели в воздухе. «Вот оно — испытание!» — подумал он, и сердце у него сжалось.

— Полноте, Наталья Дмитриевна, отчего это вам показалось? — глухо отвечал он, и слова точно задевали за что-то у него в горле, и он усиленнее начал всматриваться в дорогу.

— Нет, это мне не показалось, я это чувствую, — тихо, но твердо говорила Наташа. — Да иначе отчего же бы вам и не бывать у нас по-прежнему?

— Я уж вам говорил, — нерешительно отвечал Соковлин, — дела кой-какие, охота, хозяйство...

— Нет, вы не повторяйте этого! Зачем? Зачем? — с нежным укором торопливо перебила она. — Я виновата, что и спросила вас. Но, видите ли, меня мучила мысль, что, может быть, нечаянно, невольно я сделала вам что-нибудь неприятное... Вы мне скажите только, я тут ни в чем... ни в чем не виновата? — голос Наташи робко замирал, и последние слова были едва слышны.

— Ни в чем, — тихо сказал Соковлин.

И они опять замолчали.

И целый рой поднятых и невысказанных чувств тяжело носился над ними в этом натянутом молчании. Соковлину наконец стало невыносимо это положение и совестно за свою слабость. Сделав все усилие воли, он решился выйти из него. Невольно чуть слышно вздохнул он и обратился к Наташе, чтобы сказать ей несколько спокойных оправдательных слов, но — один взгляд на нее изменил его мысли и вывел из того твердого и замкнутого в себе положения, в котором он хотел остаться. Уклончивость Соковлина, нежелание его откровенно высказаться ей глубоко огорчили Наташу. Она была бледна как полотно, и в первый раз он заметил на ее лице какое-то не детски серьезное выражение. Это лицо молча обвиняло его за его оскорбительное недоверие: в нем были видны подавленные слезы досады и оскорбленного чувства, которые накипают внутри, белый чистый лоб точно потемнел, глаза смотрели пристально вперед, веки сжаты, как будто она не пускала ими готовые брызнуть слезы. У Соковлина сердце заколыхнулось: ему же приходилось оправдываться и утешать. Но этого он не мог. Он только почувствовал, что надо ему говорить, говорить уже не с девочкой — говорить прямо и откровенно.

— Вы не огорчайтесь моей скрытностью, — сказал он дрожащим от волнения голосом. — Поверьте, я больше терял оттого, что не мог высказаться вам. Но зачем мне было бесполезно смущать вас, говорить вам то, в чем не можете вы помочь?

— И чего не могу разделить? — добавила Наташа.

— Да, и разделить не можете. Да и зачем же делиться вещами тяжелыми? У всякого возраста есть свои печали. Мои слишком еще далеки от ваших, и мне трудно бы было и объяснить их вам.

— Да, — холодно сказала Наташа, — я так и думала. Я слишком молода, чтобы понимать их и чувствовать! — губы слегка дрогнули у нее, и голос порвался.

Соковлин почувствовал в этих словах глубоко уязвленное самолюбие девушки, которая начала сознавать свои силы — свои права на полную жизнь — и видит, что человек, высоко ею ценимый, считает ее еще не доросшей до себя. Оскорбленная женщина послышалась ему; и упрек, и этот первый отпор, первый звук женского голоса в любимой девочке — все вместе и обрадовало и разбило его.

— Нет! — сказал он с жаром.— Вы поймете меня, хотя мне действительно трудно передать вам все. Но помните, вы сами хотели этого. Да, вы угадали... Все, что я говорил вам, была пустая отговорка: я не ездил к вам потому, что не мог равнодушно видеть вас, вас и... Комлева.

Наташа тихо обратила к Соковлину голову и подняла на него глаза.

— Видите ли, — продолжал Соковлин, не глядя ей в лицо, и слова его падали как-то глухо и отрывисто,—есть вещь ненормальная, глупая, грустная: когда одно нравственное свойство отстает от других, затягивается в человеке, развивается туже, живет дольше... Это, если хотите, последний дар природы, борьба ее против увядания, но дар тяжелый, бесполезный — зеленая ветка на сухом уже дереве, последний лист, который дрожит, зябнет и, не зная для чего, держится, тогда как все другие давно гниют себе на земле... Ведь уж надо сознаться, я устарел, и устарел порядочно. Да что ж — и пора! Худо ли, хорошо ли, а многое пережито, лето мое уже за плечами. Я и примирился с этой мыслью. Я думал уже, что все покончено с мечтами и надеждами, что надо делать одно обыденное, сподручное дело да иногда ради отрады покопаться в старых воспоминаниях. Мне казалось, что я могу уже прямо смотреть в открытое лицо жизни и не смущаться его суровостью... И вдруг оказывается, что благоразумие, опытность, рассудок — все это вздор перед одним движением

чувства! Я не мог устоять от одного взгляда на молодую закипающую жизнь, без того чтобы мне самому не захотелось мучительно, болезненно — пожить еще. От одного вида, веянья чужой любви все старое, живучее поднялось во мне... знакомые мертвецы стали вставать из гробов... и я хотел убежать от них...

— Про чью любовь говорите вы? — медленно спросила Наташа.

Соковлин замялся несколько.

— Если не про любовь, то про возможность ее, — сказал наконец он. — Надо правду говорить — для вас пришла ее пора... Комлев плохо скрывает свою... Да и отчего же нет? Это так естественно, так обыкновенно...

Наташа пристально посмотрела на Соковлина и отрицательно покачала головою.

— Я и не говорю, чтобы вы его любили, — торопливо продолжал Соковлин. — Все равно другого полюбите, уж это закон природы. Я только хотел сказать, что во мне болезненно отозвалась эта свежесть, эта весна чужой жизни, что она во мне пробудила чувства, которые мне не в пору, не под стать... ведь у меня уже седые волосы! Посмотрите кругом — вот осень приходит. Слышите, какая грусть пробивается в природе, как ей не хочется увядать. А эта природа сделала свое дело, принесла свой плод, и для нее еще весна придет. Моя осень хуже: я ничего не вырастил летом, да и весны уже другой не будет (Соковлин невольно вздохнул). Но я к ней начал привыкать, мириться с ней — и вдруг является возмущение, борьба, желание еще пожить... Ведь это несносно и жалко, ведь это умирающий, который силится еще подышать, воздух хватает руками, мух ловит, как говорят доктора...

— Перестаньте! Перестаньте! — с жаром сказала Наташа. — Это неправда! Это нейдет к вам! Зачем говорить про смерть, когда в вас столько жизни, когда счастье так возможно для вас? Зачем бежать от него добровольно, когда вы более другого имеете на него право... когда... (голос Наташи стал становиться тише и прерывистее) когда вы так стоите его... Зачем? — едва слышно, с застенчивым укором прибавила она.

Вся кровь бросилась в голову Соковлину.

— Как зачем, моя дорогая Наталья Дмитриевна? — нерешительно и робко продолжал он. — Ну, положим, что и на мою долю выпало еще счастье. Хоть мало надежды, но бывают разные странности — может быть, и «на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной» [21], — застенчиво сказал Соковлин. — Но как доверить-

ся ей теперь, когда она обманула меня и в мою лучшую пору? Чем наконец я ей отвечу, когда во мне самом все поломано и помято? В том-то и беда, что память сохранила все старые уроки, что рассудок стал говорить громче, смотрит подозрительно и зорко на все и беспрестанно подсказывает... Ведь я уж не могу верить, например, в какую-нибудь неизменность чувств, я уж знаю, что они не в нашей воле. Как же мне не бояться, не противиться тому, что я считаю хрупким, во что и хотел бы и не смею верить?

И наперекор своим словам Соковлин смотрел на Наташу каким-то заискивающим взглядом, с биением сердца ждал, не переуверит ли она его.

Наташа сидела, грустно опустив глаза. В ней незаметно было борьбы мыслей, она, казалось, была подавлена каким-то тяжелым воспоминанием.

— Правда! Вы имеете право не верить, — сказала она после некоторого молчания. — Но зачем отчаиваться, зачем не допустить, что, может быть, она теперь не та уже?

— Про кого вы говорите? — быстро спросил Соковлин.

— Как про кого? Про ту, которая...

— Замолчите, бога ради! — точно ужаленный, вскрикнул Соковлин.— Не произносите теперь этого отвратительного имени. Не оскверняйте себя им. Я ненавижу, проклинаю его. Она отравила мне всю жизнь. И вы могли думать, что я ее люблю!

— Как? — сказала Наташа и быстро взглянула ему прямо в глаза открытыми, ясными глазами. Удивление, радость, ожидание — все невольно вырвалось в этом слове и взгляде.

Вся страсть с ее кипучим порывом неудержимо вспыхнула в Соковлине от этого взгляда, и он отдался ей. С наслаждением, страстно смотрел он в глаза Наташи, и взгляд его говорил за него. Бледные, взволнованные, они прямо глядели друг на друга, и дыханье захватывало у обоих, точно какая-то нить донельзя натягивалась, дрожала и готова была порваться между ними и они оба с трепетом этого ждали, точно какое-то известное им слово, уже совсем готовое, шевелилось на устах одного и ловилось слухом другого; уж они как-то склонялись друг к другу, и румянец стыдливости начал пробиваться на лице Наташи... еще мгновение... Но мгновенья страсти коротки у сорокалетнего рассудка. Соковлин вдруг опомнился, потупив глаза, и весь потух и опустился... И не сказал того, как ему было и больно, и обидно, и стыдно.

В это время мелькнули ворота, и лошадь сама остановилась у подъезда.

— Где вы это... где запропастились? Уж мы на крыльцо вышли вас ждать! Я было и послать хотела — узнать, не случилось ли чего, а они едут себе шажком! А все, чай, этот Сергей — распустил лясы. А ты, моя простенькая, и заслушалась. Вишь, бедненькая, как озябла. Ах ты, златоуст, златоуст! Посмотри-ка, какую ты мне привез ее, — вся бледная и дрожит! И руки-то точно лед... Пойдем в каминную, голубка моя, я велю огонь развести. Да велите кушать давать скорее, — распевала Татьяна Григорьевна.

— Я, мама, не буду... Я что-то устала и пойду наверх,— сказала Наташа, целуя мать.

— Ну, поди, поди, голубчик мой. Да напилась бы малины на ночь. Право, ты никак простудилась: посмотри-ка, лица на тебе нет... Я сейчас скажу Аринушке...

— Не надо, не надо, — сказала Наташа и убежала.

— А ты куда это? — с удивлением спросила Татьяна Григорьевна, увидав, что Соковлин велел подавать своих лошадей. — Как это? Без ужина?

— Не хочется, Татьяна Григорьевна. Да и домой пора.

— Что домой? Дети ждут, что ли, тебя там? Вздор, вздор, оставайся!

— Нет, не могу, спать хочется, — отрывисто сказал Соковлин, поклонился и вышел.

— Э-эх вы, книжники изломанные! Проехал пять верст да и раскис! — презрительно сказала вслед ему Татьяна Григорьевна.

Но Соковлин не слыхал уже ее. Он вышел на крыльцо. Тучи заволокли небо, унылая тишина стояла кругом, дождь, казалось, собирался идти. Лошади были поданы. Тихо, как убитый, сел Соковлин в экипаж, и вскоре тарантас его замолк на мягком проселке и исчез в темноте.

7

После описанной сцены Соковлин стал по-прежнему бывать у Любаниных, но в нем нетрудно было заметить большую перемену. Он стал холоднее, строже к себе, точно он пережил какой-то нравственный кризис, отдал последнюю дань молодости и хотел загладить проступок невольного увлечения. В отношениях к Наташе в нем не проявлялось более добродушное, нежное и несколько покровительственное чувство старого друга к молодому, он стал с ней почтительнее, но избегал разговоров с глазу на

глаз и часто старался оставлять ее с Комлевым, точно с умыслом уступал ему место, боялся помешать. Неловкое положение первой встречи его с Наташей, после прогулки, прошло скоро для обоих. Боясь, что Соковлин опять перестанет надолго бывать у них, Наташа, приятно удивленная его скорым приездом, встретила его несколько смущенная. Но она тотчас заметила или, лучше сказать, почувствовала перемену, и эта перемена не сбила ее, не удивила. С тактом истинно женским она сразу стала в новое положение, нисколько не уклоняясь от него, не падая перед ним. Она точно выросла вдруг, и только некоторая бледность и слабая тень, проступившая под глазами, говорили о каком-то затаенном и работавшем внутри чувстве.

К Соковлину она относилась спокойнее, но сдержаннее, холоднее; с Комлевым, напротив, стала добрее, снисходительнее, но взяла решительный перевес над ним и, как будто наперекор Соковлину, совершенно не поддавалась тому увлечению, для которого он, точно с умыслом, оставлял ей простор. Комлев это замечал и был неровен: то хандрил, то сердился на Наташу, то мирился с нею.

Но под этими установившимися по наружности отношениями таилось и бродило что-то невысказанное, точно была какая-то общая тайна, которую все обходили молча и которая тяготела над всеми. Так знойным летом иногда незаметно соберутся тучи, и все станет так спокойно, тихо, а между тем чувствуется в воздухе накопившееся электричество, и все, подозрительно поглядывая на небо, ждут: разразится ли оно грозой или рассеется молча. Какая-то натянутость и скрытность были разлиты кругом. Разговоры не клеились, шутки были невеселы. Сама Татьяна Григорьевна это замечала, чувствовала, что тут что-то не так, подозревала и Соковлина, и Комлева, хотя не знала положительно, откуда это происходит. Не раз она, оставшись наедине с Наташей, нежно обняв ее голову, заискивающим взглядом заглядывала ей в глаза и спрашивала: «Что с тобой, Талинька? Ты как будто не в себе что-то, а?» — и улыбалась, и лебезила перед ней, но Талинька или говорила успокоительно: «Ничего, мама», или, тронутая ее заботой, отвечала ей молчаливым нежным поцелуем, и бедная Татьяна Григорьевна продолжала подозрительно поглядывать на всех, как поглядывает какой-нибудь гость, когда видит, что все собеседники над чем-то молча посмеиваются или говорят между собою полусловами и намеками, а он решительно не может догадаться, в чем дело, он притворяется, что догадывается, и боится, не на его ли

счет смеются, и сам глуповато улыбается. Нечто то же в этом роде должна чувствовать курица, которой положили утиные яйца, и она, высидев их, вдруг с удивлением замечает, что с ее детьми творится что-то странное: вот они полезли в воду, вот начинают плавать, и бегает она хлопотливо по берегу, поглядывает кругом беспокойными глазами, решительно не зная, чему приписать эту странность, и после сотни бесполезных догадок начинает наконец подозревать, не изменила ли уж она сама как-нибудь нечаянно своему петуху.

«Охвостнева разве спросить? — думала Татьяна Григорьевна. — Да разве добьешься от него правды! Наврет что-нибудь да после еще поедет по всем соседям славить... Француженку Магдалину — та тоже сложит невинно губки, точно голубица невинная, и скажет: «Мадам Любанина! Я, право, не понимаю, что вам угодно знать, я ничего не замечаю»...

И в таких-то заботах раз в конце обеда, когда общая натянутость доходила до скуки и только Охвостнев что-то перешептывался с мадмуазель Кадо, Татьяна Григорьевна вздумала сделать нападение на Соковлина.

— Что это ты, Сергей, какой вялый стал? Хоть бы женился ты, что ли! — и вдруг, одушевясь сама своим предложением, с живостью прибавила: — Право, что твоя за жизнь! Хочешь, я тебе невесту найду?

— Что ж, найдите, — усмехнувшись, отвечал Соковлин. — Кого же, например?

— Есть, право, есть у меня на примете! Девушка славная...

— Молода? — спросил Соковлин.

— Д-да. Ну, впрочем, не очень, а тебе пара будет, — ведь что ж тебе уж молоденькую-то очень, Сергей!

— Правда, совершенная правда, Татьяна Григорьевна. А хороша?

— Нельзя сказать, чтобы очень, да что красота-то, Сергей, тлен, право, тлен! Ведь с иной красотой-то еще нахлопочешься! Душа бы была...

— Истина великая, Татьяна Григорьевна. Ну, а какая же у нее душа?

— Ну, какая душа, как тебе расскажешь? Чужая душа — потемки, а девушка солидная, благоразумная, добрая.

— Вы о доброте-то ее горничную спрашивали?

— Что ты это, Сергей, буду я горничных расспрашивать!

— А жалко! Ну-с, а как она возьмется полюбить меня: скоро, пламенно, тихо, надолго? И в какой срок внушит к себе такие же чувства?

— Вот он что! Ну да об этом уж сам радей. Да и что за любовь такая пламенная? Уж будет, чай, с тебя пламенной-то любви, был бы мир да согласие.

— И в этом я вполне с вами согласен: действительно, любовь — это уж роскошь брака. Есть много условий, гораздо более необходимых: согласие характеров, взаимное уважение, одинаковое воспитание... Только всего этого еще у нас, к сожалению, с вашей невестой нет. Что же в ней есть такого, Татьяна Григорьевна? Умна? Отлично воспитана? Что еще?

— Эк, пристал! Говорят тебе, девушка солидная, хозяйка, с состояньицем...

— Это прекрасно,— серьезно сказал Соковлин.— Только у меня живет, Татьяна Григорьевна, может, вы знаете, дядюшкина ключница Марья Савишна — девушка солидная (ей шестьдесят лет), хозяйка, и деньжонки есть, так уж я лучше на ней! По крайней мере знаем уж друг друга.

— Вот, ему дело говори, а он как бы на смех поднять! От этого, что ли, выучился? (Она кивнула на Охвостнева.) Ну, другая есть, право, есть! — быстро заговорила Татьяна Григорьевна, точно вспомнив вдруг про кого-то, — вот уж эта в самом деле всем взяла! Как это мне прежде не пришло в голову? Тимирязева! — кивнув головой, сказала она, обращаясь с сияющей улыбкой к Наташе и гувернантке. — Вдова она, но молоденькая, хорошенькая, живая, умная...

— Ну, вот это отлично! На этой готов хоть сейчас, — отвечал Соковлин. — Только вот что приходит мне в голову, Татьяна Григорьевна: ну как она через год-другой после нашей женитьбы скажет мне: «Ты не молод, не хорош, вышла я за тебя не по любви, а женила нас Татьяна Григорьевна. Я встретила человека лучше тебя во всех отношениях и люблю его»... Что тогда?

— Ах, батюшка! Да что она за бесстыжая такая, что скажет это своему мужу!

— А еще хуже, коли не скажет, а просто полюбит.

— А у тебя глаза-то на что? Остерегай, не допускай ее, присматривай, на то ты и муж. Содержи ее в страхе.

Соковлин улыбнулся.

— Ну уж нет, Татьяна Григорьевна, лучше жить без любви, чем быть любимому из-под страха.

— Э, батюшка, умны вы ноне больно стали! — с досадой сказала Татьяна Григорьевна. — Тебя послушать, так

и жениться нельзя, прекращайся и род человеческий! — сгоряча прибавила она.

— Ну уж и прекращайся! — заметил ей тихонько Охвостнев под шум отодвигаемых стульев. — Зачем же?

Татьяна Григорьевна только замахала рукой на Охвостнева, чтобы он и не подходил к ней. Охвостнев утешился и начал сообщать что-то мадмуазель Кадо, от чего та, закусив губы, старалась сделать скромнейшее лицо и обратилась к Соковлину. Она стала защищать женщин, опровергать слова Соковлина с жаром и многословием истой француженки, наговорила кучу общих мест и заключила замечанием, что мужчины вообще, а Соковлин в особенности, совсем не понимают женщин и судят о них вкривь и вкось.

— Я не знаю, почему, — хладнокровно отвечал Соковлин, закуривая сигару, — составилось мнение, что женщины какие-то особые загадочные существа, иероглифы, которых никто еще совершенно не понял. Женщинам это мнение нравится, и они его поддерживают. А по-моему, дело гораздо проще, и разница между ими и мужчинами не велика: одни только слушаются побольше чувства, другие — побольше рассудка.

— Так вы не допускаете полного равенства? — возразила мадмуазель Кадо.

— Ну, это другой вопрос. Я только хотел сказать, что мы в затруднениях справляемся с разными словарями: мужчины — с головой, а женщины — с сердцем.

— А я вам скажу, что вы же не понимаете нас, как и другие, и что вы не менее других варвар, — разгорячась, решила мадмуазель Кадо.

— Ого! Как стреляют французские батареи! — заметил Охвостнев. — А вы куда же, барышня? — обратился он к Наташе, которая уходила. — А ваше мнение какое?

— Что же я могу сказать? — отвечала она. — Наше дело — чувствовать, как говорит мосье Соковлин, и я с ним согласна. А уж вы рассуждайте.

И она пошла к фортепиано. Соковлин не вышел за ней, но перестал спорить с мадмуазель Кадо и предоставил ее Охвостневу: ему не для кого было больше говорить.

И так шло время в Любановке — тихо, вяло, подавляемое чем-то сдержанным, невысказанным, неудавшимся. А между тем осень шла своим чередом. Синие тучи надвигались чаще и темнее, дни становились короче, природа блекла, замирала, и желтый лист падал и падал.

Раз довольно холодным утром Соковлин отправился за чем-то в свой уездный городок, который лежал верстах в двадцати от его деревни. Окончив там дела, он шел на квартиру, где его ждали лошади, чтобы воротиться домой. Гостиниц в этом благословенном городе не имелось, проезжие останавливались на станции, окружные помещики— у знакомых. Соковлин въезжал к своему вольноотпущенному, который жил своим домком и занимался портняжеством. Он шел по немощеной почти пустой улице. Грех было пожаловаться, чтобы движение, шум, промышленность смущали мирный покой городка: изредка попадется навстречу прохожий, да мальчишки у ворот, да гуси, степенно и важно переходящие через улицу. Серенькая жизнь копошилась в домах и избушках, и в их низенькие окна можно было легко наблюдать ее.

От нечего делать Соковлин, пробираясь по утоптанной возле самых домов тропе, поглядывал в эти окна, но нельзя сказать, чтобы и домашние картины были разнообразны. Те же деревянные стены, остроугольная мебель, герань на окнах и иногда свеженькое или потертое любопытное лицо, отвертывающееся от работы, чтобы взглянуть на прохожего, — в домах чиновников. Та же перегородка, печь, деревянный стол, горшки и посуда — в нагнувшихся мещанских избушках.

Соковлину оставалось обогнуть новенький деревянный дом с пестрыми столбами у подъезда, выходящего на улицу, и зеленою доскою, на которой было написано: «Харьковская почтовая станция», когда вдруг из открытого окна этого дома высунулась женская голова, чтобы взглянуть вдоль улицы, а прямо взглянула ему в лицо. Соковлин посмотрел на нее и стал как вкопанный.

— Мадмуазель Кадо! — невольно воскликнул он.

Она отшатнулась, как бы желая спрятаться, но потом выглянула, отрывисто сказав: «Войдите», и снова скрылась.

Соковлин повернул на крыльцо, ломая себе голову, какими судьбами гувернантка очутилась на станции. Он подумал, не собралась ли уже куда нечаянно Любанина, и при этой мысли кровь беспокойно зашевелилась у него в сердце. Взойдя в комнату, он поспешно окинул ее глазами, но ничто не показывало присутствия большого семейства. На диване и стульях, обтянутых кожей, не было ничего кроме пыли. У дверей на полу стоял чемодан и на нем две картонки. На столе был брошен дорожный мешок и шаль. Соковлин несколько успокоился.

Гувернантка сидела у окна. На ней было черное шелковое потертое платье с чистенькими воротничками, на голове маленький дорожный чепец, из-под которого выбивались черные волнистые волосы. Лицо ее было бледно, помято и сконфуженно.

— Мадмуазель Кадо, какими это судьбами вы здесь?— спросил ее Соковлин.

— Судьбами гувернанток, — отвечала она с сдержанным волнением. — Я уезжаю от мадам Любаниной.

— Но что за причина? — невольно спросил Соковлин, садясь против нее. — Давно ли я вас видел, а об отъезде не было и речи!

Гувернантка замялась.

— Простите меня тысячу раз! — поспешно прибавил Соковлин. — Я, может быть, сделал нескромный вопрос и беру его назад. Я только хотел спросить, не случилось ли с вами чего-нибудь, не едете ли вы на родину, не получили ли вы другого приглашения?

— Ничего особенного не случилось, и какая может быть нескромность с нами (avec nous autres *), бедными гувернантками! Нас приглашают, когда захотят, и выгоняют по первому желанию-капризу: ведь мы наемницы.

Гувернантка пожала плечами и хотела принять угнетенный вид, но черные глаза уже начинали блестеть, грудь приподымалась, и тонкие ноздри начинали шевелиться. Соковлин молчал. Мадмуазель Кадо тихо было замолчала, но не выдержала.

— Да, — продолжала она, дав волю себе, — нам не позволяют иметь чувств, желаний, от нас хотят, чтобы мы были манекенами бездушными и угодливыми истуканами, чтобы мы не имели о себе ни одной мысли, ни одной мечты, чтобы мы продавались все, со всеми помыслами и надеждами, и если мы минуту подумаем о себе, если мы чуть поддадимся влечению сердца — есть же у нас сердце наконец — нам делают сцены, кричат о безнравственности и наконец выбрасывают на мостовую, как ненужную посуду.

Слова у нее сыпались как горох, слезы, точно сухие, падали из сверкающих глаз, нисколько не затемняя их, не придавая лицу никакой плаксивости, грудь высоко вздымалась, ноздри прядали, и южная бледность лица потемнела и позеленела. Она едва перевела дух и понеслась дальше, как вырвавшийся на волю конь.

---

* С нами-то (франц.).

— Положим бы, я и увлеклась, ну да, увлеклась... у меня в жилах кровь, а не водица, как у них. Ну что ж, кому какое дело? Чем были нарушены приличия, чем я оскорбила кого? И потом — все это вздор, лакейские сплетни. Я имею право... я должна думать о себе, у меня есть свои планы и цель... Мои виды и намерения чисты... я это докажу! Надо было расспросить, разобрать, а не слушать подлых наушниц и не оскорблять отказом бедную и честную девушку!

Она закрыла платком сухие глаза и смолкла. Соковлин чувствовал себя в весьма глупом положении: оправдывать Любанину он не имел особенного желания и не знал, чем; гувернантку — тоже; да и вообще словесные утешения считал вещью пустой и ненужной.

— Послушайте, — сказал он, дав ей некоторое время помолчать, — я не могу ни оправдывать Любанину, ни обвинять ее, потому что не знаю, что было между вами, — да и не мое это дело. Но вопрос теперь в том, что вы намерены делать? Я вас спрашиваю не из пустого любопытства: скажите, не могу ли я вам быть чем-нибудь полезен, пожалуйста, располагайте мною как старым знакомым и не церемоньтесь.

— О, благодарю вас! — грустно сказала мадмуазель Кадо, отнимая платок и протягивая Соковлину руку. — Благодарю вас! Но мне ничего не нужно, я уезжаю...

— Каким же образом? Вы одна, у вас нет даже экипажа; вы знаете, здесь не ходят почтовые кареты.

— У меня будет и экипаж, и спутник, — отвечала мадмуазель Кадо, потупила глаза, улыбнулась и немного покраснела.

Они опять помолчали.

— В таком случае, — сказал Соковлин, вставая, — позвольте пожелать вам счастливого пути.

Гувернантка посмотрела на него веселыми, играющими глазами, рассмеялась, быстро встала и схватила его за руку.

— А! Ба! Все это вздор! Садитесь, я вам все расскажу, вы добрый малый. И потом — все равно, вы узнаете же... Да, впрочем, все это пустяки... Слушайте: я еду с Охвостневым!

Они опять уселись. Соковлин молча улыбнулся.

— Ну да, — продолжала скороговоркой мадмуазель Кадо, — он мне строит куры, он на мне женится, я уверена. И если б эта глупая старуха, которая слушает всякие сплетни, не подняла истории, все бы кончилось очень хорошо. Ну да это ничего, глупости! Охвостневу пока нельзя

взять меня к себе — у него там, знаете... Словом, надо дать время этому устроиться, и мы едем с ним в Москву, поживем там маленьким хозяйством и потом... потом я ворочусь к вам помещицей. Да и повеселимся в столице немного. Надо стряхнуть провинциальную пыль, а то совсем заплесневеешь. И потом — надо, чтобы молодость пожила! Это так скучно быть вечно добродетельной!

Соковлин, молча ухмыляясь, смотрел на экс-гувернантку. Она совсем преобразилась. Куда девался скромный вид и жеманно сложенные губы! Глаза блестели и играли жизнью, маленький румянец выступил на матовой южной бледности щек, пунцовые полуоткрытые губы выставляли ряд белых мелких зубов, шаль спустилась с плеча, и вся она, за минуту злая и разогорченная, дышала веселостью, жизнью, наслаждением и живо напомнила Соковлину тех очертя голову живущих и веселящихся до поры парижанок, которых во дни молодости он видал в Шомьере, Мабиль и других маленьких баликах.

— Чему вы смеетесь? — спросила она.

— Я удивляюсь перемене и любуюсь вами, — отвечал Соковлин. — Я вас так лучше люблю, чем в спорах о правах женщины.

— Ну да, это натуральнее. Наши права — любить, и я ими пользуюсь! Я жду этого ветреника Пьера, он должен скоро приехать, и я хотела посмотреть, не едет ли он, когда чуть не стукнулась с вами головою. Который час?

— Половина третьего, — отвечал Соковлин, посмотрев на часы.

Мадмуазель Кадо снова высунулась в окошко.

— Нет еще, — сказала она. — Впрочем, он к трем обещал непременно быть. Он заезжал сегодня тихонько ко мне, и мы сговорились. Ну да оставим это. А вы что намерены делать?

— Я? — сказал Соковлин, пожав плечами. — Ничего особенного. То, что делаю и теперь.

— То есть молча вздыхать, плохо скрывать свою любовь, страдать бог весть зачем самому и заставлять страдать эту бедную Наташу. Я вас решительно не понимаю!

Соковлин покраснел.

— И я вас тоже, — отвечал он. — Про какие страдания вы говорите? Моих вы не могли видеть, других еще менее.

— Перестаньте, перестаньте! К чему эта маска, особенно теперь? Я с вами была же откровенна. Ведь мы старые друзья. Ну, признайтесь: ведь вы любите Наташу?

Ведь не о Лоховой же вы вздыхаете, это было бы слишком! Отчего же вы не женитесь на ней?

— Во-первых, я слишком стар для нее. Во-вторых, надобно знать, пойдет ли еще она.

— Пустяки! Разве вы не видите, что она вас любит.

— Далеко нет! И не верю.

— Вздор! Вы видите и верите очень хорошо. Наконец, верьте мне — я вам это говорю.

— Вы можете ошибаться, — тихо и сквозь зубы проговорил Соковлин. — Разве она... говорила вам что? — и он робко, исподлобья посмотрел на мадмуазель Кадо.

— Нет, я вам не буду лгать, она не говорила ни слова, у этой маленькой много характера; но это все равно, поверьте, от женщины этого не скроешь: изменение нрава, плохо скрываемая грусть — о, это сейчас видно, да и недаром же я была гувернанткой! Она вас любит, и любит серьезнее, нежели я ожидала от русской женщины: я считала их флегматичнее, у них нет порыва, увлеченья, они на это не способны, они вялы, и их надо постоянно тормошить. Но у Натали есть какая-то сосредоточенность, замкнутая упрямая сила. О да, она вас любит, и вы этому отчасти обязаны мне!

— Каким это образом?

— О, против воли! Я этого не хотела, я была добросовестной гувернанткой, но ее интересовали рассказы о ваших прежних похождениях, она много расспрашивала — я рассказывала ей, что могла, и вы сделались в ее глазах героем романа. Ну, и потом — потом надо отдать и вам справедливость, вы сами шли по расчищенной дороге. Кстати, что между вами было на той, помните, прогулке? Вы объяснялись с ней?

Соковлин отрицательно покачал головой.

— Ну да. Вот вы точно так же начинаете отвечать, как и она. Русская скрытность! Фи! А между тем что-нибудь да было. Она с тех пор вся переменилась. В тот раз, когда я вечером вошла к ней, сидит она бледная, неподвижно, огня нет, только лампадка перед образом. «Натали, что с вами?» — спрашиваю я. — «Ничего», — отвечает она глухо, а сама не шевельнется. — «Вы его любите, моя бедная, — говорю я тихо, — и боитесь, что он еще помнит Лохову?» — Она молча только покачала головою. — «Поверьте, — говорю я, чтобы ее утешить,— он любит вас, он искренно вас любит!» — Она посмотрела на меня как-то странно и проговорила чуть слышно: «Тем хуже!» Я вижу, что ей не до меня, оставила ее успокоиться. На другой день подходит она ко мне действительно покойнее,

только все еще бледная, и тем мягким и добрым, но настойчивым голосом, который вы знаете у нее, сказала мне торопливо: «Мадмуазель Кадо! Не говорите мне, пожалуйста, ничего... про вчерашнее... прошу вас!» и крепко пожала мне руку и посмотрела так убедительно. Я ей обещала и сдержала свое слово. Поэтому я не знаю, что было между вами, но тем не менее убеждена, что она вас любит!

— Тем хуже! Тем хуже, если это так! — сказал Соковлин и сжал себе рукою лоб, словно желая согнать с него какие-то горькие мысли.

— Да, правда, тем хуже для вас, если вы оба говорите загадками и не хотите быть откровенными! — вспыхнув, сказала мадмуазель Кадо. — Тем хуже!

Но в это время зазвенели бубенчики, и остановился дорожный тарантас.

— А, вот и он! — сказала мадмуазель Кадо, весело улыбаясь.

В самом деле, из тарантаса вылезал Охвостнев в военной фуражке и шинели, в то же время как с козел слезал слуга в нанковом сюртуке, перепоясанный ремнем.

— Ба! Сергей Иваныч! — сказал Охвостнев, входя и здороваясь. — И вы здесь! Уж не от Любаниной ли узнали о нашем исчезновении?

— Нет, я ее не видал, а приехал сюда случайно, — отвечал Соковлин.

— Ну, очень рад! А жаль, что не видали вы Любаниной: то-то, чай, достается нам! Я бы дорого дал, чтобы послушать ее да подразнить. Нарочно спросил ее сегодня утром, да не пустила: со злости, говорят, из деревни уезжает. Ну-с, так мы улетаем, — говорил он, подойдя к мадмуазель Кадо и бесцеремонно взяв ее за руку. — Однако, мадмуазель или мадам, собирайтесь, мы на своих же лошадях сделаем эту станцию. Эй, Гришка! Выноси вещи!

— Бери это, — ломаным языком говорила мадмуазель Кадо, указывая на чемодан, — а это я сама.

И она взяла картонки.

— Ох, уж эти мне картонки да шляпки! — заметил Охвостнев. — Некуда будет ног протянуть.

— Ну! Ну! — сказала мадмуазель Кадо, кивнув ему головою.

— Скажите, мадмуазель Кадо: люби кататься — люби санки возить! — смеясь, учил ее Соковлин.

— Что это значит? — спросила она.

— А это значит, что если вы будете долго собираться, так тут могут явиться еще другие санки, от которых я насилу убрался. Скорее! Скорее!

Мадмуазель Кадо не совсем поняла, в чем дело, поглядела вопросительно и пошла укладывать картонки.

— Ну, что же вы намерены делать? — спросил Соковлин Охвостнева, который свертывал между тем папироску.

— Да что делать? Вот пока новые санки в Москву отвезти.

— А старые?

— И не говорите! У этих баб есть какое-то чутье друг на друга, как у хорошей лягавой собаки! Черт ее знает, пронюхала ли как, догадалась ли, — такую передрягу подняла, что святых вон неси... насилу ускакал...

— А что ж вы намерены сделать с этой? Жениться, что ли?

— Ну, до этого, чай, не дойдет. Авось поссоримся.

— Надолго ли едете по крайней мере? Распорядились ли по имению? Не нужно ли вам чего?

— Нет, благодарю вас. Сказал старосте, чтобы там действовал. А надолго ли — кто знает! Что тут загадывать? Чем-нибудь да все кончится...

Соковлин невольно усмехнулся этой философии.

— Ну, вот я готова, — сказала мадмуазель Кадо, возвращаясь.

— И отлично. До свиданья, Сергей Иваныч!

— До свиданья, до свиданья, любезный мосье Соковлин! — говорила француженка, крепко потрясая ему руку. — Надеюсь, мы увидимся скоро, увидимся весело. Кланяйтесь доброй, милой Натали, да все равно поклонитесь уж и старухе, она тоже добрая, право, глупа только немного. Скажите ей, что я на нее не сержусь.

Она сказала это с совершенной уверенностью в своем великодушии, простилась, вышла и уселась с Охвостневым в тарантас. Соковлин стоял на крыльце и, улыбаясь, смотрел на их сборы. Кучер что-то такое поправлял у лошадей.

— Что вы улыбаетесь? — спросила мадмуазель Кадо.

— Да весело смотреть на вас. Вы улетаете, как два счастливых голубя.

— Ну да, — живо сказала она. — А вы, мой старый, верьте мне: не церемоньтесь так много с жизнью, не рассуждайте в то время, как счастье проходит возле вас, ловите его! Смотрите, оно не проходит два раза!

— Это называется по-русски: «Лови, лови часы любви»! Вот мы так поймали их за хвост! — докончил Охвостнев, ударив мадмуазель Кадо по плечу. — Ну, пошел! С градом...

Кучер поставил ногу на козлы, свистнул, и тройка понеслась уже из лука стрелой, когда он еще усаживался и разбирался с вожжами.

Соковлин посмотрел им вслед, видел, как они на всем скаку повернули за угол, и задумчиво пошел домой. Там он велел закладывать лошадей, закусил слегка и через полчаса, садясь в тарантас, сказал кучеру: «В Любановку».

Осенний день был ясен и холодноват. Солнце светило еще ярко, но уже не грело; под его лучами разоблаченная природа стояла бестрепетно и сурово, в ней не видно уже было ни борьбы жизни с увяданием, ни грусти, точно сознавала она неумолимо тяготеющий над нею закон и, уронив надежды с последними засохшими листьями, бесстрастно и спокойно смотрела в лицо приближающейся зимы.

Бойко ехал Соковлин по широкому и торному проселку, посреди этой обстановки и его внутреннее настроение невольно или случайно согласовалось с ней. Холодная и спокойная ясность природы как будто отразилась на нем. Все происшествия дня, все прежние отношения его к Наташе проходили перед ним упрощеннее, определеннее, все слышанное и перечувствованное в последнее время, от большого до мелкого, легко припоминалось ему и все както хорошо укладывалось в целое, давало ему ясный и несбивчивый ответ: и фантазии француженки, которая строила разом три воздушных замка, и совершенное отсутствие всякой фантазии Охвостнева, который ехал, не спрашивая себя, зачем и куда, потому только, что привелось ехать, указывали ему на одну правильную дорогу. Он невольно спрашивал себя, не слишком ли далеко заглядывал он в будущее, не слишком ли пытливо старался разобрать и разложить все настоящее, не убивал ли он этим анализом и рефлекторством тех единственно драгоценных крупинок счастия, которые жизнь холодно роняет на своем спокойном и беспристрастном ходу.

В этом настроении ехал Соковлин к Любаниным, не задавая себе никаких отдаленных планов, не зная сам, что выйдет из его поездки. Ни одна мечта, ни одна улыбающаяся надежда не касались его своим весело-трепещущим и раздражающим крылом, но чувствовал он в себе какую-то свежую силу и крепость. Он знал, что должен

сделать, и сделает решительный шаг. Куда он приведет его — об этом он не думал.

Въезжая на двор барского дома, Соковлин заметил какое-то поползновение к сборам. Дорожная коляска и повозка были выдвинуты перед каретником, и самый каретник был растворен. Однако ж этим все и ограничилось, и ни одной души не было ни около сарая, ни возле экипажей, если не считать козла, который, склонив несколько набок голову, рассматривал их, точно обдумывая, не нужно ли что починить.

В прихожей, по обыкновению, никого не было. Соковлин сбросил пальто и пошел далее. В гостиной он нашел Татьяну Григорьевну. Она сидела одна на диване, на столе перед ней лежал белый, пожелтевший от примочки платок, свернутый повязкой, стояла банка и тарелка с какою-то мутною и красноватою жидкостью, в воздухе слышался тонкий запах уксуса. Татьяна Григорьевна в потертом шелковом капоте[22], раскрасневшаяся, держала в руке блюдечко, жиденькие с проседью волосы были в некотором беспорядке, хвост косички, приколотый гребенкой, торчал набок, но чепец висел на всякий случай на стуле.

— Что с вами, Татьяна Григорьевна? Здоровы ли вы? — с участием спросил Соковлин, здороваясь с нею; однако ж тотчас успокоился, увидев, что Татьяна Григорьевна, восстав от послеобеденного сна, освежалась вареньем.

— А! Здравствуй, Сергей! Здравствуй, голубчик! — сказала она слабым голосом. — Какое здоровье среди этих огорчений! Ты знаешь, коль я чуть чем расстроена, у меня сейчас болезнь моя делается.

— Какая болезнь?

— Да мельканье. Опять мельканье было!

Татьяна Григорьевна кротко вздохнула.

Соковлина такая неслыханная болезнь несколько озадачила.

— Извините меня, Татьяна Григорьевна,— сказал он,— я не совсем понимаю... Что это такое?

— Да просто мелькание и больше ничего. Так в глазах и пойдут все мелькать кружочки да кружочки, кружочки да кружочки. Уж вот уксус к голове прикладывала.

Соковлин, не желая продолжать разговора о гувернантке, молчал. Но Татьяна Григорьевна не могла долго молчать о подобном происшествии.

— А слышал ли ты? Слышал, что наша-то ненаглядная... Магдалина-то прекрасная наделала? — сказала она томным голосом.

— Что такое? — спросил Соковлин.

— Так ты ничего не знаешь? — живо спросила Татьяна Григорьевна, и глаза ее, забыв о мельканье, заблистали. Она, видимо, была обрадована, что может не только пожалобиться, но первая сообщить такое неслыханное событие.

— Слышал что-то, но, право, не знаю хорошенько, в чем дело, — отвечал Соковлин.

— Хм... В чем дело? Да в том дело, что наша-то красавица нашла парочку себе! И кого нашла-то? Болтуна этого длинноносого! Что она, и людей-то лучше не видала, что ли?

— Да полно, правда ли это, Татьяна Григорьевна? — заметил Соковлин. — Может, тут было какое-нибудь недоразумение?

— Хорошо недоразумение! Аринушка на недоразуменье-то своими глазами наткнулась в беседке! Тьфу, прости, господи! — Татьяна Григорьевна отплюнулась. — Да и что он в ней нашел-то? Ни кожи, ни рожи! И добро бы от нужды! А то ведь есть у проклятого, да и не в пример лучше: кругленькая такая, темноглазая. Так нет! Так вот, из озорничества одного! И не постыдился, бессовестный, в моем доме! Я ли не ласкала его: что одних наливок перепил, Сергей, ты не поверишь, ведь шесть ведер настаиваю, еле хватает! А все он! Ну да мужчина — что козел, не разбирает. А она-то, она-то! Как дочь родную держала ее: то платье, то платок какой подарю. Недавно еще сатентюрку, по полтора рубли аршин, купила ей, на своей груди, можно сказать, змею отогревала, а чем она за мои-то благодеяния отплатила! Теперь по всему уезду слава пойдет. Ведь у меня дочь невеста, Сергей, подумай ты только это, голубчик. Конечно, она ничего не знает, сказала ей просто, что Магдалина нагрубила мне, она и поверила. А Талинька, может, еще меня, старуху, обвиняет, ведь привязана она к ней была, душа-то у нее любящая такая, у голубушки. И ее-то не пожалела она, изверг зловредный! — Татьяна Григорьевна прослезилась и начала утирать платком глаза.

— Что же вы намерены теперь делать? — спросил торопливо Соковлин, не желая давать развиваться слезливому настроению Татьяны Григорьевны и вместе с тем боясь, чтобы она не взяла для Талиньки опять подобную гувернантку. — Думаете кого приискать для Натальи Дмитриевны?

— Нет уж, батюшка, слуга покорная! Опять, пожалуй, на такую же красавицу наткнешься. Много их по Руси-то святой шляется. Ну, да и года-то Талинькины не

те, надо о другом подумать. Думаю теперь в город ехать. Хоть и рано, и хозяйство должна бросить, а не могу же я после этакого скандала здесь оставаться. Да меня здесь одними намеками да сожаленьями поедом съедят. Ну, а в городе-то все не так знается. Да и скажу я тебе, как родному, Сергей, — прибавила, понизив голос, Татьяна Григорьевна, — есть у меня там для Талиньки человек на примете, адъютант один, хорошенький такой, жиденький немножко, ну да это с годами пройдет, а такой ласковый, угодливый, родственный... меня и без того все мамашей зовет, такой, право, добрый. Ну, и генерал его любит. В прошедшем году уж он подпускал запросы и около Талиньки вьюном так и вьется, да она еще совсем девочка была и вкусу-то еще к мужчинам никакого не имела. «Надоедает, — говорит, — он мне, мама». Я ему и говорю: «Молод еще, мол, ты, послужи». Ну, а нынче нечего долго откладывать. Вон он, век-то, век-то какой, Сергей! Конечно, к ней, как к голубю чистому, не пристанет, да разговоры-то одни, разговоры-то! И опять здоровье-то мое — долго ли до греха. Так-то хожу, конечно, нечего бога гневить. Чуть что — сейчас болезнь моя замелькает и замелькает...

Татьяна Григорьевна тяжело вздохнула и начала мочить платок в уксусе.

Соковлин слушал ее, а в уме его росла решимость спасти Наташу от этих материнских забот.

— А что здоровье Натальи Дмитриевны? — сказал он. — Я вас не спросил.

— Здорова-то здорова, голубушка, да опечалена. И так она у меня последнее время, бог знает, какая-то отуманенная стала, а теперь и подавно. Пошла в сад погулять, не знаю, что ей за охота в этакой холод.

— Я схожу к ней, — сказал Соковлин, вставая.

— Сходи, голубчик, сходи, поразвлеки ее. Да зови в комнаты—холодно,— говорила Татьяна Григорьевна вслед за уходящим Соковлиным. — Вот опять замелькало... Ох, господи помилуй, господи помилуй!..

8

Соковлин пошел наугад по первой аллее. Сухой лист шумел под его ногами, свежий осенний воздух охватывал его, он чувствовал внутреннюю дрожь, но не от холода, а от волнения. Он заглядывал в боковые аллеи и дорожки, но они были как-то тихо пустынны — точно засыпáли. Между оголенных стволов пробивались косые красные лу-

чи низко опустившегося солнца. Соковлин смотрел, не мелькнет ли между ними платье, но ничего не видал. Он вышел к озеру, оглянулся и вдоль широкой тянувшейся по его окраине дороги увидел Наташу. Она шла к нему навстречу, вся облитая румяными лучами, голова ее была опущена, она шла скоро, завернувшись в черный суконный бурнус.

Соковлин повернул ей навстречу, и она, услыхав хруст и походку, приподняла голову и тотчас же пошла тише, точно в ней оборвалась та нить волнующих мыслей, которая заставила ее быстро ходить. Соковлин поклонился ей, она тоже, но руки не подала. Они тихо пошли вместе.

— Вы собираетесь в город? — спросил Соковлин после некоторого молчания.

— Да. Мама хочет ехать, — отвечала Наташа.

— А вы?

— И я, разумеется, с нею.

— Вы не отвечаете на мой вопрос, — заметил Соковлин.

— Вы хотите знать, охотно ли я еду? — переспросила Наташа и прямо посмотрела на него.

— Да, — тихо, но твердо отвечал он.

У Наташи немного обозначились морщинки на лбу между бровями.

— Теперь еще рано в город, я бы хотела дождаться, по обыкновению, здесь зимы, — сказала она своим ровным спокойным голосом.

— Нет, не то! — быстро и решительно сказал Соковлин. — Вы знаете, о чем я хотел узнать. Но прежде я должен сказать вам, что люблю вас... Но ведь вы это знаете, не правда ли? — он остановился перед Наташей. — И теперь, ради бога, отвечайте мне!

Наташа вся побледнела, крупные слезы проступили у нее на глазах, грудь что-то сдавило.

— А вы не знали? — спросила она с строгим укором, и голос порвался у нее. Она только сквозь слезы, с упреком взглянула на Соковлина.

В обоих столько наполнилось на сердце сдержанного, невысказанного, что посмотреть со стороны на их бледные, взволнованные лица — можно было подумать, что ненависть, а не любовь заставляет говорить их.

— Да, прежде я надеялся... — тихо сказал Соковлин, — я и верил и не верил... Но теперь я боюсь, не убил ли сам это чувство... Я так много сделал для этого...

— Да, вы меня много заставили пере... страдать... — хотела сказать она, и вдруг слезы градом полились у нее,

как будто это сознание оживило все ею перечувствованное за это время, дало волю всем слезам, которые так долго она сдерживала.

— Не вините меня, моя добрая... моя бесценная... Сядьте... Успокойтесь, бога ради! Выслушайте меня! Мне так много надобно вам высказать! — говорил Соковлин, заботливо усаживая Наташу на скамейку, весь смущенный и расстроенный. А у самого тоже слезы были на глазах.

— Если бы вы знали, — продолжал он, пока Наташа силилась унять свои рыдания, — если бы вы знали, чего мне это стоило самому! Ведь я накладывал руки на свои последние надежды, на свой последний нежданный проблеск счастья. Я не смел, да и теперь еще не смею отдаться ему... Я боюсь, чтобы оно не обрушилось страшным, долгим несчастием...

Соковлин смолк и трепетно ждал ответа, смотря на Наташу.

— Да, и вы правы, — сказала Наташа сквозь сдержанные рыдания.

Соковлин думал услышать возражение, но не найдя его, побледнел как полотно.

— Я сама долго думала об этом, — тихо, продолжала она, не глядя ему в лицо. — И я вас оправдала... Я знаю, что не я могу составить ваше счастье... Я сознаю это...

— Вы? Отчего? — сказал Соковлин таким голосом, что Наташа невольно подняла на него глаза.

— Оттого что... верьте мне, я говорю искренно... Я знаю, я не... — Наташа не решалась говорить, видя, с какой любовью и с каким страхом смотрел на нее Соковлин. — Я не доросла еще до вас... Я знаю, знаю это, — торопливо, опустив глаза, добавила она, чувствуя, что под любящим взглядом Соковлина сама начинает не верить своим словам.

— Вы? Вы? — Соковлин не смел повторить ее выражение. — Знаете ли, что я готов бы был возненавидеть вас за это, если бы мог! Вы предполагали во мне такие мысли — в то время как я... Да неужели я чем-нибудь дал повод вам это подумать! — почти с ужасом воскликнул Соковлин.

— О нет, нет! — с жаром сказала Наташа, и лицо ее зарумянилось и просияло радостной улыбкой. — Но я сама, беспристрастно сравнивая себя с вами, должна же была сознаться в этом.

— За что же это? За что же это? — говорил Соковлин, с укором глядя на Наташу.

— Ну, виновата, — тихо сказала она, стыдливо протягивая ему руку. — Но если так, то отчего же...

— Да оттого, добрый ангел мой, — говорил Соковлин, страстно целуя и пожимая эту руку и садясь к ногам Наташи, — оттого что я старик перед вами, что я со всеми добродетелями, которыми вы меня наделяете, не стою кончика этой руки! Чем я заплачу вам за вашу доверчивую любовь? Ведь вы молоды... вы хороши... вы, может быть, полюбили меня потому, что не видели лучших, потому что вам хочется любить... вы, может быть, любовь свою любите, а не меня, я только кстати подвернулся тут... Вы искренни, я в этом не сомневаюсь, но вы можете и сами не подозревать этого, а я знаю это все и должен был думать и за себя и за вас. Подумайте серьезно! Ведь я буду стариком, прежде нежели вы будете вполне женщиной!

— Неправда! Такие люди не стареются! — сказала она с тихим убеждением. — Так вы только из-за этого мучили и себя и меня?

— Что делать, Наталья Дмитриевна, ведь я изломан, ведь многое, во что вы еще верите, как в святыню, давно уж обмануло меня. Разве самая эта недоверчивость не есть признак старости? Вот отчего я так долго и не решался высказаться сам. Надобно было явиться такому чистому и цельному существу, как вы, чтобы снова оживить меня, заставить и надеяться, и верить. Но это не все. Если я колебался, если и теперь еще я боюсь надеяться на счастье, так верьте, я боюсь за вас, а не за себя. Я вас настолько люблю, что готов бы был для вас пожертвовать собою и молчать, да и жертвы тут нет никакой. Всякий, кто любит, в этом самом пожертвовании находит наслаждение. Но не во мне дело, я за вас боюсь. Ради бога, подумайте обо всем хладнокровно, я готов ждать!

— Разве вы думаете, что мало еще давали мне времени на размышление? — отвечала Наташа с улыбкой. — Разве вы полагаете, что я мало передумала в эти долгие дни и ночи? — прибавила она с легким оттенком грусти.

В это время по ближней аллее послышались чьи-то звонко раздающиеся приближающиеся шаги. Соковлин поспешно встал, и Наташа быстро отдернула руку. Одним взглядом они осмотрелись и, удостоверясь, что никто не видал их, взглянули друг на друга, покраснели и улыбнулись. Из-за угла показался слуга и доложил, что Татьяна Григорьевна приказала просить их к чаю.

— Попроси Аринушку, чтобы она разливала, мне не хочется. А мы сейчас придем, — сказала Наташа с тем отлично выдержанным спокойствием, которое так нравит-

ся нам, когда мы в первый раз видим любимую женщину, обманывающую для нас других.

Когда слуга удалился, они опять весело улыбнулись, точно школьники, успевшие обмануть смотрителя. Едва шаги его стали стихать, Соковлин торопливо начал:

— Идя сюда, я хотел как можно спокойнее высказать вам все, что у меня на душе, относительно нашего неравенства.

— Вы хотели рассуждать, — заметила Наташа.

— Что вы хотите! Но не смейтесь над этими рассуждениями: это червяк, который давно подъедает у меня — да и не у одного меня — все чувства. Но, поверьте, он не убивает их.

— Однако, благодаря этому червяку, едва все не погибло, — перебила Наташа.

— Да! — с замешательством, точно уличенный, сказал Соковлин. — Но вы меня вылечите от него, я уверен. Только позвольте мне отдать последнюю дань ему и потом раздавите его: пока я не выскажу мысль, которая у меня на душе, я не буду покоен.

Наташа видела внутреннюю борьбу, которая совершалась в Соковлине, и улыбалась ему снисходительно, как мнительному больному, который ждет, чтобы разогнали его последние мнения.

— Вы, ради бога, не оскорбляйтесь только, не сочтите этого недоверием к вашим чувствам! Клянусь, я верю в вашу чистоту и искренность и докажу вам это моей настоящей просьбой. Но это для меня дело совести. Мне все кажется, что я слишком много беру от вас, что это нечестно с моей стороны, когда жизнь со всеми тревогами у меня почти за плечами, а ваша вся еще впереди. Я не могу, мне совестно предложить ее вам, если вы не дадите мне обещания, которое немножко уравнит неравности...

— Говорите, — спокойно сказала Наташа.

— Вот видите ли, — заботливо продолжал Соковлин,— во мне есть убеждение, твердое, неизменное, что чувства не зависят от нас. Я верю, что они могут не изменяться, но могут и измениться, все дело случая и обстоятельств, как болезнь. Дайте мне слово, что если когда-нибудь... хоть завтра... хоть на другой день свадьбы... если эти чувства изменятся... если вы увидите, что ошибались в них или во мне, что я не стою их или другой, лучший заставит их измениться...

Наташа невольно вспыхнула, но старалась сдержаться.

— Тогда; — продолжал Соковлин, — тогда вы мне прямо, как другу, как брату, скажете об этом, чтобы я мог

остаться для вас только другом и братом. И клянусь вам, если вы будете любить меня только хоть день, хоть час, то вы все-таки дадите мне более, нежели я имею право.

Соковлин замолчал и с смущением смотрел на Наташу; он сам сознавал, сколько было сомнения, надломленности, слабости в словах его; он боялся, не оскорбил ли ими чистое, беспредельно верующее чувство девушки; он ждал с трепетом и волнением.

Наташа отвечала не тотчас. Она вдумывалась в его слова и, казалось, взвешивала все, что было в них любви, честности и болезненности. Ее чувство не оскорбилось ими; но она так высоко ценила ум и сердце Соковлина, что в уме ее, несмотря на твердую уверенность в себе, зародилось подозрение: нет ли, может быть, какой-то неизвестной ей, непредвиденной опасности, которая может явиться и изменить ее чувства, если в эту минуту Соковлин решился сомневаться в их долговечности. Подумав, она сказала серьезно:

— Я не спрашиваю у вас подобного обещания: я знаю вас, и мне оно не надобно. Мое — вы считаете нужным, я охотно даю и, верьте, сдержу его, — и она подала ему руку.

Соковлин схватил ее и целовал и жал с безумною, не сдерживаемой более страстью, которой весь отдался.

— Простите меня! Ангел мой добрый, простите меня, если я оскорбил вас! Но клянусь, теперь у меня нет ни капли сомнений, и если я еще стою вас, возьмите меня! — и он припал и замер у руки Наташи.

Вся взволнованная и увлеченная новым для нее чувством, Наташа склонилась к Соковлину; он почувствовал, как, точно ветер, поцелуй скользнул по его волосам; голова закружилась у него; он только расслышал, как трепещущий голос шепнул у него под ухом: «А теперь ступайте к маме», и когда очнулся, то вырвавшаяся из его рук Наташа уже почти бежала далеко впереди по аллее.

Соковлин вздохнул глубоко, отрадно. Он осмотрелся кругом, и божий мир показался ему точно переполненный счастьем. Солнце, до половины уже зашедшее, бросало вверх пучок последних малиновых лучей, и Соковлину вспомнились когда-то сказанные им Наташе и сбывшиеся теперь слова поэта, и он повторил тихо: «И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной» — и сам улыбнулся и нашел, что светел и ясен этот закат. Он оправился и, радостный, полный счастья, пошел к дому.



Едва Соковлин отворил двери с террасы, Татьяна Григорьевна, по обыкновению, начала причитать:

— Вот доброго человека нашла за дочкой послать, а он там еще более проморозил ее!

Но Соковлин не слышал, что она говорила, он прямо подошел к столу и, став перед Татьяной Григорьевной, улыбаясь бессознательно, смотрел на нее. Лицо у него было веселое, но точно немного поглупелое, как у человека подвыпившего.

— Татьяна Григорьевна! — сказал он. — У меня есть к вам просьба — и большая.

— Ну, говори, говори, что такое за просьба, — сказала она несколько обеспокоенным голосом, как и всегда, когда не знала, о чем ее будут просить.

— Да вот вы все женить меня сбирались — жените меня! — сказал Соковлин.

Татьяна Григорьевна, посмотрев пристальнее на его лицо, начала что-то мигать: с ней, кажется, сделалось маленькое мелькание.

— На ком же? — спросила она робко.

— Да уж коль милость будет, так на Наталье Дмитриевне, — сказал Соковлин.

— Постой, Сергей, голубчик... Да ты в самом деле не шутишь? На Наташе? — сказала она, совсем растерявшись.

— Да, я прошу у вас руки Натальи Дмитриевны, — повторил Соковлин.

— Ах, Сергей! Как же это? Я, право, и не знаю... Ведь **вы** знаете, как я **вас** высоко почитаю и уважаю... Да только, голубчик мой, лета-то ваши! Не старенек ли вы будете для нее — ведь она еще ребенок?

— Я давно думал об этом, Татьяна Григорьевна, — серьезно сказал Соковлин, — и если прежде не решался просить вас об этом, так именно потому, что останавливался неравенством. Но теперь — не лучше ли предоставить это на суд самой Натальи Дмитриевны?

— Ну да! И прекрасно! И разумеется! Как ей бог на душу положит, — торопливо говорила Татьяна Григорьевна, видимо обрадованная этим исходом. — А ее неволить — избави бог! Только ты, Сергей, уж не взыщи на нее, в случае если... Ведь она еще глупенькая... Может, ей помоложе кого захочется, ведь молодое молодого и ищет...

В это время из другой двери взошла Наташа. Лицо ее горело. Она подошла и стала возле матери, как будто ожидая чего-то.

Татьяна Григорьевна сделала вид, что чем-то занята.

Она перекладывала с места на место платок, начала мочить его в уксусе, потом взглянула исподлобья на дочь и Соковлина как раз в то время, когда они, полусмущенные, смотрели друг на друга и по губам их скользнула улыбка. Какая-то мысль вдруг озарила голову Татьяны Григорьевны.

— Что это? Да уж вы никак... — начала было она, поглядывая на них, но Наташа и Соковлин не дали ей договорить. Наташа быстро обняла ее и, стыдливо спрятав лицо на ее шее, целовала ее. Соковлин схватил ее руку и тоже целовал... — Ах, боже мой! Ну, если уж так, то господь... господь... господь... — и старуха вся в слезах, поцелуях и одышке, едва через несколько минут могла договорить: — господь благословит вас!

Потом, едва придя в себя, она закричала Аринушку, сообщила ей радостную весть, и когда та начала церемонно поздравлять, велела послать за священником, Феоктистушкой, позвать всех дворовых и растерялась окончательно.

Только после молебствия, за которым она усердно плакала и молилась, и когда все остались одни, старуха несколько пришла в себя и начала расспрашивать, давно ли и как все это случилось, и в то время как радость светилась со всего ее полного лица, она журила молодежь за скрытность и пожалобилась на времена.

Тут же было решено, что на зиму поедут все в **город,** то есть в губернский город, и перед масленой возвратятся в деревню и сделают свадьбу. Соковлин просил, чтобы до тех пор помолвка их не была объявляема и чтобы свадьба была как можно проще. Татьяна Григорьевна едва согласилась на эти последние условия.

Так и было сделано. Любанины, и вслед за ними и Соковлин, получивший на это дозволение, отправились в **. Зима была веселая. По желанию Соковлина, Наташа много выезжала. Она была неузнаваема. Куда девалась ее пугливость и застенчивость. Какое-то добродушное и милое спокойствие было разлито в ней. Она знала, что лучший из людей оценил ее, и это сознание дало ей внутреннюю силу и сгладило те неровности характера, которые являются в ранние годы вследствие недоверия к себе и некоторой болезненной чувствительности ко всем бездельным впечатлениям и замечаниям. Место, которое занял Соковлин в общественном уважении, вполне удовлетворяло Наташу: в городе ** он был тем же, чем в ее понятии, то есть умнейшим и образованнейшим человеком. Ни одно облако не омрачало их ясных и светлых взаимных отношений.

Десятки молодых людей ухаживали за Наташей, она была со всеми мила, проста и спокойна. Но посреди ухаживанья и внимания, которыми окружали ее, она отыскивала глазами Соковлина, и один взгляд, украдкой брошенный им среди споров и разговоров на нее, доставлял ей более наслаждения, чем все другие победы, включая туда и прекрасного адъютанта.

Задолго перед отъездом в деревню Татьяна Григорьевна не выдержала и, гордясь успехами дочери в одном кругу и Соковлина в другом, разболтала под секретом о свадьбе. Тогда одна высохшая уже от долго сдерживаемых стремлений к замужеству девица, имеющая привычку прилепляться противнейшей дружбой ко всем пользующимся успехом девушкам, с самым задушевным участием заметила Наташе:

— Правда, моя милая, Соковлин умница, образован и очень хорошо держит себя, но посмотри на него: ведь он тебе в отцы годится, да и надо сознаться — и ряб, и смугл, словом, совсем нехорош...

— Он? — с удивлением отвечала Наташа, посмотрев на Соковлина. — Да ты решительно ничего не видишь! Он молод, как юноша, и я не встречала лучше лица.

Перед масленой [23] все отправились в деревню, и там была свадьба. Посторонних никого не было, но Татьяна Григорьевна созвала весь околоток, говоря, что ведь это все свои, все как родные...

Мы забыли сказать, что — еще вскоре после объяснения в саду — Комлев уехал в университет, несколько мрачный и расстроенный, хотя Наташа простилась с ним как нельзя дружнее. Да и пора было, он и без того опоздал к началу курса.

Молодые поселились в деревне Любаниной, имея в виду летом выстроить новый дом в деревне Соковлина. Жизнь их покатилась тихо, ровно и светло.

Часть 2

1

Шесть лет прошло с женитьбы Соковлина. Много изменилось в эти шесть лет из великого и малого мира сего, многое сломалось или потерлось, многое народилось, выросло. Над лицами нашего рассказа они прошли довольно мягко и снисходительно, как обращается иногда боль-

шой барин с своим почтительным и мелким крестьянином, то есть не прижал его особенно, не обидел, даже был, казалось, весьма благосклонен, но свое взял: крестьянин работал на него обычную работу.

Одна только добрая Татьяна Григорьевна имела бы основательную причину пожаловаться на него, если бы могла; но — увы! — она лишена была и этого удовольствия; время — всё как тот же барин — так хорошо умеет иногда припрятывать концы, что на него и пожалобиться не успеешь. Так года три назад, в одно очень хорошее послеобедье, когда Татьяна Григорьевна, восстав от сна, хотела, по обыкновению, спросить себе варенья, язык, прекрасно ее слушавшийся с четырехлетнего возраста, вдруг ей изменил; она что-то промычала, помычала еще денька два и умерла, помотав в воздухе рукой, вероятно желая перекрестить горько плакавшую дочь.

За исключением этого обстоятельства все шло для наших героев довольно благополучно, даже, можно сказать, прекрасно, если бы человек, сие недовольное животное, мог находить что-нибудь прекрасное в том, что так беспощадно стирает с земли его личность. Если побурел немного хорошенький деревянный с башенкой и террасами дом Соковлиных, зато славно разросся кругом его и цветник, и подновленный кустовою зеленью сад. Если у них умерла пожилая Татьяна Григорьевна, зато года через полтора после ее смерти появился на свет сын Андрюша, который, несмотря на то что всем своим телом напоминал только одну шею покойной бабушки, но любим был отнюдь не менее ее.

Соковлин несколько постарел, седина заметнее пробивалась в его волосах, но он сохранил свое добродушие, свою душевную молодость, свой ум, свежий и сочувствующий всему честному и хорошему. Он больше и прилежнее занимался хозяйством, хотя все-таки хозяином в полном смысле этого слова не сделался: он уж по натуре своей был слишком непрактичен для того, и если еще хозяйство его шло недурно, то именно потому, что он был настолько добросовестен, чтобы не принимать на себя переделки и нововведения в том, чего недостаточно знал; окружая себя по возможности честными и смышлеными людьми, он присматривал за ними, а в остальном руководствовался мудрым для неспециалиста экономическим правилом: Laissez faire, laissez aller *. Окруженный мелкою

* Формула буржуазных экономистов 18 века, употребляется в значении «предоставлять событиям идти своим чередом» (франц.).

провинциальною жизнью, в необходимых столкновениях с ней он был, казалось, еще снисходительнее и мягче к этой среде, но высказывался в ней мало, **не прал щитом против рожна**[24] и держал себя по возможности в стороне. Но у себя дома он составил себе деятельность по душе и отдыхал в ней. Он читал много, читал все новое и дельное, что мог получать, и в этих чтениях, иногда вместе с Наташей, в беседе с ней, в постоянной переписке и общении с немногими приятелями, из которых некоторые были передовыми людьми в литературе и науке, находил удовлетворение своим нравственным потребностям: он был отдаленный, но не отсталый из тех немногих своего кружка людей, которым близко все человеческое, которые честно выдержали невзгоды судьбы и вышли из нее помятые, израненные, но чистые и богатые опытностью.

Взгляд его на женщин и на брак не изменился, но он считал свое положение счастливым исключением, доверчиво смотрел на безоблачное будущее и еще более любил за то свою Наташу. Что касается до Натальи Дмитриевны, то с годами, далеко не перешедшими еще для нее той роковой черты, с которой человек идет уж под гору, она еще более выиграла. Она развилась и физически, и нравственно. Из полусложившейся вдумчивой девочки вышла высокая, стройная женщина, с строго развившимися формами, спокойная, ясная. Беседы с мужем и хорошо направленное чтение развили ее ум, а тихая, счастливая и деятельная семейная жизнь успокоила те тревожные потребности бурь, которые свойственны ее летам и темпераменту. Короткость и близкость отношений нисколько не умалили в ее глазах тех достоинств в муже, которые она любила в женихе, потому что Соковлин был всегда прост и искренен с нею и скорее готов был указать на свои слабости, нежели драпироваться в достоинства. С другой, более дюжинной женою, привыкшей верить хорошему вполовину, он с своей излишней добросовестностью мог бы скорее потерять, чем выиграть, но Наташа умела ее открыть и знала ей цену. И таким образом, не испытывая потрясающей страстности влюбленных, они были счастливы тем ровным, ясным и трезвым чувством, в основе мягкой, взаимовлекущей силы которого лежит более сознание нравственных качеств, нежели физическое начало.

Зима была в конце, весна еще не наступала, но уже чувствовалась ее близость. Дольше стали дни, выше ходило солнце, от полуденных лучей и от теплых сырых туманов снег осел, побурел и местами на припеке таял. Это было в тот год, когда после тяжкого, но благодетельного

кризиса на Россию повеяло новой жизнью[25]. Каждая почта приносила отрадные вести. Соковлин, живо интересовавшийся всем, ждал их с лихорадочным нетерпением. И его не обошло то благотворное веяние, от которого все оживало: Соковлин получил полную свободу и подумывал воспользоваться ею, переселясь в одну из столиц, поближе к своим немногим, но испытанным друзьям.

Раз в почтовый день Соковлину случилось небольшое дело в городе, и он поехал сам, чтобы покончить его и кстати скорее получить почту. Город был верстах в двадцати, и он хотел воротиться в сумерки. Стало вечереть, Наташа часто подходила к угольному окну, из которого далеко видна была дорога, чтобы посмотреть, не возвращается ли Сергей Иваныч, но Соковлина не было. Наконец и стемнело так, что рассмотреть вдали ничего нельзя было, и окна закрыли, а Сергей Иваныч все не приезжал. Наташа, часто заходя проведывать сына, уже толковала не раз с Аринушкой, поступившей к нему в няни, отчего это так долго не едет Сергей Иваныч, и Аринушка тоже отвечала, что давно бы пора уже Сергею Иванычу возвратиться. В одно из этих совещаний, когда они в пятый раз перебирали одни и те же догадки, быстро вошла прямо со двора, еще внося с собою свежий воздух, румяная горничная и сказала, что слышен колокольчик. Наташа велела ставить на собранный уже стол самовар и через минуту сидела за ним в зале, заваривая чай, чтобы встретить с горячим стаканом мужа.

В самом деле, пара гусем остановилась у подъезда, и в передней послышался голос Соковлина. Наташа встала и пошла навстречу.

— Что это ты так долго не ехал, Сергей Иваныч? — говорила Наташа, здороваясь с вошедшим мужем. — Не случилось ли чего-нибудь с тобой?

— Случилось, мой друг, действительно случилось, — говорил Соковлин, обняв и поцеловав жену, — и вещь весьма приятная и мне, и тебе. Узнай, кого я тебе привез?

В это время какой-то мужчина взошел из прихожей. Свечи стояли в другом углу, и его в полутени трудно было рассмотреть вдруг.

— Вы меня не узнаете, Наталья Дмитриевна? — сказал вошедший.

— Позвольте, дайте всмотреться, голос знакомый, — говорила Наташа, подвигаясь и всматриваясь в гостя. — Боже мой! Павел Егорыч! — вдруг воскликнула она.

— Он! Он и есть! На дороге нашел: повозка увязла,

лошади не берут, сидит в пяти верстах от дому. Я его и засеквестровал, — говорил Соковлин, потирая руки.

— Однако ж не скоро же вы узнаете старых знакомых! Разве я очень изменился? — спросил Комлев Наташу, поцеловав ее руку.

— Пойдемте к огню, я вам скажу, — отвечала она, подводя его к столу. — Да, вы много изменились, — сказала она, осматривая его. — Но я бы вас тотчас узнала.

— А вы — вы! Да вы и выросли, кажется? — подсмеиваясь и улыбаясь говорил Комлев, пожав плечами и несколько отступая от Наташи, чтобы лучше рассмотреть ее.

И жест его, и поза договорили о найденной им перемене то, чего он не хотел сказать.

И оба они стояли друг против друга, радостные, оживленные, и смотрели друг на друга. А Соковлин стоял сбоку и радовался их радости.

— Ну, полно! Полно вам любоваться друг другом, — сказал наконец он, — успеете еще. Давай-ка лучше нам чаю.

— Я очень, очень рада, что вас вижу, — сказала Наташа, подав еще раз, откровенно и полной рукой пожав руку Комлеву. — Надолго ли вы к нам?

— Да месяца на два, как устрою немного дела, — отвечал Комлев.

Этот ответ напомнил хозяевам причину приезда Комлева — недавнюю смерть его отца, и все тихо примолкли. Наташа принялась наливать чай. Все уселись около стола.

Комлеву было лет 25—26. Он остался невысокого роста, но крепко, сухо и мускулисто сложился. Открытое лицо его было подернуто тою тусклою бледностью, которая является от кабинетных занятий, но дышало жизнью и силой; тонкие губы иногда едва заметной складкой выражали иронию; умные серые глаза были живы и зорки; вздернутый нос и светлые волнистые всклокоченные кверху волосы придавали ему отчасти заносчивый и самоуверенный вид; но хорошо развитый умный лоб с несколько надвинутыми бровями показывал серьезность и сдержанность.

— Ну, что нового? Я не успел ни о чем вас расспросить порядочно, — начал Соковлин. — Видаете ли Б *, В *, Г *?

— Не часто, но случается. У меня много работы, и я редко бываю в их кружке. Но встречаемся.

— Ну, что они делают?

— Да по обыкновению — сбираются, толкуют, спорят, — сказал с несколько насмешливой улыбкой Комлев. — А иногда и пописывают.

— Вы как будто с ирониею говорите о них, — возразил Соковлин, — но я их буду отстаивать горячо. Они мало сделали осязательного, видимого, но много благотворного. Не забудьте, что это была единственно возможная деятельность их времени. Что можно было делать тогда — они делали, и делали честно, а теперь ваша забота, молодых и свежих людей, работать на деле, практичнее, но не осуждайте тех, которые приготовили вас к этой деятельности, если сами они и не привыкли и уже не способны к ней.

— Да я их весьма уважаю, — отвечал Комлев, — и отдаю им полную справедливость. Но согласитесь, что они не могут выйти до сих пор из своих тонких воззрений и еще более тонких намеков — всё остаются с высшими взглядами и теориями. Они слишком отвлеченно умны и изящны. А нам надо вещей более практических, и хоть неизящных, погрубее, потолще, но поближе к делу. Читали вы последнюю статью N *?

У Комлева и Соковлина завязался спор, живой, горячий. Комлев уже не заносчивым мальчиком смотрел на Соковлина. Он в этот промежуток времени в кругу серьезных людей слышал многое о Соковлине и о положении, которое занимал тот в их кругу и мнении. Он не церемонился с ним, не скрывал свой взгляд до более короткого знакомства, он высказывался и заспорил с ним при первой встрече, первом случае откровенно, прямо, как сходятся равные и взаимно уважающие друг друга люди, которые служат одному делу, хотя разными путями.

Наташа слушала их с глубоким, трепетным вниманием. В первый раз еще она видела бойца под силу ее мужа, не сходящегося с ним во взглядах, в первый раз слышала его спор, в котором неизвестно было еще, кто останется победителем. Ее сочувствие и мнение были на стороне мужа, но она радовалась и гордилась и за Комлева, радовалась, что товарищ и друг ее детства вышел недюжинным человеком.

Комлев говорил стойко, резко, но спокойно. Видно было, что он не уклонялся от споров, когда они встречались, но не отдавался им весь, не любил их как любимое дело.

Не то было с Соковлиным. Как ветеран, попавший на свое старое и страстно любимое поле, на котором давно не с кем было ему потягаться, он весь ожил и одушевился. Он был отличный диалектик. Неожиданной стороной повертывал он вопросы, улавливал в них тонкости, заметные только глубокому и искусному анализу, и часто удавалось ему этими уловками опытного бойца заставить Комлева

выбиваться некоторое время, чтобы выйти на более прямую дорогу. Добродушное лицо Соковлина все говорило вместе с мыслью, большие карие глаза то блестели и разгорались, то с проницательностью впивались в глаза противника, как будто в них наперед старались уловить его мысль и приготовиться к возражению, и если это возражение было именно таково, как он ожидал и желал, то они улыбались с торжествующей иронией.

Наташа любовалась своим мужем и была уверена в его торжестве. Но спор кончился — по обыкновению всех споров — тем, что каждый остался при своем убеждении, а пока Соковлин, потешившись умеренно, с добродушием хозяина вспомнил, что Комлев с дороги устал и его надо пораньше отпустить — с условием, чтобы он приезжал чаще спорить. Наташа велела поскорее подать ужин, и часу в одиннадцатом Комлев уехал, пожав как старым и добрым друзьям руки Наташе и Соковлину и обещая скоро приехать.

Когда сани заскрипели у подъезда и Соковлин, проводив гостя, возвратился к Наташе, она подошла к нему, отвела рукой его волосы, посмотрела на оживленное еще недавним спором и волнением лицо, нагнула к себе и поцеловала в лоб.

— За что это? — спросил с улыбкой Соковлин.

— Я тебя еще никогда не видала таким, — любуясь им, отвечала Наташа.

2

Комлев, отлично кончив курс в университете, поступил в ** министерство и служил там по желанию отца. Сам он не был расположен к бюрократическим занятиям. Он занимался политической экономией, писал, и имя его начинало уже пользоваться почетной известностью. Как скоро смерть отца, оставившего ему небольшое состояние, позволила ему свободнее располагать собою, он вышел в отставку и поехал в деревню, чтобы привести в порядок дела и потом ехать за границу.

Деревня Комлева была верстах в семи от Соковлиных. Его небольшой деревянный домишко совершенно опустел со смертью старика-отца. Все оставшееся в нем хранило печать старой, мелкой, отжившей жизни, или, лучше сказать, застоя. Комлеву было скучно в нем, и он, как только позволило время, поехал к Соковлиным.

Пора сказать откровенно, что первый оценивающий взгляд мужчины на женщину — всегда чисто материаль-

ный, да уж кстати прибавить, что бы там ни говорили, что и у женщины на мужчину точно такой же, иначе и быть не может по той простой причине, что физическое впечатление всегда предшествует нравственному.

Но ни из чего нельзя было заключить, чтобы в Комлеве осталась прежняя любовь к Наташе и, переменив оболочку заодно с переменой Наташиного положения, побуждала его ехать к ней. Напротив, время и постоянная умственная деятельность давно могли если не изгладить о ней воспоминание, то притупить всю страстность его, да и вообще Комлев был, кажется, не такого закала, чтобы искать сильных ощущений или развлекать себя маленькими чувствами. Но трудно определить, до какой степени ум и выработанные принципы порабощают чувства и что делается в положительном человеке, когда он встречает после долгой разлуки в первый раз с глазу на глаз ту, которую любил хотя бы во время юности, при других условиях, в другой поре развития.

Время было передобеденное. Соковлин был чем-то занят, и Комлева приняла Наташа. Она была очень хороша. Если в ней утратилось то отражение девственности, которое лежит какой-то прозрачной и нежной тенью, как надвинувшийся туман, на челе девушки, зато жизнь счастливая и тихая, вполне понятная и развившаяся жизнь выражалась на ее лице таким стройным сочетанием ясности, спокойствия и разумности, что человеку добросовестному и не ослепленному чувствами жаль было бы смутить эту гармонию своими заискиваниями. Серенький вышитый белыми шнурками капот свободно обнимал ее стройно развитые формы, а черненькая прозрачная вуалетка, накинутая на черную густую косу, придавала ее лицу какой-то южный характер.

— А, здравствуйте, Павел Егорыч! — сказала она, прерывая работу и подавая ему руку.

Комлев поздоровался и сел против нее у рабочего столика.

— Однако ж долго же вы заставили ждать себя! Муж хотел уже сам к вам ехать, — продолжала она.

— И самому мне хотелось к вам, да я нашел такой хаос в делах, что и привычному трудно бы справиться с ним. Думал было обратиться за советом к Сергею Иванычу, да раздумал: он, я думаю, в хозяйстве знает не более моего.

— Отчего вы это полагаете? Напротив, он хозяин хоть куда. Вот и теперь ушел — молотилку новую уставлять.

— Хоть это и сильное доказательство, — с усмешкой заметил Комлев, — а все-таки я думаю, что он плохой хозяин: не так окрещен. Люди, как он, плохие практики.

— Я не согласна, — сказала Наташа, — но спорить не буду, со мной вы оправдаетесь, а вот придет Сережа, так передам вас ему. А что у вас дома, есть кто из родных? Ведь тетушка была, кажется, у вас?

— Нет, она умерла еще прежде отца. Я нашел дом совсем опустелым.

Наташа взглянула от работы на Комлева, но не подметила на его лице никакого выражения.

— Да. И наш добрый любанинский дом опустел, — вздохнув, сказала она. — Когда мне случается бывать там, я не могу видеть его, покинутого, с закрытыми ставнями — помните, он был некрасив, но какой-то добродушный, приветливый.

— Это вам кажется оттого, что жили в нем добродушно и приветливо, — возразил Комлев. — А по правде вам сказать, я не люблю наших приплюснутых деревенских домов без всякого характера и определенной физиономии — точно сам помещик старого времени, расплывшийся и оглупевший в деревне. Вот этот у вас домик хорошенький.

— Да, хорошенький, — рассеянно сказала Наташа. — А знаете ли что, — прибавила она, поглядев пристально на Комлева, — мне кажется, в эти шесть лет, что мы не видались с вами, вы зачерствели: вам как будто ничего не жалко, ничему вы не радуетесь. Вы не рассердитесь на это замечание? Я говорю с вами по старой памяти откровенно.

— Еще бы! Если бы вы со мной заговорили иначе, так я бы поверил, что и в самом деле очень изменился, и вдобавок к худшему. Но теперь я вам так же откровенно отвечу, что вы ошибаетесь. Разумеется, я изменился, нельзя же оставаться восемнадцатилетним в двадцать пять, но я не думаю, чтобы зачерствел, напротив, я уверен, что теперь чувствую глубже, чем прежде. Только стал поменьше чувствителен, романтичен, как говорилось во время оно. Нервы стали покрепче.

— То-то не слишком ли окрепли? Впрочем, мне это показалось так, а кто ж вас знает. Чужая душа — потемки. Но мы сами плохие судьи о себе.

— Напротив, я думаю, что нет лучше суда, — отвечал Комлев. — Все взвесишь точно, беспристрастно и побранишь себя, только не исправишься — точь-в-точь как и после уголовного.

— Я вам сказала, что мне нельзя с вами спорить: вы сильнее меня. Но поживем — увидим. Если бы я знала вашу жизнь во все эти года, может, и теперь бы переубедилась.

— Ну нет, я думаю, не переубедились бы. Сильных ощущений у меня не было.

— Может быть, вы от них бегали?

— Нет. Но на это надо случай и много свободного времени, у меня не было ни того, ни другого. Я ни от чего не бегаю и ни за чем не гонюсь, но готов встретить все, что пошлет жизнь.

— И она вам не послала ни одного сильного чувства, ни одной привязанности? — спросила Наташа.

— В эти шесть лет — да. С тех пор как я уехал, влюбленный в вас и раздосадованный вашим замужеством, когда занятия перед экзаменом меня протрезвили, я по этой части был покоен, так что, если бы мне вздумалось теперь подрапироваться перед вами, я бы имел полное право сказать, что остался вам верен.

Комлев проговорил это покойно, просто, даже с добродушной усмешкой.

Наташа несколько зарумянилась. Она не думала вызвать его на подобную откровенность и не желала ее, но ей более всего не понравился тон, которым Комлев говорил о своей прошлой любви. Ее тонкая женственная стыдливость оскорблялась уже и тем, что говорят о собственном чувстве. По ее понятиям, подобные нежные движения души должны оставаться тайной, как должны оставаться ею интимные отношения супругов. Она считала это своего рода цинизмом. Но говорить о своем прошлом чувстве подобным образом с той, кем оно было возбуждено когда-то, она считала унижением этого чувства, недостатком уважения к нему. Понятно, что она не могла принять на себя и защиту его, поэтому она не хотела придавать ему никакого значения.

— К чему вспоминать ребячество! — заметила она, оправясь и продолжая работать, и, чтобы переменить разговор, хотела сделать какой-нибудь вопрос, но Комлев, к удивлению ее, тотчас же подтвердил ее слова.

— Разумеется, ребячество, — сказал он. — Мы стареемся ужасно быстро, и все, что пережито и с чем только успеет порваться связь, нам кажется на другой же день и мало, и мелко.

Наташа опять взглянула на него, думая подметить на его лице иронию, но Комлев говорил спокойно и, казалось, просто высказывал свою мысль.

— Я с вами не согласна, — сказала она. — Искренние чувства живучи и прочны, их не осудишь и над ними никогда не посмеешься, я в этом убеждена.

— Как! Вы делаете исключения в пользу искренних чувств? Да чувства всегда искренни! И мое к вам было как нельзя искреннее, да отошло, и глядишь на него с высоты пережитых лет. Возьмем, наконец, такое, в искренности которого вы сами убеждены: возьмем ваше чувство к мужу. Проследите его начало, развитие, первую пору. Неужели вам многое не кажется в нем милым, горячим, прелестным пожалуй, но детским, немного смешным, неловким? Неужели вы не смотрите на его начало как на что-то юное, некоторые случаи которого иногда совестно припоминать даже? Неужели вы бы желали и могли, если бы вам дано было это на волю, пережить его еще раз и пережить именно так, как оно было?

— Я! — с горячностью сказала Наташа. — Чтобы я отступилась от него? От его малейшей подробности? Ни за что в свете! Да, наконец, мне и не нужно его переживать, потому что я им живу до сих пор, и оно все то же.

Очередь была за Комлевым вопросительно посмотреть на Наташу.

— Странно, — подумав, сказал он. — Я не сомневаюсь в вашей искренности, но не знаю, чем объяснить себе это. Значит... значит, вы прядете все ту же нитку! Это редкое терпенье и обилие материалов...

— Что вы хотите этим сказать? Вы думаете, что нельзя одинаково горячо и постоянно любить человека шесть лет кряду? — с самоуверенной улыбкой спросила Наташа.

— Не совсем так. Хотя признаюсь вам, по моему мнению, и для этого надо большое счастье и много благоприятных условий. Но и в этом случае я допускаю эту живучесть только тогда, когда чувство растет, принимает в себя новую пищу, само переменяет формы. Но чтобы в нем не было пережитого, не было тех частей, которые отжили и должны отпасть, как прошлогодние листья, чтобы на него не наросло новых слоев, новой коры и кожи — этого я, признаюсь, не понимаю!

— Оттого что вы чувство считаете за кусок дерева и совсем не способны к нему, — сказала Наташа с некоторой горечью. — Вы материалист? — спросила она немного холодно.

В это время вошел Соковлин.

— Да, пожалуй, материалист, — отвечал Комлев, здороваясь с Соковлиным, — только если дадите материи значение пошире и не будете меня загонять в известные рам-

ки, которыми обыкновенно разгораживают материалистов, сенсуалистов, спиритуалистов и разных «истов». По мне, все эти перегородки ужасно шатки, и надобно быть очень сухим и спокойным, чтобы залезть и сидеть в них, не раздвигая их и не захватывая кой-чего по сторонам.

— Ого! — сказал Соковлин, садясь в стороне. — Да у вас, кажется, серьезное прение...

— Нет, — отвечал Комлев, — мы больше о чувствах. При всем уважении к уму Натальи Дмитриевны, я должен сознаться, что не люблю с женщинами серьезно говорить о других вещах.

— Это отчего? — спросила Наташа. — Разве мы не способны говорить ни о чем другом?

— Извините за откровенность, но я так думаю, — с убеждением отвечал Комлев. — Женщины могут говорить очень остро и мило, но мне не случалось в серьезных разговорах слышать от них ничего кроме общих мест или парадоксов. Да это и понятно: у женщин одна специальность — чувства, да и в тех они не отдают искреннего отчета даже себе. Зачем же им претендовать на то, чего им не дано!

— Странно в наше время слышать от человека образованного такое мнение! — заметила с дурно скрытым неудовольствием Наташа. — Так, по-вашему, мы не можем и не должны принимать никакого участия в общественных интересах? — с одушевлением спросила она.

— О, нет! — отвечал Комлев. — Во-первых, вы им можете горячо сочувствовать; во-вторых, сделать весьма многое через мужчин, потому что, надо сознаться, если вы мало способны делать что-либо сами по себе, так зато, к сожалению, можете все делать из нас.

— Ну, по вас этого не заметно, и вы, кажется, хотите только подсластить пилюли любезностью, — насмешливо заметила Наташа.

— Меня упрекают иногда в излишней и жесткой откровенности, но в любезностях я, право, не грешен, — искренно отвечал Комлев. — Впрочем, я вам высказал свое полное убеждение, позвольте мне не спорить за него в таком серьезном и спорном предмете, как права женщины.

— Вы боитесь услышать в возражение только общие места? — продолжала с прежней иронией Наташа.

— Я боюсь еще больше сам повторять их, — с улыбкой заметил Комлев.

Наташа закраснелась от этого тоже не совсем лестного ответа, но не возражала, и разговор принял другой оборот. Комлев отобедал у Соковлиных и уехал, взяв у

Сергея Иваныча несколько книг и обещая взамен прислать ему некоторые из своих.

Вообще он сошелся более и говорил охотнее с мужем, нежели с женою. К Наташе он относился вежливо, добродушно, но с некоторой снисходительностью, как говорят взрослые с малыми детьми. Этот тон и манера не допускали мысли, чтобы за ними скрывалась злопамятность за дурно принятую любовь, они только подтверждали воззрение Комлева на женщин. Наташа понимала это, но, привыкшая к нежному и полному уважения обращению мужа, невольно оскорблялась жесткостью Комлева. Она старалась быть с ним по-прежнему дружественна, но ее чистосердечность и неумение скрывать свои ощущения мешали ей, и она невольно была с ним холоднее.

Когда Комлев уехал, муж подошел к ней и, улыбаясь, спросил:

— А что, нам, кажется, не очень понравились рассуждения нашего друга?

— Он меня сердит, — отвечала Наташа. — Как в его года быть до такой степени черствым? Он, кажется, стал педантом.

— Ну нет, — добродушно заметил Соковлин, — он только сух, но люди, подобные ему, имеют свою хорошую сторону. Они делают дело, и делают добросовестно, хотя и по-своему, они все хотят прямой пользы. Немудрено, что положительность убивают в них всю нежную, поэтическую сторону жизни.

— Я не знаю, может быть, он очень дельный и полезный человек, но я не люблю таких, — сказала Наташа, выдвинув несколько презрительно губы.

— Да, в них нет того, что более всего нравится женщинам: этого стремления к чему-то недостижимому, к идеалу, нет титанизма или порыва к нему... Мы желали большего, но желали неопределенно, — они знают, чего хотят, и хотят возможного, но поэтому-то и не годятся в герои, которых вы любите, — улыбаясь, заметил Соковлин.

— Да, Комлев, пожалуй, может быть отличным человеком и мужем, но уж в герои, конечно, не годится! — с уверенностью сказала Наташа.

«Что ж мудреного, что он до сей поры не был никем любим!» — подумала она.

3

Комлев продолжал бывать у Соковлиных, и они ему всегда были искренне рады. В их деревенской и несколько разъединенной с обществом жизни человек, как он, был

гостем дорогим. Соковлин, если Комлев не бывал у них несколько дней, сам заезжал к нему и часто привозил его с собою. Отношения Наташи к Комлеву приняли какой-то странный характер. Заочно она была расположена к нему, как к доброму и старому другу, встречала его всегда с радушием и искренним удовольствием, если он не ехал долго, то скучала; но при свидании его резкий, несколько жесткий тон, недостаток мягкости и снисходительности, недостаток той бережности, которая заставляет обращаться с женщиной так же осторожно, как с дорогой и хрупкой вещицей, — все, к чему так привыкла Наташа и что было чрезвычайно просто, нежно и так нравилось ей в муже, — недостаток всего этого в Комлеве раздражал ее и заставлял иногда смотреть на него с враждебным чувством, тем более что это был единственный человек после мужа, чьим мнением она дорожила.

Это положение было совершенно противоположно тому, в котором она встретилась с Соковлиным. Несмотря на то что она была тогда полуразвитая девочка и, сознавая превосходство Соковлина, робела и смирялась перед ним, он так высоко ценил ее чистоту и прелесть, что, бережно и нежно возвышая ее понятия до своих, сам склонялся под ее женственным влиянием. Теперь, когда она, казалось, более имела прав на это влияние, Комлев не признавал его. Он, посторонний и одними светскими условиями обязанный на большую внимательность, он, любивший ее когда-то и в ее мнении стоявший ниже Соковлина, — жестко и прямо касался тех струн, которые муж ее до сих пор берег и лелеял в ней, как нежный любовник. Все это оскорбляло ее — и в Комлеве как в человеке, к которому она была дружески расположена, и в ее собственном самолюбии, как в другом круге оскорбляли бы ее женское самолюбие невнимание и небрежность какого-нибудь вполне светского и хорошо воспитанного человека. Наташа в первый раз в своей тихой и полной семейного счастья жизни волновалась посторонним влиянием и часто теряла то спокойствие и душевную тишину, с которыми совершенно сроднилась и под которыми медленно замирало все ее тревожное, порывистое, молодое. Наташа замечала это и беспокоилась, она чувствовала бессознательно, что что-то надламывается в ее так хорошо устроившейся жизни, что-то грозит потревожить и изменить ее, она уже смутно чувствовала обаяние и потребность тревог: долго сдерживаемые и убаюкиваемые молодые силы начинали пробуждаться и требовать исхода. На нее веяло уже тем безотчетным и сладким страхом, который предшествует этим

желанным тревогам, но ей хотелось не поддаваться им, хотелось все бы привести в прежний порядок, все примирить, успокоить. Всякий раз дружески встречала она Комлева и хотела остаться на этой дружественной ноге, и всякий раз Комлев каким-нибудь резким замечанием, движением, тоном невольно раздражал ее.

Раз Соковлин поехал в город и обещал Комлеву привезти нужные ему по вводу во владение бумаги, а Комлев хотел сам заехать за ними к Соковлину. Действительно, он приехал перед вечером, но Соковлин еще не возвращался. Наташа приняла его в полукруглом стеклянном выступе, который выдавался из гостиной, он был весь заставлен зеленью: плющ вился по стенам, орхидеи узлами спускались с корзин, некоторые из деревьев и цветов начинали распускаться, сквозь высокие стеклянные рамы пробирался свежий воздух, и эта смесь чистого уже отзывающегося весною воздуха с запахом первых цветов была нежна и отрадно раздражительна. А перед домом уже виднелись на припеке лужи, дорога потемнела, прилетевшие грачи кричали и расхаживали, поглядывая боком на окна, теплое солнце тихо садилось, и на всем лежал такой спокойный и улыбающийся задаток ясных и лучших дней, что даже дворовая собака, степенно усевшаяся у ворот, казалось, тихо и без всяких мыслей и мечтаний наслаждалась природой и не интересовалась даже полом пробегающей мимо посторонней и совершенно незнакомой шавки.

— Муж еще не приехал,— сказала Наташа, здороваясь с Комлевым, — и мы, как видите, поджидаем его.

Наташа показала на хорошенького ребенка, который сидел у нее на коленях и большими карими глазами удивленно смотрел на незнакомое лицо.

— Вы не видали еще моего Андрюшу — как вы его находите? — спросила она.

— Ничего, хорошенький, а коль не заплачет, так, пожалуй, найду, что и умный, — отвечал Комлев, сторонясь от него.

— Вы, кажется, и детей не любите? — спросила Наташа.

— И детей! Как будто я ничего не люблю на свете! — смеясь, отвечал Комлев. — До детей, правду сказать, я действительно не большой охотник. Своих, я понимаю, можно любить, как частицу себя, как свое будущее. А чужие — не то зверки, не то люди, не знаешь, как и подступиться к ним, того и гляди не понравится им физиономия—

они расплачутся, и выйдет **сцена**, чего я боюсь больше всего на свете.

— Хорошего вы мнения о детях! — сказала Наташа. — Вы не стоите, чтобы они у вас и были когда-нибудь. Человек, который не любит детей, злой человек.

— Ну, вот видите, не прав ли я, что не люблю их? Только вот в первый раз я вас увидал с сыном, и еще прекрасно отозвался о нем, а уж оказался злым: мало умилился! Я их не люблю потому, что боюсь, а боюсь потому, что у матерей самое раздражительное из авторских самолюбий.

— И они на это имеют право, потому что это лучшее и высшее из произведений! — горячо сказала Наташа.

Комлев ухмыльнулся.

— Как легко вам делаться Шекспирами! — пробормотал он.

Наташа повернулась всем лицом к ребенку, так что Комлеву видна была только часть зарумянившейся щеки ее.

— Что, дитя мое? Вздор говорит Комлев? — сказала она. — Хорошо, что ты не слушаешь его. Не слушай, друг мой!

Вследствие этого воззвания, тон которого показался ребенку жалобным, он счел за приличное заплакать. Наташа стала унимать и ласкать его, но это не действовало. Она не видала выражения лица Комлева, но ей казалось, почему-то, что он торжествует. Ей совестно было показать, что все это сердит ее, и она, лаская и успокаивая ребенка, вышла.

Комлев остался один, закурил сигару и начал пересматривать попавшийся под руки журнал.

Прошло несколько минут, прежде нежели возвратилась Наташа. Она вошла без ребенка. Лицо ее было уже спокойно, но несколько задумчиво. Она села за работу и не перерывала молчания, она думала о чем-то.

— Послушайте, Комлев, бросьте книгу! — сказала она наконец, не подымая глаз с работы. — Мне хочется поговорить с вами серьезно.

Комлев молча закрыл книгу.

— Но вы мне должны прежде дать слово отвечать прямо, откровенно. Если вы не захотите быть искренни со мной, вы меня заставите раскаяться, что я вас вызвала на этот разговор.

— Я надеюсь, что этого не будет, — отвечал Комлев.

Наташа помолчала минуту, не зная, как начать.

— Скажите мне, вы ничего не имеете против меня? — спросила она, взглянув на него исподлобья.

Комлев с недоумением пожал плечами.

— Хотя бы не за настоящее,— тихо и потупясь прибавила Наташа. — Мужчины, как женщины, бывают в иных вещах страшно самолюбивы и злопамятны.

Комлев улыбнулся.

— О нет! — простодушно отвечал он.— Моему самолюбию совсем не больно сознаться, что я тогда был мальчишкой в сравнении с вашим мужем. И при том разве я искал или мог искать вашей руки, иметь, как говорится, серьезные виды?

— Ого! Тут маленькая эпиграмма! — заметила Наташа. — Вы думаете, что мы так расчетливы? Пусть так. Но объясните же мне, — продолжала она застенчиво, — отчего мы как-то недружелюбно сходимся с вами? Отчего вы со мной принимаете какой-то холодный, сухой тон, который невольно сердит меня? Отчего мы не встретились с вами, как бы следовало старым добрым друзьям?

Комлев пытливо посмотрел на Наташу.

— А если бы мы встретились совсем по-прежнему? — спросил он. — Если бы вы меня нашли таким же влюбленным в вас, каким я уехал? Что бы вы сказали?

Наташа почувствовала, что она своим объяснением неосторожно дотронулась до новой, давно умолкнувшей между ними струны. Страшен, но приятен показался ей этот запретный звук. Ей было и любопытно, и боязно, но она думала, что может безупречно услышать его хоть слабое еще, но волнующее дрожание и остановить по произволу. Она рассуждала точно так же, как рассуждает человек, приехавший на восток, перед трубкой опиума: он знает все вредные последствия его, но ему любопытно его попробовать, и он вполне уверен, что не отдастся гибельному наслаждению.

— Мне это было бы и грустно, и неприятно, — сказала Наташа.

— Вот видите ли, вы сейчас становитесь за готовое нравственное правило! А на деле было бы совсем иначе, и, поверьте, в душе вы бы остались очень довольны этим.

Наташа промолчала, как бы поверяя слова Комлева.

— И я приписываю ваше недовольство мною именно тому, что я не остался ни влюбленным в вас, ни негодующим за прежнюю неудачу.

— Вы, может быть, правы, — сказала Наташа. — Я действительно не хочу этого равнодушия или, лучше ска-

зать, холодности, потому что тут есть третий исход и самый простой, желательный, я его назвала уже.

— Уж если вы меня вызвали на откровенность, так я буду вполне откровенен и за вас, и за себя, — продолжал Комлев. — Вы шесть лет счастливы семейной жизнью — и вам этого мало. Да! Позвольте мне кончить! — сказал он, заметив нетерпеливое движение Соковлиной. — Это уже не ваша вина, это тайна природы, тайна неудовлетворимости чувств, пока они не притупеют. Но вы любите мужа и вдобавок не хотите позволить себе любить еще другого, у вас есть на это и готовое нравственное правило, — вот вы и желаете дружеских отношений. Это любовь, разбавленная водой, любовь в известных границах и вдобавок дозволенная моралью, не полное удовлетворение потребности любви, а маленькое приятное раздражение. Полусытые — то есть те, кому и без того уже есть кого любить или которые не смеют еще любить другого, — очень охотно позволяют себе это невинное дополнение. Но я не в том положении, чтобы им довольствоваться, да и вообще не люблю этих получувств и шатающихся положений. Неужели вы думаете, что человек еще молодой и свободный может встречаться с женщиной, как вы, вдобавок с женщиной, которая ему нравилась, без того чтобы ему хотелось ее любви, когда и без того ни один мужчина не встречает равнодушно симпатичную ему женщину! Или вы в самом деле думаете, что я зачерствел или превратился в кусок льда? Да ведь это была бы болезнь или уродство... Да! Я желал бы любить вас, и вы в моих глазах имеете все, чтобы заставить себя любить страстно. Но я не из тех праздношатающихся дон-жуанов, которые ищут в любви препровождения времени, и не из тех, которые бросаются в нее очертя голову. Я уважаю вашего мужа, мне нравится гармония вашей жизни, и я, ни на что не надеясь, не позволю себе, пока могу, смущать ее. Вот вам объяснение, почему я стараюсь как можно дальше держать себя. Короткость скользка, и я за себя не ручаюсь, без нее мне легче владеть собой... Теперь хотите вы этой короткости? — прибавил он, и на последних словах его серьезный и резкий тон как будто ослабел и стал тише, мягче и неувереннее, точно колеблющийся шаг, на котором явилась готовность воротиться назад.

Комлев замолчал и пытливо посмотрел на Наташу, ожидая ее ответа.

Наташа была смущена словами Комлева. Она не ожидала и не приготовилась к такой холодной, резкой откровенности. Она была бы еще более затруднена ею, если бы

не почувствовала своим женским инстинктом, что в последнем вопросе Комлева было нечто заискивающее, какая-то проба ее чувств, надежда на ее уступчивость. Она и оскорбилась этим предположением, и была довольна им, потому что в нем видела свою женскую силу. Легкая насмешливая улыбка сложилась круг ее рта и блеснула в глазах.

— Я и не знала, что моим очень простым, как мне казалось, желанием чуть не напросилась на вашу любовь и на свою гибель. Нет! Слуга покорная! На этих условиях я не хочу вашей дружбы. Я не думала, что она так опасна. Хоть мне и надоело, как вы думаете, семейное счастье, но уж я лучше придержусь его и нравственных правил. Но вы поступаете благородно и осторожно, и я очень благодарна, что вы мне разъяснили все это.

Комлева подернуло от этой насмешки. Он, на минуту вышедший из своего обыкновенного положения, точно ужаленный, вдруг снова ушел в себя. На энергичном и открытом его лице на мгновенье отразилась вся вспыхнувшая внутри досада на себя и Наташу. Но он тотчас овладел собой и отвечал спокойно.

— Я не имею привычки, — сказал он, — становиться на ходули и делать из себя героя. Вы требовали откровенности, я вам высказал все, что думаю и о чем без вашего вызова, конечно, никогда бы не сказал. Вы можете выводить какие угодно заключения, и если это вам кажется смешно, я очень рад, что доставил вам маленькое удовольствие посмеяться.

Комлев взял фуражку и встал.

— Куда это вы? — спросила Наташа. — Неужели вы сердитесь за шутку?

И ей вдруг показалось, что она была несправедлива и неблагодарна с Комлевым.

— Нет, — улыбаясь, отвечал Комлев. — Но мы так откровенно высказались сейчас, что уж сегодня нам не о чем, кажется, и говорить.

И он, прощаясь, подал ей руку.

— Вздор! — сказала Наташа, медленно подавая ему свою. — Ну, я виновата. Полноте, оставайтесь!

— Да я вовсе не сержусь и не желал ваших извинений. А просто ваш муж долго не едет, а мне пора домой.

— Это пустая отговорка. Оставайтесь. Ну останьтесь! — настоятельно сказала Наташа и, не выпуская его руку, удержала его.

— Зачем? — нерешительно сказал Комлев, смотря в ее ясные приподнятые на него глаза.

Несколько мгновений они смотрели друг на друга, и вот что-то беспокойное зарделось у них в глазах, страстно смущающей мыслью вспыхнуло, точно порох, точно электрической искрой сверкнуло из глаз в глаза, передалось из руки в руку. Они бы сами не могли определить, в ком родилась эта мысль и что такое была она. Показалось ли Комлеву, что Наташа под влиянием более нежного чувства удерживает его, и Наташа угадала это подозрение и смутилась им; самой ли Наташе пришло на ум, что Комлев может иначе истолковать ее просьбу, и Комлев угадал ее мысль; или это было последствием чисто физического ощущения руки, державшей руку, глаз, устремленных в глаза, молодых, впервые вспыхнувших стремлений, — они не знали и не могли решить; только это было мгновенно, неожиданно, точно какое-то знойное опьяняющее веяние пахнуло на них и подняло всю кровь. Краска бросилась у них в лицо, взгляд смутился, Наташа поспешно отдернула руку и быстро обернулась к окну.

Рука Комлева опустилась, но он остался как вкопанный. В голове у него была какая-то путаница. Он смотрел по тому же направлению, и взгляд его уперся в затылок Наташи. Он только видел ясно очерченную линию, начавшуюся двумя косичками, которую образовал засев черных волос на шее. Он не отдавал себе отчета, как изящно и симметрично изогнута эта линия, как нежна ее тонкая шея, как густ черный узел косы. Он чувствовал только какое-то горячее смущение и боялся тронуться, чтобы не очнуться от него.

Мысли Наташи были также смутны, неопределенны, только к ним примешивался какой-то приятный страх. Она также неопределенно смотрела в окно, ничего не видя, не различая.

Продолжалось ли это состояние мгновение или минуты, они не чувствовали, но Наташа первая очнулась, как от обморока. Первая мысль, которая шевельнулась в ней, была мысль о муже. Она не отдавала себе отчета в ней, но слово «муж!», «муж!» только и было у ней на уме, до того, что она едва не произнесла его вслух. Она чувствовала, что это ее якорь спасения, что она будто виновата перед ним, что ей надо что-нибудь для него сделать. Потом вспомнила о Комлеве и не знала, что делать с ним, не рада была, что оставила его.

— Поедемте мужа встречать, — сказала она вдруг, как только эта мысль мелькнула у ней в голове, — так она обрадовалась ей.

— Поедемте, — сказал Комлев, приходя в себя.

Наташа торопливо позвонила, избегая взгляда Комлева, который чувствовала на себе. Она боялась, что он заметит ее смущение.

— Вели лошадь заложить, — сказала она вошедшему слуге. — А я пойду одеться, — прибавила она Комлеву и поспешно вышла.

Комлев сел, бесцельно смотрел в окно и все думал: что это такое? и наконец было ли тут что-нибудь? и что именно? — так все это было неопределенно, беспричинно и заметно только по смущению, внутреннему довольству, которое оставило по себе. Он не помнил, долго ли он так оставался, пока не вошла Наташа. Она была в салопе[26] и капоре, на лицо была спущена вуаль.

— Едемте, — сказала она.

Он взял фуражку и вышел за ней, слуга накинул на него шубу. У подъезда стояли широкие покрытые ковром пошевни[27], заложенные одиночкой. Они сели и поехали.

Переехав поперек улицу, они выехали в поле. Подтаявшая и осевшая дорога была ровна. Кучер пустил рысистую лошадь. Мягкий ветерок дул им в лицо. Брызги оттаявшего снега летели по сторонам. Чистый розовенький закат догорал прозрачно и ясно. Наташа и Комлев не говорили ни слова, ни о чем не могли думать. Они чувствовали только, что сидят тут, близко один от другого. Жизнь полнее играла в них, мир как будто раздвинулся, грудь дышала шире и требовала воздуха. Наташа откинула вуаль и подставила разгоревшееся лицо навстречу ветру и брызгам.

Они отъехали версты три до перелеска, в который заворачивал проселок. Дорога становилась ухабиста, кучер сдержал лошадь.

— Что, не видать? — спросила Наташа.

— Не видать-с, — отвечал кучер, приподнимаясь на козлах и заглядывая вперед. — Не проехали ли они разве на Мокриху? Тут лесом дорога плоха...

— Воротись, — сказала Наташа.

Кучер повернул и, проехав несколько сажен, хотел пустить лошадь.

— Тише, — сказала Наташа и опустила вуаль.

Они подъезжали к дому, и Наташу мучила мысль, что она будет делать с Комлевым, если муж не скоро приедет. Она боялась остаться с ним, она припомнила слова Комлева: «Нам уж сегодня не о чем, кажется, и говорить» и, вспомнив, по какому поводу были сказаны эти слова и по какому сбываются, зарумянилась и невольно улыбнулась под вуалью. К счастью, подъехав к крыльцу, она увидела,

что опасения ее были напрасны, и точно какой-то камень свалился с нее. На дворе стояла еще не отложенная повозка Соковлина.

— Отчего ты так долго не возвращался? — с неудовольствием сказала Наташа встречавшему ее мужу.

— Разве можно скоро выехать, когда имеешь какие-нибудь дела в суде? — отвечал Соковлин. Он подошел к ней и поцеловал в голову. — Что с тобой? Ты так разгорелась, — спросил он, подняв ее голову и смотря ей в глаза.

— Ничего! Оставь! — нетерпеливо сказала она. — Это от воздуха. Мы уже соскучились и ездили встречать тебя.

— Знаю. Я поехал объездом: тут лучше дорога. Ну, давай нам скорее чаю, — весело сказал Соковлин. Но когда Наташа пошла распорядиться им, он внимательно посмотрел ей вслед. — Что, она не жаловалась вам на нездоровье? — озабоченно спросил он Комлева, здороваясь с ним. — У нее какой-то лихорадочный блеск в глазах.

— Нет, она ничего не говорила, и я этого не замечаю, — отвечал Комлев.

Подали самовар. Разговор шел о делах и маленьких новостях, слышанных Соковлиным в городе. Наташа почти не принимала в нем участия. Напоив их чаем, она сказала, что у ней от ветру болит голова, и ушла.

Одна дверь из чайной выходила в ее кабинет. Опустив тяжелые портьеры, Наташа села в глубокое кресло недалеко от двери. Ей был слышен весь разговор мужа с Комлевым. По поводу какой-то недавно прочитанной им книги Соковлин завел речь о новых философских школах [28]. Комлев возражал ему мало, отрывочными фразами. Ему было не до Фейербаха и Фишера, не до безусловного существа: он думал, что делается рядом за портьерой, что делает и думает Наташа, которая, вероятно, тут где-нибудь близко. Но порой слова Соковлина раздражали его, раздражал его не образ мыслей, не идеи, им высказываемые, а просто самый спор, на который Соковлин вызывал его, его слова, которые мешали ему думать о другом. Тогда Комлев возражал ему холодно, резко. Его убеждения, как убеждения всякого самостоятельного человека, не подчинялись известной школе, авторитету, но его материальный, строго научный взгляд обрывал, как листья, полуидеальный и примиряющий взгляд Соковлина. Комлев не строил теорий и не сочувствовал им, про все, еще недоступное уму и опыту, он прямо говорил: «Не знаю» — и тем легче разбивал хитрые теории и умозрения Соковлина.

Наташа ловила каждое слово Комлева. Она его слушала не потому, что ей были новы слова, не потому, что

она разделяла взгляд Комлева, напротив, ее глубоко религиозное чувство обдавало холодом и ужасом от этих слов. Но с ней в отношении Комлева случилось то необъяснимое, но тем не менее истинное психологическое явление, по которому один человек — и только один — становится вдруг вне нашего суда, вырывается из-под нашего критикующего взгляда. Это первый симптом любви, разительно сходный с мономанией. Наташа с глубоким вниманием слушала слова Комлева потому только, что говорил их Комлев. Отвлеченные, примиряющие, более близкие к ее понятиям мысли Соковлина она отвергла. Она судила их, и суд этот был не в их пользу. Она находила его убеждения темными, шаткими, она им не сочувствовала и смотрела на них с пристрастным предубеждением. В первый раз она заметила в уме мужа что-то слишком мягкое, старческое, отживающее. Словам Комлева она бы еще менее должна была сочувствовать, но она принимала их на веру — как аксиому, как факт, как нечто неопровержимое. Говори Комлев то, что говорил Соковлин, — и она бы точно так же верила ему. Комлев вышел из-под ее судящих способностей, он вдруг, неведомо почему, стал для нее авторитетом, чтобы не сказать более — героем, он порабощал, подавлял ее, она могла его слушать, смотреть на него, замечать его странности, особенности, даже уродливости, если бы находила их, но эти поступки, суждения, странности она не обсуждала — они так должны были быть потому только, что принадлежали ему. Она не сознавала еще над собой этого факта, этой власти, но бессознательно уже подчинялась им.

Между тем, слова Комлева совершенно противоречили всем ее самым глубоким, самым крепким убеждениям, с которыми она выросла, которые всосала вместе с молоком, восприняла изо всей с детства окружающей ее среды. Соковлин никогда не высказывал ей своих религиозных убеждений, он уважал и обходил ее наивные чувства, находя их чем-то присущим женщине. Иногда урывками, в словах и книгах, до нее доходили идеи современных мыслителей, но она смотрела на них как-то вскользь, как на плоды «ума холодных наблюдений» [29], до нее так же мало касающихся, как механика, химия и прочие **не женские** науки. И теперь откровенный разговор, который она слышала, был совершенно нов для нее, но она слушала его тем с большим интересом, что в нем высказывался Комлев. Его слова нисколько не колебали ее религиозности, она их не применяла к себе, не сверяла со своими убеждениями, она им удивлялась, заслушивалась ими, как страш-

ной сказкой. Новым, сильным и беспристрастным человеком вырастал перед ней Комлев в этом разговоре. Ей было страшно за него, и она удивлялась ему. Она думала, как много нужно было смелости, твердости и высокого нравственного развития, чтобы отбросить все обольстительные и успокаивающие мысли, отвергнуть всякую опору и идти одному, идти прямо, честно, строго развивать и нести все благородные способности на службу человечеству, увидеть впереди одну могилу и ничтожество. Она не видала уже в нем, бедная, больная страстью женщина, тех сухих, рассудочных и холодно наложенных на себя правил, прикрывающих внутреннюю скудость, которые прежде смутно чувствовала.

Составив себе этот нравственный образ Комлева, она переносилась к его наружности и живо представляла ее себе. Она находила, что эта наружность именно такова и должна быть, чтобы соответствовать ему. Ни одной лишней или недостающей черты! Смелый, бодрый вид, высокий, сильно развитый лоб, умные, зоркие глаза, энергически выгнутое переносье — все до несколько презрительно вздернутого носа и взъерошенных кверху волос, все шло к нему, все соответствовало его характеру, чем-то молодым, крепким и здоровым веяло от него. И воображение ее, чистое и нераспущенное, остановясь на наружности Комлева, вдруг иногда самовольно, со всей молодостью желанья, рисовало ей такой разоблаченный образ, такие картины, что Наташа, закрыв лицо руками, невольно с прерывающимся дыханием отдавалась им и потом, очнувшись, старалась сбросить их и вырваться из их подавляющей власти, как от кошмара.

Воспользовавшись первым случаем, Комлев прекратил спор и уехал. Он не надеялся в этот вечер увидать Наташу — зачем же ему было оставаться?

Когда Соковлин, проводив его, вошел в спальную, он нашел жену уже в постели. Соковлин осторожно подошел к ней, но лицо ее было спрятано в подушку.

— Ты спишь, Наташа? — тихо спросил он.

Ответа не было.

4

Наташа на другой день была бледна и несколько слаба, но покойна, как будто за ночь она перенесла болезнь и начинала выздоравливать. Действительно, та бездна новых мыслей и ощущений, которые она переработала и перечувствовала в эту ночь, стоила болезни. Этих мыслей

нельзя ни перечислить, ни передать: сознание чувства к Комлеву, которое она боялась сама себе даже назвать любовью; новый, какой-то посторонний взгляд на мужа, на свои обязанности — все это и пропасть других мыслей толпой, несвязно, сбивчиво, то ярко, то смутно проносилось безотвязно в ее голове, прерывалось или страстными до самозабвения или возбуждающими в ней ненависть картинами, которые отрывочно, но поразительно ясно вдруг рисовало ее воображение; и все это она перечувствовала в двух шагах от мужа, который спал, казалось, безмятежно, а иногда еще слегка всхрапывал. Наташа чувствовала, что голова ее болит и ломится от напора этих потрясающих мыслей и картин, она думала, что заболевает и что с ней начинается жар и бред. Но к утру она проснулась уже с какой-то безжизненностью в голове, точно мозг ее, так страшно работавший всю ночь, устал и не хотел принимать ни новых мыслей, ни впечатлений.

Она принялась за свои обычные занятия машинально. С мужем встретилась за чаем, но встреча с ним не напоминала ей ни вчерашней сцены, ни укора. Напротив, она чувствовала себя холоднее к нему, независимее, самостоятельнее, точно между ним и ею оборвался тот невидимый нерв, который связывал их между собою, делал из их отдельных жизней одну цельную, взаимно действующую жизнь.

— Да здорова ли ты, Наташа? — спросил Соковлин, поцеловав ее, по обыкновению, в голову и беспокойно поглядывая в глаза жены.

— Здорова, — лениво и с неудовольствием отвечала она.

Она принялась за работу, но часто, воткнув иглу, останавливалась и, неподвижно прищурив глаза, точно всматривалась во что-то, сидела так несколько минут и потом снова, но поспешнее принималась шить. Мало-помалу сознание настоящего положения стало яснее представляться ей. Она сделалась мягче и нежнее с мужем и задумчивее. Она знала, что Комлев не приедет в этот день, но перед вечером стала беспокойнее, вздрагивала от каждого нечаянного стука, как будто против воли ждала кого-то. Когда стало уже так поздно, что нельзя было ждать чьего-либо приезда, она успокоилась, но видно было, что одна какая-то мысль сильно занимает ее.

Вечером, когда Соковлин читал по обыкновению что-то, изредка отрывая от книги глаза и взглядывая на Наташу, сидящую за работой, она сказала ему:

— Сережа! Я завтра думаю начать говеть[31].

Надобно заметить, что это было в исходе великого поста.

— Что тебе вздумалось? Ведь ты говеешь обыкновенно летом, — с удивлением спросил Соковлин.

— Так. Мне хочется нынче... Мне хочется молиться, — сказала она тихо и не поднимая глаз.

— Как знаешь, — равнодушно сказал муж. — Нынче только дорога нехороша.

— Это ничего, — заметила Наташа.

Соковлин продолжал читать, но, взглянув на Наташу и увидав, что она потупилась в работу, он долго и пристально смотрел на жену. В его взгляде видно было и беспокойство, и тот смутный блеск, который невольно светится в глазах, когда в душе рождается в первый раз сомнение и подозрительность. Но Наташа сделала движение, и он быстро погрузился в чтение, подняв книгу в уровень с лицом. Наташа не заметила ни взгляда его, ни смущения.

На другой день Наташа действительно начала говеть. Их приходское село было версты за четыре от деревни Соковлина и верстах в трех от Комлева. Это была доживающая свой век старинная низенькая деревянная церковь с потолком вместо свода и деревянным серым от времени куполом. (Невдалеке на ее смену уже воздвигалась каменная, но не была еще достроена.) У входа был навес, подпертый столбами с точеными перильцами, как у старинных домов. Невысокие окна с железной решеткой пропускали мутный свет сквозь выцветшие стекла, от времени принявшие уже радужный отлив. Иконостас [31] был из нескольких образов старинного письма в два яруса; один из них, Божьей Матери Троеручицы, был в золоченой ризе. Над входом висела потемневшая масляная картина, изображающая страшный суд с извивающимся змеем, на котором были написаны все грехи с разными казнями, соответствующими каждому из них: кто был повешен за язык, кто крюком за бок и прочее. Священник, низенький, плотный, в бедном облачении, совершал службу; на клиросе [31] пел и читал один дьячок, да изредка пономарь [31], исправив другие обязанности; подходил к нему и нещадно фальшиво подтягивал.

Служба шла монотонно. Между богомольцами была глубокая тишина, изредка прерываемая набожным вздохом или шопотом какой-нибудь старухи, произносящей молитву. Богомольцев было немного, преимущественно женщины; кислый запах, вносимый с собою трудовым народом, мешался с дымом ладана.

В первый день Наташа не встретила никого из знакомых в церкви; но на другой, выходя от обедни, она увидала стоящего у стены Комлева. Его присутствие не удивило ее: она как будто знала или чувствовала, что он тут. Он молча и почтительно поклонился; она, не останавливаясь, тихо поклонилась ему и, не глядя, прошла мимо, только на ее бледном лице заиграл слабый румянец.

Так шла неделя. Несмотря на бедную обстановку, никогда Наташа даже в дни своей ясной девичьей жизни так не молилась. Это не были горячие вырывающиеся из души молитвы женщины, чувствующей опасность и не надеющейся на собственные силы. Нет, ее молитвы были тихи, но душа как-то раскрывалась к излиянию и восприимчивости, переполненная чувствами, как раскрывается для благоухания созревшая, полная сил и жизни чашка цветка. Присутствие Комлева не мешало ей, не смущало ее, напротив, оно было ей потребно: она не думала о нем, потому что знала, что он тут, в нескольких шагах за нею. Его присутствие было именно ключом для ее настроения, оно шло к нему, как недостающий звук для полного аккорда. Тихо стояла она, прислонясь к дощатой стене, чувствуя на себе взгляд Комлева. Неразборчивое чтение дьячка, периодически вытягивающего некоторые слова, возгласы священника, шуршуканье одежды богомолок, клавших медленные земные поклоны, — все сливалось в один заунывный звук; вся бедная, сумрачная и ветхая обстановка, все великопостные молитвы — все говорило о бренности и непрочности этой жизни. И вдруг ворвется яркий весенний луч, ударит по серым клубам дыма, теплом и блеском обдаст лица — и обновленная жизнь ворвется с ним туда, где все говорит о жизни загробной, и иные мысли проносились с этим лучом, и поспешно и часто Наташа начинала класть поклоны.

А Комлев? Причина, по которой он бывал постоянно на своем обычном месте, ясна читателям. Мы не будем разбирать и впечатлений, которые выносил он с собою. Но заметим, что человек не легко отрешается от преданий, в которых он вырос. Просыпаются забытые, но еще не порванные нити, слетают тихие и когда-то дорогие звуки — и ум, сознавая, что он бессилен еще перед многими загадками в жизни, не накладывает в эти минуты свою холодную руку на едва уцелевшие и слабые, но когда-то звучавшие струны.

А весна с каждым днем дышала теплее и животворнее. Снег оседал, кровел и таял. Чище и голубее стало небо. Бывало, солнце только еще всходило, когда отправлялись



5 Заказ 822

к ранней обедне наши богомольцы. Издали доносился им навстречу медленный благовест[32] надтреснутого и маловесного колокола; звук его был жидок и дребезжащ, но добродушен и приветлив, как добрый старческий голос. Богомольцы с разных сторон шли по дороге к селу, еще тотчас по выходе из дому уже устроив у себя набожные и постные лица, они кланялись особенно низко и смиренно. Лужи, покрытые тонким льдом, под которым переливалась вода, маленькие ямки, перетянутые бело-молочными льдистыми иглами, хрустели и ломались под ногами, свежий воздух охватывал лицо, и здоровая дрожь пробегала по телу. Кончится обедня, выйдут они, обменявшись безмолвным поклоном, вместе с народом; солнце уже бьет тепло и ярко, вода журчит по полям и овражкам, верба оделась пухом, лес точно молодеет и наливается от поднимающихся в нем соков, горячее льется кровь от весеннего воздуха, сильнее бьется сердце, и душа, точно сладко занывая, куда-то стремится и просится... Это лучшая пора для молитвы и... для любви; и любовь их росла и зрела еще быстрее пробуждающейся вокруг природы.

В день, когда Наташа приобщалась, Комлев приехал поздравить ее и остался до вечера. Наташа, вся в белом, несколько побледневшая, со своими гладко причесанными волосами и утомленными глазами, имела какой-то особенный вид нежной чистоты. Комлев был с нею мягче и почтительнее, он и говорил с нею почему-то тише и бережнее, точно с выздоравливающей. В обращении Соковлина с ним и женою не было заметно никакой перемены, только раз при жене он спокойно и как будто мимоходом спросил Комлева:

— А вы тоже говели нынче, Комлев?

— Нет, — отвечал Комлев серьезно, — я смотрел, как молятся другие, и завидовал.

Наташа кинула беглый взгляд на мужа: она не говорила ему о встречах с Комлевым. Но лицо его не выражало ни иронии, ни задней мысли. Несмотря на это, она была уколота этим вопросом и не отвечала в свою очередь только потому, что не хотела придавать ему значения. Но в душе она была благодарна Комлеву за его искренний и, главное, твердо высказанный ответ. Более они не говорили об этом.

Прошло еще недели две. Комлев в это время всего раза два-три был у Соковлиных. По какой-то странной прихоти Соковлин часто хоть ненадолго оставлял жену с

Комлевым под разными предлогами одних, с глазу на глаз. Может быть, если подозрение уже зародилось в нем, он повиновался тому нетерпеливому чувству, по которому больной поскорее хочет довести свой томительный недуг до кризиса и готов часто усилить его, чтобы только чем-нибудь покончить с ним. Но эти свиданья и встречи не повели ни к чему. Точно сговорясь, Комлев и особенно Наташа избегали всякого разговора, который мог бы их заставить хоть сколько-нибудь высказаться.

Наступила пасха [33], и вместе с нею точно какая-то сдерживающая сила совершенно неожиданно сняла со всех свою руку. Лица, которые за два дня носили набожное и робкое выражение, глядели теперь весело и бойко; большая часть деревни, которая недавно постилась и вздыхала, была пьяна и пела песни; улица оживилась народом; казалось, солнце светило веселее и ярче, и кровь живее и горячее билась в жилах.

Общее настроение, хотя в меньших размерах, отразилось и на кружке наших действующих лиц. Комлев в первый же день приехал к Соковлиным. Они сошлись как-то дружнее и короче. Разговор был весел, непринужден и дышал теплою и откровенною симпатией. Облако, которое молча росло и темнело между ними, казалось, растаяло и упало освежающим дождем; зародившееся чувство, не дозрев до страсти, казалось, нашло исход в дружеской привязанности.

Соковлины имели обыкновение на пасхе ездить в Любановку — христосоваться [34] с крестьянами, которым в это время делалось угощение. Наташа после смерти матери постоянно и с любовью справляла эту поездку. За обедом зашла речь о ней.

— Не хотите ли вы ехать с нами? — сказал Соковлин Комлеву.

Комлев согласился с удовольствием, и поездка была назначена на другой день.

Утром Комлев приехал к Соковлиным, и они отправились. День был теплый, тихий. Они ехали в открытых дрогах. Соковлин сидел рядом с женой, напротив их Комлев. Солнце светило ярко, но не жгуче; с его теплыми веселыми лучами точно лилась какая-то оживляющая струя. По лугам стояли и сверкали светлые полосы вод; прилетевшая птица кричала кругом своим весенним беззастенчивым и раздражающим криком; даже в наливающихся стволах деревьев и прутьев чувствовалось движение поднимающихся соков; полнота молодой закипающей жизни

обхватывала кругом, вдыхалась в воздухе, слышалась ухом, виделась.

Все ехали молча. Соковлин, казалось, безмятежно наслаждался природой. Но в Наташе, а особенно в Комлеве проглядывала сдержанность: их бременил избыток жизни и ощущений, беспокойство, какие-то порывистые стремления просились высказаться и вырваться, и они не смели им дать воли. Новые дышащие чувством оттенки лежали на лице Наташи и придавали ему полноту выражения невиданную. Румянец играл на щеках, глаза отуманивались и стали будто глубже и темнее, она их постоянно отводила, чтобы не встретиться взглядом с Комлевым. Комлев, напротив, уловлял минуту, когда Соковлин не мог его видеть, искал ее взгляда и, давая на мгновение себе волю, смотрел на нее блестящим, твердым и страстным взглядом. И так длился путь, полный утомляющего, недосказанного, но тем не менее чудного для Наташи и Комлева упоения.

На широком любановском дворе были поставлены столы с пирогами, куличами и бараниной, с бочонками вина и пива. Крестьяне собрались еще задолго и ожидали приезда господ. Соковлин начал со всеми христосоваться[35]. Наташу обступили дворовые, и некоторые из крестьянок тоже христосовались с ней, называли ее по старой привычке барышней и делали разные замечания, вроде того что она похудела или постарела.

Началось угощение. Наташа села на крыльце, где стоял Комлев, смотрела на картину и разговаривала с женщинами. Но когда вино и пиво начали оказывать свое действие и местами послышались песни, она, чтобы не мешать веселости, встала и пошла в дом. Соковлин остался разговаривать с крестьянами и старостой, но Комлев пошел за нею.

Они прошли по холодным и опустелым комнатам, их обдало сыростью, и тяжелое унылое чувство дохнуло от этих стен, когда-то домовитых и полных, как чаша. Они поспешили выйти на террасу и молча остановились над перилами. Свежее дыхание весны опять повеяло на них, снова жизнь настоящей минуты вступила в свои права, к ней присоединились воспоминания того светлого прошлого, которое текло здесь, прошлого со всею поэзией юности и отдаленности. Им вспомнилось невольно и прежнее чувство, бледное и слабое, как едва прочеркнувшийся в облаках новый месяц, и настоящая, еще не высказанная, но тем не менее полная, в молчании и тиши созревшая склонность. Это слияние прошлого с настоящим была та

капля, которая переполняет сосуд, — они не могли молчать долее.

Комлев первый обернулся к Наташе.

— Пойдемте в сад, — сказал он, и в голосе его слышалось внутреннее волнение.

Наташа чувствовала приближающийся кризис. Женская стыдливость еще слабо удерживала ее, она попробовала отговориться.

— Сыро, — сказала она нерешительно.

Комлев сделал нетерпеливое движение и начал сходить один. Наташа тихо и как будто невольно пошла за ним. Внизу ступеней Комлев остановился, подождал ее и предложил ей руку. Она оперлась на нее, и он быстро повлек ее по аллее.

В саду было действительно сыро; снег местами лежал еще между деревьев; прошлогодний опавший лист покрывал проталины, и только убитая щебнем выпуклая средина дороги несколько провяла. Но они не обращали на это внимания и быстро шли по склоняющейся под гору аллее. С ними шло их накипевшее чувство, они несли вокруг себя целую атмосферу любви и не знали — как, но чувствовали, что она должна сказаться так или иначе.

Комлев повернул в узкую, извилистую и густо обросшую дорожку, ни дома, ни других аллей не было видно, они были одни, совершенно одни. Он быстро осмотрелся и остановился.

— Что же, — сказал он,— довольно молчать и терпеть?

Наташа молчала, и только розовые пятна проступили у нее на лице.

Комлев взял ее руку, она была холодна как лед. Наташа не сопротивлялась.

— Здесь, в этом саду, вы меня отвергли, — сказал Комлев, — я тогда не стоил вас. Вы ему дали шесть лет счастья, дайте мне хоть минуту, если я стою ее.

Комлев поднял ее руку стал целовать, потом тихо взял Наташу за талию и посадил на скамейку. Наташа была как каменная. Он привлек ее к себе и припал губами к ее щеке. Наташа не защищалась, не отдавалась. Поцелуй Комлева скользнул ниже, к углу ее губ, к губам... Они были безответны. Ему бы показалось, что он целует статую, если бы он не чувствовал рукою, как стан ее весь дрожит. Но потом тихо, чуть-чуть она повернула к нему голову, губы ее шевельнулись и стали сливаться с его губами... И в ту же минуту Наташа быстро оттолкнула его и закрыла лицо руками.

Несколько минут они сидели безмолвно, недвижно,— Комлев весь горевший любовью и смущенный ее развязкою. Наташа с бледными, стиснувшими лицо руками. Наконец Комлев взял ее руки и тихо отвел. Наташа взглянула на него, и от этого взгляда у него опустились руки: вместо страсти, стыдливости, полупризнанья он прочел в этом холодном взгляде больших раскрытых глаз только ужас.

— Друг мой! Друг мой! Что с вами? — сказал побледневший в свою очередь Комлев и хотел снова взять ее руку.

— Оставьте! Оставьте меня! — сказала Наташа и, как от змеи, отшатнулась от него.

— Так вы меня не любите! — сказал, стиснув губы, Комлев и весь позеленел от мучительного чувства, которое сосало его за сердце.

В глазах Наташи явилось сознание.

— Да ведь это гибель! Ведь это несчастье вечное... общее... безвыходное...— едва переводя дух и сдвинув брови, с отчаянием говорила она.

— Отчего же несчастье? Разве я не могу вам дать счастья еще большего, полнейшего? Я вас так глубоко люблю, что у меня достанет на это силы. Разве вы не верите ни в себя, ни в меня? — страстно говорил Комлев.

— Но он! Что же будет с ним? Он такой честный, такой добрый! — тихо говорила она.

— А обо мне вы не думаете! — сказал Комлев.

— Да разве вы... не видите, как я вас люблю! — сказала она, оживляясь. — Но поймите меня! Ведь... все... все... земля ломается подо мною... Ведь я гибну не одна... Ведь это бессовестно... Я не могу лгать... У меня голова разрывается... — и она схватила себя за голову.

— Наташа, ангел мой, успокойтесь! — говорил Комлев, целуя ее руки не зная сам, что говорит. — Мы не будем лгать, мы ему скажем прямо, откровенно! Он был счастлив... Подумайте же обо мне и о себе... Мы уедем...

— Мы его убьем этим, — тихо сказала Наташа.

— Наташа! Комлев! Где вы? — раздался голос Соковлина с террасы, и послышались его шаги по ступеням.

Наташа и Комлев вскочили и замерли. Комлев приложил на минуту палец к губам, потом громко ответил:

— Мы здесь!

И в то же время схватил Наташу и тихо, беззвучно поцеловал ее. Наташа вспыхнула, оттолкнула его, оправилась и, опершись снова на руку, которую ей подал Комлев, пошла с ним навстречу мужу.

— Ну не сумасшествие ли гулять по такой сырости!— сказал Соковлин, встречая их.

— Я в теплых ботинках, — холодно отвечала Наташа и показала мужу ногу.

— Да все-таки и сыро и грязно. Да и солнца здесь нет. Пойдемте на террасу.

Они прошли молча и остановились у дома.

— Да пора и домой, я думаю, — сказала Наташа.

— Пожалуй, если хочешь,— отвечал Соковлин и велел подавать лошадей.

На прощанье несколько крестьян под влиянием угощенья явилось с излиянием своих чувств. Деревенский оратор и краснобай счел за нужное сказать благодарственный спич.

— Вы — наши господа, а мы — ваши крестьяне, — говорил он коснеющим уже языком. — Дай бог вам здоровья! И матушке вашей, покойнице, царство небесное! И покорнейше благодарим!..

Менее красноречивые только кланялись и, решительно махая рукой, с особенной убедительностью повторяли: «Мы — ваши, а вы — наши!»... Несколько баб протеснилось к Наташе и изловчились поцеловать ее руку. Господа поехали.

Солнце светило так же ярко и горячо, так же задорно кричали птицы. Но возвращение не походило на приезд. Точно черная мысль пришла и села с ними на четвертое место. Соковлин был угрюм, хотя старался скрыть это. Он молчал и усиленно курил сигару. Наташа, бледная, с сдвинутыми бровями, казалась огорченною, точно кто-нибудь оскорбил ее. Один Комлев имел некоторое право быть довольным, и он начал было что-то говорить, но Соковлин промолчал, Наташа отвечала ему так сухо, как будто сердилась на него, и Комлев замолчал, смущенный. Он думал о сцене в саду, он думал: «Вот этот запретный и пресловутый первый поцелуй, не купленный браком или надеждой на него, не данный беспечной, неопытной юностью! Сильно должно быть чувство, которое дозволяет его наперекор рассудку, всосанных правил, наперекор наконец совести! И что же за безжизненный, мертвый поцелуй! Чем высказалось это безумство и увлеченье страсти? Едва отворилась заветная и желанная дверь — в нее вместо наслаждения показалась только мрачная сторона картины... Что же будет далее, если таково начало? Что же такое эта запретная, заветная страсть?» И он смутился еще более, хотя в глубине души у него лежало самодо-

вольное и себялюбивое чувство. И так они ехали, молчаливые, суровые и расстроенные.

По приезде Комлев тотчас спросил лошадь. Его приглашали отобедать. Он отказался. Его не удерживали. Наташа тоже сказала, что устала от поездки, и ушла в спальню. Соковлин один сел за стол, поболтал машинально ложкой в тарелке, подумал что-то над ней, встал и ушел в кабинет. Люди убрали со стола и, доедая суп, таинственно и вопросительно поглядывали друг на друга.

5

Наташа вышла только вечером. Она сидела, прислонясь в мягкий угол дивана, и поставила свечи с абажуром, так что лицо ее было в тени. Однако ж можно было заметить, что она очень бледна. Муж вошел, посмотрел на нее и спросил:

— Ну что, как ты себя чувствуешь?

— Голова болит, — слабо ответила Наташа.

Они замолчали. Соковлин заложил руки за спину и долго ходил вдоль комнат. Потом он подошел и сел возле нее. Лицо его тоже было расстроено, но не мрачно, а только грустно.

— Наташа, ты не откровенна со мною, мой друг, — сказал Соковлин. — Разве я не заслужил твоей доверенности?

Он посмотрел на нее с кротким упреком.

Наташа тихо наклонилась, взяла его за руки и поцеловала. Соковлин не отнял руки, но вздрогнул, как будто услыхал подтверждение страшной догадки. Он помолчал немного и, собираясь с мыслями, начал. Но голос его был надтреснут.

— Я знаю, есть вещи, про которые тяжело говорить. Но молчание тяжеле и хуже... (Он остановился.) И ты давно — любишь его? — едва мог он выговорить.

— Не знаю, — чуть слышно проговорила Наташа, как приговоренная.

— И... очень? — снова спросил Соковлин и нерешительно взглянул ей в лицо, повинуясь тому чувству, которое заставляет самоубийцу повертывать нож в собственной ране.

— Пощади меня! — сказала Наташа, припав лицом к его плечу.

Соковлину стало совестно своего вопроса. Он почувствовал на своем плече голову жены, и это ощущение было совсем ново ему, точно в первый раз и — другая женщина

прислонилась к нему. Так странно нравственная перемена отражается тотчас физически. Соковлин не шевелился и молчал до тех пор, пока Наташа снова не села, закрыв лицо платком.

Он дал ей успокоиться и, не глядя на нее, начал тихо и прерывисто, как будто говоря сам с собою:

— Ты ни в чем не виновата. Мы не свободны в чувствах. Ты знаешь, я этого боялся сначала, но потом отдался течению беззаботно... И слава богу! Мы долго были счастливы... Что же делать, если случилось? Я подозревал, что **начиналось**, но ничего не делал, чтобы остановить. Да и не остановишь... Нельзя останавливать жизнь. Жизнь не есть одно служение долгу — жизнь выше его[35]. Да и долг должен только служить правильно понятым интересам жизни.

Он опять замолчал. Наташа неподвижно смотрела на него, с глубоким вниманием и каким-то страхом прислушиваясь к его словам. Потом он встал и, торопливо опустив глаза, сказал ей:

— Послушай, помнишь наш разговор перед свадьбой? Ты свободна. Но вот что. Тут общественные условия нелепы, но, пока они не переделаны, идти против них тяжело, они будут задевать беспрестанно. Вне покоя — нет прочного счастья, и, наконец, наше прошлое счастье, я думаю, стоит того, чтобы его отстаивать...

— Ты думаешь, что я не борюсь? — перервала Наташа, схватив мужа за руку и стиснув ее.

— Верю, верю... Но... **дитя мое**, пока есть силы, не уступай и того, что нам еще осталось... Сын есть у нас! — едва слышно сказал он, и голос его дрогнул.

Он быстро наклонился к жене, поцеловал ее в голову, и она почувствовала, как несколько теплых слез упало на нее. Он вырвал руку и поспешно ушел.

Бедная женщина осталась одна со всем хаосом разрывающих мыслей и чувств. Долго сидела она неподвижно, как каменная. Потом вдруг судорожно сжала руки, заломила их над головой, простонала: «Боже мой! Отчего не могу я, как прежде, любить его!» — и, рыдая, упала вниз лицом на диван.

Поздно вечером Соковлин позвонил из кабинета. Вошел слуга, который обыкновенно ходил за ним. Он нашел барина спокойно лежащим на диване с книгой в руке и

сигарой, но лица его за книгой не было видно. Не опуская книги, Соковлин сказал:

— Барыня нездорова. Сделай мне здесь постель.

И он продолжал курить и читать. Когда слуга исполнил приказание, он отпустил его. Но вслед за тем явилась горничная и подала ему незапечатанную записку.

Соковлин развернул и прочел:

«Не ездите к нам, не пишите ко мне и не ищите случая меня видеть. Я вас прошу об этом, я этого требую».

Подписи не было.

— Барыня приказали просить вас отправить эту записку, — сказала горничная.

— Скажи, что мне лень, и это не к спеху... Если не раздумает, пусть пошлет завтра сама, — лениво сказал Соковлин, сложив и отдавая записку. — Что, голова у нее все болит? — прибавил он.

— Они не жалуются, но, кажется, нездоровы, — отвечала горничная.

— Ступай, — сказал Соковлин и принялся за книгу.

Наташа на другой день отправила Комлеву записку, и посланный, возвратясь, подал ей ответ.

— Зачем же это? Ведь я сказала, чтобы не ждать ответа, — спросила она.

— Приказано отдать, — отвечал посланный.

Она, по-видимому, была недовольна. А между тем вся кровь прилила у ней к сердцу, и, оставшись одна, она с нетерпением и первый раз испытываемым наслаждением сорвала облатку.

На клочке бумаги было наскоро написано карандашом только два слова: «Буду ждать». Она перечитала их десятки раз и, придавая им столько же разных значений, спрятала записку и не однажды в день вынимала и читала ее.

И затем дни пошли за днями, не отмеченные, по-видимому, ни одной резкой чертой. А между тем это были те полные жизни дни, в которые время с особенной быстротой вертит свое колесо, и каждый из этих дней стоил многих, медленных и тощих впечатлениями. Эти дни походили на ровные переливы звуков, которых общая гармония вызывает слезы из глаз, на буквы, из которых слагается потрясающая драма.

Первое время Наташа была с мужем нежнее обыкновенного, еще больше заботилась о сыне, лелеяла и ласкала его. Иногда взгляд ее — когда Соковлин не мог его заметить — останавливался на муже с грустною нежностью. Она пробовала постоянно занять себя чем-нибудь, но мелкие хозяйственные заботы решительно стали ей тягостны. Бывало, все у нее клеилось и вязалось, от одного занятия она переходила к другому, и день ее был полон ими. Теперь, точно молодая хозяйка, которая и хочет хозяйничать, и не умеет, всюду она вмешивалась бесполезно, не во время, хотя принуждала себя к этому. Это продолжалось дня два, сделалось ей совершенно невыносимо, и она все бросила.

Тогда она стала какою-то тихой, безответной. Спросят ее что-нибудь или позовут куда — она коротко ответит, сходит, потом сядет опять за работу, скоро опустит ее и сидит, прищурив и неподвижно устремя взгляд в одну точку, точно всматриваясь во что-то далекое, сидит до тех пор, пока опять ее не выведут из этого забытья.

Но это продолжалось тоже недолго. Мало-помалу она стала сумрачнее, неровнее. То все ее раздражало, и она сердилась на всякую безделицу; то, как бы опомнясь, она становилась необыкновенно добра и мягка.

Соковлин все это видел. Он был настолько опытен, честен и тонко развит, что счел за нужное оставить чувство его собственному ходу, отдать все времени и обстоятельствам, он старался ничем не выказывать ни вмешательства, ни влияния, ни воли. Это было поведение не только добросовестного человека, но вместе и лучшая тактика. Но — увы! — бывают такие безвыходные положения, из которых всякий шаг так же губит, как и бездействие. Зимняя вьюга застанет пешехода на дороге. Попробует он идти — вязнет, теряет путь и последние силы. Думает остаться — холод захватывает дух, тело мерзнет и костенеет. Ложись, бедный пешеход, пусть заносит тебя снегом! Может быть, пройдет вьюга, и ты как-нибудь выберешься на вольный свет, может быть, чья-нибудь добрая и догадливая рука откопает тебя, ну а может — и замерзнешь!

На беду Соковлина, обстоятельства заставляли его в эти критические дни его жизни быть на виду у Наташи и самому часто видеть ее. Встретится он с ней утром, ласково поцелует ее, как обыкновенно, в голову — ей кажется, что он покровительственно соболезнует о ней. Не сделает этого — ей кажется, что он холоден или презирает ее. Сам Соковлин не знал, что делать с собою, потому что ни на минуту не мог забыть о тех хрупких отно-

шениях, в которых поставлен к Наташе, не мог забыть о ней. Вздумает он оставить Наташу одну, дать ей полную волю, принудить себя идти на работы или сидеть за делом, ничего, разумеется, не делая, у себя в кабинете — и ему кажется, что жена может принять это за холодность, за пренебрежение, и он спешит к ней. Сидит с ней — и думает, не мешает ли он ей, не навязывается ли, не слишком ли сух, не слишком ли нежен...

Известно, что нет ничего труднее, как быть самим собою, быть простым и естественным, когда на нас обращено внимание. Наташа не была в этом положении, она слишком поглощена была своим чувством к другому, против воли она более думала о том, что делается там, в недалеком деревенском домике, чем о себе и своих отношениях к мужу. Но Соковлин, лучше владея собою, этим самым более затруднял себя. Он был как близкий, но не сведущий в медицине человек у постели дорогого больного: он ничего не мог и не должен был делать, а между тем беспрестанно мог затрагивать и восстановлять против себя болезненную раздражительность.

Может быть, и действительно он делал в это время какие-нибудь неловкие шаги — трудный и тяжелый крест нес он на себе; может, это только казалось Наташе; но Соковлин начал замечать в ней проблески неприязни и даже более оскорбительного чувства.

Раз, когда она сидела полубольная, грустная и убитая и Соковлин что-то ухаживал и заботливо хлопотал о ней, она сказала ему: «Ах, как ты добр всегда!», но сказала это так, что трудно было различить, благодарна ли она за эту доброту или она ей опротивела до смерти. В другой раз, когда, уходя к себе, он по обыкновению поцеловал ее в голову, она как-то судорожно подернулась, точно отвратительный гад коснулся ее. Однажды, в припадке нежности, Наташа, припав головой к плечу мужа и целуя его, сама сказала ему: «Знаешь, Сережа, бывают минуты, когда я ненавижу тебя!» — и сказала это так тихо и боязливо, как будто сама боялась услышать себя.

Это продолжалось с неделю.

Раз Соковлин читал что-то в присутствии Наташи и, взглянув нечаянно на нее, подметил на ее лице какое-то злое и презрительное выражение. Об нем ли думала она в это время или нет — этого он не мог разгадать, но, увидев его взгляд, она зарумянилась, и зарумянилась скорее от неудовольствия, нежели от стыда. Она встала, ушла к себе и в этот вечер не выходила.

На другой день двери в ее кабинет и спальную остались затворены, и она тоже не показывалась. Она не спрашивала даже сына, и когда нянька приносила его утром и вечером, она лениво крестила его и, холодно поцеловав, отпускала. Соковлин несколько раз заботливо спрашивал ее горничную и получал ответ, что барыня не совсем здорова, впрочем не в постели, а на вопрос, не нужно ли послать за доктором, получал ответ, что не нужно.

На третий день это повторилось снова, но Соковлин ни разу не спросил о жене. Он сам очень похудел, сделался мрачнее, и постоянно добродушное выражение лица его сменилось холодным.

Наконец Наташа вышла и встретилась с мужем. Если бы они оба могли наблюдать друг за другом, они бы ужаснулись перемене, которая произошла в них в эти дни. Наташа была бледная, как алебастровая. Темные круги обозначались под глазами, и от этого глаза казались еще более, только чернота их сделалась тусклее, как погасший уголь. Она была не печальна, даже спокойна, но как-то сосредоточенно-холодна, точно замерла вся. Видно было, что горе затопляет ее и она вся без борьбы и надежды отдалась ему. Но ни Соковлин, ни Наташа уже не наблюдали друг за другом. Они сошлись холодно, молча, враждебно, даже не избегая более друг друга. Жизнь их, казалось, вошла в обычную колею, они даже чувствовали какое-то болезненное наслаждение один в присутствии другого, и если бы не молчаливость или односложные слова, если бы не их лица, то можно бы подумать, что они начали успокаиваться и примиряться с своим положением. Но не приведи бог испытать кому-либо, какая вода текла под этим льдом!

Так прошло еще несколько медленных дней. Все в доме было как-то особенно тихо. Прислуга говорила шопотом и ходила осторожно, как будто в доме лежал умирающий или покойник. Хозяйство шло кой-как: им управляли ключница — по дому и староста — по деревне, господ не смели тревожить. Бог весть, чем бы кончилось это странное положение; может быть, оно бы медленно убило кого-нибудь из них; может быть, иссосав всю горечь, оно бы замерло, перешло в тихую грусть и наконец выздоровление, — если бы не было прервано следующим происшествием.

Раз утром Соковлин сидел у себя в кабинете, ничего не делая, с потухшей сигарою в руках, когда вбежала к нему испуганная горничная жены и сказала: «Барыня

умирает!». Соковлин точно проснулся от сна, точно в первый раз получил сознание. Он не помнил, как он очутился возле жены. Он нашел ее в ее кабинете, в покойном кресле у окна, где она обыкновенно сидела. Голова ее была закинута, зубы стиснуты; взглянув на ее зеленовато-бледную голову, Соковлину показалось, что жена его умерла, и его обдало холодом, но с Наташей был сильный нервный припадок. Оттирая ей виски, давая ей нюхать спирту, Соковлин хотел растереть и руки ii, приподняв одну, заметил в ней бумажку. Рука была судорожно сжата, но захватила только конец ее. Соковлин вынул и прочел:

«Я не могу ждать долее. У меня нет сил. Я или явлюсь к вам, или уеду, или разобью себе голову. Дайте же наконец, ради бога, весть о себе!»

— Откуда это? — спросил Соковлин горничную, хотя и очень хорошо знал, откуда.

— Человек привез из Никольского, — сказала испуганная и смущенная горничная. — Я не смела не отдать...

— И как же бы ты смела не отдать! — сказал Соковлин.

Наташа начала приходить в себя. Соковлин велел положить ее в постель, не беспокоить, бросил записку на стол и вышел.

Он пришел к себе в кабинет, упал в кресла и стиснул себе руками голову. Несколько минут, казалось, не дыша, не думая, он оставался так, потом простонал и, точно разорвав что-нибудь, вскочил и велел подать лошадь. Лицо у него все было в пятнах. Он стал ходить по кабинету, выпил залпом несколько стаканов воды и несколько раз спрашивал, готова ли лошадь. Только экипаж застучал по двору, он нетерпеливо схватил фуражку и, садясь, сказал: «В Никольское».

6

Никольское, в которое велел везти себя Соковлин, была деревенька, где жил Комлев. Узкий проселок вился к ней по ровной, но довольно живописной местности. Пруд, мельница, село в стороне, перелески, одевшиеся молодой листвой, черный бархат взрываемой пашни, яркая зелень озимей чередовались и выступали по сторонам, и на все это безразлично смотрел Соковлин и, разумеется, не замечал ничего. Но свежее дыхание широко развернувшейся весны с своим тонким землистым запахом освежительно повеяло на него и спахнуло ту разъедающую и смут-

ную дремоту горя, из которой он не мог высвободиться. Соковлин смелее взглянул в лицо настоящего положения.

«Я сам виноват! — думал он. — Молодость страдает избытком сил, им нужно дать исход, а я только их усыплял. Я слишком тихо и просто завладел сердцем Наташи, оно не испытало тех плодотворных бурь, после которых спокойствие есть и потребность, и наслаждение. И потом она вела слишком тихую и однообразную жизнь — мудрено ли, что жажда ощущений накопилась в ней и вспыхнула при первом случае. И ведь я знал это! Я все это предчувствовал, и ожидал, и передумал, когда еще хотел жениться на ней. А потом задремал и успокоился. Наконец и недавно, когда я почуял опасность, что я сделал, чтобы отстранить ее или идти ей навстречу? Женщины говорят, любят, чтобы с ними обращались деспотично Я был слишком добровестен, чтобы держаться этого дедовского правила, слишком верил в женскую честность и силу воли, а у самого недостало сил, чтобы твердо перенести их измену. Да и какая это измена? Разве Наташа не могла полюбить? Разве она могла не полюбить, когда все подготовилось и сложилось для этого? Не сам ли я говорил ей, что, если придет время и она полюбит другого, она свободна, и я буду для нее тогда другом и братом. Хорош друг и брат! Видно, все мы короли сорок восьмого года, все живы на обещания, когда нас приспичит! Хороши все мы с нашими возгласами и теориями!.. Все до той поры, пока эти теории нас самих против шерсти не заденут!..»

«Что же? — с злобной иронией продолжал Соковлин. — Комлев моложе меня, лучше, не глупее. Отчего Наташе не полюбить было его? Мы возмущаемся, когда женщины меняют нас на другого, который, по-нашему, нас не стоит. Тут и этого нет! Чем возмущаться? На что роптать? По какому праву требовать ее любви, когда другой — тут, рядом — всем лучше нас и любит ее, может быть, не менее, да, наконец, просто более ей нравится! И тем возмущаться? И что тут необыкновенного — как будто весь мир валится! Простейший случай из самых простых! Самый нормальный случай! Женится пожилой человек на девушке, и он не тиран, и она отличная женщина, и живут они до поры — отлично. Потом является другой, лучше его, жена полюбила, они не обманывают, не скрываются, пришли да и сказали: любим друг друга! Положим, не совсем так, ну да почти... Ну, что же? Самый естественный ответ, как в последнем акте комедии: дети, любите друг друга и будьте счастливы! Ну и пре-

красно! По здравому смыслу так. А что же тут я? Моя любовь? Мое счастье? Разве я не имею на них таких же прав? Их куда? Печку, что ли, ими топить? Отчего же они, а не я? Хорошо рассуждать хладнокровно издали, да ведь это капуста только может так рассуждать. Разве у страсти нет своих прав, своей беспощадной логики? Разве можно делать опыт над трупом и применять выводы к живому существу? (На этом вопросе построена вся наша медицина — ну да и хороша же она!) Права женщины! Да может ли она быть равноправна с нами, когда природа ей не дала сильнейшего из прав — права физической силы? Да и мозг у нее меньше... Я уверен, что и плантаторы защищают свои права вовсе не потому только, что они выгодны для них, — они в них глубоко убеждены и имеют свои причины к этому убеждению, которых мы не можем понять и оценить. Хорошо рассуждать — как размазать — издали. А окунись сам в самый кипяток да и рассуждай в нем! Впрочем, ведь у сумасшедших есть тоже своя и для них, кажется, самая здравая логика!..»

И Соковлину казалось, что он тоже сходит с ума. Он закрыл лицо руками, и чего бы он не дал в эту минуту, чтобы бросить в какую-нибудь пропасть и Наташу, и Комлева, и самому броситься туда да кстати столкнуть с собой и всю землю!

Потом, когда пароксизм страсти проходил, он по поводу первой встреченной вещи принимался рассуждать — и рассуждал самым хладнокровным образом. «Вот ведь, — думал он, — уж я в самом кипятке, а между тем я не теряю способности здраво судить, я вижу всякую безделицу. Вот дыра на мосту — надо сказать, чтобы ее заделали, лошадь может ногу сломать. Кажется, у лошади голова высоко подтянута?»

— Степан! Ты, никак, повод высоко подтянул? — спросил Соковлин.

Степан, которому барин отроду не делал никаких замечаний, входящих в область его специальности, и который вследствие этого имел самое презрительное понятие о барских сведениях по этой части, едва взглянул на повод — в полной уверенности, что барин сказал вздор.

— Это она уж завсегда так голову несет, — с покровительной снисходительностью отвечал Степан и ударил лошадь возжой.

«Ну вот, — думал Соковлин, — где же тут ослепление страсти, когда заметил поводок, который никогда не замечаю! Я понимаю, что умирающему могут прийти на ум самые дикие вещи. Да и притом ослепляет ли еще

страсть? Не шире ли, напротив, и не яснее ли видишь в это время все вещи, потому что мозг и нервы раздражительнее и туже настроены? Или уже мы так надломлены и попорчены привычкой к рефлексии, что не можем и страсти отдаться всецело и все остается у нас в уголку какой-то «Московский наблюдатель»[36], который следит за нами и за всем окружающим...»

«Вот так его! Так его!» — весело улыбаясь, чуть не сказал он вслух, увидав, как недалеко в стаде корова, улепетывая от быка, подлягивала ему в морду задними ногами.

«Вот так и надо вас, волокит, учить. Какая высоконравственная корова! Жаль, что для них не заведены монтионовские премии. А впрочем, и она только до поры, — и он с снисходительным презрением поглядел на корову. — Самки тоже выбирают самцов. Говорят, львица хладнокровно смотрит на дерущихся до смерти львов и потом идет с победителем. Положим, она его потом и бросит, и пойдет за другим — такова уж, видно, природа у этого пола. Но разве самцы уступают без боя самку? Разве они не дерутся до последних сил, до смерти? Вот он, естественный закон! Что же мы — благоразумнее или только трусливее их?..»

«Что же мне — убить, что ли, его?» — стиснув зубы, подумал Соковлин, и лицо его приняло свирепое выражение. Но прежде нежели он успел обдумать этот вопрос, линейка[37] его, повернув в отворенные ворота, остановилась у подъезда пятиоконного деревянного домика.

Поросший травой двор был пуст и как будто принадлежал необитаемому дому, только несколько кур и индюшек задумчиво расхаживали по нем, да цепная собака грелась на солнышке и, лениво тявкнув раза два для приличия, не обращала более внимания на приехавших.

Соковлин огляделся и увидал бабу, несшую в одной руке ведро с водой, а другую для равновесия вытянувшую горизонтально.

— Дома барин? — спросил он.

— Дома-тко, чай. Уж давно все сидит дома, не знаю, здоров ли. Вы войдите, — отвечала она.

Но Соковлин, не дожидаясь ее совета, вошел уже.

В маленькой передней никого не было, он сбросил пальто и пошел далее. Зала тоже была пуста, но, едва он вошел в нее, дверь напротив отворилась, и в ней показался Комлев.

Комлев в ожидании ответа на письмо к Наташе долго ходил по комнатам. Чтобы умерить волнение и лучше

владеть собою, он бросился на диван и лежал на нем неподвижно, болезненно прислушиваясь к малейшему шуму на улице и боясь пошевельнуться, чтобы не пропустить топота знакомый лошади. Но волнение не уменьшалось, он слышал, как сердце стучало в груди и вздрагивало при малейшем шорохе.

В этом ожидании до него дошел стук подъехавшего экипажа, и он узнал голос Соковлина. Это обстоятельство, конечно, было не такого рода, чтобы могло успокоить его. Хотя он не был уверен, что Соковлину известны его отношения к Наташе, но он мог подозревать это; и притом — на воре шапка горит — зачем бы ни приехал Соковлин, ему тяжело было видеть его в эту минуту. Но у него не было недостатка в решимости, и он поспешил навстречу приехавшему, не зная сам, как он должен его встретить, — как врага или как приятеля.

Комлев если не похудел, то побледнел за это время. Эта бледность лица не могла однако ж скрыть того лихорадочного одушевления, которым невольно просвечивает всякое сильное волнение. Но, несмотря на это, черты лица его были тверды и спокойны, взгляд смотрел прямо и открыто. Видно было, что Комлев вполне владел собою.

Отворив дверь, Комлев затруднился исполнением самой обыкновенной вещи, которая однако ж сразу должна была выказать характер их отношений: он не знал, подать ли руку Соковлину или нет. Но, взглянув на лицо его, он уже знал, какого рода будет их встреча. Он молча пригласил его рукою войти в кабинет и дал ему дорогу.

Комната, в которую вошли они, была заставлена большим столом, беспорядочно заваленным книгами, с маленьким свободным местечком для письма и письменных принадлежностей. Прежде эта комната была гостиною, но классический диван у внутренней стены с овальным перед ним столом был изгнан и заменен широким турецким диваном и кой-какою покойною мебелью. Разбросанные книги лежали в разных местах. Комлев сбросил некоторые, указал Соковлину на кресло и придвинул ему ящик с сигарами.

— Мы одни? — спросил Соковлин, опускаясь в кресло.

— Совершенно, — отвечал Комлев и притворил дверь. Он взял сигару и сел против Соковлина. Они оба замолчали.

«Ага, будет объяснение», — подумал Комлев, но лицо его не шевельнулось.

По странному свойству некоторых положений Соковлин был более смущен, чем Комлев. Его смущало не то,

что он, передумав в течение дороги сотню посторонних вещей, не подумал, какого рода объяснение хочет иметь от Комлева и с чего должен начать. Нет, несмотря на враждебное чувство к Комлеву, несмотря на сознание, что если между ними двоими есть обвинитель и обвиняемый, то, конечно, ему по всем правам принадлежит роль первого, — Соковлину было совестно и больно приступить к предмету разговора, как иногда совестно показать постороннему свою рану или телесный недостаток. Нет ничего оскорбительнее для самолюбия мужчины или женщины, как сознать себя оставленным, но еще больнее, когда при этом не имеешь утешительного права бросить грязью на свой изменчивый кумир.

В смуглом лице Соковлина заиграла слабая краска — от досады ли, негодования или стыда — он закусил губу, как лошадь закусывает удила, когда хочет освободиться от гнета; но скоро совладел с собою.

— Жена мне сказала, — начал он тихо и медленно, но голос его был неровен, — что вы любите друг друга... — и он выговорил последние слова особенно отчетливо потому именно, что ему больно было их выговорить. — Вы можете из этого заключить, — продолжал он, — что она не принадлежит к тем женщинам, которые любят и мужа, и любовника или терпят одного при другом. Я не стесняю ни ее чувств, ни действий, но ее положение мне близко, и я приехал спросить вас, что вы теперь намерены делать?

И Соковлин прямо глядел в лицо Комлева.

За Комлевым была очередь смутиться.

— Когда любишь, — отвечал он, пожав плечами, — то не задаешь себе вопросов и целей: любовь сама себе цель. Впрочем, если бы я и имел какие-нибудь предположения, то должен сообщить их Наталье Дмитриевне и сообразоваться с ее желаниями, а я на это не имел ни времени, ни случая.

Соковлин все время не спускал глаз с Комлева и следил за движением каждого нерва на его лице, точно в первый раз он видел его. Он думал, как Наташа будет целовать это лицо.

— Я полагаю, — продолжал Соковлин тем же тоном, когда тот кончил, — что вы не принадлежите к тем... очень юным или всегда юным господам, которые смотрят легко на подобного рода вещи или просто никак не смотрят на них. Я думал, что прежде нежели разрушать семейное счастье, или, если вы не допускали его, то по крайней ме-

ре прочное общественное положение любимой женщины, — вы подумали, чем можете заменить ей его.

— Как же вы хотите, — мягко возразил Комлев, — чтобы я распоряжался судьбой замужней женщины, не спросив ни ее намерений, не зная, наконец, ваших, от которых она более зависит, чем от меня?

— Хорошо-с! — сказал Соковлин. — Я вам скажу мои намерения. Чтобы ничем не стеснять Наталью Дмитриевну, я буду хлопотать о разводе с ней. Когда получу его, вы на ней можете жениться. Так-с? — спросил Соковлин.

Комлев с минуту подумал.

— Я на ней не женюсь, — твердо сказал он.

— Это отчего? — быстро вставая, спросил Соковлин, и вся кровь бросилась ему в голову. — Вы, значит, не уважаете ее?

— Напротив! Я никому не уступлю в уважении к ней, но тем не менее не женюсь, — тоже вставая и заложив руку за борт сюртука, сказал Комлев.

Соковлин вопросительно посмотрел ему в глаза.

— Не женюсь потому, — спокойно продолжал Комлев, — что женитьба и любовь, по-моему, две вещи разные. У меня есть свои убеждения о браке, и они вам известны. Я жениться не располагал и теперь не вижу причин изменять свои намерения.

— Вы находите, что гораздо удобнее любить чужую жену, не принимая на себя никаких обязательств? — спросил Соковлин, прищурив глаза и впиваясь в Комлева взглядом. — А муж между тем прикрывает ее бесчестье. Флаг прикрывает товар — не правда ли?

И в глазах Соковлина сверкнула злобная ирония.

— Нет-с, не так! — с твердым убеждением возразил Комлев, стараясь казаться как можно покойнее. — Я полагаю, напротив, что нет ничего неудобнее и — поверьте — тяжеле, как любить несвободную женщину, особенно когда не имеешь права не уважать ее мужа. Но не теперь, когда вы видите, к каким безвыходным положениям могут привести обстоятельства в деле чувств, можете вы требовать от меня обязательств. Послушайте, Сергей Иваныч! Я хоть невольно, но стал на вашей дороге и знаю, чего вам это стоит... Вы имеете полное право ненавидеть меня... Извиниться мне было бы смешно, да и не в чем ... Вы, может быть, желаете, чтобы один из нас не жил?

У Соковлина точно искра какая-то зловещая вспыхнула в глазах, но тотчас же и потухла. Он вместо ответа пожал только плечами, как будто хотел сказать: к чему? да и что из этого?

— Я знаю, что должен быть снисходителен даже и к горьким словам, — продолжал Комлев. — Но... они нейдут между нами. Я понимаю, что должен сделать все... что могу... (Комлев затруднился в выражении.) чтобы оградить ваше имя...

Соковлин посмотрел на него снисходительно, мягко даже, но таким взглядом, которым взрослый смотрит на лепет младенца. Комлев невольно остановился.

— Нет, вы меня не понимаете, — сказал Соковлин тихо, но совсем упавшим голосом. — Я столько теряю тут, что об моем имени мне нечего думать, да и она никогда не уронит его. Нет, я приехал говорить с вами о той, которая мне дороже себя и которую вы лишаете семьи, спокойствия, уважения... Я не о себе приехал говорить, — добавил Соковлин, и в словах его было столько глубокого, безвыходного горя, что Комлев невольно опустил глаза.

— Хотите, — нерешительно сказал Комлев, весь покраснев, и в горле что-то сдавило его, — хотите, я готов уехать! Но она?

Соковлин смутно посмотрел на него и долго не отвечал.

— Переговорите с ней! — проговорил он наконец, не глядя на Комлева, как-то вскользь, как будто про себя, и не то было это дозволение, не то настояние, не то просьба.

Он повернулся и поспешно, сконфуженно вышел.

Соковлин возвращался к себе как растерянный. У него не было ни одной определенной мысли, в голове что-то шевелилось, кружилось смутно, но не связывалось, не выяснялось. Он только помнил свои последние слова и несколько раз машинально повторял про себя: «Поговорите с ней».

Он очнулся, когда экипаж остановился у его подъезда. Он вышел, спросил встретившего его слугу: «Что барыня?» и, не расслыхав ответа, велел спросить, можно ли пойти к ней. Слуга ушел, а он стал похаживать по зале, как будто был в чужой приемной и ждал выхода очень большой особы. Чрез несколько минут, вместо ответа, дверь из Наташина кабинета отворилась, и она сама показалась в ней.

Наташа была очень бледна и слаба, но не так безжизненна и подавлена горем, как прежде. Напротив, она

была в тревожной подвижности. Вся взволнованная, она сделала несколько шагов навстречу мужу и остановилась, опираясь на кресло, стоявшее на средине комнаты.

Боже мой! Сколько смущения и стыдливости было в этой встрече мужа с женою! Отражая до последних сил удар, падавший на их счастье, и теперь невольно склоняясь под его тяжестью, разве они делали бесчестное дело? Но понятия, всосанные с молоком матери, но весь строй окружающей жизни и общественных условий, как хор угрюмых и злобных старух, восстают и смущают своими криками те побуждения, которые не ладят с их правилами.

Не имея сил начать прямо с дела, Соковлин обратил внимание на слабость Наташи.

— Зачем вышла? Зачем? Тебе надо успокоиться, — хлопотливо, с озабоченностью няньки говорил Соковлин. — Сядь по крайней мере.

Наташа опустилась в кресло, у ней в самом деле подкашивались ноги.

Соковлин осмотрелся кругом.

— Ну, я был у него, — сказал он тихо, как будто отдавая ей отчет в поручении. — Я говорил ему, что готов выхлопотать развод, чтобы он мог жениться на тебе... но... он не согласился.

Соковлин робко взглянул на Наташу.

Она вся вспыхнула.

— Я это говорю не для того, — торопливо заговорил опять Соковлин, — чтобы осуждать его. Нет! Он имеет на это свои причины, он тебе скажет их...

— Я сама этого не хочу! — нетерпеливо сказала Наташа, перебивая его. — Я знаю клятвы, довольно и одного обмануть!

— Какой же тут обман? Где же обман? Разве ты обманула меня? — спрашивал он, с ребяческой наивностью поглядывая на нее.

— Не все ли равно, — едва слышно проговорила Наташа.

— Совсем не все равно! Но ты успокойся и переговори с ним. Да! Условьтесь с ним, повидайтесь. Я сказал ему, чтобы он переговорил с тобою. Пошли к нему!

Наташа поглядела на него таким глубоко трогательным взглядом, что он весь смутился и замигал глазами, чтобы не заплакать.

— Да! — торопливо проговорил он. — Переговори с ним, условьтесь, спишитесь, но только успокойся прежде. Поди ляг... Я к тебе Машу пошлю...

И он поспешно вышел, велел мимоходом послать горничную и поскорее захлопнул за собою дверь в кабинет, чтобы громко не разрыдаться.

7

Часу в десятом следующего утра Соковлин ходил у себя по кабинету с озабоченным и несколько растерянным лицом. Накануне он весь остаток дня в каком-то расслаблении, как больной, просидел, запершись в этой комнате. Но, несмотря на то что шторы его окон были спущены, что сам он не способен был да и не желал следить за тем, что делается вокруг, до него доходил не раз топот лошади, как будто приезжал или уезжал верховой, и наконец независимо от того, по ходу дела, он мог догадываться, что развязка близка. Ночь его была тревожна, и он не мог бы сказать, спал он или был в забытьи, но все-таки она освежила его. Он встал рано, но не спрашивал слугу, что делалось в доме. Во-первых, он знал, что Наташа еще, вероятно, спала и ему не могли ничего сообщить о ней. Во-вторых, он не хотел каким-нибудь вопросом дать повод к подозрению или толкам прислуги — этого добровольно составляемого вокруг себя самими господами штаба соглядатаев, от которых и без того почти никогда не укрываются сокровеннейшие домашние тайны.

Но взамен вчерашней неподвижности сегодня им совершенно овладело волнение и тревожность, он уже не отдавался ни сознанию горя, ни тому одеревенению, к которому приводит безвыходность. Может быть, это происходило оттого, что он пережил эти фазисы или что приближалась развязка, но вернее от надежды, в которой он сам не сознавался, — надежды, так же незаметной, как слабый свет молодого месяца на пасмурном небе: он еще невидим, не прочеркнул сквозь облака ни одним лучом, но чувствуется по неясным очертаниям предметов, которые начинают проступать и выдвигаться из темноты. Соковлин боялся и подумать о том, что «может быть» как-нибудь да все уладится. Ему хотелось заглушить всякие мысли, догадки, ему хотелось делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. Он брал книги, хозяйственные тетради, записки, но ни на чем не мог на минуту остановиться и принимался ходить по комнате, мимоходом переставляя и поправляя попадавшиеся под руку вещи. Он был в таком состоянии, когда ему доложили, что пришел староста, а как он редко принимал его в последнее время, то спросили, угодно ли ему его видеть.

Соковлин обрадовался и велел позвать его.

Через минуту в дверях появился тот самый староста, которого мы видели в начале этого рассказа. Он мало даже изменился: трудовая жизнь скоро старит нашего крестьянина, но раз как она уже помнет его, как он обтерпится, он остается в одном положении до тех пор, пока совсем не схизнет. Время скоро делает с ним свое первое дело, но потом с аристократической небрежностью забывает, кажется, до тех пор, пока не вздумает смять его окончательно, да и то большею частью как-то мимоходом. Немного более мелких морщин на лице, немного более седых волос в голове и курчавой бороде — вот и вся перемена. А впрочем, так же простодушно, по-видимому, смотрит он на все, так же во всем сначала соглашается с барином, а потом свернет на свое, так же подпрыгивает, как будто сбирается порхнуть, когда говорит, так же держит большие пальцы за кушаком, да и кушак, кажется, тот самый, что был шесть лет назад.

— Ну, что скажешь? — спросил Соковлин старосту.

— Да ничего-с. Пришел спросить, не будет ли от вас каких приказаний.

— Какие же приказанья! Ведь нынче не наш день. Как бы были приказанья, так я бы за тобой послал, — нетерпеливо сказал Соковлин.

— Оно конечно. Ведь я всегда тут. Да вот еще: Степан Нохрин да Иван Зуев леску порубили, — прибавил он, помолчав.

— Опять! И много порубили?

— Нет, оно не много. Так, на застрехи [38] возика по два нарубили.

— Много ли — не много, да ведь сказано, чтобы без спросу не рубили.

— Оно конечно, все надо бы спроситься. Да они говорят, что этто ходили было к вам, да вы недосужны были.

— Ну, тебе бы сказались. А то дай им волю, так они и пойдут рубить.

— Знамо, как можно волю давать, этак весь лес зря вырубят! Да они мне-то, признаться, сказывались, да я без вас усумлился.

— Ну, чего ж сумлеваться, коли им действительно нужно!

— Нужно-то как не нужно — того и гляди крыша на анбарушках провалится. Я им и сказал: нарубите, мол, немного, я барину доложу.

— Ну так ты бы с этого и начал, братец! А то что ж пустяки говорить, — сердясь, сказал Соковлин, продолжая

ходить по комнате. — Я тебя несколько дней не видал, я думаю, что за это время есть что и о деле поговорить.

— Да оно, конечно, как не быть. Я, признаться, и пришел, чтобы спросить вас...

И у старосты нашлось с десяток дел, одно другого нужнее, хотя каждое из них надо было повытянуть из него или дать ему время начать его как бы мимоходом.

Соковлин плохо ли, хорошо ли разрешил эти вопросы. Он знал манеру своего старосты и привык к ней, но теперь ему было не до того, чтобы терпеливо выжидать рассказов, и если Соковлин был доволен сначала приходом старосты, то, по свойству всякого ожидания, не мог долго останавливаться на одном занятии: вопросы старосты начали уже надоедать ему.

— Ну, хорошо, ступай. Ничего нет более? — сказал ему уже в третий раз Соковлин, ответив на его предыдущий вопрос и думая, что он последний.

— Больше ничего нет, — в третий раз отвечал староста и снова, подпрыгнув, начал: — Да вот еще был я в табуне, так стригунок [39] один мытиться [39] стал.

— Ну, мытится, так что ж с ним делать? Пусть мытится.

— Нечто! Что с ним делать! Уж такая болесть! Только отделить бы его надо.

— Ну, разумеется. Так ты бы и велел.

— Да я и велел ужо, как табун пригонят.

— Ну, хорошо, ступай, — сказал снова Соковлин, уже не спрашивая, нет ли еще чего.

Староста оборотился, думая, кажется, решительно выйти, однако снова в раздумье вернулся.

— Ну, что еще? — нетерпеливо спросил Соковлин.

— Ничего, — подпрыгнув, коротко отвечал староста,— да вот забыл я вам доложить: теперь как я в табун ездил, так никольский этто барин попался навстречу — куда-то в дорогу, знать, поехал.

— Какой никольский барин? Комлев? — живо спросил Соковлин и весь вспыхнул.

— Эдак — Комлев, чай, так и будет.

— Да ты не ошибся ли? — остановясь против него и желая до души допытать его глазами, спрашивал Соковлин.

— Оно как не ошибиться, — с невозмутимой обстоятельностью заметил староста, — дело нетрудное. Однако это подлинно они будут: я и лошадей-то их, как своих, знаю — игреняя в корню от нашего еще Анычара да рыжие на пристяжке, одна со звездочкой, а другая...

— Да сам ли он, Комлев ехал? Его-то ты знаешь ли?

— Как не знать Павла Егорыча! Не однова и здесь видал!

— Ну что ж он — по-дорожному едет или налегке? Может, в гости?

— Знамо! Может, что и в гости. Только по-дорожному едут, и сундучок сзади веревками увязан, — значит, как бы в дальнюю дорогу.

Соковлин в волнении раза два прошелся по комнате.

— Куда он ехал? Не видал? В город, может?

— Нет, должно быть, не в город, для того что от городу ехали прямо этто к Москве по трахту.

Соковлин молча и скоро ходил несколько времени.

— Ступай, — сказал он наконец, вспомнив о старосте. И когда он хотел выйти, уже Соковлин сам вернул его. — Так ты не ошибся? — спросил он. Он тебе ничего не наказывал?

— Нет, наказывать ничего не наказывали, — отвечал староста, — только я поклонился им, и они это поклонились.

Соковлин кивнул старосте головою, тот еще подумал некоторое время, однако повернулся и на этот раз окончательно вышел.

«Уехал!..» — думал Соковлин и невольно улыбнулся. У него вдруг точно стало отпадать от сердца все накипевшее за это время, и он чувствовал себя необыкновенно легко и отрадно. Правда, мысль о том, как перенесет этот отъезд Наташа, несколько смущала его. «Но, — думал он, — это не могло иначе устроиться, как с ее согласия, может по ее настоянию... Конечно, это будет ей тяжело сначала, но от разлуки умирают только в романах».

Волнение Соковлина дошло до того, что, увидав проходившую мимо кабинета горничную, он вопреки своего намерения не вытерпел и спросил:

— Что барыня?

— Сейчас встала, — отвечала горничная.

Соковлин опять стал ходить, передумывая все об одном и том же. То ему казалось невыносимо длинна каждая минута, то, задумавшись, он не видал, как шло время. Так прошло, может быть, около часу, когда вдруг до слуха Соковлина дошел слабый шелест женского платья и приближающаяся знакомая походка. Соковлин, так твердо вынесший все горе этих дней, вдруг обессилел перед минутой счастья. Он весь побледнел и опустился в

кресло, пульс едва бился у него, он боялся, что у него недостанет сил дождаться разгадки. Но дверь отворилась, и Наташа вошла.

Если иногда, выражаясь про некоторые счастливые мужские натуры вроде собакевичевской[40], называют их железными, то женские почти все без исключения можно назвать стальными. Они именно обладают той упругостью стали, которая не мешает им гнуться под малейшим гнетом и так же легко выпрямляться после сильнейшего.

Кто бы увидал, например, накануне Наташу, до того измученную долгой внутренней борьбой, что такого неважного потрясения как записка Комлева достаточно было, чтобы довести ее до нервного припадка, и кто бы следил за ней в этот день, тот бы имел случай убедиться в этой эластичности женской натуры.

Едва придя в себя от обморка, она узнала, что муж ее поехал к Комлеву. Она не знала, с какими намерениями Соковлин поехал к нему, тем более что и сам Соковлин не мог бы сказать, чем кончится это свидание. Она могла ожидать ссоры, взрыва, может быть, дуэли. Следовательно, время ожидания было совсем не такого рода, чтобы могло успокоить ее. Но у нее достало сил его выдержать и выйти к мужу, чтобы узнать последствия.

Разговор с мужем глубоко взволновал и растрогал ее. Она сама готова была пожертвовать своим чувством к Комлеву, чего бы ей это ни стоило. Она тотчас написала к нему. Ответ, разумеется, не заставил ждать себя. Впрочем, должно полагать, она осталась им недовольна, потому что снова написала Комлеву. Но ответом на эту записку переписка прекратилась и, кажется, довольно неприязненно, потому что человеку, который привез ее, велено было Комлевым отдать ее и не ждать ответа.

Наступил между тем вечер, а Комлев не приезжал. Почему он не хотел приехать просто и прямо, чтобы личным свиданием разъяснить свои отношения, неизвестно. Может быть, они решились расстаться, не видавшись, или Комлев считал неприличным явиться в дом мужа, чтобы объясниться с женою, может быть — кто знает? — оттого, что любовь инстинктивно не терпит открытых встреч и посторонних дозволений.

Последняя записка Комлева привела Наташу в какую-то сильную борьбу. Несколько раз она перечитывала ее

и всякий раз, читая, вся вспыхивала и смущалась. На лице ее виднелась то какая-то строгая решимость, иногда даже негодование, под влиянием которого она мяла записку, то снова легкая краска и смущение начинали проступать на нем, и она снова нерешительно развертывала смятый клочок. «Пусть едет!» — проговорила наконец она и, невольно вздохнув, разорвала записку на мелкие куски.

Этим решением, казалось, Наташа покончила с своей внутренней борьбою. Но, должно быть, она ей дорого стоила: она упала духом, обессилела, темные тени проступили на лице, и от этого она вдруг, казалось, еще более похудела. Она стала спокойнее, но это было спокойствие безнадежности, спокойствие, которое не видит уже ничего перед собою.

Наступила ночь. Наташа отпустила горничную, загасила свечу и осталась одна. В спальной только теплилась лампадка. Наташа села в свое покойное кресло и, бледная, измученная, долго оставалась в нем неподвижно. Иногда она закрывала глаза и при слабом свете лампадки казалась точно мертвою, забывалась ли она, или просто ей не хотелось смотреть ни на что.

В доме уже все улеглось, когда она наконец встала, тихо и слабо, как больная, подошла к постели, раскрыла ее, лениво подняла руки, чтобы расстегнуть воротничок капота, подумала минуту, но вместо того чтобы раздеться, сыскала бурнус, накинула его на плечи и вышла на террасу. Ночь была безлунная, свежая. Неба было не видно, казалось, какая-то темная бездна висела над головою и в ней где-где едва мелькали чуть заметные звезды; впереди перед глазами еще чернее стоял мрак сада, едва обозначаясь сверху темными закругленными очертаниями передовых деревьев; далее сад сливался с рощей и уходил в глубь мягкой черной мглы.

Наташа, завернувшись в бурнус, остановилась на террасе, как бы желая освежиться. В холодном воздухе слабо, но раздражительно слышался запах цветущей сирени и липы. Кругом стояла та дремотная полночная тишина, в которой слышится всякий звук и шорох, но не своим звуком, а как-то рассыпаясь в пустоте. Где-то далеко в роще свистал соловей, но и он свистал лениво, только как будто для того, чтобы досвистать свою песню и улечься спать. Наташа постояла некоторое время тихо, не прислушиваясь, не приглядываясь. И на нее, казалось, начала сходить усыпляющая полуночная дрема и тишина.

Вдруг где-то невдалеке хрустнула ветка. Наташа

вздрогнула и вся впилась и глазами, и слухом в гущу сада. Еще что-то чуть слышно зашелестело там... Кровь кипятком прилила к сердцу, какой-то трепет пробежал по всем ее жилам, она быстро осмотрелась и неслышно, как тень, проскользнула в темную чащу.

На террасе опять стала тишина. Но если бы какой-нибудь ревнивый соглядатай тихо прокрался в глушь сада, он бы услыхал, может быть, шорох быстро удаляющихся шагов. Только далеко от дому, там, где сад переходит в запущенную густую рощу, он мог бы расслышать неясный прерывающийся шопот. Раз только из этого шопота вырвалось испуганное, прерывистое восклицание: «Ни за что, ни за что на свете!» Но и оно было словно заглушаемо чем-то, и в нем слышалось что-то робкое, бессильное — и потом все как-то странно замолкло...

Между тем в пустой спальне долго, ровно, одиноко и тихо светилась лампадка, наконец и она стала как будто уставать, слабо потрескивать и бледнеть. Долго рама окна выглядывала из драпировки черной впадиной, но и она побледнела и потом начала обозначаться чуть забелевшимся молочным светом. Вдруг влажный утренний воздух пахнул в комнату, огонь лампадки дрогнул и закачался, неподвижно стоявшие тени спросонья, точно испуганные, торопливо забегали по стенам, и неслышно вошедшая Наташа уже стояла посреди комнаты.

Запыхавшись, затаивая дух, Наташа замерла, прислушиваясь. Боязливо, чутко-напряженно было ее лицо, но жизнь, румянец и одушевление невольно пробивались на нем. Грудь ее высоко вздымалась, полуоткрытые губы горели, глаза, потухая, еще блестели. Какое-то внутреннее волнение сказывалось в ней легким трепетом тела, и на всей на ней нежным и теплым светом еще лежала стыдливая краска недавнего счастья...

Успокоясь несколько, что ничего, по-видимому, не выдало ее отсутствия, Наташа мимоходом взглянула в зеркало и с минуту пристально, с женским любопытством всматривалась в свое лицо, как бы ища на нем какой-то новой черты. Потом она рассеянно задумалась, словно что-то припоминая, и вдруг зарумянилась и торопливо затушила лампадку, чтобы никому, никому, даже самой себе не видать того волнения, стыда и счастья, которые она принесла с собою.

Впотьмах поспешно и осторожно разделась Наташа, тихо легла в постель и вся с головой закуталась в одеяло.

8

Солнце стояло уже высоко и жарко и весело било лучами в окна, когда проснулась Наташа. Раскрыв глаза, ослепленные непривычным светом, от которого забыла с вечера защитить себя спущенными шторами, Наташа снова на минуту закрыла их. Лицо ее горело тихим румянцем и свежестью, как цветок, еще увлаженный утренней росой; выражение его было неопределенно; казалось, какие-то сладкие грезы, отлетая от него, еще ходили по нем последними легкими оттенками. Наташа чувствовала смутно, что есть что-то новое — и отрадное, и жгучее — в ее жизни, и силилась припомнить. Она припомнила и встрепенулась. Румянец ярко вспыхнул и залил все лицо и потом, быстро уходя внутрь, начал сбегать, как свет от надвигающейся тучи; по мере того как она бледнела, какая-то темная мысль набегала на ее лицо и сметала с него все мягкие следы счастья. Брови у ней стали сдвигаться, черты лица углублялись и приняли холодное и суровое выражение. Она видела беспощадную необходимость сознаться мужу, покончить со всей своей семейной жизнью, с тем тихим домашним счастьем, которым была так долго лелеяна, но она не падала перед этой необходимостью и прямо смотрела ей в лицо; у нее был запас новых, поддерживающих сил.

Наташа позвала горничную и, кончив туалет, сказала, чтобы принесли сына. Нянька вскоре вошла с ним, она взяла его на руки и отпустила ее. Оставшись одна, она хотела, казалось, высыпать на сына все горячие ласки, которые только есть в материнском сердце, сознавая, что скоро не на кого будет излить их и они останутся в ней только незаглушимым укором. Она целовала его, всматривалась в каждую черту лица, чтобы врезать ее в своей памяти, и снова целовала. Слезы душили ее и падали из глаз, и она, чтобы не испугать ими ребенка, скрывала их и улыбалась. Здоровенький и веселый ребенок обнимал ее, смеялся и болтал, спрашивал мать, отчего она плачет и отчего смеется. Иногда он умолкал, любопытно всматривался в лицо матери большими черными глазенками, и в них, казалось, мелькало раздумье — не заплакать ли и самому. И, заметив это, Наташа горячее успокаивала и целовала его, веселее улыбалась, а слезы между тем крупнее и чаще падали из глаз.

Это была безмолвная и раздирающая душу сцена, которой свидетелем был только ребенок. Наконец сдерживаемые рыданья начинали душить Наташу, она чувство-

вала, что еще мгновение — и у нее недостанет уже сил. Она простонала, как стонут над мертвым, опустила ребенка на ковер и, вбирая в грудь воздух, чтобы задержать им рыдания, она стала стирать платком следы слез и веять им себе в лицо. Она обращалась к ребенку и улыбалась ему, когда плечи ее еще вздрагивали от подавляемых рыданий; наконец она осилила себя, в последний раз глубоко вздохнула, как будто отдыхая от жестокой усталости, взяла ребенка на руки и пошла к мужу.

Она вошла в кабинет довольно твердо. Лицо ее было спокойно, и только глаза светились лихорадочным блеском и выдавали внутреннюю тревогу. Она сделала несколько шагов к мужу с той пассивной решимостью, с которой идут на неизбежную встречу. Для нее это новое объяснение было последней ступенью лестницы, по которой она постепенно сходила, и притом предыдущие встречи с мужем потрясали в ней такие нежные и болезненные струны, что она готовилась к настоящей уже с притупленной страданиями чувствительностью. Того же ожидала она и для мужа. Но его лицо не выражало этого. Слабая и робкая надежда отразилась на нем какой-то заискивающей, едва приметной улыбкой, которая блуждала уже по губам и просила только одного слова, чтобы обратиться в радость. Руки, казалось, готовы были раскрыться, чтобы обнять и прижать жену. Взгляд был поднят на нее с трепетом и любовью. С такой улыбкой и взглядом библейский отец должен был видеть приближение блудного сына. Когда Наташа взглянула в лицо мужа, ей стало до того совестно и больно, что она почувствовала беспощадную злобу и презрение к себе.

— Возьми его, — твердо сказала она, бледная и суровая, опуская ребенка на руки мужа. — Я не сто́ю...

Голос судорожно прервался у нее, и она молча опустила голову. Соковлин смотрел на нее некоторое время с недоумением. Он как будто не понимал ее.

— Но... ведь он уехал? — спросил он наконец.

— И я еду, — тихо сказала Наташа.

Соковлин продолжал смотреть на нее. Вся кровь прихлынула у него к лицу и несколько мгновений зловеще стояла на нем, но потом свободнее и ровнее стала отступать. Казалось, мера любви, страданий и нежности, на которую было способно его сердце, вся истощилась. Сын, который думал, вероятно, что его принесли здороваться, старался обнять отца и кричал: «Здорово, папа!». Соковлин наклонился к нему и машинально поцеловал его. Наташа стояла и дрожала вся.

Наконец Соковлин, кажется, заметил ее положение.

— Хорошо, — холодно сказал он, — я велю приготовить все к отъезду. — Он встал, пошел к двери и потом, полуоборотив голову и не глядя на жену, спросил: — Когда же?

— Чем скорее, тем лучше, — отвечала Наташа.

Соковлин пошел в детскую и отдал ребенка няне. Возвращаясь, он встретил в коридоре жену. Бледная, как полотно, она стояла, прислонясь к стене, для того ли чтобы дать мужу дорогу или чтобы не упасть от бессилия. Убитый взгляд ее с невольным ужасом следил за мужем. Но Соковлин, прямо глядя вперед, прошел мимо нее твердой, ровной походкой, не обращая на нее ни малейшего внимания, как будто тут у стены не стояло никакой бледной, как призрак, женщины. И Наташе показалось, что струя воздуха, которая пахнула на нее, была пропитана холодным, беспощадным презрением.

Соковлин вошел в кабинет, позвонил и стал делать распоряжения об отъезде.

Целый день Соковлин хлопотал, распоряжался, припоминал все необходимое для отъезда жены. Он велел осмотреть и приготовить карету, написал и отправил письмо к предводителю, прося о нужных для жены бумагах, посылал в Любановку за конторщиком и деньгами, но был бледен и скуп на слова. Когда встречалась надобность спросить о чем-нибудь жену, Соковлин входил к ней прямо, бесцеремонно, как это делывал в старое время, говорил с ней сухо, отрывисто и торопливо; одно только можно было заметить в нем: он ни на минуту не оставался покоен и старался приискать себе дело.

Наташа, напротив, ничем не могла заняться. Она нехотя отвечала на вопросы горничной, которая расспрашивала, что из вещей и платья брать с собою, и только просила ее, чтобы поскорее кончала сборы. Она часто ходила в детскую, ласкала и целовала сына, но делала это как будто украдкой и не брала его к себе в комнату, точно сын в самом деле уже не принадлежал ей и она боялась, чтобы муж не увидал ее с ним.

Наконец часу в девятом вечера экипаж был исправлен, возвратился посланный и привез бумаги. Соковлин послал сказать жене, что у него все готово, и просил зайти к нему, когда она соберется.

Сборы всегда долги, особенно когда едут женщины. Несмотря на то что Наташа торопила, совсем уже стало смеркаться, когда лошади были заложены, экипаж стоял у подъезда, главные вещи уложены, и только от времени до времени выносили какой-нибудь маленький забытый узелок и совали его куда-нибудь в сумку или сбоку.

Наконец Наташа вышла одетая по-дорожному. Она силилась унять рыдания, но по судорожному вздрагиванию плеч видно было, что ей не удавалось. Несколько женщин шли за нею — они тоже плакали. С сыном она простилась в детской и не велела выносить его. Соковлин встретил жену в дверях кабинета и, когда она вошла, он затворил их. Он взял со стола два пакета и подал ей.

— Вот тут, — сказал он, — твои бумаги, а это деньги. Кроме того, любановские доходы всегда будут там, в конторе, когда нужно, пиши прямо туда и присылай свой адрес. Ты не должна ни от кого зависеть, я этого требую.

Он взял у ней дорожную сумку и помог ей положить в нее пакеты, потому что у Наташи дрожали руки и слезы так душили ее, что она должна была беспрестанно прижимать к лицу платок, чтобы громко не разрыдаться.

— Если ты вздумаешь возвратиться, помни, что здесь у тебя дом и сын и что не я к тебе изменился... Не захочешь — у тебя есть дом в Любановке...

Он замолчал. Наташа не шевелилась.

— Теперь ты можешь ехать, — сказал Соковлин. — Прощай! — прибавил он.

Но Наташа не смела прикоснуться к мужу, не могла уйти, не простившись. Соковлин заметил это, затруднился на мгновенье и подал Наташе руку. Вместо того чтобы пожать ее, Наташа схватила и стала целовать. Соковлин тихо отнял ее — она бросилась к нему и целовала его грудь и платье.

— Прости, прости! — едва слышно шептала Наташа.

У Соковлина подернуло лицо, но он старался не выказать волнения.

— Я не виню тебя, — торопливо сказал он, поцеловав жену в голову, отворил дверь и, поддерживая Наташу за плечи, вывел ее.

Дворовые люди бросились прощаться с барыней и посадили ее в карету. Горничная и слуга, одетые по-дорожному, подошли проститься к барину.

— Берегите же барыню, — сказал он им.

Когда горничная села с барыней, а лакей на козла, Соковлин заглянул в окно кареты и спросил Наташу:

— Хорошо ли тебе? — потом скороговоркой прибавил по-французски: — Помни же, что я все тот же и ты всегда будешь здесь у себя...

Наташа не выдержала, обняла руками голову мужа и страстно целовала его. На минуту Соковлин, казалось, отдался этим поцелуям. Голова закружилась у него, но он сделал усилие и отвел руки жены.

— С богом! — сказал он кучеру, отступая от кареты.

Лошади двинулись, и экипаж скоро скрылся в переулок. Соковлин машинально смотрел ему вслед, пока он был виден, и потом ушел в дом. На дворе уже совсем темнело. Кучка дворни, провожавшей барыню, потолковав, стала расходиться, и вскоре никого не осталось у ворот и подъезда.

Соковлин вошел в опустелый дом и прошел прямо в детскую. Там была только няня Аринушка, о чем-то вполголоса рассуждающая с ключницей Марьей Савишной, она укладывала ребенка, который, наплакавшись, засыпал. Соковлин поцеловал его и молча ушел в кабинет.

Между тем как на дворе то какая-нибудь баба бранилась с кучером, то пробежит молодой лакей вдогонку с разыгравшейся горничной — словом, отзывалась уже та свобода, которая немедленно и громко проявляется вслед за отъездом кого-нибудь из господ, дом, напротив, казалось, чувствовал отсутствие оживлявшей его женщины. В опустелых комнатах не было ни огня, ни движения, они вдруг смолкли и стали как будто больше и скучнее. Молодая прислуга разбежалась в избы и в хоровод, старухи улеглись спать, и весь дом погружался в мертвую апатическую дремоту.

Только один Соковлин не спал в своем кабинете, но по безмолвию, которое стояло в комнате, можно было и не подозревать его присутствия. Соковлин сидел неподвижно в своем кресле, слабый полусвет весенних сумерек не позволял рассмотреть его лица, но, судя по очертаниям его фигуры, видно было, что он весь как-то бессильно опустился и понурился. Казалось, горе, которое он нес и твердо держал до последней минуты, вдруг перемогло и придавило его всей своей тяжестью.

Между тем Наташа довольно быстро и благополучно ехала по московскому тракту. Подъехав к третьей или четвертой станции, она увидала у подъезда дорожный

тарантас, и прислуга ее с удивлением и удовольствием узнала в стоявшем у подъезда лакее слугу Комлева. Оказалось, что у экипажа Комлева что-то сломалось и он должен был простоять тут несколько часов. Но экипаж уже поправлен, и Наташа поехала далее, сопровождаемая соседом.

В Петербурге Наташа пробыла только время, необходимое для получения паспорта. Она оставила там экипаж и прислугу и недели через две по выезде из деревни на пароходе «Прусский Орел» одна отправилась за границу. В числе отъезжающих на этом же пароходе был и Комлев.

9

Прошел конец весны; прошло короткое лето; и осень, сначала пышная, побледнела, увяла, обложилась синими тучами и долго тянулась грязью и заморозками; пришла и зима, поместилась прочно и оседло, как на долгое житье, и давно уже стояла то ясная и холодная с сверкающим белым снегом, то угрюмая с снежной метелью по сугробам и с свинцовыми кругом нависшими тучами. От того ли, что меньше было приезду, или менее ухода, но знакомый нам деревенский дом Соковлина глубже ушел в снег, более заметан был высоко стоявшими около него сугробами и от этого как будто осел и постарел. И внутри в нем, как в параличном старике, слабая жизнь заметна была только в одной половине. Весь передний фас комнат стоял пустой и скучный, и только надворная половина, особенно у девичьего крыльца, еще гомозилась жильцами. А между тем в доме зимовал, как и прежде, тот же хозяин.

Нельзя сказать, чтобы Соковлин жил по-прежнему. Его настоящая жизнь скорее походила на ту, которую он вел до женитьбы, только она была много тяжеле и горем, которое он испытал, и своим неопределившимся положением. Тогда он коротал дни беспечным холостяком, отдыхая от прошлого и чувствуя еще достаточно сил, чтобы надеяться на будущее. Теперь все светлое было уже за плечами и вдобавок прибавилась глубокая рана, которая и зажить не может, потому что память и ожидания беспрерывно раздражают ее. Если бы жена его умерла, тогда нити порваны. Но нет! Она живет и живет для другого, и он не знает и не позволяет себе узнавать, где и как живет она, счастлива или нет, близко или далеко.

Один еще луч светил для него в будущем — это сын. Но сын был так мал еще, что Соковлину, столько раз осмеянному судьбой в надеждах, страшно было и загадывать на счастье взрастить и воспитать его или дожить хоть до его первого самостоятельного расцвета.

Но видно, что бы ни говорили о тяжких ударах судьбы и нравственных страданиях, а все-таки человеческий организм легче переносит их, нежели какую-нибудь перемежающуюся лихорадку. По крайней мере Соковлин их выносил, хотя они отразились и на наружности его, и на образе жизни. Соковлин, и при жене мало поддерживавший знакомства с окружающими его соседями, решительно не бывал теперь ни у кого иначе как по настоятельным делам. Разумеется, и к нему без дела никто не ездил. Раз только старый наш знакомый Охвостнев, незадолго перед тем возвратившийся к родным пенатам после шестилетней отлучки, завернул к нему, да и то невпопад.

Кстати об Охвостневе. С тех пор как Охвостнев с своей подругой умчался в Москву, о нем несколько времени не было ни слуху ни духу. Это продолжалось около года. Оказалось впоследствии, что это время он проводил в сообществе мадмуазель Кадо счастливейшим образом. Экс-гувернантка исполнила свои намерения: она хотела пожить и жила. Круг их знакомства составляли те французские актрисы второй руки и другие ее соотечественницы с окружающей их молодежью, которые, несмотря на свое иноземное положение, держались в жизни русского правила: хоть день, да мой. Такие особы с одной стороны имеют привычку не дорожить презренным металлом, зато с другой не очень разборчивы в средствах к его добыванию.

Когда небольшие деньги, скопленные мадмуазель Кадо в качестве воспитательницы наших юных соотечественниц, и еще меньшие, захваченные с собой Охвостневым в качестве владельца сотни душ в счет грядущих доходов, вышли, тогда как-то ловко устроилось, что заботы о мадмуазель Кадо принял на себя один почтенный и сановный муж, а мадмуазель Кадо уже заботилась о снисходительном Охвостневе. Но эти дни длились недолго. Уж если француженка отдается чему, то не отдается вполовину, а вся с своей исключительной furia francese * увлекается и закруживается до опьянения. И мадмуазель Кадо, отдавшись веселой жизни, сначала нашла, что выйти ей замуж за полуразоренного помещика, как Охвостнев, —

* Французское неистовство (итал.).

весьма немного, а потом и сановный муж, заботившийся о ней в Москве, показался ей слишком солиден, расчетлив и скучен. Ей хотелось действовать на более широком поприще. Вести о некоторых петербургских знаменитостях в ее роде раздражали ее самолюбие. Она не была особенно хороша, но была весела, жива и пикантна. Случай представился ей, и она с одним гусарским поручиком, сыном откупщика, приезжавшим в отпуск из Петербурга, в одно прекрасное утро умчалась в Северную Пальмиру, предоставив своего друга Охвостнева его собственной находчивости, так как при новом покровителе роль второго любовника была излишня и неудобна.

Охвостнев не очень огорчился и стал пробиваться собственными средствами. Жизнь, которую он вел, сначала ему нравилась, потом втянула его в себя, как втягивает иное болото, и он не имел сил да, правду сказать, и не тратил их на то, чтобы из нее вырваться. Его «министр», как называл он своего старосту, изредка присылал ему деньжонок, но это были только редкие и маленькие капли росы для жаждущего. Охвостнев в ответ всегда бранился и грозил ему с неистощимым разнообразием, находчивостью и энергией, свойственной в этом случае русскому человеку, разными неприятными вещами, но капли от этого не увеличивались, и «министр» оставался холоден, спокоен и скуп. Охвостнев должен был рассчитывать только на себя. Он барышничал лошадьми, водился с цыганами, играл на бильярде и день за день провел таким образом пять лет, в особенно критические минуты собираясь уехать в деревню, хотя бы только для того, чтобы доставить себе удовольствие потеребить за бороду своего «министра». Но эта счастливая решимость так бы и осталась в области прекрасных мечтаний, и, вероятно, Охвостнев замотался бы в Москве окончательно, если бы один добродетельный земляк-помещик не встретил его у Печкина [41] и, обрадовавшись знакомому человеку, не затащил его к себе в номер и, попоив несколько дней водкой, на собственный счет не увез его с собой восвояси.

Дома его встретила ключница Матрена, которая, не утратив красоты, только пораздобрела и стала уже Матреной Кузьминишной. Так как ни одним декретом она не была разжалована из своей должности, то сумела в его отсутствие не только удержать, но еще более утвердить свою домашнюю власть и жила барыней. Она разбранила Охвостнева, доказала ему, что староста ни из его, ни из ее воли не выходил, угостила отличной настойкой и на деле доказала всю прелесть домашней жизни, от которой

он так беспутно отказывался. Охвостнев оказался уже не тем веселым и беспечным болтуном себе на уме, которым был прежде. Он уже не был дилетантом в искусстве выпить на чужой счет хорошенького винца и для своей забавы поссорить и подурачить кого-нибудь, он глубже отдался своему призванию, любил уже водку для водки и для нее готов был и сплетничать, и позволить дурачить себя. Зато в характерной и самостоятельной Матрене Кузьминишне развилось чувство собственного достоинства и за него, и за себя. Она не хотела, чтобы ее Петр Петрович играл такую незавидную роль в людях, хотя дома прибирала его совершенно к рукам. Она баловала его чарочкой у себя, но в гости отпускала редко, и то не ко всем. Для Соковлина она, впрочем, охотно сделала исключение, и вот почему вскоре по приезде Охвостнев приехал к нему.

Это было поутру. Охвостнев явился в каком-то потертом зеленом рейт-фраке со светлыми пуговицами. Он похудел. Нос у него принял уже довольно знаменательный колорит, усы стали одерганные, и весь он был потерт и помят, как его рейт-фрак. Видно было, что он уже слегка закусил.

Соковлин был в таком расположении духа, что гость и не в роде Охвостнева не очень бы занял его. Однако ж он принял его как обыкновенно и старался ничем не выказать перемены.

Беседа их однако ж длилась недолго и кончилась довольно странно. Охвостнев с самого начала старался выказать себя тем же разбитным и беспечным малым, которым он был прежде, хотя уже эта роль плохо удавалась ему, потому что была ролью и не лежала в его отяжелевшем характере. Он трижды облобызал Соковлина, начал рассказывать, как совсем было запропастился в Москве, заметил, что очень холодно, и когда Соковлин на это замечание велел подать закуску, он с веселым вздохом вспомнил «нашу добрую старушку», как он называл Татьяну Григорьевну, и ее наливки. Все это он проговорил залпом, ходя по комнате и потирая руки, которые уже тряслись.

— А вы-таки постарели! Постарели, почтеннейший Сергей Иваныч! — говорил он, подойдя к Соковлину, и потрепал его по бокам. — Да и что вы какие-то скучные! Слышал я... ну, оно, конечно, удовольствия тут мало, да стоит ли много думать о них? Вот и моя птица упорхнула, да черт с ней, другую можно залучить, хоть и не очень законную, да оно лучше!

Соковлин весь вспыхнул и встал перед Охвостневым.

— О ком вы говорите? — спросил он, едва сдерживая себя.

— Да я... слышал... Язык ведь без костей... Что-то говорили про отъезд Натальи Дмитриевны... А впрочем, все вздор, конечно... — бормотал Охвостнев, не зная, как бы вывернуться.

— Послушайте! Вы можете слушать все слухи и разносить их сколько угодно, — сказал Соковлин. — Но если вы здесь позволите себе дурно отозваться о моей жене и сравнивать ее с вашей птицей, так вы сами рискуете вылететь отсюда! Понимаете? А чтоб этого избежать, так нам лучше расстаться поскорее.

Соковлин повернулся и вышел.

— Сергей Иваныч! Голубчик! Ну полно! Ну виноват! — закричал было вслед ему Охвостнев.

«Вот дурак — чем обиделся! Право, дурак!» — думал он, оставшись один.

В это время слуга из других дверей подал закуску, и он немедленно приступил к ней.

— А ты, любезный, поди скажи барину, что, мол, Петр Петрович просят извинения, что они, мол, это так сболтнули, — так и скажи.

Слуга вышел, и Охвостнев весьма усердно продолжал угощать себя. Через несколько минут слуга возвратился.

— Сергей Иваныч приказали доложить, что ваши лошади поданы, — сказал он.

— А! Поданы!

Охвостнев налил себе третью рюмку, не торопясь выпил ее, взял фуражку и вышел. Когда Охвостнев был уже в санях, он обратился к провожавшему его слуге:

— Кланяйся, братец, ты своему барину и скажи ему от меня, что он свинья! Слышишь? Пошел! — закричал он кучеру.

Лошади рванулись, и он уехал.

После этой маленькой **истории**, слух о которой с разными вариантами в свою пользу распустил сам же Охвостнев, разумеется, еще менее нашлось охотников посещать Соковлина, чем он, впрочем, был очень доволен.

Соковлин, как в старое время холостой жизни, занимался хозяйством, коротал дни чтением и по целым часам играл и сидел с своим сыном; так же, как в старое время, являлся иногда к нему Игнатьич, но уже не по призыву и не для бильярда, к которому за страстью был не способен, а так, рассказать про старину, развлечь барина. Игнатьич жил в своей комнатке на антресолях скорее в

роде домашнего человека, чем слуги. В старину он был камердинером[42] старого барина, страстным охотником и большим ловеласом, теперь занимался пчелами, любил поудить, охотно читал наставления молодым лакеям и со страстью старого волокиты все свободное время посвящал наблюдениям за интрижками горничных, к которым во время оно был так падок. Впрочем, он никогда не выдавал их и скорее даже потворствовал, чем мешал, он любил только их знать и следить, как проигравшийся до нитки игрок любит смотреть на чужую игру. Игнатьич с преданностью старого слуги любил Соковлина и в этом качестве был в некоторой оппозиции к барыне и ее дворне — как к чужим, вхожим. Игнатьич отгадывал горе Соковлина и по-своему старался иногда развлекать его.

Раз — это было в половине января — Соковлин сидел в своем кабинете. На дворе стояла хмурая зимняя ночь, наглухо накрытая сверху сплошными бесцветными тучами. Ни звезд, ни месяца не было видно, но, должно быть, полный месяц светил на небе, потому что на белом грунте снега можно было довольно различать предметы. Длинный вечер подходил к концу, реже слышался стук отворяемой и затворяемой наружной двери, в тихом и полуопустелом доме становилось еще тише: все укладывалось спать. Соковлин сидел у камина, в котором давно уже прогорели дрова и только местами сквозь пепел светилось еще несколько алых углей. Лампа под абажуром горела слабо, раскрытая книга, которую читал он, была опущена на колени. По неподвижно устремленным в одну точку глазам видно было, что мысли Соковлина были чем-то глубоко поглощены. Эти длинные одинокие зимние вечера тяжело переживались им: читать и читать наконец надоест, и вот поневоле пойдут блуждать мысли и постоянно, как магнитная стрелка, становятся на одном, всегда болезненно и раздражительно отзывающемся воспоминании. Где-то она теперь? Что делает? И вопреки воли воображение рисует ему обидные и возмущающие картины.

Соковлин мало похудел за это время, но постарел много. Между черными волосами виднелись целые белые пряди седых, хотя ему было с небольшим еще сорок лет. Открытое и честное лицо уже не глядело так прямо и добродушно, какая-то горькая черта легла около рта, и о чем бы ни говорил Соковлин, он не отдавался весь предмету, а все как будто другая мысль лежала у него постоянно на уме, и он только отрывался от нее, ее не забывая.

Так Соковлин одиноко коротал и этот вечер. Длинная комната кабинета, освещенная в одном углу только, где сидел Соковлин, другим вся уходила в полумрак. Только белый бюст Пушкина слабо выдавался из него да несколько роскошных переплетов в шкапу тускло блестели, и на всем была такая тишина и неподвижность, как будто и книги, и бюст, и вся комната — скучая и дремля — ждала только времени, когда наконец Соковлин загасит огонь и даст им уснуть.

Вдруг портьера в темном углу приподнялась, и в комнату неслышно заглянула и показалась фигура старика с белыми, как лунь, волосами и такими же длинными усами. Старик был в истертом суконном казакине и валенках, от этого походка его была совсем не слышна, и Соковлин не заметил его. Старик кашлянул.

— Кто тут? — спросил Соковлин, вглядываясь в него.

— Я-с, — тихо ответил старик и подошел к свету.

— Что ты, Игнатьич? — несколько тревожно спросил Соковлин, удивленный его приходом в это время.

— Вы ничего не слыхали? — спросил Игнатьич.

— Ничего. А что?

Старик таинственно наклонился и сказал сдержанным шопотом:

— Барыня приехали!

— Может ли быть?! Как? Когда? — вскочив, спрашивал Соковлин.

Игнатьич приподнял палец, прося молчания, и Соковлин замер на месте.

— Не приехали, а пришли! — тихо, таинственно продолжал старик. — Вижу я, кто-то крадется пешком из калитки на заднее крыльцо, я и сошел. Вижу — взошла в детскую... Глядь — барыня! И только Арине шепчет: «Молчи!»

— Где же она теперь? — тоже тихо, но дрожащим голосом спросил Соковлин.

— Да там же, в детской, — отвечал Игнатьич.

Едва старик договорил эти слова, как уже Соковлина не было в комнате. Он вошел в темный коридор и тихо пробрался к детской. Дверь в нее была неплотно притворена, и Соковлин остановился у нее. Ему нужно было дать себе хоть несколько мгновений, чтобы успокоиться. А между тем он мог видеть, что делалось в смежной комнате.

Наискось у стены стояла кроватка, в которой спал Андрюша. Держась за нее одной рукой, перед ней стояла женщина в салопе и дорожном капоре[42]. Лица ее, накло-

ненного над кроваткой, не было видно, но Соковлин, только взглянув на нее, сильно прижал руку к сердцу, чтобы умерить его боль и биение. Перед Наташей в ночном чепчике на растрепанной голове и каком-то шлафроке [44] стояла Аринушка: она держала в одной руке свечу, а другой заслоняла ее свет от головы спящего ребенка. Сама она, не спуская глаз, смотрела на свою **барышню.** Свеча слабо дрожала в ее морщинистой руке, и весь отраженный свет колебался на изрезанном мелкими морщинами лице.

— А что Сергей Иваныч? — тихо спросила Наташа и повернула голову.

Соковлин увидал ее осветившийся профиль, услыхал знакомый голос, и прежде нежели старуха успела ответить, он был уже в комнате.

— Наташа! — сказал он.

Наташа вздрогнула, обернулась, и голова ее была уже на груди мужа. Соковлин обнял жену и повел с собою.

— Огня! Разбудить людей! Скорее! — сказал он, оборачиваясь к Аринушке и стоявшему позади ее Игнатьичу и вошел с Наташей в кабинет.

Там он опустил жену на диван и сам, обессиленный ощущениями, упал против нее в кресло. Несколько мгновений они сидели молча. Соковлин смотрел на похудевшее лицо Наташи. Наташа окинула взглядом мужа и опустила глаза.

— Скажи, отчего ты пришла пешком? Отчего не прямо — сюда? — спросил Соковлин.

Наташа еще более потупилась.

— Я хотела только взглянуть на Андрюшу, — тихо сказала она, — и проехать в Любановку.

— А здесь? — но Соковлин не кончил вопроса и вдруг остановился. — Впрочем, — прибавил он, смутясь, — я не знаю... и если ты хочешь...

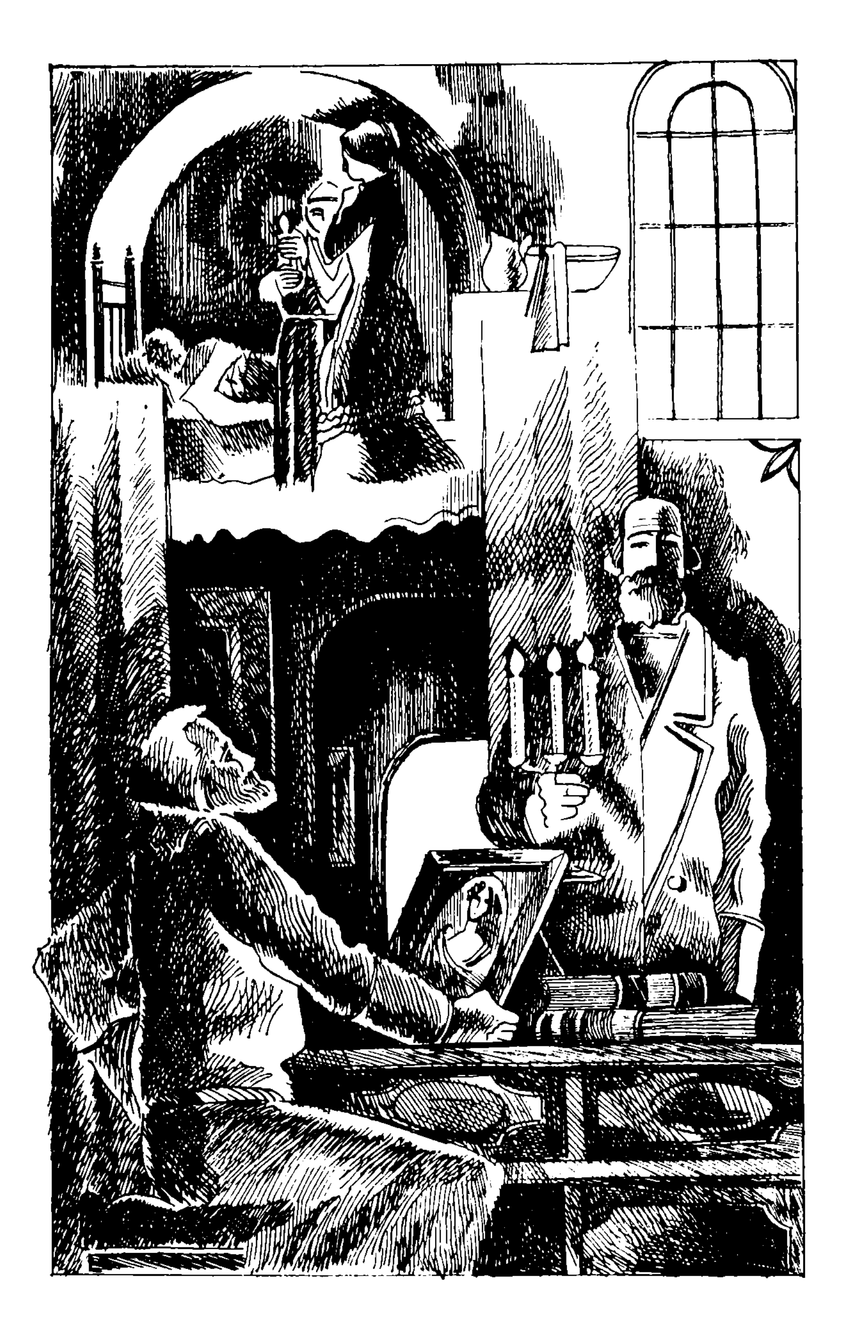
Наташа поняла его. Она подняла на него глаза, хотя все лицо горело от стыда.

— У меня на это одна причина, — сказала она, — мне стыдно и совестно воротиться в твой дом и к тебе...

— Зачем это? Зачем! — совестливо сказал Соковлин, с упреком покачивая головою. — Отчего ты не веришь мне, отчего не хочешь просто считать меня твоим старым другом?

— Оттого что не стою тебя! — робко сказала Наташа и, взяв его руку, целовала ее.

Соковлин нагнулся, обнял и, крепко поцеловав ее голову, в то же время освободил свою руку.



— Однако где же твой экипаж? — заговорил он поспешно, желая прекратить это объяснение и торопливо отерев глаза. — Где же ты его бросила? Эй! Человек! — и он начал звонить.

— Он тут недалеко, на задах, — отвечала Наташа, тоже отирая глаза.

— Тут на задах барыня оставила экипаж, велите въехать ему, — говорил Соковлин вошедшему слуге. — Да камин затопите. Наташа, что же ты не раздеваешься? Да что же, ужинать или чаю?

— Ничего я не хочу, — словно отдыхая, сказала Наташа.

Она встала, чтобы сбросить салоп, слуга подхватил его, поклонился барыне, поздравил с приездом и, поймав, поцеловал ее руку.

— Здравствуй, Никанор. Нет, ничего мне не надо, — продолжала она. — Я так рада, что я дома! — сказала Наташа, глубоко вздохнув, как будто с нее скатилось тяжелое бремя.

И в первый раз после многих, может быть, счастливых, но тревожных дней она почувствовала под собой твердую почву. В первый раз она почувствовала на душе успокоительное дыхание тихого нескрываемого счастья. И так ново и дорого было ей теперь это чувство, так отрадна была ей надежда и возможность выйти снова на прямую дорогу, что она только повторила: «Я так рада, так...» и, не договорив, закрыла лицо руками и рыдала, рыдала горячими слезами раскаяния, благодарности и счастья.

Соковлин не останавливал, не унимал ее: он чувствовал, что ей нужны эти омывающие искупительные слезы. Он только смотрел на нее и слыхал, как у самого по щекам медленно катились тоже слезы.

Между тем в доме все засуетилось и задвигалось. Вскоре в кабинет принесли дрова в камин, свечи, Наташа стала успокаиваться, и притом слезы ее вытекали от таких нежных и сокровенных душевных движений, что одно присутствие постороннего человека, как прикосновение к листам «не тронь меня», сжимало и прекращало их источник.

Слуги и горничные здоровались с барыней. Между ними неслышно явился и Игнатьич в тех же валенках, и поздоровавшись, хитро прибавил:

— Как это вы, сударыня, подкрались к нам? Мы и не слыхали ничего!

Явилась и старая ключница Соковлина, толстая и раздражительная Марья Савишна, низко поклонилась и расцеловалась с Наташей и, как та ни прятала свою руку, все-таки ее вытребовала.

— А куда самовар прикажете подать?— спросила она, верная своим обязанностям.

— Да зачем самовар? Не надобно, Марья Савишна,— отвечала Наташа.

— Как это не надобно? Где это видано! С дороги перезябли — да самовару не надобно! — обиженно воскликнула она. — Да вы, чай, и ноги-то промочили, да это еще и не согреться?

— Ну, хорошо, хорошо, подай сюда, — сказала Наташа.

— Ну, этак-то лучше. Вот тут, к огоньку. А то где это видано — с дороги да и не согреться! — уходя, ворчала Марья Савишна и через минуту сама принесла, переваливаясь, поднос со всем прибором, и тотчас же явился уже приготовленный какими-то судьбами и кипящий самовар.

Наташа не допила еще чашки, как в дверях показалась Аринушка, неся на руках Андрюшу.

— Проснулся, мой голубчик, — еще издали запела она. — Разгулялся совсем, услыхал, что мама приехала, только и говорит: «К маме пойду». Ну, узнал, кто это? — спрашивала она, держа ребенка перед трепещущей от радости и волнения Наташей.

Ребенок посмотрел с недоумением своими большими черными глазенками несколько мгновений на Наташу.

— Мама! — сказал он и протянул к ней ручонки.

— Радость моя! — воскликнула Наташа и, схватив сына, засыпала его поцелуями и слезами.

Наташа тоже похудела за это время, синие жилки проступили сквозь побледневшую кожу висков, но от дороги и волнения румянец широко играл на лице. Особенно худоба заметна была круг рта и в подбородке: они утратили свою нежную округлость, как будто поиздержались немного. Но в общем она не потеряла от этого: она стала милее, женственнее, более нежности обещали эти похудевшие уста.

Наташа отпустила няньку и сперва развлекала ребенка расспросами, потом убаюкивала нежными именами и ласками. Соковлин рассказывал про него, про маленькие перемены и происшествия (разумеется, не с Охвостневым), которые случились без нее в доме или дошли до него слухами. Но разговор не клеился по весьма простой причине: Соковлин мог только рассказывать, а не рас-

спрашивать, Наташа спрашивала, но не могла говорить про себя.

Соковлин с любовью глядел на жену и ребенка. Он уже отвыкал от мысли видеть когда-нибудь восстановленным свое семейное — если не счастье, то спокойствие, и то, что было перед его глазами, было так нежданно, что наполняло измученную горечью душу отрадным и теплым чувством. Туча уходила назад, и снова солнце начало проглядывать сквозь разорванные облака. Но смотря на возвратившуюся жену, замечая на ее милом и дорогом для него лице все легкие изменения, которые это время положило на нем, не думал ли он, что эти похудевшие уста утратили свою свежесть на страстные ласки, не видал ли он на них следов чужих поцелуев?

Было далеко уже за полночь, отрывочный разговор упадал и смолк, огонь снова гас в камине, и ребенок, убаюканный ласками, уснул на коленях Наташи.

— Я отнесу его, — шепотом сказала она.

— Отнеси, да и самой тебе пора отдохнуть. Ты, я думаю, утомилась с дороги, — отвечал Соковлин.

Он со свечой проводил жену и возвратился в кабинет.

Долго еще, оставшись один, ходил Соковлин неслышными тихими шагами по ковру кабинета, отдаваясь приливу и переходу новых, как клубы тумана, неясно охватывавших его мыслей. Долго еще в уснувшем и потемневшем доме просвечивался слабый свет сквозь занавеси его кабинета, и мы не поручимся, что сон в эту ночь смыкал глаза Соковлина.

10

Свежая и оживляющая струя вошла вместе с хозяйкой в дом Соковлина, и жизнь потекла в нем, по-видимому, как и прежде, мирным и полным течением. Соковлин, казалось, был доволен и — сравнительно с недавним положением — почти счастлив. Он любил жену глубокой и искренней любовью, но года отняли у этого чувства все страстное и жгучее; перед разрывом он сказал жене, что останется ее другом — он оставался им и теперь, и ему тем легче было оставаться им, что настоящие отношения не требовали от него никаких жертв; ревность — ревность даже не материальная, ревность к другому нравственно-предпочитаемому — не имела, по-видимому, пищи. Любовь и дружба, говорят, из одного и того же теста, только одно замешано на чувственности, другое на простом сочувствии, различить их весьма легко: хочется целовать-

ся — любовь, не хочется — дружба. Заглянув поглубже и попроще, без идеалистических натяжек, в душу Соковлина, никто бы и никак не решился утверждать, что Соковлину не хотелось иногда поцеловать, и горячо поцеловать свою жену, но года и, скажем откровенно, отвычка делали эту жертву под силу и не слишком тягостной для его решимости. Он сознавал, что его прежнее, полное и чистое счастье было разбито, но, испытав всю горечь его потери, он был уже почти доволен теми обломками, которые судьба еще выбросила на его берег.

Несравненно труднее определить состояние Наташи. В женщине, и женщине еще молодой, полной сил и жажды чувства, бывают такие внезапные перемены, так странно и часто, по-видимому, так противно всякому здравому ожиданию действуют на нее малейшие обстоятельства, что проследить за нею в переходное время разных влияний так же трудно, как определить вкус и букет еще не перебродившего вина. Мы возьмемся передать только наружные признаки.

Первые дни после своего приезда Наташа была почти совершенно счастлива. Семейная жизнь в ее тихом и ласкающем течении была тем отраднее для нее, что она не смела уже надеяться на ее возвращение. Наташа целые часы проводила с сыном, но все свое уменье, внимание и любовь сосредоточила на муже. Казалось, она хотела всеми мерами вознаградить его хотя отчасти за те страдания, которых была причиной. Она занялась с удвоенным усердием хозяйством, и не было привычки, желания или намека мужа, которых бы она не припомнила, не старалась предупредить и выполнить. И все это она делала с той простотой и женственной грацией, на которые способны любящие женщины.

Соковлин видел эту удвоенную нежность и внимательность Наташи, но по тонкому чувству уважения к жене не показывал вида, что замечает их. Он боялся указать этим самой Наташе на ее перемену, чтобы не напомнить ее прошлого, не хотел принять этой перемены за искупление, чтобы этим самым не обвинить или не укорить ее в прошедшем. И Соковлин оставался, как и обещал некогда, ее **старым** добрым другом.

Так длилось несколько недель, но потом мало-помалу Наташа стала задумчивее, грустнее. Она не изменилась в своей внимательности к мужу, но стала менее свободно распоряжаться в хозяйстве, часто за разрешением каких-нибудь вопросов, относящихся к будущему, отсылала к мужу, как будто не прочила оставаться постоянно в доме.

Иногда она как будто без умысла наводила разговор на Любановку, раз даже под каким-то незначительным предлогом захотела побывать в ней и к двум отапливаемым — на случай приезда — комнатам велела прибавить еще одну. Однажды в сумерки, нечаянно войдя, Соковлин заметил, как будто Наташа плакала, но она тотчас вышла под каким-то предлогом, и Соковлин не мог удостовериться, справедлива ли его догадка.

Все это не ускользнуло от внимания Соковлина, но он, никогда ни одним косвенным вопросом не касаясь недавней жизни Наташи, не мог и теперь позволить себе не только вопроса, но и знака участия. Его положение становилось с каждым днем тоже труднее и тяжелее.

11

Однажды после обеда Наташа ушла к себе в спальню и не показывалась целый вечер. Соковлин спросил горничную, здорова ли барыня, и получил ответ, что она что-то пишет. Это было как раз накануне почтового дня, и невольные подозрения снова ворвались в душу Соковлина. Он не знал, жив ли Комлев, где он, по какой причине жена оставила его. Правда, две вещи заставляли Соковлина думать, что связь между Комлевым и его женою окончательно прервана: это — несколько слов, сказанных Наташей по возвращении, и уверенность, что в противном случае она не осталась бы ни минуты в его доме. Но... кто ж упрекнет в подозрительности человека, уже испытавшего то, что испытал Соковлин? Положим, что связь Наташи с Комлевым разорвана. Но в какой степени? Какое чувство осталось между ними? Что было причиною этого разрыва, и прочен ли он? Как знать: La donna é mobile *... и Соковлин, к несчастью, знал это не из «Риголетто».

Соковлин по-старому затворился к себе в кабинет, который был свидетелем стольких долгих его черных дней. Не удивились бы эти стены, и книги, и вещи — если бы могли наблюдать — выражению лица Соковлина: они видели его и не с таким лицом! Но если бы они могли заглянуть в его душу, они бы сознались, что никогда не читали в ней более горьких, обидных, оскорбительных мыслей. Не ревность это была: что ревность! он испытал ее; не обман в надеждах, не уверенность в измене чувства: он давно знал, что надежды хрупки и чувства из-

---

* Женщина изменчива (итал.).

менчивы, хотя и тяжело это испытывать на себе. Нет! Теперь сомнения подкапывались под самый сокровенный, нетронутый уголок, в котором он, как святыню, лелеял и берег все, что ему осталось от Наташи: сомнения подкапывались под его уважение к любимой женщине! Наташа могла разлюбить его, ненавидеть, полюбить другого и отдаться ему. Но Наташа не обманывала его, не делала из него ширм для своей связи. Наташа (еще недавно он был уверен в том) не войдет в его дом для того, чтобы, отдохнув и усыпив мужа, снова возвратиться к другому. А теперь?

Мы бы долго и много должны были писать, если бы вздумали исчислить мысли Соковлина, его доводы за и против, прилив и отлив его подозрений. Скажем только, что поздно вечером мысли Соковлина были прерваны приходом горничной Наташи: она подала ему письмо.

— Барыня вас просит прочитать, — сказала горничная и вышла.

Конверт был запечатан, но не надписан. Соковлин с нетерпением сорвал обертку и узнал руку жены.

Она писала:

«Ты меня принял в дом, не спрашивая, где я была это время, почему возвратилась, каким образом прервалась та страсть, которая разбила наше тихое счастье... Все время, что я снова живу под твоим кровом, ты ни разу ни малейшим намеком не коснулся прошлого, не постарался разъяснить, давал ли мне совершенный разрыв какое-нибудь право снова переступить твой порог, ты мне верил безусловно. Это меня не удивляет. После того, что ты уже делал для меня, я могла этого ожидать, я была даже уверена в этом, поступить иначе ты не мог. Я тебя и не благодарю за это: у меня нет на это и слов, да и что тут значат слова!

Но если ты молчал, то на мне тем настоятельнее лежала обязанность высказаться тебе, открыть — чего бы мне это ни стоило — все прошедшее. Я это сознавала и хотела давно выполнить. Говорить — было выше сил моих, да в рассказе я бы не могла быть сколько-нибудь последовательною; я хотела писать. Стыд разоблачать даже перед тобою... особенно перед тобою... это прошлое... не мог удерживать меня, я понимаю свой долг. Но тут явилась другая мысль, и она заставляла меня рвать начатые письма, останавливала мою руку, была причиной молчания, с которым я употребляла во зло твое терпение... Причина и теперь не уничтожена, но надо же с ней покончить, что бы ни ожидало меня. Но об этом после...

Не останавливаясь почти в Германии, мы отправились прямо в Швейцарию. Там, недалеко от Вэвэ, мы поселились на берегу Женевского озера. Любовь... нет! страсть, совершенное уединение с тем, кого я любила, природа — все тут было для счастья. Но, я говорю правду, были минуты безумного, страстного забытья, но счастья не было: ты, постоянно ты разрушал и отравлял его, по крайней мере для меня. Если бы в твоей жизни со мной, в отношениях и поступках, сопровождавших наш разрыв, я могла найти предмет для укора, точку опоры для собственного извинения, я бы в то время, мне кажется, готова была благословлять тебя! Но сколько я ни напрягала свою память, я не могла их отыскать, ты мне не оставил их. Мне иногда приходила мысль, что ты вел себя так с тонким расчетом — чтобы лучше отомстить за себя. Но это было уже слишком. Но если б у тебя был этот расчет, ты бы не мог лучше действовать: я ненавидела тебя за твою доброту и великодушие. Как нарочно, живо припоминалось мне, что в первый наш разговор — помнишь, в нашем любаньевском саду, у пруда — ты мне описывал швейцарские озера, и я тогда же подумала, как бы хорошо и отрадно было увидеть их и пожить там с таким человеком, как ты. И потом, уже замужем — помнишь? — мы иногда говорили об этом. Все это так и вырвалось непрошенное в мою память и отравляло мне все минуты счастья. Было что-то жгучее в моей тогдашней жизни, точно крепкое вино — и жжет, и одуряет.

Я скрывала, разумеется, сколько могла, эти мысли от Комлева, но он заметил мое тревожное состояние. Он меня спрашивал, я молчала, но раз — в порыве негодования на тебя и себя — я ему их высказала. Он пожал плечами и сказал, что это сентиментальность, романтичность, к которой ты приучил меня, что не надобно давать волю своей фантазии, добровольно и глупо терзать себя, что это может развиться до болезненности, как всякая мономания, и что с небольшой силой воли можно прогнать эти мысли или притупить их — точно так же, как здравый смысл прогоняет всех бесов и привидений.

Но ему легче было развивать свой взгляд, чем мне подчиняться ему. Швейцария с ее озерами была отравлена для меня. Я просила его ехать в Италию, это не входило в его план, но он согласился. Мы переехали через Симплон и месяца два ездили по Северной Италии. Милан, Венеция, Флоренция, Генуя — со своими красотами, памятниками и картинами — были перед нами. Комлев все хотел видеть, я не уступала ему в этом. Это было, мо-

жет быть, мое лучшее время. Но, говоря искренне, я думаю, что Италия занимала меня если не больше, то наравне с моим чувством; я наслаждалась природой и искусством — на счет моей страсти, они поглощали ее. Но страсть эгоистична, она не терпит раздела, она требует или уединения, где все принадлежит ей, или блеска света, где все, что может соперничать, должно быть приносимо ей в жертву для удовлетворения ее деспотической жадности. Наша итальянская жизнь слишком развлекла нас, красоты живописи и ваяния заслоняли нас друг от друга: они могли развивать только более тихое и глубокое чувство.

Как бы то ни было, но это было мое лучшее время, хотя и тут мы часто расходились во взглядах с Комлевым: он более учился и исследовал, чем чувствовал. И тут мне вспоминился другой спутник, и я уже жалела иногда, что его нет со мной...

Между тем осень кончалась — не та осень, среди которой мы были, — осень, рассчитанная по нашему календарю. Комлев предполагал к этому времени быть в Париже. Столкновение со мной и без того спутало его планы и повредило цели: и без того он мне «пожертвовал Германией», как проговорился он шутя, теперь он спешил наверстать потерянное. Меня тянуло на юг, в Рим и Неаполь, но я не возражала, и в ноябре мы были в Париже.

В Париже Комлев отдался занятиям, которые на целые дни отвлекали его... Он слушал лекции, занимался в библиотеках, делал ученые знакомства. Меня не интересовал Париж. Я не была в таком расположении духа, чтоб искать веселостей или ездить по магазинам, да я и не чувствовала к ним влечения. А без них в Париже и зимой немного интересного для женщины. Я оставалась одна, и у меня было времени для тяжелых размышлений.

Достоинства мужчины — точно так же, как и недостатки — только немного усиливают или ослабляют нашу любовь, но не могут ни возбудить, ни уничтожить ее. Но я понимаю, что человек свободный, употребляющий свое время только на ухаживание за женщиной, может заставить предпочесть себя вечно занятому делами, хотя бы и более достойному мужу. Может быть, это происходит оттого, что мы не заняты ничем, что мы дурно воспитаны и что любовь от этого в известные годы составляет нашу насущную потребность, наше единственное занятие. Не это была причиной моей любви к Комлеву. Это была не любовь, а страсть. Я не знаю, как это сделалось, она

вспыхнула от одного взгляда, но занятия и отсутствие Комлева и — мне бы не хотелось этого выговорить — его сухой эгоистичный характер охлаждали ее.

Прежде, когда я еще боролась и падала под влиянием невольного чувства, я часто сравнивала тебя с Комлевым. Все эти сравнения, все убеждения рассудка были на твоей стороне, а я каждую минуту более и более предпочитала другого. Теперь весы покачнулись в противную сторону и падали тем скорее...

Может быть, если бы я была женою Комлева, я бы старалась сохранить по крайней мере то теплое чувство, которое остается от перегара страсти, хотя уверена, что мы не были бы счастливы. Собственное ли развитие, которому я была предоставлена дома посреди природы, ухода и всегда добрых ко мне лиц, ты ли своим постоянно мягким, симпатичным, задушевным влиянием сделали это, но я чувствовала потребность в той доброй, ласкающей и миротворной среде, в которой жила до тех пор. Мне бы тяжела была сухая, ничем не согретая, замкнутая в себе жизнь, которую бы мне привелось вести с Комлевым: я была для него слишком нежно и мягко развита. И как я была бесконечно благодарна тому себялюбивому чувству, которое заставило его отказаться от женитьбы на мне!

Как скоро я почувствовала, что страсть прошла, что явилось размышление и спал туман, охвативший меня, я не колебалась более. Единственная нить, которая была причиной моих поступков, которая оправдывала меня до некоторой степени в собственных глазах, оборвалась. Я решилась на немедленный разрыв.

Одна мысль была обидна и унизительна для меня. Что же такое мое чувство, моя любовь после этого? Лучшего из мужей, сына, мое тихое и мирное счастье бросила я для более страстного и горячего чувства. И какая же была эта страсть, которая длилась полгода и не выдержала встречи с самыми ничтожными обыденными вещами? И что же я сама после этого?

Эта мысль стоила мне многих горьких и необлегчающих слез. От этой мысли и теперь стыд бросается в лицо, я теряю веру в себя и смотрю на себя унижающим взглядом. Но я не хотела ради ее обманывать себя и других. Что же делать, значит, я такова есть, пусть же будет, что будет!

Раз Комлев ушел с утра и долго не возвращался. Я не ждала его нетерпеливо, не тосковала и не роптала.

Я скучала, и скучала не по нем. Тогда эти мысли явились мне, и туман стал падать.

Я удивилась той поражающей быстроте, с которой новый взгляд выяснился во мне, новые мысли рождались, зрели и крепли в убеждение, как будто падало наскоро сложенное здание, из которого выпал один камень. Так при мне раз перед Hotel de Ville ломались щиты и подмостки ярко горевшей накануне иллюминации. Когда Комлев возвратился вечером домой, он нашел дверь моей комнаты запертою.

На другой день был какой-то праздник. Комлев был свободен и располагал весь день провести со мною. Я ничего не говорила ему о своем предположении, я сама хотела еще проверить себя.

День был славный. Мы провели его, как проводят влюбленные парижане, работающие порознь целую неделю, а в воскресенье задающие себе праздник. Мы катались, гуляли, обедали у Филипа, были в опере. Весь день мы были вдвоем. Комлев был весел, в отличном расположении, как редко, но я смотрела на него уже другими глазами, так что он спросил меня раз, отчего я сегодня какая-то странная. Действительно, мне было странно мое положение.

Когда мы воротились домой, я сказала ему:

— Страсть прошла и для меня, и для тебя. Между нами не было другой связи и других причин жить вместе: расстанемся!

— Это что значит? Отчего это пришло тебе вдруг в голову? — спросил он с удивлением.

— Я это чувствую, — отвечала я. — Других причин и убеждений тут не нужно, и я решилась ехать.

— Как знаете! Вы свободны, — сказал он и вышел.

Он был более оскорблен и удивлен, чем огорчен.

На другой день он спросил меня, не передумала ли я. Я отвечала, что нет, и просила его позаботиться о моем отъезде. Тогда он переменил тон и просил меня просто дружески сказать ему, не огорчил ли меня чем невольно, предлагал переменить образ жизни, если он мне не нравится, сказал, что он готов, если я хочу, бросить занятия и ехать, куда мне вздумается.

— Нет, мой друг, — сказала я, — ты ни в чем не виноват, и если нужно искать виновного, так вини мое непостоянство — недостаток твердости и стойкости чувств. Я знаю, взаимными уступками мы могли бы еще поддерживать нашу привязанность, но для того чувства, которое осталось теперь между нами, не стоит ни тебе жертвовать

своими занятиями и будущностью, ни мне — мне, впрочем, нечем уже жертвовать! — оставаться в настоящем положении, стеснять тебя собою. Игра становится мелка для свечей — не будем их жечь напрасно!

Он задумался, не отвечал ни слова и пошел исполнять маленькие поручения, которые я просила его сделать для отъезда. Я тоже стала сбираться. Когда вечером мы сошлись, он сказал мне:

— Я долго думал о твоих словах. Мне грустно, но я должен сознаться — ты справедлива. Ты честная женщина, — прибавил он и пожал мне руку.

Мы проговорили остаток дня, как добрые старые друзья. Поезд отходил вечером. Он проводил меня на железную дорогу, и его последние слова были: «Если мы встретимся когда-нибудь, вы во мне увидите почтительного, но далекого знакомого. Но верьте, что всегда вы будете дороги мне и глубоко мое уважение к вам». И мы расстались.

Несмотря на твои добрые слова перед отъездом, я решилась остановиться в Любановке. Я не сомневалась в тебе, но мне совестно было, я не считала себя стоящею, мне казалось наглостью приехать в твой дом. Но, проезжая в виду его, я подумала: «Теперь все спят» — и не устояла против искушения обнять сына...

Остальное ты знаешь».

Тут письмо было подчеркнуто, и после него оставался большой пробел. Остальное было написано на отдельной странице.

12

Соковлин остановился и задумался. Воображение ярко и отрывисто оживило ему прочитанное — может быть, в небывалых сценах. Говорят, когда тонешь и погружаешься головой в воду, вся прошедшая жизнь, все длинные годы, как молния, пролетят перед глазами. Соковлин чувствовал нечто подобное: перед ним пронеслась жизнь Наташи с Комлевым и раскаленным углем прошло по сердцу это воспоминание. Он вырвался от него, провел рукой по лицу, точно стряхивая страшные грезы, и начал читать остальное:

«Я кончила свою исповедь. Я ее должна была сделать и, верь мне, сделала искренне, каково бы ни было то чувство, которое она возбудит в тебе. Теперь позволь мне поговорить о настоящем.

Если бы я отдала его на твой произвол, я знаю тебя, ты бы все простил — да ты уже и простил меня — и остался бы, как теперь, моим добрым старым другом. Когда ты принял меня в свой дом и я увидала все, что любила и что составляло мое счастье, у меня закружилась голова от блаженства. Это было чувство, похожее на то, если бы мне сказали, что все прошлое было только кошмаром. Признаюсь тебе, первые дни я и думала, что снова я вышла на прямую, счастливую, открытую дорогу и мне остается только, стыдливо склонив голову, хоть издали идти за твоей доброй и великодушной рукой. Но, когда я осмотрелась и одумалась, когда, принимаясь за свою исповедь, я проследила свое прошлое, я убедилась, что с иных поворотов нет возврата и прошлое не исчезает бесследно, как кошмар...

Да, мой друг! Я не могла, не должна была молчать, но, рассказав тебе мою жизнь, я положила между нами вечную преграду. Молчанье дает возможность предполагать более, но оно дает иногда и смутную надежду, дает неуверенность. Ты знаешь и убежден был в моей связи, но я должна была показать тебе ее. И я открыла тебе ту завесу своей жизни, за которую нельзя безнаказанно пускать третьего, тем более... простить можно все, но забыть нельзя!

Вот почему, мой добрый друг, я мучила тебя молчанием. Прости меня, но у меня долго недоставало сил оттолкнуть мою последнюю доску, мне так отрадно было отдохнуть на ней!

Я не могу оставаться в твоем доме, оставаться с тобой. Я не считаю позором мою прошлую страсть, это было несчастье, но то, что я сказала и чего не могла и не смела договорить, теперь, именно теперь разделяет нас. Пойми меня. Тебе будет слишком тяжело и мне слишком стыдно смотреть друг на друга. Позволь мне поселиться в Любановке и только изредка приезжать краснеть — перед тобой и сыном. Время, говорят, все залечивает. Дай же мне там состариться, дай прийти поре, когда иначе и тише будет биться мое сердце, биться тем чувством, в котором нет измены. Уважь же мою последнюю убедительную просьбу и прости, прости, мой бесценный, мой навеки потерянный милый!»

Соковлин дочитал письмо, остановился на мгновенье в недоумении, и вдруг какая-то догадка, как молния, озарила его лицо. Он скомкал письмо в руке и бросился к Наташе.

Она сидела в спальной, облокотясь на стол и закрыв руками лицо. Только и были видны ее белый капот и черные волнисто упадавшие на руки пряди волос. Когда она расслышала быстрые шаги Соковлина, она подняла бледное лицо и бесстрастно ждала мужа.

— Наташа! Да ты любишь еще меня? — едва войдя, воскликнул Соковлин взволнованным голосом.

— И к несчастью — не страстью, которая может пройти, — сказала она с холодным отчаянием, глядя на мужа. — Разве ты не понимаешь, что теперь эта любовь именно и разделяет навек нас!

Вместо ответа Соковлин задумался и тихо опустил голову.

— Ты права, — грустно сказал он наконец. — Все носит в себе самом и награду, и наказанье. Все условное можно простить и забыть, но чувство не прощает и не забывает... Что ж, впрочем, — сказал он, приподняв голову и смело взглянув на жену, — буря прошла — зачем отчаиваться над обломками? Мы честно вели себя, и нам не в чем упрекать друг друга. Понесем же до конца, не отступая, все, что жизнь еще оставила нам. И неужели у судьбы и времени не будет для нас еще светлых и тихих минут!

Он с тихим чувством и доверчивостью протянул руки Наташе, и она, взглянув в честное, открытое лицо мужа, с краской стыда упала к нему на грудь... И, рыдая, встретили они первые минуты до жгучей боли стыдом и воспоминаниями отравленного счастья.

ГОРЫ

РАССКАЗ

Года полтора назад я очень мирно процветал в добром губернском городе [1], который не называю, чтобы не раздражать провинциальную обидчивость. Раз часу во втором утра я сидел еще за письменным столом и шел по пути к бессмертию, как говорит один мой знакомый композитор, когда сочиняет польки, — попросту сказать, пил кофе и на полях белого листа рисовал все, что умею рисовать: греческие носы в профиль. В это время ко мне вошел Андрей Иванович Локтев, мой хороший приятель и сосед по оренбургскому имению. Чтобы познакомить читателя с его личностью, я пока скажу только, что он был в темненьком пиджаке, шляпе и каком-то желто-буром пальто, которого он не снял ради бесцеремонного знакомства и кратковременного посещения.

— Здравствуйте, — сказал он, протягивая мне руку. — Что вы делаете?

К чести моего приятеля и к моему особенному удовольствию, я должен заметить, что он очень слабо пожимал руку всем вообще и совершенно независимо от глубины своего расположения.

— Подражаю, — отвечал я, поворачиваясь к нему с креслом.

— Кому?

— Да еще не знаю.

— Объясните, пожалуйста.

— Вот, видите ли, — сказал я, — когда я предал тиснению свою первую повесть, нашли, что я подражаю Лермонтову, после второй решили, что подражаю Гоголю, теперь, может быть, найдут, что подражаю Бальзаку или Диккенсу [2]. На свете столько было писано, что вовсе не хитро найти сходство. Как же мне знать, кому я подражаю?

— Ну, я очень рад, — сказал Локтев, — что вы именно

в подражательном расположении духа. Не хотите ли мне подражать сегодня?

— В волокитстве, что ли?

— Нет, на это у всякого своя манера. Я зашел за вами, чтобы вытащить вас гулять. Погода славная, а вы так ленивы, что один никогда не соберетесь.

— Совершенно справедливо, — сказал я. — Пойдемте.

Приятелю моему подали кофе, и, пока он выкурил папироску и допил стакан, я оделся, и мы вышли.

Надобно вам сказать, что в группе моих приятелей, из которых иных люблю за славное сердце, других за умную голову, третьих за то и другое вместе (поверьте, у меня и такие есть), Локтева я любил особенно за то, что он был совершенно порядочный человек. Чтоб меня не упрекнули в дендизме, хотя, между нами будь сказано, порядочный тон ничего не портит, я должен прибавить, что Локтева я знал недавно и потому не успел еще полюбить его за другие качества. Но для поверхностного знакомства, признаюсь, очень люблю подобных людей.

Локтеву было лет под тридцать. Он был среднего роста, довольно полон, крепко и хорошо сложен. Лицо у него было... хорошее лицо, правильное, приятное, спокойное и без особенной подвижности, легко и свободно принимающее оттенки насмешки, веселости и даже глубокой мысли. Говорил мой приятель очень просто, но игриво, умно, без притязаний на ум, и вообще разговор его имел тот гибкий и легкий склад, который делает беседу чрезвычайно текучею и который, должно признаться, к несчастью, довольно редок между нашей молодежью. Манеры Локтева были, если можно так выразиться, прочно-ловкие, то есть ловкие без молодечества, спокойные без важности — манеры, которые на всю жизнь хороши. Одевался мой приятель всегда отлично, просто и с большим вкусом. Он очень хорошо понял, что мода есть уменье одеваться хорошо, не бегая за каждой выдумкой и не подчиняясь чужому выбору. Резких вещей в туалете он никогда не допускал. Он говорил, что для этого надо быть Браммелем, этим Наполеоном моды [3], а что для обыкновенных смертных подобный риск опасен: он граничит с смешным.

Повторяю, я очень любил встречи с Локтевым. О глубокомысленных вещах и так называемых **вопросах** говорить нам не случалось, да, признаюсь, я и небольшой охотник рассуждать о них с светскими приятелями; но ничего не может быть приятнее — в ленивую и свободную минуту сойтись и поболтать с подобным человеком у себя или в обществе: в это время чувствуешь себя как-то осо-

бенно спокойно, знаешь, что не услышишь какой-нибудь шероховатой выходки или аляповатого остроумия, что не придется краснеть за чужую неловкость или выпутывать ненаходчивую хозяйку из какого-нибудь двусмысленного намека. В обществе для меня это громадное условие.

Я думаю, вам случалось самим нести тяжелые вериги дружбы, когда вы вдвоем с приятелем входите в полузнакомую гостиную. Если приятель не соперник ваш, если вы не покраснеете от удовольствия при каждой его глупости, если вы сами наговорили о нем кучу похвал и вас просили представить его в дом, — о, как трепещет ваше сердце при каждом его слове, при каждом движении! Тут вы забываете о себе и живете своим приятелем, в нем все ваше самолюбие: говорит ли он любезность — ваши уста раздвигаются, и на них ложится сладкая улыбка; силится ли он сказать что-нибудь остроумное — вы следите за его фразой с трепетом матери, присутствующей при родах дочери, предвидите сквозь туман мысли зерно остроты, ждете мгновения ввернуть слово помощи, и когда совершились благополучно эти трудные роды остроты, как кровь отливает от вашего сердца, как вы чувствуете себя легко и с каким удовольствием, зло улыбаясь, посматриваете на хозяйку, будто желая сказать: «Каков мой приятель?» И таким образом идет беседа, и вы, забывая о себе, с тайным трепетом поглядываете на приятеля и уж торопите окончание визита, а ваш приятель, самодовольно погрузясь в мягкое кресло и получив, благодаря вашим ежеминутным усилиям, высокое понятие о своем светском уме и любезности, и не думает уехать. Вы начинаете сердиться, терять терпение, проклинать минуту, в которую вам вздумалось похвалиться приятелем, а он все сидит и, уверенный в успехе, еще пуще силится спорить, злословить и говорить любезности! Но вот вы встали с места, вы откланиваетесь, приятель ваш волей-неволей делает то же. Вы уносите отрадное убеждение, что труд совершен, визит кончен благополучно, приятель ваш оказался умнейшим и ловчайшим человеком. Вы, склонясь головой пред хорошенькой хозяйкой, приятно улыбаетесь и в это же время очень ловко скользите вбок и оборачиваетесь к благодатной двери; но вдруг — о, ужас! — приятель ваш отпустил на прощанье какую-то любезность, какую-то фразу из тех тяжелых, старых, аляповатых фраз, которые сразу в состоянии убить человека в общественном мнении! И вы уже в дверях, и вы не в состоянии поправить его, и нет возможности поднять вашего провалившегося приятеля. Весь труд потерян, вы

убиты, убиты языком вашего приятеля, убиты невинно... и видите одно только спасение в бегстве! Скомкав шляпу, разорвав перчатки, вы спускаетесь по лестнице; приятель догоняет вас и с особенной развязностью, с самоуверенностью победителя поправляет галстук, приятно улыбается и покровительствующим тоном говорит вам: «Спасибо, mon cher, что ты меня представил! Право, госпожа Н. очень милая дама!» А если ваш приятель застенчив, робок и неловок, как стараетесь вы всякому его слову придать лоск остроумия, как усиленно наводите разговор на его знакомую колею! У вашего приятеля широкие нелепые перчатки, он одет без вкуса — вы намекаете, что он оригинал; он задевает за стул — вы подсмеиваетесь над его близорукостью; он говорит «да» да «нет» или молчит — вы его просите оставить свое глубокомыслие... О, есть ужасные пытки, налагаемые на нас узами приятельства!

Все это я говорю для того, чтоб сказать, как приятно иметь приятелем совершенно порядочного человека. С какой уверенностью входите вы с ним в общество! Вы спокойны за него, вы имеете полную свободу думать только о собственной особе и выказывать во всем блеске свои разнообразные достоинства. Кроме вашего ума и ловкости, на вас отражаются ум и ловкость вашего приятеля, разговор бежит весело, игриво, непринужденно. Захочет ли приятель подшутить над вами, он не заденет, а только приятно пощекочет ваше самолюбие. Время течет незаметно, хозяйка весела и довольна, и вы веселы и довольны; вам кажется, что шляпа ваша, которую вы в жару разговора стиснули под локтем, так приятно сморщилась, как будто хочет улыбнуться, как будто и она весела и довольна. Очень, очень приятно быть приятелем порядочного человека! Теперь вам понятно, почему я любил Локтева.

Итак, мы вышли гулять с моим приятелем. Мне совестно сказать, что было прекрасное утро, потому что в повестях вообще и в русских особенно царствует всегда такое благорастворение воздуха, что, читая их, решительно не понимаешь назначения ваточных шинелей и непроницаемых пальто. Однако ж из уважения к истине должен сказать, что утро в самом деле было очень хорошее, что, впрочем, нисколько не помешало мне закутаться в шинель с теплым воротником, потому что дело было осенью.

Город, который я не называю, имел очень хорошие бульвары по набережной над одной из лучших наших рек. Жители этого известного мне города, к которым принадлежал и я, имеют привычку восхищаться этими буль-

варами и набережной и всех приезжих спрашивают: «А были ли вы на нашей набережной?» В то же самое время эти же самые жители, из которых я не исключаю и себя, очень мало гуляют по своей набережной и обыкновенно восхищаются ею, прыгая по изломанной мостовой Дворянской улицы, которую я называю смело, потому что во всех известных мне городах есть Дворянские улицы.

В виде исключения мы однако ж шли по бульвару к набережной. Говорить нам не хотелось, и мы очень весело молчали. Желтые опавшие листья хрустели у нас под ногами. Солнце светило сквозь какую-то мглу, и в воздухе была свежая прохлада, советовавшая всякому порядочному человеку запасаться платьем из тех мохнатых материй, которые очень обязательно придумывают для нас англичане. Река была тоща водами и пустынна, в одном только месте тяжело нагруженный паром тащился через нее. Цвет воды был какой-то мутно-свинцовый, так что когда взглянешь на него, то становится холоднее и хочется покрепче завернуться в шинель. За рекой несколько деревушек стояли уныло и резко отделялись от обнаженных и желтых полей.

Мне едва не сделалось грустно, но, к счастью, я вспомнил, что гулял с приятелем — порядочным человеком. Есть ли возможность грустить в обществе подобного человека, хотя бы вы были назначены природой в наместники самому Байрону? Я думаю, решительно невозможно. И вот еще выгоды иметь приятелем порядочного человека! Я, например, только что хотел прилично вздохнуть и разделить с ним грустные впечатления от осеннего вида, как вдруг все мои идеи повернулись, и вместо влияния природы на всякую впечатлительную душу мне, не знаю отчего, сейчас представился вопрос: соответствует ли времени года жилет моего приятеля, хотя мой военный сюртук давал мне полное право не заботиться не только о качествах, но и о существовании жилетов. Я нашел, что жилет моего приятеля, зелено-желтовато-красноватый и мягкий наподобие болотного мха, был как нельзя более приличен времени года и состоянию температуры. Я, грешный человек, невольно подумал, как должно быть приятно носить подобные жилеты и, придумывая какое-нибудь описание природы, водить рукой по его мягкой поверхности. Я даже убедился, что некоторые повествователи, так хорошо изображающие прелести сельской природы, непременно носят подобные жилеты и, не в состоянии более владеть собою, воскликнул:

— Какой славный у вас жилет!

— Это старенький, — отвечал приятель, взглянув себе на грудь и, вероятно, забыв — о, неблагодарный! — что он носит на ней. — А вот мне на днях прислал портной, — продолжал он, — из материи нынешнего привоза, какой-то бусый и мохнатый, точно мышиная шкурка.

— Счастливец! — сказал я, вздохнув. — Вы можете носить жилеты наподобие мышиной шкурки!

— А я так вам завидую, — отвечал Локтев. — Ваши сюртуки так плотно закрывают грудь, так просты и удобны, что нечего заботиться о жилетах.

Тут только мне пришло на ум, что действительно Локтев, может быть, справедлив, и я по этому случаю совершенно здраво заключил, что человек никогда не доволен тем, чем обладает.

В подобных приятных и поучительных разговорах мы довольно долго проходили. Набережная была совершенно пуста. Появившись на ней, как исключение, мы, говоря словами Марлинского, готовы уже были исчезнуть, как невозможность, как вдруг в противоположном конце бульвара, между двух голых берез, показалась женская фигура. Мы шли ей навстречу, и чрез несколько времени приятель мой, обладавший хорошим зрением без помощи очков или лорнета, сказал:

— Это мадам К.

Действительно, это была она.

Мадам, или, пожалуй, Катерина Петровна К. — очень миленькая дама, лет двадцати трех. Я ее знал довольно давно и довольно коротко. Даже, сказать правду, одно время я за ней немножко волочился, но, к несчастью, без всякого успеха. Она мне сказала, что ей не нравится моя положительность, я сказал, что идеальнее быть не в состоянии, и мы расстались очень мирно. У Катерины Петровны был муж, очень хороший человек, который поутру сидел у должности, после обеда спал, а вечером играл в клубе. Зато он доставлял жене удовольствие почти ежедневно с ней вместе обедать и даже пить чай: вы видите, что он еще был любезнее многих мужей.

Хроника нашего города, который я не обозначаю даже звездочками, говорила, что за Катериной Петровной ухаживал в последнее время мой приятель Локтев, но я ей не верю, как и всем подобным хроникам. Катерина Петровна была довольно высокого роста, худенькая, очень стройная и очень миленькая. Она шла к нам навстречу довольно тихо, немного перегибаясь с боку на бок, как и все худощавые, плечи ее были сжаты, и она плотно завернулась в темно-малиновую бархатную опушенную мехом манти-

лью. Когда она приблизилась, я заметил, что холод нежно зарумянил ее обыкновенно бледное и белое личико, и даже кончик ее носика немного покраснел, что, уверяю вас, нисколько ее не портило.

— Вы, никак, гуляете? — спросила она, кивнув нам головою и вопросительно посмотрев на нас.

— И довольно давно, — отвечал Локтев.

— А вы как решились? — спросила она меня.

— Имел предчувствие, что встречу вас, — отвечал я, кутаясь в теплый воротник от ветра, который подул с реки.

— Не простудитесь, — сказала она.

— Ваше присутствие согревает меня, — отвечал я, постукивая ногами.

— А если б мне вздумалось простоять здесь с четверть часа? — сказала она, подсмеиваясь.

— Я бы ушел, — отвечал я.

— Хорошо, что откровенны. Однако в самом деле холодно.

И она пошла далее. Мы пошли с нею. Разговор шел с нами. Лакей Катерины Петровны шел позади всех и молча наслаждался нашею беседой.

С Локтевым Катерина Петровна говорила с той осторожностью, с которой обыкновенно говорят дамы с своим поклонником, когда хотят держать его на почтительном расстоянии. Со мной — увы! — она обращалась так бесцеремонно, как будто я был какое-то создание вымысла, которого нет возможности считать опасным. Я объяснял это нашим старым знакомством и, за неимением лучшего, оставался доволен своею судьбою. Советую всем читателям в подобном положении следовать моему примеру.

Таким образом мы дошли до конца бульвара. Госпоже К. надо было идти направо, нам прямо. Мы раскланялись.

— Послушайте, господа, — сказала Катерина Петровна, — приходите ко мне пить чай.

Локтев сказал, что будет; я, сообразив, что, может быть, третий будет тут лишним, поклонился молча. Но Катерина Петровна будто поняла меня.

— А вы придете? — спросила она.

— Постараюсь, — отвечал я.

— Что это значит? — спросила она.

Это значило, что я располагал провести вечер в клубе, но как от дамских приглашений по этой причине не отказываются, то я все сваливал на приготовление к почте.

— Пустяки! — сказала она. — Я знаю, что значит почтовый день. Вы забыли, что это всегдашняя отговорка

моего мужа. Мсье Локтев, я вам поручаю приехать не иначе, как с ним.

Она кивнула на меня головой, сделала какую-то прехорошенькую мину и ушла.

Женщины имеют дар иногда говорить замысловатее древних оракулов. Ответу Катерины Петровны можно было придать десять различных значений и все-таки не угадать настоящего, однако ж я остерегся истолковать его, боясь добиться не совсем выгодного для себя смысла.

Вечером, часу в девятом, я и Локтев сидели уже в маленькой гостиной Катерины Петровны.

Имеет провинция свои особые права, скажу я, подражая Пушкину[4]. Есть и в ней чинные дома, в которых соблюдается этикет строже, нежели в лучших домах Петербурга; но в них ездят редко и неохотно. Дом Катерины Петровны не принадлежал к их числу, в нем этикет не стеснял небольшого кружка хороших приятелей, а свобода обращенья нисколько не мешала порядочному тону. Впрочем, у миленькой и умной хозяйки иначе и быть не могло. Поэтому никто не удивится, если я скажу, что мы у Катерины Петровны сидели в сюртуках и курили папиросы. Я даже питал некоторую надежду увидеть на Локтеве новый жилет из материи наподобие мышиной шкурки, но должен признаться, что эта надежда не оправдалась: на моем приятеле был просто черный жилет.

Маленькая гостиная в доме Катерины Петровны — очень хорошенькая комнатка. Обои ее выбраны со вкусом, мебель очень покойна, в углу камин. Мы только что напились чаю. Хозяйка сидела на диване. Перед ней, на столе, горела лампа под цветным бумажным колпаком. По другую сторону стола сидел Локтев. А я, выбрав самое покойное кресло, уселся в стороне, курил и усердно молчал.

— Что вы забились в угол? — сказала мне хозяйка. — Придвигайтесь да скажите что-нибудь.

— На дворе выяснило и стало очень холодно, — сказал я, придвигаясь с креслом.

— Хотите, я велю затопить камин?

— Я всегда находил, что вы проницательны, а теперь не сомневаюсь в этом, — отвечал я.

Катерина Петровна позвонила, и через пять минут светлый огонек забегал в камине. Я отодвинулся от стола и подсел к нему.

— Точь-в-точь сцена из какого-нибудь романа, — сказал Локтев. — Темная осенняя ночь, полусвет лампы, огонь в камине...

— Хорошенькая хозяйка, — сказал я.

— И ваша худая и бледная фигура перед камином, — перебила она. — Знаете ли, что вы этак очень эффектны? Точно какой-нибудь страшный незнакомец...

Я поклонился.

— Который рассказывает такие вещи, что от них волосы становятся дыбом...

— К счастью, я, кажется, молчу, — сказал я.

— Это не отговорка, — возразила хозяйка. — Из любезности вы должны довершить сходство и рассказать что-нибудь.

— Вы знаете, что я не умею рассказывать. Да хоть бы и умел, что прикажете рассказывать? Страшное происшествие? Да разве бывают на свете страшные происшествия? Разве бывают, наконец, какие-нибудь происшествия? Ваша тетушка Арина Ивановна надела вчера чепец с розами и открытое платье — оно, конечно, страшно да ведь это не происшествие.

— Я знаю, что вы не любите тетушки Арины Ивановны, — сказала мадам К., — потому-то и она вас крайне не жалует. Но вы правы: действительно, в жизни все несносно последовательно. И после этого еще говорят, что в наш век все скучают! Да что ж прикажете делать, если не скучать?

Затем Катерина Петровна с досадой отодвинулась в угол дивана и замолчала. Бедная Катерина Петровна!

— Вы ошибаетесь, — сказал Локтев. — И тот, кто первый заметил, что жизнь чаще походит на роман, нежели роман на жизнь, сказал правду. С кем из нас не случалось происшествий, которые стоит только описать поживее, чтоб вы первые замечтались над ними? Вы вышли замуж по любви—какая хорошенькая идиллия! Вы вышли замуж без любви — какая грустная повесть! Если вам рассказать вашу жизнь, вы не узнаете себя и вдоволь над ней задумаетесь. Дело в том только, что в рассказе сжато группируются все самые эффектные места и становятся к слушателю самыми резкими сторонами. Кроме того, со всяким, хоть редко, но бывают происшествия, которые не нуждаются в прикрасах, чтоб быть занимательными.

— И с вами бывали? — спросила Катерина Петровна, посмотрев на Локтева испытующим взглядом.

— Бывали и со мной, как, вероятно, и с вами, и с ним (он указал на меня).

— Со мной ничего не случалось, — сказала Катерина Петровна с видом совершенной апатии.

— Извините, если я вам не поверю, — сказал Локтев. — Вы вышли замуж — вот уж громадное происшествие в жизни женщины.

— В самом деле, Катерина Петровна, расскажите, как вы вышли замуж, — сказал я, подметив ее полугрустную полусмеющуюся улыбку.

— Какой вздор! — сказала она смеясь. — Вышла очень просто. Петр Иваныч за меня посватался, он мне понравился — я и вышла. Что ж тут рассказывать?

— А чувство? А борьба? А нерешимость? А старые идеалы? Да вы ничего не рассказываете! — сказал я.

— Этого ничего не было, а если б и было, так разве это рассказывается? — заметила Катерина Петровна с такой улыбкой, которая сама по себе могла бы составлять происшествие, если б всякая хорошенькая женщина не делала этого происшествия по желанию.

— Жалко, — сказал я с непритворным сожалением. — Рассказ хорошенькой женщины о замужестве — какая глубокая, какая чудная поэма! И как мы хорошо расположены для рассказов! Покойная мебель, папиросы (тут я вынул папиросу и попотчевал мадам К.), тлеющий огонек и завывание осеннего... Виноват! Ветру нет. Но и без него мы расположены как нельзя лучше.

— Что ж, за чем дело стало? Мсье Локтев! Вы сказали, что с вами было какое-то интересное происшествие, извольте рассказывать.

— Я хотел только сказать, что оно бывает со всяким. Вы в этом сознались нехотя. Вы тоже не согласитесь со мной? — спросил он меня.

— Как же, я совершенно соглашаюсь, что бывают! — сказал я, вспомнив, что в противном случае вся наша братия, рассказчики, были бы первостатейными лгунами.

— Конечно, и с вами бывали? — сказал Локтев будто без внимания.

— Гм. Да. И со мной бывали, — отвечал я необдуманно.

— Ну так в таком случае вам и рассказывать их, потому что вы сами вызвали на это.

Я видел, что, говоря аллегорически, попался в собственные сети, но делать было нечего. Катерина Петровна уселась с ногами на кушетку, повернувшись боком ко мне и лицом к камину. Локтев ближе придвинулся к нам. Я протянул ноги во всю длину, сложил на груди руки, как следует доброму рассказчику, и начал:

— Самое замечательное происшествие, которое имело сильное влияние на всю мою жизнь, случилось со мною

так давно, что я и не помню. Тем не менее я вам расскажу его. Это было в О**, в тысячу восемьсот двадцать... котором именно — не могу сказать, потому что имею на это особенные причины. Раз, в темную сентябрьскую ночь, перед самым рассветом, когда почти все спало в городе, я родился! Замечательнее этого события, могу вас уверить, со мной не случалось.

— Это для нас совсем не интересно, — сказала хозяйка с самым убийственным равнодушием, доставив предварительно мне величайшее удовольствие недовольной улыбкой. — Вы должны рассказать что-нибудь выходящее из круга ежедневных вещей.

— Разве вы полагаете, что люди, как я, родятся каждый день? — сказал я с чувством оскорбленного самолюбия.

Катерина Петровна ответила мне усмешкой, которая хотя и не была лишена некоторого рода прелести, но почему-то мне не совсем понравилась. Локтев выразился гораздо определеннее.

— Вы должны рассказать что-нибудь странное, страшное, — сказал он, —вы сознались, что с вами бывали подобные случаи.

Я потер лоб, нарочно призадумался и сказал:

— Слушайте! Довольно давно, в один из так называемых голодных годов, в котором, впрочем, никто не умирал с голода, я возвращался из отпуска по нижегородскому тракту. Шоссе не было тогда кончено, и дорога шла по убийственной деревянной мостовой. Вот однажды на станции, вечером, в то время, когда я пил чай, смотритель в виде утешения сообщил мне, что на дороге, где приходится проезжáть часть муромского леса, есть разбойники...

— Позвольте прервать вас и усомниться, — сказал Локтев. — В наше время я не верю в разбойников.

Признаюсь, это замечание привело меня немного в замешательство.

— Как хотите, — сказал я равнодушно. — Но как же вы назовете людей, из которых один не более как за сутки до моего приезда подсел сзади брички одного почтенного господина ,ехавшего с своей супругой, и начал вырезывать шкатулку из-под сиденья с такой дерзостью, что задел ножом за... платье супруги?

— Винюсь, — сказал Локтев. — Это были разбойники.

Я продолжал:

— Пожалуй, если хотите, станционный смотритель выражался очень легко, говоря, что по дороге **шалят,** но эти

слова, надеюсь, должно понимать в переносном смысле. Как бы то ни было, но мне было тогда восемнадцать лет, рассказ смотрителя не произвел на меня большого впечатления, и, к стыду моему, я должен сознаться, что я даже улыбнулся над происшествием с шкатулкой. В это время, на беду мою, вошел новый проезжавший, маленький, толстенький человек с большими усами. Узнав, в чем дело, он велел какому-то Гаврюшке вынуть дорожные пистолеты и саблю. «А у вас есть с собой какое-нибудь оружие?» — спросил он меня, очень приятно улыбаясь. Я отвечал, что со мной всегда лежит моя шпага в чехле и перочинный нож в несессере. Он опять улыбнулся, распространился о выгодах огнестрельного оружия, защищающих личность на пятьдесят шагов в окружности, и предложил мне один из пистолетов. Я отказался; но обязательный человек, заметив мое сопротивление, пристал, как говорится, с ножом к горлу, дал мне ветхий пистолет, прибавив, что он не заряжен, и обязал меня окончательно, снабдив патроном. Затем он уехал, сказав мне, что намерен ночевать на следующей станции, где я возвращу ему оружие; а у меня что-то чинили в тарантасе, и я должен был сидеть еще с час. От нечего делать я занялся приготовлением к защите. Пистолет оказался дряннейшим, я продул его — дух шел. Курок был с кремнем, но кремень из него выпадал. Я хотел ввернуть новый и обратился к смотрителю. «Позвольте, ваше благородие, я сам это сделаю, я служил в военной службе», — сказал он. Смотритель уселся на лавке, я против него. Когда новый кремень был ввинчен, он подсыпал пороху на полку, уставил пистолет в меня и спустил курок. Опыт был удачен, порох вспыхнул.

— Послушайте, я в этом ничего не понимаю, — сказала мадам К., — пожалуйста, нельзя ли поскорее к разбойникам?

— Я еще до них не доехал, — отвечал я. — Позвольте заметить, Катерина Петровна, что в начале рассказа надо подготовить завязку и раздражить любопытство.

— Раздражайте! — сказала мадам К. с покорностью послушной жертвы.

— Итак, опыт был удачен, — продолжал я, — огня в кремне было много, и порох вспыхнул. «Проверти-ка затравку да попробуй еще раз», — сказал я. Смотритель исполнил мое желание, подсыпал пороху и спустил курок. Раздался выстрел, и меня осыпало дробью...

— Вас убило! — наивно воскликнула хозяйка.

— Никак нет-с, — отвечал я. — Если б это случилось, я не имел бы удовольствия беседовать с вами сегодня. За-

ряд пролетел на вершок от груди, и часть дроби отскочила в меня от стены. Это иногда бывает, когда заряд не силен и лес стены сух и крепок.

— Не подражаете ли вы опять? — сказал, улыбаясь, Локтев. — Это что-то вроде лермонтовского фаталиста [5].

— Неблагодарный! — воскликнул я. — Я подтверждаю ваши слова, рассказывая истинное происшествие, похожее на печатное, и вы же меня подозреваете! Впрочем, если вы поедете через деревню П ** и если почтовая станция не переведена в другой дом, то в избе, у окна, вы можете найти следы выстрела.

— А разбойники? — спросила хозяйка.

— Да разбойников, к несчастью, я не видал. Мы благополучно проскакали сломя голову часть Муромского леса, и только выехав из него, когда я велел остановиться и хотел пыжом [6] раскурить сигару, оказалось, что кремня в пистолете не было, а ямщик долго не мог остановить лошадей, потому что коренная развозжалась [7] перед въездом в лес, а остановиться в таком страшном месте он не посмел, предпочитая скакать без возжей.

— А я на разбойников-то и надеялась, — наивно сказала Катерина Петровна, и в голосе ее было слышно непритворное сожаление.

— Что же делать, Катерина Петровна, — отвечал я с искренней грустью. — Я вам рассказал, как я родился и как меня едва не убили. Интереснее этого, ей-ей, со мною ничего не случалось.

Сердце у Катерины Петровны было предоброе. Ее, кажется, тронуло мое уныние. Она бросила на меня взгляд, от которого вдруг я почувствовал себя удивительно покойно, и, обратясь к моему приятелю, сказала:

— Теперь ваша очередь.

Лицо Локтева приняло серьезное и даже немного грустное выражение.

— Происшествие, которое я должен вам рассказать, — начал он, — к несчастью, не так невинно. Оно составляет одно из самых тяжелых моих воспоминаний, и я тревожу его неохотно. Если б вы позволили мне не говорить о нем, я бы вам очень был благодарен.

— Нет! Рассказывайте! Вы должны непременно рассказывать! — сказала хозяйка, приютившись плотнее в угол дивана. — Иначе я не верю в необыкновенные происшествия.

Тут я бы мог снова обидеться замечаниями Катерины Петровны. Но впечатление ее взгляда еще на меня действовало, и, заинтересованный вступлением Локтева, я по-

спешил покойнее усесться и так придвинулся к огню, что чуть не опалил кончики усов: я люблю слушать с удобством.

Мой приятель обратился к Катерине Петровне и начал.

«Прошедшее лето я жил в оренбургской деревне, по которой мы с ним соседи (он указал на меня). Оренбургская губерния — чудный край. Это именно край, а не губерния, край и по пространству, и по своей совершенно особенной физиономии. А какое разнообразие и в климате, и в жителях! В Гурьеве зреет виноград, в Раиме водятся тигры и барсы, на границе вятской губернии с трудом поспевает одна репа [8]. И на этом пространстве живут киргизы, калмыки, башкиры, мордва, чуваши, татары, черемисы [9], мещеряки [10], тептяри [11] — всех и не перечтешь. Все это говорю я вам, чтобы дать понятие о разнообразии, живописности края, в котором Европа сошлась с Азией, пароход встречается с верблюдом и танцевальная зала дворянского собрания, по проекту Тона [12], в двадцати верстах от кочевой кибитки.

Итак, я жил в оренбургской деревне, ел шесть раз в день, пил кумыс с большим удовольствием, нежели руалевское вино, и охотился. Надобно вам сказать, что имение мое стоит в Башкирии — в лесной Башкирии. Кругом лес, степи и озера, совершенно ровная местность, на которой изредка торчат шиханы — известковые почти голые уединенные горы. Но на юго-восток в ясный день рисуется темно-синяя отдаленная черта: это горы, горная, самая глухая и дикая часть Башкирии.

Раз, соскучившись охотой за мелкой и крупной дичью, я вздумал поохотиться на медведей и оленей. К тому же эти неизвестные мне горы, в которые еще сыздетства уносила меня ребяческая фантазия, давно интересовали меня. Я велел заложить добрую тройку своих доморощенных полубашкиров в тарантас, или, как там называют, карандас — просто длинные дроги — взял с собой несколько человек охотников, а у меня их половина дворни, и поехал.

Как теперь помню, мы выехали рано утром, белый туман густо стлался кругом, но сквозь него проглядывало светлое небо, и к востоку он отдавал каким-то особенным светом. Это был не мрачный свинцовый туман Петербурга, а скорее освежительный пар, который кругом задернул от нас окрестность. Дорога шла лесом и в гору. Через

час мы взъехали на вершину, и перед нами развернулась чудная картина. Туман начал ложиться. Голые вершины известковых шиханов, местами густой лес, местами деревушки, разбросанные на косогоре, прорывались из него и ярко освещались заревом утреннего солнца, между тем как белой пеленой он стлался и волновался по долинам и, как густой дым, клубился над речками. Такие картины не забываются, за эти картины я так много люблю оренбургский край, в котором природа и сильна, и полна жизни.

— Хорошая погода будет, — заметил мой старый егерь, Софронов, — туман на землю падает.

Затем он принялся высекать огонь, и вскоре запах саксонского табаку с вишневым листом — состав, которым мой Софроныч гордился, — приятно защекотал обоняние на свежем утреннем воздухе.

Мы ехали долго. Проехали Чувашский Куганак и Церковный Куганак. Потом пошли Арметьевы: Большая Арметь, Средняя Арметь, Малая Арметь. При въезде в деревню тьма собак встречала нас, так что мы своих легавых должны были брать на тарантас, чтобы их не загрызли. Эти встречи всегда возбуждали негодование моих егерей и особенно старика Софронова.

— Ишь собаки! (В этом случае Софронов подразумевал не собственно собак, а башкирцев или татар). Ишь! Самим кусать нечего, а сколько собак держат.

— Это они от воров, — иронически замечал другой егерь, тонко намекая на то, что все башкирцы отъявленные конокрады.

— Поди-ка! Есть у них что украсть. Разве малахай старый, — заметил третий.

Мы все ехали. Горы обрисовывались яснее. Сквозь густой лес, сплошной массой покрывавший их, можно было отличить голые синеватые камни, едва покрытые мохом или резко обнаженные в обрыве. Между тем солнце начинало жечь нестерпимо. Я не взял с собой кумыса в надежде найти его у башкирцев, и мне страшно хотелось пить. Я сообщил об этом Софронову.

— А вот за опушкой деревня должна быть, Янгыскаин, там можно найти кумысу.

— Да есть у тебя там знакомые?

— Как же-с! — ухмыляясь, отвечал за Софронова другой. — У него там приятель есть Мукаська.

— Лет пять назад денег ему, собаке, дал; говорит — пчелами отдам, да вот до сих пор все отдает, — проворчал Софронов.

В самом деле, выехав из лесу, мы чуть не наткнулись на деревушку, которая вдруг словно из-под земли выросла. Егерь, соскочивший отворить ворота, ожидая обычной встречи собак, взял было кнут в руки, но, к удивлению, все было тихо кругом, будто вымерло. Едем далее — ни души. Двери изб и ворота были затворены, некоторые окна прикрыты лубками, у более зажиточных — ставнями.

— Э! Да они уж откочевали! — сказал Софронов. — Рано же поднялись!

— Глядь-ка, и твой-то приятель на дачу переехал, — заметил егерь, кивнув головой на сбоченившуюся избушку.

— Да еще и окна забил, чтобы стекол не украли, — прибавил другой, намекая на бараний пузырь, который в избушке заменял стекла.

Делать нечего, пришлось ждать. Наконец, проехав еще две пустые деревни и перерезав коммерческий тракт, который идет из Белебея через Стерлитамак в Верхнеуральск, мы круто повернули влево, и горы стали прямо перед нами. На подошве их, почти в ущелье, была рассыпана довольно большая деревня. Переехав вброд горную речку, которая неслась по каменистому дну, мы проехали ряды избушек, выстроенных по **планту**, как говорят башкиры, обогнули деревянную мечеть с остроконечным минаретом и остановились у выштукатуренного девятиоконного с мезонином дома: это был дом башкирца.

В глуши, в Башкирии, в бедной деревушке, за сто верст от ближайшего города, который сам похож на деревню, найти подобный дом было бы приятной неожиданностью, если б я не был предупрежден. Махмет Абдрахимыч, как на русский лад называли хозяина, был прежде кантонным начальником, следовательно немудрено понять, каким образом он соорудил себе такой дом; теперь он занимался торговлей. Пользуясь местностью деревни, которая была на рубеже гор, он выменивал горным башкирцам все для них необходимое на звериные шкуры или другие их продукты и брал барыши на том и другом. Махмет Абдрахимыч был нам знаком, и зеленые ворота его дома, несмотря на его отсутствие, сейчас нам отворились.

Все кругом носило смешанный характер европеизма, переделанного на азиатский лад. Дом, как я сказал, был по наружности хоть куда, в девять окон на улицу и семь в переулок, и очень напоминал один знакомый помещичий дом, но рамы и ставни были выкрашены яркозеленой краской, мезонин и крыльцо подпирались вычурными то-

ненькими колоннами. Ширины он был в одну комнату и весь перегорожен на несколько частей, сзади по всей длине шла галерея, также с колоннами, и окна всех комнат выходили с одной стороны на улицу, с другой на эту галерейку.

Внутри дома та же смесь Европы с Азией. Дверь в сени была обита малиновым сафьяном с зелеными сердечками, кружками и каемками, увитыми бронзовыми гвоздиками. В первой, самой большой комнате меня приятно встретил мягкий диван на пружинах и порядочное зеркало в ореховой раме, приобретенные хозяином от какого-то управляющего заводом. На стенах двое часов, до которых азиатцы большие охотники: одни с кукушкой, другие под стеклянным колпаком, оклеенным по краям бумагой, в зеленом, под цвет ставням, футляре. На окне чалма, свитая из доброго десятка аршин белой кисеи, в углу непременный медный умывальник с полотенцем. Но тут, собственно, и кончалось владычество цивилизации. В следующих, гораздо меньших комнатах была уже Азия: широкие нары вокруг стен, устланные коврами или войлоками, с горою перин, подушек, богатые халаты, тюбетейки на гвоздиках, шкаф с маленькими чашечками и прочей чайной посудой и наконец в последней, в углу, большая кадка с кумысом, закрытая от мух крышкой, и на ней деревянный ковш и мешалка. За этой комнатой были сени, а там еще комната с шувалом, то есть азиатским камином, в которую уединились хозяйские жены».

— А много их было? — спросила с скрытым любопытством хозяйка дома, прервав моего приятеля.

— Только две, — отвечал он. — Нынче азиатцы редко пользуются и этой роскошью, у бо́льшей части всего одна. Но мой хозяин был богат и незадолго позволил себе взять молодую жену, заплатив за нее тысячу рублей калыма. Старая занималась у него хозяйством. Молодая...

— И вы ее видели? — спросила опять Катерина Петровна.

— Очень хорошо. У них выходит из обыкновения прятаться или закутываться.

— И хороша она?

— Да, не дурна, но страшно набелена и нарумянена, брови и ресницы насурмлены, ногти выкрашены. Впрочем, когда я уезжал и она вышла на галерейку в шелковом бешмете и бархатной шапке, опушенной бобром, с

золотыми галунами и кисточкой, она была довольно эффектна.

— Дурно же вы заплатили за гостеприимство, — насмешливо заметила Катерина Петровна.

— Напротив, — отвечал Локтев очень серьезно. — Я его строго уважаю, и не она играет роль в моем рассказе.

— Виновата, я вас прервала, — сказала хозяйка.

Локтев продолжал.

«В этот день, сделав переезд верст в пятьдесят, я не располагал охотиться. Повар мой, бывший со мной в качестве егеря, приноравливаясь к местным средствам и обычаям, сделал бишбармак и отличную салму, приправив ее крутом (башкирским сыром). Благодаря летнему зною и от давно томившей меня жажды я выпил огромную чашку кумысу, не приняв в расчет, что он гораздо крепче моего домашнего. Вскоре у меня закружилась голова, я свалился на диван и заснул, как убитый.

Когда я проснулся, был уже час шестой. Жар значительно уменьшился, кругом меня была мертвая тишина, и только мириады мух жужжали по комнате. В сенях Софроныч, стащив с нар несколько огромных подушек, спал на них под тенью лестницы, на лавках крыльца спали другие слуги. Я взял фуражку, легонькое охотничье ружье и незаметно вышел бродить по окрестностям.

Только шаг за ворота — и я был лицом к лицу с природой.

Три горы стояли передо мною: Красная гора, Срединная и Коленопоклонная (я перевожу названья). Две первые названы — одна по цвету камня, другая по положению. Про третью существует предание: какая-то старуха-башкирка по обету взошла на нее на коленях. Я бы не в состоянии был сделать этого. Крайние горы, сходясь, образовали долину, средняя замыкала ее. Эта долина, начинающаяся от Срединной горы ущельями, убегала от гор легким скатом, который, расширяясь, переходил в необозримые волнистые поля и вдалеке сливался с небом.

Из двух ущелий, образованных среднею горою, столкнувшеюся с крайними, шумя и дробясь о камни, падали два ручья. У подошвы они соединялись, принимали в себя десятки ключей, которые сочились из земли и образовывали речку Иганку. Я ничего не видал милее и прихотливее этой реки: то она неслась с шумом и пеной по кремнистому сильно наклонному дну, усеянному валунами, и была мелка и тоща водами, то вдруг затихала в глубо-

ких плесах, потом разветвлялась и обегала зеленые, как изумруд, острова, среди которых, сплошь подернутых сочной травой, одиноко высились несколько осокорей, то опять соединяла воды и неслась плавно в низких берегах, закрытых ветлой, купавшей в ней свои гибкие густые ветви.

Дом моего хазрета (приятеля) Мухаммеда Абдрахимова стоял в конце деревни, на краю горы. Я вышел в сопровождении своего неразлучного спутника, старого Тритона, чудесной маркловской собаки, тотчас за воротами поворотил вправо и, спустясь по крутому скату, очутился в долине.

Сойдя в нее, я невольно остановился и долго осматривался — так жива и разнообразна была картина, раскинувшаяся передо мною. Я колебался, куда идти. Сначала меня едва не подманило дальнее болото, лежащее на самом низком покате долины, которое только привычный глаз мог различить по яркой зелени да пигалицам, носившимся над ним. Потом голые, изрытые впадинами утесы и сумрачное ущелье повлекло меня к себе своей таинственной дикостью, я повернул к нему.

Я шел легко в своих охотничьих сапогах по каменистому берегу, из которого то сочились, то пробивались холодные и чистые, как хрусталь, ключи, и на душе у меня было особенно светло и отрадно. Невольно я начал распевать вполголоса какие-то итальянские арии, вывезенные в ту зиму из Петербурга, и мне было и смешно, и весело, что музыку Беллини и Доницетти, в которой несколько месяцев назад восхищали меня Виардо и Рубини[13] в Большом театре, я, странствующий дилетант, завез в горы Башкирии.

Шел я так, бог весть о чем думая, довольно долго, пока наконец речонка едва не вывела меня из терпения. То она прямо пересечет мне дорогу, и я перехожу через нее или по высунувшимся из воды камням, или по переброшенному с берега на берег дереву, то вдруг очутится справа или слева и заставит меня делать крутые обходы. Наконец голый обрывистый утес загородил мне путь, и я поневоле должен был остановиться.

К тому же я устал порядочно, выбрал выдавшийся, покрытый мхом камень, сбросил фуражку, оперся на ружье и, прислонясь к утесу, очень удобно уселся. Мой верный Тритон улегся у меня в ногах.

Тут я только заметил, что, несмотря на долгий путь, я ушел вовсе недалеко: в нескольких десятках саженей от меня, в полугоре, торчали крайние избушки деревни.

Но зато трудно было найти точку, с которой вид представлялся бы полнее.

Я находился на самом высоком краю долины, где она примыкала к задней горе. Солнце было довольно низко, и почти горизонтальные лучи его начали принимать тот нежно-розовый, золотистый цвет, который имеет свойство так роскошно окрашивать все видимые предметы. Сзади меня высился и навис утес, его неровные обрывы то резко выдавались, ярко освещенные лучами, которые прямо ударялись в него, то убегали вглубь, темные и неопределенные. Влево начиналось ущелье, полные сумерки уже наступили в нем, и сквозь них только пробивалась белая пена ручья, который, вдруг вырываясь на свет, чудно искрился и, как алмаз, переливался огнями. Но в глуби ущелья ничего не было видно, густой туман поднимался белой пеленой и вместе с сумерками закрывал картину.

Влево была опять гора, крутая, сплошь застланная густым, мрачным, вековым лесом, зато прямо передо мной расстилался чудный ландшафт. Почти у моих ног река стояла глубокой плесой, и, несмотря на глубину ее, можно было видеть на дне каждую мелкую гальку. Вдоль по долине мне виден был весь излучистый бег ее, видно было, как она уклончиво обегала острова, то закрывалась тенистыми берегами, то, вырываясь из них, как змея, блестела и извивалась на солнце, пока плотина не загораживала ей дороги и не заставляла ее разлиться широким прудом. Группы диких уток и домашних гусей черными точками скользили по его гладкой, как зеркало, поверхности. Над плотиной темным силуэтом обрисовывалась мельница, и белая пыль над колесами стояла радугой. Далее шло необозримое волнистое поле, все ярко освещенное красноватым светом и испещренное деревушками, и где-то далеко, почти на самом горизонте, отделясь от земли, горел, как огонь, золотой крест заводского храма, тогда как из-за горы доносился до меня протяжный, монотонный голос азанчи [14], призывающий мусульман к вечерней молитве...

Не знаю, случалось ли вам испытать то странное, чудно-приятное и вместе томительное состояние духа, когда вечером, в тихие сумерки, сидишь один-на-один с природой и, ничем не развлекаемый, вполне отдаешься ее созерцанию. Сначала зрение как будто приобретает особенную силу: оно врезывается в самые отдаленные предметы и словно проникает в их недосягаемую глубину. Потом эта же самая сила сообщается вашей мысли: вы чувствуете, что шире и глубже смотрите на вещи, что ближе

к вам стала вся природа, как будто она хочет открыть перед вами свои недосягаемые, заповедные тайны. И бог весть отчего вам становится грустно, так грустно, что сердце заноет... И есть какая-то горькая отрада в этой безвыходной тоске, словно хочется кого-то издалека призвать к себе, хочется кому-то высказаться, с кем-то слиться всей переполненной чудными ощущениями душой...

В таком странном состоянии духа был и я. Никого из особенно близких не оставил я в тех дальних краях, из которых после долгого отсутствия только что возвратился, никого не жаль было мне, ни в кого влюблен не был я,— а между тем мне кого-то хотелось видеть. Бог весть по ком мне было грустно! Глаза мои неподвижно устремились на какую-то дальнюю неопределенную точку, и между тем как я пытался определить, кого бы хотел я в настоящую минуту перенести к себе, от этой самой пытливости встрепенулась целая вереница воспоминаний и быстро проносилась передо мною, и много-много из моего прошлого я пережил снова в эти минуты.

Вдруг мой Тритон повернул голову и тихо заворчал. Я оглянулся и в десяти шагах от себя, на берегу реки, увидел женщину. Это была башкирка и, судя по косам, унизанным монетами, замужняя. На ней был обыкновенный простой костюм башкирок: длинная синяя рубаха и на голове белое покрывало, которого концы спускались до пояса. Через правое плечо у нее перегнулось коромысло с двумя ведрами; она, казалось, только что хотела зачерпнуть воду, но, увидев меня, вдруг остановилась.

По естественному любопытству я стал всматриваться в ее молодое и свежее лицо, и первое, что поразило меня, что, встретив мой взгляд, она не отвернулась и не закрылась. Потом будто что-то знакомое показалось мне в ее чертах, я стал припоминать и вдруг узнал ее.

— Изикэй! — сказал я, невольно вскочив и подходя к ней. — Изикэй!

Я видел, как у нее вспыхнуло лицо. Она быстро прикрыла его белой чадрой, однакож так, что глаза остались не закрыты, и, стыдливо склонясь и смотря на меня, сказала:

— Узнал?

Но тут я должен сделать отступление.

Верстах в двух от нашего имения жила бедная вдова башкирка. Муж ее много помогал моему деду в покупке у башкирцев земли, на которой впоследствии и заселена была деревня. Поэтому, когда он умер, оставя в наследство своей жене дочь и пустую избу, вдова пользовалась

из нашего дома всем для нее необходимым и часто бывала у нас; с ней вместе, держась за полу ее платья, приходила и дочь ее. Мне было тогда лет десять, и я жил в деревне. Маленькая башкирка мне понравилась, я любил играть с ней и плакал, когда она долго не приходила. Вследствие этого Изикэй была всегда чисто одета, и ей велено было каждый день ходить ко мне. Потом меня отвезли в Петербург. Когда я приезжал в следующий раз, мне было лет пятнадцать, Изикэй лет девять, она сначала дичилась меня, но я ее прикормил конфетами, и она снова привыкла ко мне. В последний раз перед встречей, про которую я рассказываю, я ее видел лет за пять. Я тогда служил еще в военной службе и приезжал в отпуск. Изикэй по-прежнему часто ходила к нам в дом, но ей тогда было лет четырнадцать, и она уже закрывала лицо рукавом всякий раз, как я говорил с нею. А как она тогда уже была прехорошенькая и обещала много, то это не мешало нам говорить с ней довольно часто. Потом я уехал и, разумеется, совершенно забыл про нее.

Но, встретив Изикэй так неожиданно, встретив ее в минуту чуткой настроенности, окруженною чудесной обстановкой природы, я ей много обрадовался, так обрадовался, как радуешься только встрече с близкими сердцу. В воображении у меня мгновенно пролетело все мое детство — беспечное, счастливое, вечно окруженное горячими ласками, любовью и заботами. Она мне живо напомнила весь этот маленький домашний мир тетушек, бабушек, нянек, мамок и дядек, которых лица память не рисует мне иначе, как с добродушной улыбкой на устах, с озабоченным и вместе чудно-добрым взглядом, — весь этот дряхлеющий мир, который с такой нежностью и надеждами лелеял мое детство и из которого редкому удалось видеть мою юность.

Изикэй теперь было лет двадцать. Из хорошенького ребенка она сделалась прекрасивой женщиной. Две большие темнорусые косы, унизанные серебряными монетами, были переброшены через плечи на грудь; лицо у нее было, как у всех башкирок, просто и нерезко обрисовано, но в его мягких, приятных чертах было разлито какое-то расположение к неге, к страстности. Я вам сказал уже, что весь ее наряд состоял из белой чадры и длинной синей рубахи, отороченной на груди красной лентой; но самая простота этого наряда много красила ее. Сквозь его совершенно свободную оболочку при каждом движении можно было угадывать весь очерк стана — высокого, крепкого, стройного... Изикэй была очень хороша.

— Изикэй, ты меня узнала? — спросил я, подойдя к ней.

— Я тебя тотчас узнала, — отвечала она.

Надобно вам сказать, что Изикэй довольно хорошо говорила по-русски и употребляла «ты» не вследствие короткости, а по привычке всех азиатцев.

— Каким образом ты здесь?

— Замужем, — отвечала она. — Ты разве не знал?

— Давно?

— Года два.

— Где же ты живешь?

Она указала на крайнюю избушку, которая выглядывала в полугоре.

— Помнишь, Изикэй, как ты бывала у нас?

— Помню, — отвечала она, вздохнув. — Хорошо было тогда!

— А теперь?

— Теперь работа, тяжело теперь, муж есть...

— Любит он тебя? — спросил я.

— Любит, больно любит, да не хорошо любит.

— Отчего же?

Она замялась немного, хотела что-то ответить, но, не знаю, затруднилась ли в выражении или просто сконфузилась, только сильнее стала закрываться чадрой, отвернулась и вдруг, взглянув в сторону, торопливо опустила ведро и быстро проговорила:

— Уйди! Уйди!

— Что с тобой? — спросил я.

Она мне не отвечала ни слова и, зачерпывая воду, указала головою на гору. Я оглянулся. Вдоль по горе, от деревни, которая была разбросана по ее скату, вилась дорога. Сначала она была довольно торна, но потом, поднимаясь выше и выше, все суживалась и наконец почти тропой лепилась по косогору, проходила над нашей головой и терялась в ущелье. По этой тропинке ехал башкирец. Он сидел верхом на маленькой тощей лошаденке, запряженной в передки. Между колес, на оси, был привязан улей. Все это я едва мог угадать по привычке — так далеко и высоко над нами была эта фигура.

— Кто это? — спросил я, стараясь вглядеться.

— Муж. Уйди, пожалуйста! — сказала Изикэй, торопясь зачерпнуть воды, но, как нарочно, ведро сорвалось у нее и упало.

Я отодвинулся назад и прислонился к утесу, так что сверху нельзя было меня заметить. Оттуда я любовался башкиркой. Она нагнулась над рекой и старалась пой-

мать коромыслом ведро, которое увертывалось на воде. Изгиб ее тонкого и стройного стана обрисовывался яснее, лицо разгорелось ярким румянцем, и вся она, молодая и свежая, ярко освещенная закатывающимся солнцем, была очень хороша.

Вдруг странная капризная мысль мелькнула у меня в голове. Мне стало досадно, что какой-нибудь башкирец может мешать нашему разговору.

— Изикэй, — спросил я, — ты боишься мужа?

Она молчала.

— Послушай! Мне хочется видеть его. Я провожу тебя, и ты мне покажешь свою юрту.

— Ай, нет, нет! — торопливо и тихо проговорила она, не повертывая головы. — Он и так, когда сердит, зовет меня барыней, говорит, что я кого-то люблю...

— А, так он ревнив! — сказал я. — Послушай, Изикэй, когда же я тебя увижу?

Она опять молчала.

— Завтра? — спросил я.

— Завтра рано мы в кочевку идем.

— Далеко?

— Верст двадцать.

Поверите ли, что в эту минуту мне стало страшно досадно и больно. Как будто я любил Изикэй, как будто я давно и страстно ждал свидеться с нею...

— Что ж? Так мы не увидимся? — спросил я с невольной досадой.

Она подняла ведра на плечи и, обернувшись ко мне, вздохнув, отвечала:

— Нельзя.

— Тебе лучше знать, — сказал я. — Как хочешь!

В это время Изикэй пошла домой. Узкая тропинка, на которую ей следовало идти, пролегала мимо меня. Поровнявшись со мной, она посмотрела мне в лицо и сказала:

— Не сердись, пожалуйста, мне и так горько.

— Я не сержусь, — отвечал я, — а мне досадно. Я скоро уеду и опять надолго. Мы, может быть, и не увидимся.

Изикэй остановилась в нерешимости. В лице ее было заметно сильное волнение, в черных глазах отражалось какое-то внутреннее смущение, которое им придавало особенный, чудесный свет.

— Как же быть? — спросила она, пристально смотря на меня и будто желая на моем лице прочесть ответ.

Каюсь, в эту минуту я любовался ее смущением и ни за что не хотел разрешить его.

— Как знаешь, — холодно отвечал я.

Она еще несколько мгновений грустно смотрела на меня, потом сделала движение, чтоб идти. Рука Изикэй свесилась через коромысло, я остановил ее за руку.

— Так что ж? Мы не увидимся? — спросил я.

Щеки Изикэй сильно зарумянились, глаза ее вдруг облились какой-то влагой, она быстро осмотрелась кругом, опять обернулась ко мне и неровным голосом, тихо и скоро проговорила:

— В полночь, вон у этого дерева.

Она указала в сторону, отдернула руку и с тяжелыми ведрами едва не побежала в гору.

Немного погодя я вышел из своей засады. Кругом не было ни души. Начинало смеркаться. Ущелья и река словно затопились паром. В душистом, влажном воздухе была тишина мертвая, и только изредка бубенчики, привязанные к шее лошади, чтоб легче было отыскать ее, дребезжали где-то в лесу.

Я пошел к дереву, на которое мне указала Изикэй. Это была высокая, одинокая осокорь [15]. Она стояла на острове, густо усаженном по берегам ветлою и почти примыкающем к противоположной горе. Осмотрев местность, я старался заметить дорогу, что — по излучистому, иногда раздвоившемуся бегу реки и множеству островков — было для непривычного довольно трудно; потом медленно побрел домой и, сознаюсь в глупом самолюбии, был очень доволен.

Когда я возвратился домой, были уже сумерки. Самовар, который у татар имеет талант закипать в пять минут, давно ждал меня. Софроныч, страшный охотник до чая, ждал с еще бóльшим нетерпением. Напившись, я отдал самовар в распоряжение егерей, которые, поставив его на крыльце, уселись вокруг и принялись пить.

«На войне, как на войне», говорят французы. Люблю я в отъезжем поле или на рыболовстве подсесть к кружку егерей или рыбаков и послушать их веселую, сдобренную иногда крупной солью беседу. К тому же в доме было темно, пусто и отзывалось каким-то мыльным запахом, неизбежным во всех татарских домах и лачужках, по которому можно тотчас узнать и отличить их. Поэтому я вышел также на крыльцо, закурил сигару и уселся на ступеньке, в уверенности, что, зная мою привычку, егеря мои не будут стеснять себя ради моего присутствия.

— Вот, сударь, — сказал Софронов, попивая чай с сотами, которых наша хозяйка поставила перед ним целое

блюдо. — Ведь говорил я, что не будет теперь ни медведя, ни оленя, — так оно и есть.

— А тебе кто сказал? — спросил я.

— Да я охотника призвал, и он то же сказал. Да где он? Эй, хазрет! — закричал Софронов.

Из-за крыльца вышел башкирец в истасканном синем кафтане и скинул войлочный малахай [16]. Он мне подтвердил слова Софронова и на расспросы о другой дичи сказал, что по горам водится много тетеревей. Я был не в духе толковать об охоте и, удовольствовавшись этим, хотел его отпустить, но Софронов, имевший привычку из каждой поездки извлекать все удовольствия, остановил башкирца.

— Нам старшина сказывал, что ты на чебызге хорошо играешь. Ну-ка сыграй барину что-нибудь, да горлом подтяни, — сказал он.

— Можно, — отвечал башкирец, приготовившийся, как видно, наперед показать свое искусство, и вынул тотчас из-за пазухи чебызгу.

Чебызга — род дудки с ладами, инструмент чисто башкирский, который, говорят, составляет странное явление в ряду духовых инструментов. Чтобы играть на ней, башкирец упирает ее верхним концом в глазной зуб и, скривив рот, поддерживает ее нижнею губою. Другой инструмент, который мне тоже нигде не случалось слышать, кроме Башкирии, — горло. Башкирец, дикий питомец степей, гор и лесов, не хитер на изобретения. Там, где можно вырезать дудку, он срежет ее и сделает чебызгу; там, где нет дудки, он играет на горле. Для этого он полураскрывает рот и издает какие-то странные, иногда необыкновенно сильно вибрирующие гортанные звуки, совсем не похожие на пение, а скорее на какой-то дикий инструмент. Это кажется очень просто, а между тем не всякий это сделает, и, услыхав в первый раз игру на горле, вы не узнаете звуков — так необыкновенны они. Но верх музыкального искусства по понятиям башкирца — это соединение обоих инструментов: чебызги и горла. Чтоб быть в их глазах истинным артистом, надобно играть на чебызге и аккомпанировать себе горлом; так сделал и мой виртуоз.

Вынув инструмент из-за пазухи и посмотрев, не раскололся ли он, башкирец приставил чебызгу к зубу, надулся, сколько позволяли легкие, и заиграл.

Трудно передать впечатление этой музыки. Башкирец затянул одну гортанную низкую ноту и вместе с тем заиграл песню. Сначала меня поразила необыкновенная сила его груди: несколько минут, не переводя духа, он пел

и играл. В качестве дилетанта, имевшего абонированное кресло в опере, я не мог не отдать должной справедливости его легким и нашел, что он с большим упехом мог бы заменить надувальный мех в любой кузнице. Потом однако ж музыка взяла свое. Эта длинная, заунывная башкирская песня, беспрерывно переливающаяся из ноты в ноту и вечно кончающаяся одним долгим, протяжным и дребезжащим, как плач, звуком, эта неизменяющаяся, непрестанно слышимая сквозь все переливы песни гортанная нота действуют сильно на нервы и невольно рисуют воображению какую-то беспредельную голую степь, мертвую, пустынную, по которой только белый ковыль переливается и колышется, как однообразная, безбрежная морская зыбь.

Но в этот вечер я не был расположен к мечтательности. Уложив Тритона, который вздумал было подтягивать башкирцу, я спросил хлеба и начал прикармливать двух ощипанных хозяйских собак, которые глядели на меня очень неблагосклонно. Сначала они однако ж выдерживали характер и ели шарики, которые я им бросал, сохраняя враждебный вид, но потом мало-помалу смягчились и, решившись подойти ко мне, начинали посматривать на меня ласковым взглядом.

Это невинное занятие начинало мне нравиться, в особенности при виде успехов, которые я делал в сердцах собак, как вдруг оно было прервано приходом неожиданного посетителя, разогнавшего моих питомцев. Посетитель этот был башкирец. Смиренно вошел он в ворота, подошел к крыльцу, поклонился мне и стал возле музыканта. Он был низок и широкоплеч. Судя по бронзово-смуглому лицу с широкими скулами и длинным приплюснутым на конце носом, ему можно было дать лет сорок. Редкая темнорусая бородка торчала клином. Небольшие серые глаза были живы, но большею частью как-то глупо потуплены. Я бы не обратил внимания на этого вновь пришедшего башкирца и готов был счесть его за зеваку, пришедшего посмотреть на приезжих, но мой Софронов, увидав его, воскликнул с тоном легкой насмешки:

— А! Абдул Мазитыч! Здорово живешь?

— Здорово, Иван Софроныч, — отвечал башкирец, взглянув на него и снова потупясь.

— Что скажешь?

— Да вот к Мухаммед Абдрахимыч пришел, крупа мала-мала надо.

— Дома нет Мухаммед Абдрахимыча, в город лежать пошел.

— Нешто, — отвечал Абдул.

Надобно вам сказать, что башкирцы вместо слов «пробыть», «остаться», «прожить» говорят «лежать», они этим очень хорошо выражают свое лучшее времяпровождение. Русские в разговоре с ними, чтобы быть понятнее, подделываются к их манере.

— А твоя, сударь, — сказал башкирец, обращаясь ко мне, — смею спросить, давно из Петербурга пришел?

Меня этот вопрос удивил порядочно.

— Недавно, — отвечал я. — А ты разве меня знаешь?

Башкирец ухмыльнулся.

— Как не знать, сударь! Вот как ты такой еще был, так я уж знал тебя.

Он растопырил черную руку и опустил ее на аршин от земли. Я посмотрел на Софронова, тот меня понял.

— Разве вы не помните, сударь, Абдулку заводского, на поташном заводе что жил?

Я в самом деле начал припоминать что-то подобное.

— Как же-с! — продолжал Софронов. — Он все около нас жил, покуда не женился. Да вы, чай, и жену-то его помните — к вам играть ходила, Изикэйкой звали.

— А! — невольно сказал я, снова осмотрев Абдула.

Он стоял потупясь, с очень глупым выражением лица, и молчал, как будто про него и речи не было.

— Ну, а что жена твоя? Здорова? — спросил Софроныч.

— Нисяго, живет! — отвечал башкирец.

— Вишь какую хорошенькую подтибрил! Губа-то не дура! — продолжал Софроныч. — Что? Чай, дети есть? А? Бараньчук есть?

— Нет бараньчук, — отвечал башкирец.

— А другой жены нет, а?

— Нет.

Софронов перестал расспрашивать. Абдул, кажется, остался этим доволен, а музыкант, увидев, что все заняты разговором, давно прекратил музыку и спрятал чебызгу.

— А что, смею спросить, сударь,— сказал Абдул после некоторого молчания, обращаясь ко мне, — зачем твоя пришел?

— На охоту, — отвечал я.

— Да ваши места лучше, — возразил он. — Зачем сюда ходить?

— Я думал, что здесь найду медведей или оленей.

— Нет, какой теперь медведь! Пора не та! И олень нет! Никого теперь нет!

— Да знаю, — ответил я.

Мы опять помолчали. Абдул вертел в руках войлочный малахай [16], как будто что-то у него было на уме.

— А что, смею спросить, — сказал он, искоса поглядывая на меня, — долго ваша пробудет здесь?

— Тебе на что? — спросил я.

— Так! Мы так спросим! — сказал он, смиренно опустив глаза.

— До завтра, я думаю, — отвечал я.

— Гм! Нешто! Только днем жарко больно, лошадям тяжело. Ночь пора хороша бы идти, сударь.

Я не отвечал ни слова. Абдул помолчал, потом поклонился мне.

— Ну, прощай! — сказал он.

— Прощай! — отвечал я.

Затем Абдул ушел.

Только что он скрылся за ворота, как Софронов осмотрелся и позвал потихоньку кучера.

— Где у тебя лошади? — спросил он.

— В сарае, — отвечал кучер.

— А крепок сарай?

— Крепок.

— Смотри! Абдулка спрашивал, когда едем! Да кроме него здесь и других много — как раз сведут!

— Небось! — самоуверенно заметил кучер.

— Что тут небось! Как сведут, так и будет небось. А ты возле лошадей ложись. Да и ты бы, брат, Афанасий, — продолжал Сафронов, обращаясь к другому егерю, и ты бы, брат, с ним лег, да и Тритонку взяли бы с собой, а ихние-то собаки знают их и лаять не будут.

— А и в самом деле, — отвечал тот. — А то от Абдулки станется, из-под носа уведет.

— Да разве он вор? — спросил я.

— И, сударь! Да такого конокрада и свет не производил. Пока его не выжили от нас, так покоя не было. Что ночь, то пропажа. А все он.

— Да если знали, так отчего не поймали его? — спросил я.

— Да, поймаешь его! Восемь человек еженощно около деревни дозору было. Да что толку — все воруют! Мы и караулить бросили. Да. Ну, а как пропадет скотина — поищешь да Абдулке же поклонишься.

— Зачем же?

— Как зачем, сударь? Да ведь где же лошадей-то сыскать? Ну, коли пропадет лошадь, и идешь к нему али к другому конокраду известному и скажешь: вот так и

так. Он и ответит, можно ли воротить лошадей али нет. Коли можно, так спросит: давай вот столько-то — поищу. Ну, поторгуешься да и дашь десять или пятнадцать рублей, и коль уж деньги взял, так воротятся лошади, уж это верно. Или скажет, где поймать в лесу, так там и сыщешь, или просто ночью в околицу [17] подпустит. А коли не взял денег или поскупился дать, так и поминай как звали лошадок. Спроводят их глухими дорогами на линию — и ищи там. У меня года три назад двух маток украл, да спасибо, за двадцать рублей выкупил.

— Экой ты какой, Иван Софроныч, — заметил другой егерь. — Ведь ему, братец ты мой, деньги нужны были: он женился тогда, калым надо было выплатить. Подумай об этом — ведь он, чай, влюблен был, братец ты мой.

— Влюблен? — спросил я, заинтересованный замечанием.

— Как же-с! Туда же, влюбился, собака! — заметил егерь. — Мать Изикэйкина сказывала тогда. Пристает, говорит, с ножом к горлу: что хочешь калыму возьми да отдай ее. Да нет, та не отдала: человек нехороший. Да и дочь-то не шла. Туда же! Женихов браковала!

— Так как же она вышла за него?

— Да мать-то умерла. Дочь к себе дядя взял. Абдулка к нему давай приставать, тот запросил триста рублей калыма. Что же, сударь, выплатил в один год! Ну да уж и досталось же соседям: что ни ночь, то покража. После того его и выпроводили сюда.

— Ну уж Абдул — прямой обдул! — заметил Софронов.

Дальнейший разговор не интересовал меня.

Между тем на дворе совершенно смеркалось. На небе не было ни одного облачка, и кой-где, далеко-далеко, чуть проглядывали на нем звезды. Я отпустил музыканта, приказав ему прийти рано утром, чтобы вести нас на тетеревов, и, отпустив людей, улегся в зале. Сначала слышно мне было, как они переговаривались в сенях и укладывались, потом изредка перебрасывались словами и вскоре замолкли. Кругом стала совершенная тишина, и только двое часов беспрестанно и несносно чикали у меня над головою.

Не знаю, отчего, но я не мог заснуть. Было ли мне душно, или неспокойно, или просто меня волновало предстоящее свиданье, только сна не было ни в одном глазе. Долго я вертелся с боку на бок. Окна кругом были закрыты ставнями, и ночь была так темна, что не просвечивались их щели. Я встал, поднял подъем [18], оттолкнул

ставень — свежий воздух пахнул мне в лицо, кругом все было темно и тихо. Выкурив у окна сигару, я опять лег и долго смотрел на открытое окно, которое рисовалось едва видным четыреугольником на темной стене.

Время шло для меня невыносимо медленно — не от нетерпения, а от скуки, тишины и какого-то внутреннего, чрезвычайно неприятного беспокойства. Наконец мне показалось, что окно начало обрисовываться резче, небо посветлело, и белая труба на крыше проглянула довольно ясно. Я догадался, что начал всходить месяц. В это же время часы у меня над головой зашипели, и кукушка довольно хриплым голосом прокричала одиннадцать. Я встал, оделся и вышел.

Мои егеря спали на крыльце, я прошел мимо их без всякой предосторожности, но ни один и не пошевелился. На дворе хозяйские собаки залаяли было очень злобно, но, узнав меня, тявкнули нерешительно раза два, как будто для успокоения совести, чтоб никто их не смел упрекнуть, что они не лаяли, а потом отворотили морды и пошли в сторону.

В это время было полнолуние. Месяц стал из-за гор и светил так ясно-ясно. Вышед за ворота, я осмотрелся. Ни души не виднелось по улицам, только кой-где собаки лаяли. Я проскользнул вдоль забора. Вдруг мне показалось, что чья-то тень мелькнула около сарая. Останавливаюсь — никого нет. Я спустился по горе, которая, по счастью, была вся в тени, но этой тенью я пользовался недолго: надо было выступить на долину, всю ярко облитую светом.

Трава была влажна от вечерней росы и блестела ею на лунном свете. Речка тоже то переливалась, как серебряная бить [19], то стояла каким-то темным зеркалом. В нескольких местах мне приходилось переходить ее — иногда по выдавшимся на перекате камням, иногда по переброшенной доске. Часто какой-нибудь пенек или тень дерева, резко ложившаяся по земле, казались мне людьми и заставляли останавливаться и осматриваться. Раз мне показалось, что я вижу Изикэй, всю в белом, будто поджидавшую меня. Я окликнул — ответа не было. Подошел ближе — это была береза.

Наконец я подошел к знакомой осокори. Только река, в этом месте довольно глубокая, отделяла меня от нее. Через воду лежало бревно, я перешел по нем и очутился на месте. Это был, как я сказал уже, небольшой островок. Берега его густо обросли ветлою, в средине образовалась маленькая поляна, на которой одиноко стояла вы-

сокая осокорь, голая внизу и широко раскинувшая ветви у вершины. Я подошел к дереву. Из-под ног у меня вдруг выскочил заяц, может быть тоже пришедший на какое-нибудь свидание, и, признаюсь, испугал меня нечаянностью. Я осмотрелся, прислушался — нет никого, все стояло неподвижно, будто дремало, кругом так тихо-тихо... Я пришел еще рано.

От подошвы дерева ничего не было видно, кроме густой ветлы, сквозь которую в чаще корней и листьев проглядывала какая-то особенно черная тьма, над ветлами высились верхушки гор, над ними небо, усеянное звездами, — следовательно, только горы да звезды могли видеть нас. У того места, где через реку лежало бревно, между кустов прорезывалась узкая тропинка. Это был единственный путь, по которому можно было попасть на остров. Тут я решился ждать Изикэй. На мне был кожан (род пальто из кожи). Я сбросил его на землю, чтобы предохранить себя от сырости, и лег на него.

Теперь я нахожу, что ждал я, должно быть, недолго. Но тогда мне казалась невыносимо долга каждая минута. Я смотрел, не сводя глаз, в темную чащу противоположных кустов, иногда я отводил их, чтобы лучше прислушиваться, ухо мое было чутко настроено, и малейший шорох доходил до него. Есть среди самой глубокой ночной тишины какие-то странные звуки... Птица ли шевелится где-нибудь на ветке, рыба ли плещется на воде, зверь ли шумит в кустах. И все эти звуки ясно долетали до меня, и при всяком из них кровь сильнее волновалась, и сердце билось сильно-сильно...

Но вот я заслышал отдаленный шорох: то лист зашумит и смолкнет, то ветка хрустнет и опять смолкнет... послышалось наконец что-то похожее на шелест шагов, осторожных, нерешительных... вот оно ближе, ближе... Ясно было, что кто-то идет, — но кто идет? Вдруг зашумели противоположные кусты, и женская рука в широких серебряных запястьях раздвинула ветви.

Это была Изикэй, она вышла из кустов, ступила на дерево и, держась одной рукой за ветку, хотела идти далее, но я встал в это время, шум испугал ее, и она остановилась в нерешимости.

Как теперь, вижу ее в этом положении, оно почему-то резко и неизгладимо легло в моей памяти. Луна прямо падала на ее высокую, стройную фигуру. Темнорусая голова ярко обрисовывалась белой чадрой, которой контуры будто дрожали от бледножелтого освещения. Румяное, немного загорелое лицо Изикэй, желтовато-смуглое, осо-

бенно согревалось внутренним волнением, оно словно просвечивалось сквозь него и придавало ему необыкновенную жизнь, которая дрожала в каждом нерве. Черные глаза ее светились и врезывались в ночной мрак. Косы, унизанные монетами, висели с плеч, и монеты эти, слегка дрожа, издавали тихий металлический звук. И вся она, стоя на тонком бревне, словно отделялась от земли, а под ней глубокая река была точно темное зеркальное стекло, и тень ее ложилась ясно на незыблющуюся гладь...

Прошло мгновение, в которое я любовался Изикэй.

Потом я тихо назвал ее по имени, она узнала голос, увидала меня и, как белка, пробежала по дереву...

Тут Локтев на минуту остановился. Кажется, несмотря на его старание быть спокойным, рассказ и воспоминание начинали волновать его. Хозяйка дома тоже была не совсем равнодушна, она неподвижно прижалась в угол дивана, и глаза ее часто, прикованные вниманием, останавливались на рассказчике, но в последние минуты они будто подернулись каким-то смущением и бесцельно смотрели в глубь комнаты, а на щеках ее пробился и заиграл тонкий румянец.

После минутной остановки Локтев продолжал:

«Я не помню, как прошла эта ночь. Знаю только, что тут были и слезы... Как сквозь сон припоминаю, что рассказывала мне Изикэй какую-то тяжелую, грустную повесть бедной сироты-башкирки, которая видела вблизи барскую жизнь, которая несколько привыкла к ней, кажется, любила кого-то, была немного избалована и посторонними, и нежно любившей ее матерью, потом вдруг всего лишилась, была продана за воровски приобретенный калым негодяю башкирцу, которого не терпела она, и потом потянулась перед ней длинная жизнь трудов, лишений, побоев — жизнь безвыходная, жизнь, которой и конца не видно... Все это как будто я во сне видел, все это как-то страшно было перемешано с горячими ласками... Помню я только, что какая-то ранняя птица чирикнула на дереве, Изикэй огляделась как-то страшно, закрыла обеими руками лицо и как безумная бросилась бежать. Видел я, как расступились и тотчас же закрылись за ней кусты, слышал несколько минут легкий шорох и треск сломанной ветки, потом все замолкло...

Свежий ветерок дул мне в лицо. Кругом меня все было подернуто синим утром; и горы, и лес, и река — все

слилось в какую-то синюю, неясную предрассветную мглу. С горы доносился крик петуха и лай собаки, ранние птицы начали чирикать; от воды, когда близко подойдешь к ней, видно было, как подымался мелкими струйками пар, точно она хотела закипать, точно дымилась она.

Медленно побрел я домой, и не знаю отчего на душе у меня было что-то тяжелое. Не рад я был, что встретился с Изикэй, не рад я был и свиданью с нею. Не знаю, как это случилось, но я сбился немного с дороги и зашел с другой стороны деревни. Почти на краю ее, в полугоре, увидал я черную сбоченившуюся избу. Я узнал ее: это была Абдулкина изба, которую указала мне Изикэй. Вся она состояла из двух срубов, связанных между собой сенями. Деревянное крыльцо из полуобтесанных сложенных в клетку брусьев выходило прямо на улицу. Возле него была просыпана зола, которою часто торгуют башкиры. На золе ясно отпечатался женский след: видно, Изикэй опередила меня и уже воротилась. Избушка глядела как-то уныло, грустно... Я поскорей прошел мимо, вошел домой, никем не замеченный, и, пройдя мимо спавших на крыльце мертвым предутренним сном людей, усталый, бросился в постель. На небе только что начинало белеть. Я уснул, как убитый.

Меня разбудил голос Сафронова, который стоял надо мною и подробно доказывал, что пора вставать. Утро было ясное, солнечное, свет так и брызнул мне в глаза. На столе стоял самовар и, кажется, сердился на меня за то, что я долго не встаю, — так он шипел, и клокотал, и обливался белой пеной.

Я наскоро напился чаю, егеря тоже. Мы осмотрели ружья и патронташи и забрали все охотничьи принадлежности. Тут вошел кучер, чтоб взять в свое распоряжение самовар и в свою очередь напиться чаю, и на вопрос мой: «Что лошади?» отвечал, что все благополучно.

— А ведь однако кто-то подходил, — прибавил он таинственно.

— Э? — заметил Софронов.

— Пра, подходил! Да Тритонка залаял, а я закричал: кто тут! Он и ушел.

Подозрений своих я не сообщал, и мы вышли.

На крыльце ждал нас вчерашний музыкант, чтобы показать место для охоты. Ружья своего он не взял, хотя был отличный стрелок, потому что башкирцу не рука охотиться с нашим братом, который стреляет и в лет, и в меру, и не в меру: башкирцу дорог каждый заряд, в дрянное ружьишко свое, вроде винтовки, он кладет крошечную

щепотку пороху, счетное число дробинок, он выжидает, выглядывает, подкарауливает, и уж выстрел его не пропадет даром.

Вышедши за ворота, проводник повел нас прямо в гору, которая стояла круто и высоко перед нами, заслоняя утреннее солнце. Добравшись до первого уступа, я остановился отдохнуть. Внизу мне была видна вся деревня, рассыпанная по косогору. В ней была какая-то особенная деятельность. Скрипели несмазанные ворота, выводились лошади, некоторые из них были тяжело навьючены кибитками, кадками и разным домашним хламом, другие только оседланы. На оседланной ехал обыкновенно хозяин или жена его, часто и тот и другой вместе. Вьючных привязывали к хвосту передовой, сзади бежало несколько жеребят, и таким образом отправлялись длинной вереницей. Башкирцы переселялись на кочевку. Телеги не было ни одной, потому что по горным тропинкам нельзя было проехать в телеге.

Я взглянул на избу Абдулки. Поодаль от других, на краю горы, она стояла уединенно, ни души не было видно ни в ней, ни на дворе — хозяева уже уехали...

Немного отдохнув, мы снова начали взбираться. Это было дело нелегкое. Гора была и крута, и высока. Ружье и патронташ тоже давали себя чувствовать. Наконец, то цепляясь за кусты, то едва лепясь по каменьям, обросшим скользким мхом, мы взобрались на вершину, покрытую лесом, которая, изгибаясь и извиваясь, тянулась вдаль нескончаемо. Я устал жестоко. Хотел было броситься на траву, но она была вся мокра от росы. К счастию, я увидел под сосной огромный красный муравейник, бросил на него платок, через минуту сделавшийся влажным, и когда снял его, то он был пропитан сильным муравейным спиртом, который освежил меня. До нас доходил охожий на отдаленный говор клекот тетеревов, мы осмотрели ружья и разбрелись по горе.

Через час или полтора ходьбы я отделился от охотников. Сначала мне слышны были вдали их выстрелы и оклики, потом они становились реже, тише и наконец смолкли. Тритон мой, отыскивая дичь, бежал впереди и вел меня на окраину. Он начал искать ленивее, я тоже устал, потому, выбрав место, я расположился отдохнуть. Солнце было порядочно высоко и начинало сильно припекать. Кругом меня, как глаз окинет, все виднелись горы да горы. Справа был обрыв, и глухой шум реки долетал из него. Утомленный ходьбой, жаром и бессонной ночью, я скоро, как говорится, забылся. Это был не сон, а то со-

стояние полусна и полубдения, когда смутно слышишь еще, что творится кругом, а между тем все предметы смешиваются, сознание теряется и действительное мешается с фантастическим.

Не знаю, долго ли пролежал я так, как вдруг протяжный, ужасный крик поразил меня. Это был одинокий тонкий крик, но в нем было столько отчаяния, такой раздирающий душу вопль, что только какая-нибудь необыкновенная катастрофа могла вырвать его из человеческой груди. Я был поражен этим криком и вскочил, страшно испуганный. Сердце у меня билось, точно вырваться хотело, холодный пот выступил на лицо. Оглядываюсь — никого нет. У меня уже мелькнула мысль, не во сне ли это мне причудилось, но другой крик тоскливо потряс меня: мой Тритон стоял на краю обрыва и, вытянув морду, ощетинившись, протяжно завыл.

Я бросился к обрыву, но за камнями и за деревьями ничего нельзя было видеть. Не знаю, какая-то сила влекла меня вниз. Крутизна была страшная, но, не придя еще совершенно в себя, я под влиянием какого-то невольного порыва и волнения бросился спускаться. Я цеплялся то за кусты, то за расщелины камней, дороги я совсем не разбирал и ставил ногу наудачу. Если б я был в спокойном состоянии духа, я, конечно, и не подумал бы спускаться там, где спускался. Но теперь я лепился с инстинктом дикой козы и долго лепился удачно. Наконец какой-то камень, за который я держался, оборвался, повлек за собой землю и другие камни, и я полетел вместе с ними. К счастью, обрыв тут был глинистый, не очень крутой и пересекался тропою. Вместе с градом камней и земли, исцарапанный, оборванный, я упал на нее.

— Шайтан! — сказал кто-то испуганным голосом.

Я очутился в середине небольшой кучи башкирцев, которые раздались при моем неожиданном падении. Прямо предо мной стоял кто-то с лицом, позеленевшим от страха и внутреннего потрясения, с таким лицом, про которое говорят: «лица на нем не было». Вглядываюсь — это Абдул.

— Что здесь случилось? — спросил я.

Сначала мне никто не отвечал, потом какой-то башкирец сказал, показывая на Абдула:

— Лошадь его упала.

— Одна? — спросил я.

— С женой, — глухо отвечал башкирец.

Меня что-то как за сердце схватило... Я чуть не вскрикнул. Кругом все молчали и стояли неподвижно.

— При вас? — спросил я, несколько придя в себя.

— Нет. Мы сзади шли, вон за поворотом были, не видали, — отвечали башкирцы, поглядывая вниз.

Почти от того места, где мы стояли, широкая полоса, проложенная по земле телом, которое скатилось по ней, шла от окраины тропы и вдруг обрывалась. Я подошел к обрыву, стал на колено, уперся одной рукой в камень и свесился. Уступ шел сажен на двадцать. Голые камни выдавались из него, все они были красного цвета, и никакого следа не было видно на них. Внизу, на дне ущелья, было темно, и ручей шумел и пенился. Сначала я ничего не мог рассмотреть, потом на берегу ручья разглядел белую лошадь... потом... невдалеке... страшно вспомнить! — что-то окровавленное... Голова у меня закружилась, я едва успел отскочить, чтоб не упасть.

— Все деньги тому, кто первый подаст ей помощь! — сказал я, бросив бумажник башкирцам, потому что сам не в состоянии был идти.

Они сначала переглянулись, потом, кажется, поняли, в чем дело, и, взяв деньги, бросились отыскивать спуск.

Мы остались вдвоем с Абдулом. Лицо его было попрежнему зелено-бледно, но спокойно. Он стоял, прислонясь к горе, и, потупив голову, смотрел в землю. Когда я взглянул на его низко-плутовскую и бесчувственную физиономию, у меня родилось подозрение... мне припомнилась фигура, которая мелькнула передо мной ночью, и зола, просыпанная на крыльце, с отпечатавшимся на ней женским следом. Я пристально смотрел на Абдула. Он стоял, понурясь, с тем же тупым, бессмысленным выражением.

— Абдул! — сказал я.

Он посмотрел на меня, нисколько не смутясь, и опять потупился.

— Как упала жена?

— Я вперед шел, — сказал он. — Остановился подпругу подтянуть, а она хотела вперед идти, — лошадь оборвалась.

— Ты не толкнул лошади? — спросил я, пристально смотря на него.

Вопрос не оскорбил его нисколько.

— Зачем толкать! — отвечал он равнодушно. — Лошадь сорок рублей стоит.

После этого ответа я понял, что мои бездоказательные подозрения ни к чему не поведут. Ясно, что Абдул или не виноват, или такой плут, что словами не поймаешь

его. Я больше не расспрашивал, а снова стал на колено и свесился над обрывом.

Тут мне пришла мысль, что если Абдул столкнул жену из ревности, то ему нет ничего легче в настоящую минуту, как столкнуть и меня, и я невольно обернулся.

Абдул смотрел на меня, но взгляд его по-прежнему был бесчувственно-туп.

В это время я услыхал в ущелье голос одного из башкирцев, ему удалось спуститься.Дыханье замерло у меня от волнения, я прирос глазами к месту, где лежала Изикэй, я ждал, не спаслась ли она каким-нибудь чудом...

Башкирец проходил мимо разбитой лошади, толкнул ее ногою, прошел еще несколько шагов, нагнулся, приподнял что-то окровавленное, потом взглянул на меня вверх и махнул рукою...

Через час я скакал домой, и горы были далеко позади меня...».

Приятель мой замолчал. Он был бледен и несколько минут оставался неподвижен, как будто еще не мог освободиться от пробужденного тяжкого воспоминания, потом встал, молча поклонился и вышел.

Мы остались вдвоем с хозяйкой дома, и тогда только я подсмотрел, какое впечатление произвел на нее рассказ. Катерина Петровна, прижавшись в угол дивана, провожала глазами Локтева. В этом взгляде было много теплого участия и сочувствия. Потом Катерина Петровна, бледная, интересная, осталась в каком-то раздумье, как будто мысль ее блуждала еще в дальних горах Башкирии, посреди той живописной местности, куда перенес нас рассказ Локтева. Я позавидовал ему и ничего не придумал лучшего, как последовать его примеру — раскланяться.

Признаюсь, и на меня произвело впечатление слышанное мною происшествие. Чтоб изгладить его, я пошел в клуб и стал играть в карты, но, сделав в три робера четыре ренонса [20], к неописанному негодованию партнеров, из которых один даже так рассердился, что назвал меня поэтом, я должен был и от карт отказаться.

После этого мне оставалось только одно — идти домой и лечь спать, что я сделал неотлагательно. Но и тут все мне снилась бедная лачужка, бедная башкирка, которая тянет в ней тяжелую, трудную жизнь, припоминая то счастливое время, когда она была на свободе, виделось мне, как башкир тихо, тихо подстерегал Изикэй и сыпал золу, чтоб подстеречь следы ее. Виделось мне еще, как

ехали они верхами, трудно поднимаясь в гору по узкой тропинке, как муж остановил свою маленькую уродливую лошадь, сказал жене, чтоб она ехала вперед, и, когда она, бедная, поровнялась с ним, вдруг злобой и ревностью исказились черты его обыкновенно бездушного лица, он толкнул лошадь, и с диким воплем ринулась несчастная Изикэй в бездонную пропасть... Но тут вдруг, на лету, каким-то страшным, но в то же время для меня очень понятным образом Изикэй превратилась в трефовую даму, ту самую трефовую даму, которая неизвестно куда запряталась между карт, когда я должен был перекрыть ею валета, я хочу схватить ее — не могу, она улетела, а я снова сделал ренонс, и партнер снова назвал меня поэтом...

Беда иметь впечатлительную натуру!

По соображению догадливого читателя, тут бы, вероятно, следовало закончиться этому правдоподобному повествованию. Я соглашаюсь с читателем тем охотнее, что месяц назад был сам решительно того же мнения. Но по странному стечению обстоятельств мой очень кругло законченный рассказ получил совершенно неожиданное приращение. А случилось это следующим образом.

Надобно вам сказать, что вскоре после вечера, проведенного у Катерины Петровны, я получил назначение в Петербург. Локтев в ту пору куда-то уезжал, и я, не простясь с ним, оставил губернский город.

Раз как-то, и не очень давно еще, поленившись с Невского ехать обедать домой, я зашел к Дюссо и уселся в той маленькой комнате, устроенной между двух стен, окна и двери, в которой двум хорошо поевшим человекам было бы тесно. Уже касимовский татарин в черном фраке, с завитыми волосами и салфеткой в руке спрашивал меня, предпочитаю ли я суп «потофе» супу «бранвас», и тем поверг меня в величайшее затруднение, уже я по склонности всякого человека к таинственному начинал склоняться на сторону бранваса, которого личность решительно мне не была знакома, как вдруг за дверьми слышу голос:

— Занята?

— Занята-с, — отвечал другой татарин.

Голос мне показался знаком. Я выглянул из комнаты.

— Ба! Локтев!

— Какими судьбами?

— Давно ли?

И тому подобное.

— Вы одни здесь? — спросил я его.
— Один. А вы?
— Тоже. Следовательно, мы обедаем вместе.

Поставили еще прибор, и маленькая комната была полна.

К чести кулинарного искусства Дюссо, говоря высшим слогом, и к чести нашего аппетита, должно признаться, что мы сначала более беседовали с вареными и жареными произведениями природы, нежели друг с другом. Но, удовлетворив себя пищею физической, мы обратились к духовной.

— Скажите, пожалуйста, — спросил меня Локтев, наливая себе кофе, — как это сделалось, что вы так скоро уехали тогда? Я отлучался на неделю, возвращаюсь, спрашиваю о вас в доме — уж и след простыл!

— Я очень торопился выехать, — отвечал я.

— Что ж? Разве вам не нравился наш город?

— Напротив, добрый, славный город!

— Да. Так у вас здесь были дела?

— Особенно экстренных не было. Я спешил собственно уехать из вашего города.

— Да ведь вы сами же отзываетесь о нем очень хорошо?

— Вот в этом-то и дело. Я очень люблю губернские города, но не надолго. Все они хлебосольны, гостеприимны и сначала довольно веселы. Пока в них обживешься, знакомишься, встречаешь лица, которые интересуют, — они очень хороши. Но в одно сумрачное утро проснешься, подумаешь, как бы провести день, — и хандра невыносимая нападет на вас. Все лица вам знакомы до того, что вы их наизусть знаете, все сплетни и источники сплетен вы сами можете рассказать про весь город, все дома, прислуга, лошади — все, что имеет какую-нибудь собственную физиономию, все это до того врезывается в вашу память, что стоит только закрыть глаза, как любое семейство с чадами и домочадцами так и пройдет перед носом. Сегодня то же, завтра будет то же, и послезавтра непременно будет то же... Вот отчего я так скоро и уехал.

— Это справедливо, пока живешь в городе, — отвечал Локтев. — Но уезжать из него я люблю медленно. Есть наслаждение встречаться с некоторыми добрыми знакомыми и думать: «Эту физиономию, которая надоедает мне каждый день, скоро наконец я перестану видеть...»

— Да. А с другой стороны есть и такие, на которых хочется насмотреться. Кстати: что Катерина Петровна?

— Гм... Да ничего, — отвечал Локтев.

— Я ее тоже не видал перед отъездом, — продолжал я. — Больна была. Именно не видал ее с того вечера, когда мы были вместе и вы рассказывали...

Но тут я остановился, хотя немного поздно. Мне стало совестно, что я нечаянно затронул воспоминание, грустное для моего приятеля, и неосторожным словом разрушил все спокойное довольство, которое нисходит на человека после хорошего обеда, да еще, пожалуй, помешал и пищеварению.

Однако ж, к моему крайнему удивлению, приятель мой встретил грустное воспоминание очень равнодушно и даже хуже того. Он улыбнулся, как мне показалось — очень самодовольно, и сказал:

— Да, помню.

Я посмотрел на него не без удивления, и в благообразном лице его едва не отыскал чего-то мефистофелевского.

— Что вы так на меня посматриваете? — спросил Локтев, продолжая улыбаться.

— Признаюсь, — отвечал я, — я думал, что воспоминание, которое я неосторожно потревожил, произведет на вас совсем другое впечатление...

Тут мой приятель просто расхохотался.

— Вы можете, не упрекая себя, тревожить это воспоминание, — сказал он. — Оно не опечалит меня.

— Но согласитесь однако ж, — заметил я с некоторою самостоятельностью, — что оно вовсе не из веселых?

— Да, если б только не было мною выдумано, — отвечал Локтев.

— Как? Изикэй совершенно не существует и не существовала?

— Нет, это опять не совсем справедливо. Есть там около нас какая-то Изикэй, я думаю, она и теперь здравствует.

— Но подробности, которых вы не жалели?

— Да ведь вы знаете очень хорошо, что подробностями только и можно придать вероятие...

— Надо отдать вам справедливость: вы красно́ выдумываете. И притом же, — отвечал я, несколько обиженный обманом, в который так легко вдался, — привыкнув вам верить, я не мог сомневаться в справедливости рассказа.

— Вот уж вы меня считаете чуть не за лжеца! А скажите по правде, случилось ли хоть одно происшествие, которое вы рассказали печатно?

— Это дело другое, — возразил я. — На то мы и сочинители, чтоб все знали, что мы рассказываем, чего не

было. Для этого-то все и печатается. Кто ж верит печатному?

— Отчего же, если допускается рассказывать небывалые вещи печатно тысячам читателей, не рассказать их двум-трем слушателям? Согласитесь, что это еще более имеет достоинства, как импровизация.

— Положим и так, — сказал я, — но отчего же в таком случае не выдать выдуманного за выдуманное, а называть истинным происшествием?

— Скажите, пожалуйста, вы для чего пишете? — спросил меня Локтев совершенно неожиданно.

— Для того... Для того...

Признаюсь, вопрос этот меня совершенно смутил, потому что я до сих пор хорошенько не понимаю, для чего все мы пишем пустые рассказцы.

— Для того, чтоб произвесть впечатление на читателей, — продолжал за меня Локтев. — А какого же вы можете ожидать впечатления от рассказа, когда в начале объявите, что в нем не будет ни слова правды?

— Однако ж с какой же целью вам вздумалось тогда нас морочить?

— Вы не оскорбитесь, конечно, — улыбаясь продолжал Локтев, — если я скажу, что собственно на вас я не рассчитывал. Но... Впрочем, это дело прошлое, и вам я могу его открыть. Видите ли, есть странные женщины: для них все, что существует в порядке вещей, все, что естественно, просто, не производит никакого впечатления. Явись к ним в гостиную Манфред, Фауст, пожалуй, хоть Дон-Жуан [21], да будь на нем фрак такой же, как на нас, грешных, они и не обратят на него внимания, если молва не наговорит о нем чего-нибудь чудесного или особенного. Таких женщин у нас, особенно в провинции, очень много. Им всё героев подавай, да еще героев, у которых бы на лице было написано, что герой, да чтоб у него и походка-то была геройская. Между нами сказать, Катерина Петровна отчасти в этом роде, а как я в то время немножко за ней ухаживал, а геройств особенных за мной не водилось, то очень естественно, что я, намереваясь воспользоваться ее слабой стороной, вздумал сам произвести себя в герои... Однако ж я заговорился, а мне пора в оперу, — прибавил Локтев, посмотрев на часы и торопливо вставая.

— Постойте, постойте, — сказал я, останавливая его в дверях. — Ну, что же? А успех-то был?

— О, конечно, нет! — отвечал Локтев.

Но я вам сказал уже, что приятель мой был порядочный человек.

ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ

РАССКАЗ

> По поднебесью летит он, злодей, шаром огненным, по земле рассыпается горючим огнем, во тереме красной девицы становится молодым молодцом несказанной красоты. Сушит, знобит он красну девицу до истомы...
>
> *Сказания русского народа* [1].

На днях по некоторым литературным обстоятельствам я должен был принимать живейшее участие во всех петербургских увеселениях. И я принимал это участие. Я бывал в опере, балете, цирке, русском и французском театрах. Я был на балах и маскарадах и даже собирался на минеральные воды к Излеру [2], но по счастью узнал, что там еще не веселятся, а только собираются веселиться. Я ужасно веселился со всеми моими петербургскими читателями и имел еще большее удовольствие рассказывать о наших веселостях читателям иногородным, и вскоре мне предстоит опять подобное удовольствие: я опять заживу полной жизнью всех петербургских веселостей, опять театры, балы, маскарады и все, что к тому времени Петербург придумает веселого.

Как видите, мы, писатели, живем иногда чрезвычайно весело. Нам стоит только веселиться да среди веселостей наблюдать разные стороны частной и общественной жизни и потом более или менее искусно рассказывать свои замечания, сдабривая их красным словцом фантазии. Но с некоторыми из нас бывает следующего рода неприятность. Во всех народных преданиях есть одно поверье, оно говорит, что люди, одаренные властью над нечистой силой, должны беспрерывно задавать ей работу. Как скоро она кончит одну и вы не успеете ей задать другую, нечистая сила из вашей рабы делается госпожою, берет над вами власть и распоряжается вами очень неприятно [3]. Точно то же делает с нами иногда наш выездной конек— воображение.

Я, например, хотел бы немножко отдохнуть между двумя периодами веселостей, я бы хотел посидеть дома, тихо переваривая сладкие воспоминания прошлых удовольствий и предвкушая сладость будущих. «Я б хотел забыться и заснуть!» [4] Но вдруг... Ба! Мое воображение возмутилось. Оно говорит, что ему скучна вся эта масса веселостей, что

ему надоели наши театры, балы и маскарады, что ему не хочется смотреть на наше светское общество, что ему мало этой скудной пищи, которую дают ему наши ровные, гладкие и приличные отношения, наши тихие, не проглядывающие наружу да, кажется, и не забивающиеся в глубину чувства, что ему тесно прогуливаться и по Петербургу, где оно витает, и по провинции, где я неоднократно заставлял его копошиться, что ему хочется другой жизни, жизни, связанной не этикетом, а преданиями, жизни, в которой заботятся не об угождении той или другой почтенной заслуженной личности, а какому-нибудь живущему где-то за печкой домовому[5], что ему нужна обстановка леса, покрытого инеем, степи, занесенной снегом, клеушка, загороженного тычинками[6], а не города с многоэтажными домами над рекой с берегами из гранита, что ему надоели шармеровские фраки,[7] пропитанные духами, газ и ленты наших прелестных женщин с волосами, зачесанными назад a la Margo, и что ему хочется освежить себя в душной избе с тараканами и лучиной, подышать поэзией нагольного тулупа и вымытой тряпицы[8].

Что за дикая фантазия! А между тем, она мчит меня, мчит из Петербурга, и когда же? — в самом начале нашего сезона, мчит по железной дороге... нет, мимо, и быстрее паровозов, в губернский город — мой милый губернский город, где я так весело скучал[9]... нет, еще мимо! Вот мы спустились на Волгу, на зимний тракт, вот мы несемся по ней, своротили, поднялись на нагорный берег, вот большая дорога, уставленная рядами заиндевевших берез, по ней дальше, глубже в Русь, вот и торный проселок, на котором еще виден след Григоровича[10]... Воображение! Нас опять укорят в подражании![11] Нет, дальше, еще дальше мчит оно меня! Вот проселок, занесенный снегом, едва протоптанный, по нем, по нем, мы мчимся десятки верст, не встречая жилья... мы заблудились, кажется... нас занесет бураном, и я замерзну вместе с тобою... Но вот в стороне блеснул где-то огонек, где-то тявкнула собака, вот петух запел где-то здесь близко, мы наткнулись на что-то... Ба! Это, кажется, жилье! И мы остановились...

У! Какая глушь!

Темно. На небе нет ни туч, ни звезд. Сквозь серую тьму ночи едва видна какая-то густая и ровная полоса... Что это — стена? Нет, это должен быть бор — слышите, как шумит он! А кругом снег и снег, и только ветер разгуливает по нем, шелестя и наметая сугробы. Но вот в одном месте какой-то перевал, а за ним, обозначась тем-

ными очертаниями, ряды избушек, окутанные соломой, как будто только что приподнялись из-под снега и не успели еще стряхнуть белый и толстый слой его, который лежал мягкою подушкою на крышах и оборванными клочьями висел на тычинах изгородей и узорчатой резьбе навесов.

На улицах ни души, и только из одного или двух маленьких окон слабый свет вырывался туманным снопом к земле и, дойдя до нее, дрожа расстилался по снегу. Что это? Засиделась ли какая-нибудь припугнутая свекровью молодка над пряжей, или хлопотунья-хозяйка обозналась временем и встала спозаранку? Который-то час? Но здесь нет часов! Здесь и не знают часов, а знают полдень и полночь, утро и вечер, рассвет и сумерки, и показывает здесь время в ясный день солнце, в глухую ночь петух кричит его, и петух этот «хоть не человек, а свое дело знает и баб научает» [12].

Да где ж мы? Далеко ли мы от Петербурга наконец? И это совершенно неизвестно, здесь даже не знают, есть ли город Петербург или нет, и очень может быть, что мы здесь за полтораста лет до его основания. Да какой же здесь уездный или губернский город? Есть город, и в нем бывали даже некоторые мужики, и название есть этому городу, а губернский он или уездный — бог его знает! И губерния ли тут или воеводство [13] — этого тоже утвердительно сказать не могут!

Боже мой! Да где же это мы? Какой здесь век, какой здесь год? Это тоже неизвестно, бог его знает какой век, старики свой доживают, а малые начинают... а год — год тяжелый: греча плохо родилась, озими повылегли... да этого и ждать надо, потому что прошлой зимой Касьян именинник был, а когда Касьян бывает именинник, так это високос — известно, тяжелый год [14].

Да месяц какой идет — декабрь ли, январь или февраль? А бог его ведает, месяц какой, а известно, что солнцеворот давно прошел [15], на Варвары зима мосты намостила [16], а на Савву гвозди заострила [17], до Петра полукорма еще не дошло [18], а уж об Васильев вечер — день прибыл на куриный шаг [19] и еще нечего беречь нос, потому что Афанасий не пришел [20], а потом будут Тимофеи полузимники [21]...

Я ничего не понимаю! Да как у вас пишут вот в конце письма после покорнейшего слуги и прочее — год, месяц, число? Да у нас ничего не пишут, потому что и грамоте во всей деревне никто не знает...

О, невежество! Какое ужасное невежество! А между тем странно: у этих людей есть свой календарь, и весьма верный календарь, и знают они, например, что от водокрещ до Евдокеи семь с половиной недель [22], и Илья пророк три часа приволок [23], и во что Макавеи — во то и разговенье [24], и знают они, сколько морозов было и сколько будет, и как какой мороз называется [25], и каждый день в году имеет для них свое значенье, и звезда падающая и птица перелетающая говорят им непонятным для нас языком, и предания живут и передаются в их безграмотных устах, и духи злые и добрые витают вместе с ними с незапамятных времен, и есть у них доброе и грозное слово для этих духов, и есть чары непонятные, и есть зелья чародейные, и вся жизнь их идет мерным, стройным, неизменным течением, как шла она сотни лет назад, при их пращурах, как пройдет сотни лет вперед до их правнуков, будто какой-то неведомый дух обошел ее невесть когда! И бежит с тех пор хлопотно, торопливо вперед и вперед озабоченный мир кругом ее, а она стоит, глубоко погруженная в свои думы, и не видит остального мира, будто ждет, когда, свершив свой круговорот, он снова дойдет до нее и сольется с ней...

Какой странный, какой чудный мир!

На самом краю этого маленького мира, не значащегося на географических картах мира, но известного в околодке [26] под именем сельца Познобихи, далеко отделяясь от деревни, стоит избушка. Судя по наружности, она не принадлежит к крестьянским. И в самом деле, около нее видите занесенный снегом остов какого-то старинного каменного дома, от которого остались только стены, а за домом голые деревья сада, который за давностью лет обратился в лес и слился с ближним лесом. Избушка, видно, принадлежала прежде к службам этого дома и, ветхая, деревянная, по какому-то странному случаю пережила своего каменного господина и, как старый и верный слуга, одиноко сторожит его развалины.

Раз в зимний вечер далеко из открытого поля, которое расстилалось перед лесом и деревней, можно было видеть какие-то два светящиеся глаза: это был огонек, блестевший из маленьких окон избушки. Внутренность избы мало отличалась от обыкновенной крестьянской: та же большая печка в углу и перегородка, те же лавки по стенам, те же темные от времени и дыма стены. Только не было над входом низких и широких полатей, а вместо них на протянутых веревочках висели какие-то травы. Пучки этих же трав висели, привязанные к деревянным

гвоздикам, по стенам и были их единственным украшением. В избушке не было видно крестьянской домовитости, не было кур, иногда клохчущих под печкой или лавкой, мало было домашнего скарба, в ней было чище, чем в крестьянских избах, но как-то пустее, нелюднее. Тихо было в избушке, только сверчок чирикал где-то в щели, да какой-то глухой и неясный шепот слышался на печке, и шепот однозвучный и тихий, как шелест сухих листьев. В переднем углу перед деревянным столом в поставце стояла сухая дудка, налитая внутри салом: ее-то слабый огонек блестел в поле и едва обозначал темные углы избушки; но он ясно освещал хорошенькую женскую фигуру.

Это была девушка лет шестнадцати. Судя по одежде, она принадлежала к крестьянам: на ней был синий пестрядинный сарафан с медными пуговками и белая холщовая рубаха. Темнорусые гладко причесанные волосы окаймляли невысокий лоб и, перегнувшись за уши, падали густой косой до самой поясницы. Лицо девушки было немного худощаво, смугловато, но чрезвычайно красиво. Рот маленький и немного выгнутый, как стрелковый лук, прямой и небольшой нос, темнокарие ясно очерченные глаза, и брови тонкие и круто загнутые над внутренними углами глаз. Все это лицо, продолговатое и нежно законченное подбородком, несмотря на молодость, имело много выражения. Оно смотрело весело и открыто, на нем не лежало никакой особой мысли, но оно было как-то хорошо отенено. Небольшой румянец смуглых щек, желтоватая белизна гладкого лба и бледно-молочный подбородок, едва видные темные волоски на висках и ясные глаза, даже маленькая, как у всех смуглых, тень под глазами — все это вместе делало лицо девушки чудесно освещенным, как это мы иногда видим на портретах новой итальянской живописи, освещенным и согретым так, что на нем, несмотря на неподвижность линий и непрозрачность кожи, можно по какому-то переливу теней ясно читать внутреннее настроение. Очерк молодого стана, еще несколько худощавого, можно было следить под складками свободной одежды. Стан этот был гибок, строен и, как молодое зерно колоса, только что наливался. Из широкого рукава рубахи виднелась тонкая молодая рука, и рука эта была мало огрублена суровой крестьянской работой: видно, немного несла она ее.

Девушка сидела у стола и торопливо шила. К однообразному крику сверчка, к странному и глухому шепоту, который слышался на печке, присоединялось частое ширканье нитки, сшивающей какие-то лоскутки. Девушка вся

была погружена в работу, изредка она останавливалась, разглядывала шитье, немного сбоченив голову на ту или другую сторону, и тихо, без слов запевала какую-то песенку, потом опять принималась шить, умолкала, и тогда немного сдвинувшиеся брови и наморщенный лоб обозначали заботу, между тем как на губах отражалась какая-то веселая и светлая мысль.

Вдруг в запертое окно кто-то стукнул.

Девушка вздрогнула, закрыла свет рукой и стала всматриваться, но частый скрип женских шагов по снегу послышался вдоль внутренней стены, потом на крыльце — и дверь растворилась.

Густой пар холодного воздуха влетел в избушку, но дверь захлопнулась, пар исчез и, выступив из него, к столу подошла другая девушка. Пришедшая была невысокого роста, тоже молоденькая, но полненькая, яркий румянец от мороза сильно горел на ее щеках, вздернутый носик покраснел, и русые волосы, немного желтого отлива, слегка заиндевели, бойкое круглое и хорошенькое лицо ее выглядывало из красного платка, который покрывал голову и был завязан у полного подбородка, на плечи была накинута овчинная шубенка.

— Здорово, Васена! — сказала вполголоса вошедшая, целуясь с хозяйкой. — Я за тобой прибежала.

— А, это ты, Дуня! А что!

— Да девки собрались и уже пошли по деревне. Пойдем и мы, нам еще впервой ходить.

— Постой, вот я бабушке скажусь.

— А она дома? — спросила Дуня.

— Слышь!

Но в это время шепот замолк и послышался дребезжащий голос:

— Кто это пришел?

— Здорово, баушка, это я!

— А, ты, Дуня! Что тебе?

— Отпусти, баушка, Васену — тауси петь, мы еще с ней не ходили.

— Тауси? Ну пусть идет, таусень надо справлять [27].

Во время переговоров Васена сложила работу и прислушивалась к словам бабушки, но, получив согласие, тотчас же вскочила.

— Вот я только переоденусь, — сказала она и зашла за перегородку.

— А ты скорей, смотри! — сказала Дуня и стала греть руки у печи.

Вскоре вышла Васена в тонкой белой рубашке и новом малиновом кумачном сарафане, она перетянула его плетеным поясом, и молодая грудь ее едва обозначилась. Затем она накинула платок на голову и шубенку на плечи.

— Баушка, ты загаси огонь, — сказала она.

— Ладно! — отвечал дребезжащий голос, и они вышли.

— Пойдем скорей, Федюшка, чай, продрог, — сказала Дуня, едва они вышли в сени.

— А он ра-е с тобой?

— Со мной, — отвечала она, и они подошли к калитке.

Но, растворив ее, обе девки были несколько удивлены: вместо одного Федюшки, было два парня.

— Здорово, Васена, — сказал невысокий, но крепкий парень лет восемнадцати, он был в коротеньком полушубке, вьющиеся волосы его, выбивавшиеся из-под шапки, заиндевели, пушок на усах и бороде тоже побелел. По сходству открытого смуглого лица в нем можно было сейчас узнать брата Дуни.

— А это кто? Ты, Антип? — спросила Дуня.

— Я, — отвечал нерешительно другой парень, повыше и пожиже Федюшки.

— А для чё ты здесь? — спросила сердито Дуня.

— А я было вот к Федюхе пришел, да узнал, что он сюда ушел, вот и я тоже...

— Больно нужно было!

— Ну, эка беда! Что он те съест, что ли? — заметил брат.

— Съест на съест, а что девки будут баить, коль увидят, — они и то едятся на нас.

— Пусть их едятся, — сказал Федюшка и хотел подойти к Васене.

Но девки схватились под руки и пошли скоро вперед, парни едва успевали за ними.

Месяц высоко стоял на синем и ясном небе, морозный воздух был неподвижен и жег лицо, снег искрился, отливал и блестел на месяце. Торопливые шаги двух пар, скрипя, удалялись все дальше и дальше, и из деревни, совершая какой-то обряд, никому не ведомый, никем не понимаемый, но обряд, завещанный стариною, слышалось пенье женских голосов:

Таусень! Таусень!
Походи, погуляй
По святым вечерам,
По веселым теремам.
Таусень! Таусень!

Между тем в избушке, оставленной Васеной, стало еще пустее, еще унылей. Свечка нагорела, сверчок чиркал громче, и шепот на печке становился слышнее и слышнее. Но вот кто-то завозился, закряхтел, и чья-то тощая и согнутая фигура, лепясь и придерживаясь, слезла тихо с печки. Это была высокая худая старуха, истасканный и лоснящийся нагольный тулуп прикрывал ее; сморщенная, желтая, как сухой лист, шея, на которой только было видно жилы да складки, высовывалась из одежды; сухое лицо старухи, так же как и шея, съежилось в морщины, и трудно сказать, каково было это лицо смолоду, только нижняя губа старухи и подбородок отвисли, и она всё будто жевала что-то, жевала и беспрестанно шептала, но что шептала — неизвестно. На голове у нее был платок, из-под которого выбивались черные всклокоченные волосы, несмотря на старость едва подернутые сединой, и эта голова дрожала.

Старуха подошла к поставцу [28], прищурилась, обломала немного дудку [29] близ огня, потом прислушалась, но в избушке и кругом нее ничего не было слышно, кроме крика сверчка и старушечьего шепота. Тогда, шаркая ногами, подошла старуха к печке, отодвинула заслонку, вынула какой-то горшочек, взяла в обе руки, согнулась низко-низко, вплоть до полу и, сунув горшок под печку, что-то прошептала погромче, приподнялась и поклонилась. Затем сморщенными губами она задула огонь, ощупью добралась до печки и, кряхтя, взобралась на нее. В избушке стало темно. Сверчок, покричав малую толику, замолк, дальше слышался шепот старухи, но и он замолк, но так тихо замолк, как будто умер вместе с нею, и только месяц светил в избушку сквозь замерзшие окна. Вдруг под печкой послышался какой-то шорох и будто кто-то тихо и осторожно начал есть [30].

Через несколько дней после того, тоже вечером, в другой избе, уже в самой средине деревни, ярко горела лучина, и в низенькую калитку поодиночке и попарно, торопливо пробежав от ворот до ворот, шмыгали женские фигуры. На дворе было морозно, но в самой избе тепло и даже душно. За большим столом в переднем углу сидело по лавкам несколько девок, все они были нарядны и большею частью молоды, между ними с краю сидели

наши знакомки — Васена и Дуня. Последняя часто вставала и хлопотала: она была хозяйка.

Васене и Дуне, обеим ровесницам, только по осени минуло шестнадцать лет, нынешнюю зиму они в первый раз были допущены к взрослым, в первый раз девки на выданье, невесты, не отгоняли их от себя, как молоденьких девчонок, и приняли в свой кружок, хотя приняли не без зависти: что делать, во всяком кругу молодость и красота больно колют неказистую зрелость. Поэтому Дуня, дочь мужика не бедного, чтоб сойтись с подругами, зазвала их к себе вечер покоротать, святки справить обычной ворожбой и песнями [31].

Девки сидели немного чинно и как-то связанно, изредка они перекидывались словами, чаще подруга с подругой перешептывались; видно было, что чего-то недоставало, что веселье не началось еще. В углу баба, уж немолодая, низенькая, худощавая, с лицом холодным и озабоченным, что-то возилась и хлопотала у печки. В другом углу, у двери, стояли три или четыре парня и между ними хозяйский сын, Федюшка, с своим крестовым братом [32], Антипом. На полатях, в самой середине, какая-то голова, вся обросшая курчавыми волосами, облокотясь на сложенные руки, спокойно и неподвижно глядела вниз, а около нее так же глядели две беловолосые детские головки, — и все чего-то будто ждали.

Вдруг распахнулась дверь, и в избу словно вплыла какая-то баба.

— Федосевна! Тетка Федосевна! — сказали все.

Тетке Федосевне можно дать на взгляд лет под сорок. Это была баба невысокая, толстая и спокойно-самоуверенная. Ее лицо, изрытое оспой, с приплюснутым носом и бойкими серыми глазами, смотрело чинно и степенно. Она вошла, остановилась, три раза перекрестилась перед образом и потом обратилась к бабе, хлопотавшей у печки.

— Здорово, мать-Васильевна, — сказала она с поклоном, подошла и три раза поцеловалась с хозяйкой.

— Здорово, Федосевна, — отвечала та.

— Здорово, красны девицы! Мир честной компании! — сказала она, развязывая платок.

— Здорово, тетка Федосевна, — отвечали девки.

— А что ж это вы, красные, собрались да поджав руки сидите? Ноне можно и песни спеть — святки честные справить как след.

— Да тебя ожидали, тетка Федосевна, — сказала Дуня. — Ты у нас всему уряд: справишь и наставишь.

— О-ох вы, молодежь! Ну да твое дело, Дуня, неразумное, ты же и впервой еще, а вот вам бы, девушки, и неча чужа ума ждать, самим пора бы все знать да и других научать. Ну да уж давайте, делать нечего.

Девки с удовольствием расступились, пустили Федосевну на почетное место, в передний угол, и смотрели ей в глаза.

Федосевна уселась, спросила блюдо, хлеба, соли и угля и принялась устраивать подблюдные песни [33].

Приказания Федосевны исполнялись точно и беспрекословно. Все, что Федосевна делала, было проникнуто какою-то торжественностью, обрядностью. Она делала свое дело с твердою уверенностью знания, спокойное лицо ее приняло несколько важное, озабоченное выражение, и в нем была видна твердая и полная вера. В поданное блюдо, звеня, падали медные кольца и серьги, потом закрыли блюдо и под их мерный звяк тонкие и дружные голоса протяжно, торжественно запели «Славу» [34]. И славили они «Бога на небе», «государя нашего на сей земле», и славили они Русь святую, и чтоб правда была на святой Руси, славили ее реки вольные, чтоб большим рекам слава неслась до моря, малым речкам до мельницы, и хлебу песни поют, хлебу честь воздают. И потом: «Покатилось зерно по бархату», и «Идет кузнец из кузницы», и «Летит сокол по улице», и «Поскакал груздок по ельничку»... и прочее [35].

Долго пелись эти песни, и, смотря по тому, что сулило будущее каждой девушке, лицо ее веселело или задумывалось. Если девушки не знали значения которой-нибудь из песен, они обращались к тетке Федосевне, и Федосевна разрешала их недоумения, сказывала счастье счастливой, утешала несчастливую.

Хорошая песня выпала на долю Дуни.

— Быть те-е нонишний год замужем беспременно, вышла на долю ровня счастливая [36], — сказала Федосевна. — Гоже тебе, что вышла ровня, — и через золото слезы льются, мать моя!

Дуня осталась довольна, а Антипка из угла посмотрел на нее, хотел что-то сказать, да только крякнул.

Но не такова была доля Васены. Золото и жемчуг и камни самоцветные вышли ей в песне, но песня эта имела неопределенное значение [37]. Одни говорили, что к богатству, другие — что к несчастью.

— Растолкуй, тетка Федосевна, — сказала Васена, и светлые глаза ее беспокойно ждали ответа.

— А много значит эта песня, девка, много разного значит: али богатство большое, али что недоброе... А попрос-

ту, девка, по моему разуму: нет еще нонишний год никакой те-е судьбы... Ну да молода еще ты, мать моя, и подождешь: годик еще, чай, семнадцатый?

— Шестнадцатый, — сказала Васена.

— Что ж, и постарше тебя есть, да ждут божьей благодати...

Одно кольцо осталось только в блюде и одиноко звякало [38]. Было около полуночи. Федосевна, а с ней и девки встали и начали собираться по домам.

— А чье кольцо осталось? — спросила Федосевна.

— Мое! — отвечала девка высокая, бледная и уж не первой молодости.

— Экая ты бесталанная! — сказала с участием Федосевна. — Не выходит те-е судьба твоя! А можно узнать ее, мать моя, — сказала она тихо. — Возьми ты это кольцо и хлебец возьми, и ступай ты в полночь в овин или в баню — слушать.

— Не надо-ть, — отвечала девка грустно и равнодушно, — я свою участь знаю.

Федосевна прищурилась, поглядела на нее и спросила тихо:

— Смотрела?

— Смотрела, — так же тихо отвечала девка.

— Видела?

— Видела, — отвечала она.

Гурьбой вышли девки и парни из избы, и вскоре говор их послышался за воротами, разбрелся по деревне и мало-помалу замолк. Васену оставила Дуня ночевать у себя, оттого что далеко ей идти было. Они хотели уж ложиться спать, как вдруг дверь отворилась и Федосевна поманила их. Они вышли в сени.

— Нарочно, голубки, воротилась для вас, — сказала Федосевна. — Вы девки молодые, ничего не знаете, а при людях не след мне вам было говорить. Хотите попытать судьбу свою и узнать все вдосталь наверное?

— Как же это, тетя? — шепотом говорили они.

— А много случаев есть. В бане сидеть хотите?

— Вместе?

— Коли вместе, вместе ничего не будет.

— Боюсь, — сказала Дуня.

Федосевна посмотрела вопросительно на Васену.

— И я боюсь, — нерешительно сказала она.

— Не в бабушку ты, видно, пошла, — сказала Федосевна. — Та, не к ночи молвить, и пострашней не боится.

— Что те-е баушка! — сказала с упреком Васена.

— Ну, да я так только, к слову пришлось. А ты девка добрая. Так что же, мати мои, на перекресток с зеркальцем тоже боитесь?

Девки задумались.

— Ну так я вам вот что скажу, это дело не страшное, а верное, и сегодня день такой: выйдите вы в полночь за ворота и зажмурьтесь вы и повернитесь три раза, коя как встанет, и взгляньте вы на небо, и коль увидит коя **стожары** на правой руке — и быть той замужем, а коль увидит коя **девичьи зори** — годовать той в девках беспременно[39]. Ну, прощайте, красные, спать пора...

— Спасибо-те, Федосевна! — сказали девки.

Федосевна ушла, и девки воротились в избу.

Около полуночи в одном углу темной избы послышался шепот, тихо встали обе девки, накинули на плечи шубенки, которыми были одеты, и вышли. На дворе было темно, месяц уж закатился, но тем ярче и виднее на синем небе блестели и мерцали крупные и мелкие звезды. Дуня и Васена вышли за ворота, постояли недолго и, говоря о чем-то вполголоса, возвращались. Вдруг в сенях кто-то остановил Васену за руку.

— Что, Васена, видела? — тихо спросил кто-то.

— Пусти, Федюха! — отвечала она.

— Да что?

— Плохо!

— А ты, Дуня? — робко сказал другой голос.

— Антипка, ты как здесь?

— Я остался у крестового. Что, Дуня?

— Гоже! А те-е что за дело?

Неизвестно, что отвечал ей Антипка, только она вдруг рванулась сердито и прикрикнула: «Ну-у! Мотри ты у меня!» — и обе девки проскользнули в дверь и тихонько улеглись на лавке.

Я не знаю, как обозначать время в этом странном уголке, где нет ни лет, ни месяцев, ни чисел. Знаю только, что вскоре после описанных происшествий, раз утром, когда солнце только что вставало над деревушкою и над каждой избой, точно белые султаны, высоко-высоко в небо подымались и стали, не шелохнувшись, прямые и ровные столбы дыма, — какой-то крестьянин, только что проснувшись, вышел в одной рубахе на крыльцо и, почувствовав сильнейший мороз, флегматически заметил: «Трещи

не трещи, а минули водокрещи» [40]. Знаю, что были потом, как следует, морозы афанасьевские, за ними тимофеевские и наконец последние, сретенские [41]. Вот пришли и капельники, и плюшники, начались с сороков сорок утренников [42]. Алексей — с гор потоки пролил, Дарья испортила проруби, пришли на Марью пустые щи, и вот Федул — теплый ветер подул [43] и весна землю вспарила. Тогда, стряхнув с себя снег и солому, бодрее выглянули на теплое солнышко темные избушки, яснее обозначилась одна из них, отшатнувшаяся к полю и лесу, на стражу каменных развалин. Теперь пора сказать, кто были ее жильцы.

Давно, очень давно тому назад, когда ветер не сорвал еще крыши и ставней с каменного дома, а стоял он просто заколоченный, жил в новой избе, заслоненной этим домом от вьюги и непогоды, некто Терентий Бодяга, отчасти садовник, а больше коновал, искалеченный лошадьми, которых он пользовал, и оставленный за увечьем сторожем при доме. Жил Бодяга с женой своей, Никоновной, и дочкой, Ариной, и жил довольно долго. Время шло, дом разваливался и входил в землю, Бодяга вошел в нее окончательно, зато у дочери его Арины, словно из земли, выросла дочь Василиса. В один прекрасный день девица Арина неизвестно куда отлучилась, и с тех пор прошло много дней, и прекрасных, и дурных, но Арина не возвращалась, и осталась в избушке одна бабушка Никоновна с внучкой Василисой, или, как ее звали в деревне, Васеной. И жили они хоть и не в довольстве, но и без большой нужды, а чем жили — никто не знал: сберег ли и оставил деньгу про черный день коновал Бодяга, старуха ли его Никоновна добывала ее своим ремеслом — неизвестно, но недобрые слухи ходили в маленьком мире сельца Ознобихи про Никоновну и ремесло ее. А ремесло это состояло в лечении разных недугов разными средствами — травами и нашептываньем, и говорили про старуху, что не чисто ремесло ее, что водит она знакомство с личностями более или менее невидимыми в крещеном мире и что иногда в глухую ночь совершает она дальние путешествия при помощи метлы, выезжая на ней в дымовую трубу.

Нельзя заверить в том, чего не знаешь наверное, но действительно странен и страшен был вид дряхлой старухи, когда она в бурю и непогодь шла иногда, согнувшись над клюкою, в поздние сумерки из темного леса, несла пучки каких-то трав, шла тихо, тряся старческой головою, и все что-то шептала, что-то шептала.

Когда грозила кому-нибудь напасть близкая, когда что недоброе творилось в семье или недуг злой и непо-

нятный медленно грыз и изводил кого, тогда, полные сознания в силе и убежденные в сведениях Никоновны, вечером с узелком в руках пробирались задами к ней люди нуждающиеся, и хоть старуха была ворчлива и неприветлива, но помогала многим своим таинственным знанием. Несмотря на это, косо смотрел деревенский люд на старуху, хотя и боялся ее, боялся ее глаза впалого и черного, боялся ее шепота, никому не понятного, боялся, чуждался и не любил ее. И из всего большого и меньшого люда Ознобихи только одна Васена, смуглая и хорошенькая девочка, долго бегавшая в одной рубашонке, не боялась старухи: умаявшись днем, она доверчиво припадала русой головкой к чахлой и хрипящей груди старухи и сладко засыпала под ее таинственный шепот.

Время шло. Старуха Никоновна, словно завороженная от его власти, все оставалась такой же старухой Никоновной, все таскалась в лес за травами и шептала. Но Васена выросла, выровнялась и из хорошенькой девчонки сделалась хорошенькой девушкой, и шире раздвинулся перед ней маленький мир, раздвинулся из четырех стен избушки во все пространство сельца Ознобихи. Красота и молодость сняли с нее недобрую славу, тяготевшую над ее родною кровлей; молча, косясь, приняли ее деревенские девки в свой тесный кружок, и из них Дуня, ее сверстница, сделалась даже ее подругой.

В тот неизвестный год, когда воображение занесло нас в Ознобиху, грачи прилетели прямо на гнезда, и весна была дружная. Она пришла рано и, может быть, поторопилась оттого, что на Красную Горку ее дружно закликали девки [44]:.

Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью,
С великою милостью!

И пришла она для мужиков

На сошенке,
На бороночке,

а для девок с веселыми хороводами.

Вечером, перед закатом солнца, подоив коров и загнав скотину, собирались девки и парни на лугу у околицы, неподалеку от Федосевниной избы, и затевали игры. Завидя их, выплывала своей утиной походкой и сама Федосевна. Тогда девки и парни приставали к ней, и она, поломавшись малую толику, принимала участие в их играх, и игры эти шли стройней и веселее: то входила Федосевна

в круг, садилась и дрему дремала, а меж тем, сцепясь рука с рукою, медленно ходил под лад тихой песни пестрый кружок молодежи; то, сходясь и расходясь стена с стеною, они просо сеяли, то заплетались плетнем; то спрашивали друг у друга новости.

Спрашивали молодые бабы у старых: что в городе вздорожало? И отвечали старые:

Вздорожали молодые бабы:
На овсяной блин по три бабы,
А четвертая провожата,
А пятая на придачу.

Спрашивали ли о том же молодые парни, отвечали им молодые бабы:

Вздорожали добрые молодцы:
По восьми молодцов на полденьги,
А девятый провожатый,
А десятый на придачу.

Спрашивали ли девки у добрых молодцев: что вздешевело? Добрые молодцы отвечали:

Вздешевели красны девушки:
По сту рублей красна девица,
А по тысяче девице на косицу.

Но чаще в замкнутый круг входили мужчина и женщина, тут разыгрывались простые сцены простой ежедневной жизни: ревнивый муж жену ревновал, жена ругала мужа-пьяницу, и горько жаловалась иная молодка на сноху или свекровь.

Только странно как-то случалось, что, коль нужно было выходить парню с девкой, выходили большею частью одни и те же пары, и из наших знакомых часто выходили Васена с Федюшкой и Антип с Дуней. Говорил парень девке: «Бог на помочь, красна девица», а красна девица гордо проходила мимо и ему не кланялась, и тогда, надев шапку набекрень, приосанившись, грозил парень девке заслать сватьев и за себя взять, и будет тогда девка у кроватушки стоять, будет белы руки целовать, будет девка держать шелкову плетку в руках. Смирялась гордая девка и, потупясь, отвечала:

Я думала, что не ты идешь,
Не ты идешь, не мне кланяешься.

Хоровод, тихо снуя, пел в кругу, молча разыгрывалась простая драма, а между тем солнце давно уж село, вот

и месяц показался на небе, седой туман вставал густой тучей и ложился холодной росою, а в лесу кто-то странно то стонал, то хохотал. Торопливо расходились девки по домам, и тогда по узкой тропинке пробиралась в свою избушку Васена, и часто Дуня провожала ее, и за их мелькающими и размахивающими в темноте белыми рукавами виднелись две какие-то темные фигуры в смурых кафтанах.

Известное дело: лягушка квачет — овес скачет [45], на Петров день солнце поворотило на зиму — лето на жары [46], пришла убогая вдовица-купальница [47] — и наступил сенозорник [48] — лета макушка. Сбил он у мужика мужицкую спесь, что некогда и на печь лезть; и баба бы плясала, да макушка лета настала; а все это оттого, что на дворе пусто, зато в поле густо [49], и это широкое поле, густое желтым хлебом и зеленой травой, надо было сжать и скосить.

И вот однажды почти весь женский люд деревни Ознобихи возвращался с покоса. Дни перед тем стояли жаркие и ведреные, много рядов подкошенного сена полосами лежало на лугу и быстро высыхало, надо было убрать его до дождя, а дождь был на носу. С утра облака ниже и сизее начали сбираться на небе; завидев их, быстрее закипела крестьянская работа, и вот, еще задолго до заката, мужикам оставалось только дометать и свершить стога, а бабы, собрав и свозив сено, торопились до дождя к домам, и они шли пестрою гурьбою с граблями на плечах и звонкой песнею, а между тем небо все темнело и темнело, густые сизые тучи почти сплошь заволокли его, в спертом воздухе становилось уж не жарко, а нестерпимо душно.

«Быть грозе того и гляди!» — подумали бабы, торопливо прибавили шагу — и песня замолкла.

И как будто вместе с песнью замолкло все в природе: лист не шевелился на дереве, птица не щебетала в воздухе, и стала кругом непробудная тишь, и страшно что-то стало на сердце... Но деревня уж недалече. Вон перелесок, вдоль его опушки на белой лошади какой-то охотник пробирается рысцой к дому, теперь только поворотить направо и по задам прямо в деревню, ее еще не видно за кустами, но вдали, на сером грунте потемневшего и грозно нахмурившегося леса, уж виден голый остов камен-

ного дома, и возле него маленькая избушка Никоновны, как будто присевшая от страха, стоит скривленная и тщедушная, робко глядит чуть видными окнами и ждет грозы...

Вдруг... Что это? Что это?

В воздухе показался красноватый свет, но это не свет молнии. Все головы запрокинулись разом и видят: летит над ними огненный шар, летит медленно от Чортова Болота, широко разметав свой огненный хвост... Тихо летит в густом неподвижном воздухе, среди грозной тишины, спускается ниже и ниже и с треском и с искрами рассыпается над трубой избушки...

Обомлела толпа и стала как вкопанная, и в молчаливом ужасе переглядывались бледные лица.

— Змей огненный! — пронеслось по толпе.

— К Никоновне, — тихо сказал кто-то.

— Нет! Недавно видели, как Никоновна, опираясь на палку, трясясь и шепча, плелась к лесу.

— К Васене! — еще тише сказал кто-то, и угрюмое молчание толпы подтвердило страшный приговор бедной девушке.

Гром зарокотал над лесом, крупные капли дождя начали падать, толпа повернула в пролесок и, крестясь и запыхаясь, бежала по домам, и только слышен был говор: «К Васене!» «К Васене!»

А между тем что делала бедная Васена?

Проводив бабушку, которую не пыталась отговаривать идти в лес, потому что знала бесполезность попытки, знала, что есть у нее неизменный день и неизменный час для сбора той или другой травы и что не много может непогодь над ее окостеневшим телом, Васена отворила окошко, села у него с чулком и тихо запела песенку. Не знаю, что пела она, но перелив ее длинной песни был спокоен и безмятежен. Правда, была какая-то затаенная грусть в ее напеве, но грусть без тоски и печали — это ровная и тихая грусть русской песни, в которой отразилась вся неизбежная ровная и тихая грусть целой жизни.

И пела Васена свою песню, о чем-то раздумывая, как она привыкла раздумывать в длинные дни одинокой жизни, пела она, как поют птицы вольные да молодость беззаботная, оттого только что им просто поется, и не видала Васена грозы, которая собиралась над нею, грозы в воздухе, и не чуяла сердцем другой, более страшной грозы, а между тем та и другая собирались молча. И вот стало темно и душно, и вот что-то сверкнуло в воздухе, треск послышался над головою Васены и серный запах

разлился по избушке, искры блеснули кругом, и едва успела Васена отскочить от окошка, едва, бледная от страха, занесла она руку, чтоб оградить себя крестным знаменьем, — глядь! прямо перед нею стоит какой-то красавец...

Когда в следующее воскресенье собрались девки и парни по обыкновению к околице, супротив Федосевниной избенки, уж не хоровод водить, потому что их пора миновала, а просто поиграть в горелки, под вечер пришла туда и Васена. Она была далеко лучше, чем в первый раз, когда мы ее видели зимою. Умывалась ли она мартовским снегом, вешней росою или первым дождиком, дала ли ей какого-нибудь снадобья ее бабушка, или сама мать-природа, щедрая летом, убрав лес зеленою листвою, луг пестрыми цветами, наделила Васену полною красой. И Васена развернулась, как почка на дереве, расцвела, как цветок в поле. Ее гибкий и стройный стан стал мягче, обрисовался круглее, мало коснулся загар лица ее, но румянец на смуглых щеках играл и пробивался сильнее, полевая работа не огрубила тела ее, как она огрубила и зачернила ее белоликих подруг, — лучше всех по деревне стала Васена, лучше стала и наряднее, а между тем — смотрите! — только подошла она к играющим — и как-то затих их говор и смех, поклонилась она — ей никто не кланяется, робко сторонятся от нее подруги, неохотно парни играют с ней, и самая игра скоро прекратилась. Как будто что-то связывало и стесняло ее беззаботное веселье. Заметила это и Васена, заметила и сама смутилась, и сама стала в сторону.

Одна только Дуня, пользуясь сумерками и разбродом, подошла к Васене и тихо сказала:

— Васена, что это с тобой?

— А што?

— Про те-я неладно бают у нас.

— Да што бают? — несколько нетвердым голосом спросила Васена.

Дуня затруднилась как будто отвечать ей.

— Да кто у те-я был ономнясь, в грозу? — сказала она.

— А ра-е видели кого? — тихо спросила Васена, и видно было сквозь темноту, как румянец во всю щеку вспыхнул у нее на лице.

— Вся деревня видела, бабы с поля шли. Я ногу наколола, так не ходила на сенокос, а то все бают: видели, как он спустился.

— Кто спустился?

— Да змий, что ли, огненный...

Побледнела Васена при этом страшном слове, но вскоре оправилась, и даже, казалось, улыбка пробежала по ее алым губам.

— Эк сплели! — сказала она. — Пусть их бают! Язык без костей, все мелет!

— Да с чево ж это взяли? Ведь вся деревня видела... — недоверчиво заметила Дуня.

— Али и ты туда же? — сказала Васена. — Пожалуй, верь!

Дуня задумалась немного.

— Прощай, Васена. Мне мама заказала и говорить с тобой, — сказала она, взглянув на Васену и как будто ожидая, что та разрешит ее сомнение.

— Прощай! — холодно заметила Васена.

Дуня, задумавшись, повернула к деревне, а Васена, взволнованная и возмущенная, быстро пошла по тропинке, протоптанной к ее одинокой избе.

Она вышла уж в поле — и вот видит: чья-то тень появилась из-за задов и стала скоро приближаться. Васена не останавливалась, не оглядывалась и бойко шла, но тень все приближалась, и узнала Васена Федюху, в смуром кафтане, наброшенном на плечи.

— Постой, Васена! — сказал Федюха.

— Ну, что те-е? — сердито сказала Васена.

Федюха был немного озадачен ее голосом, он привык ее видеть доброй и ласковой.

— Да я все хотел спросить те-я, — заметил нерешительно Федюха, — у нас бабы бают... — он замолчал.

— И ты тоже? Што ж бают? Про змия огненного? — сказала громко Васена, вдруг остановясь. — Што ж, правду бают! Прилетал он, ударился о землю и стал предо мной красавцем, да таким красавцем, што ни в сказке сказать, ни пером написать... Ну, што ж те-е? Те-е што за дело?

— Как что за дело? — пробормотал оторопевший Федюха.

— Ну да, что же те-е за дело? Жена, что ли, я твоя? Прилетал раскрасавец, не те-е чета! Проваливай! — сердито сказала она, повернулась и пошла быстро прочь.

Постоял немного на месте Федюха, почесал затылок

в раздумьи и, пробормотав: «Что за притча такая?» — побрел тихонько домой.

Не знаю, что была за притча и какая была причина дурного обхождения Васены с Федюхой и холодного с Дуней: возмутили ли ее слухи деревенские, обуяла ли гордость грешная, — только и сама Васена отшатнулась от подруг, которые, видимо, чуждались и избегали ее, и осталась Васена одна в своей избушке, одна, с старой бабушкой, а коль случалось Васене проходить деревней, гордо и одиноко проходила она ее, и никому в деревне она не кланялась, и никто из деревенских с ней не разговаривал.

Но недолго продолжалось это. Стали люди замечать, что Васена будто худеет и задумывается. Действительно, стала Васена задумываться, начали бледнеть ее румяные щеки, и часто видели мимоходом, как она одиноко сиживала на завалине, пригорюнясь. Скучала ли Васена одиночеством, грусть ли тайная гнала ее, или тяжело ей стало бремя людской молвы, бремя мирского презрения и отчуждения — тяжкое бремя во всяком кругу, во всяком мире, раскинут ли он в многодомных городах, замкнут ли в бедной и малой деревушке. И не без удовольствия заметили люди эту перемену: в ней они видели подтверждение своей страшной догадки. Известно всем, какова жгучая любовь того существа, которое летит по небу змием огненным, прилетает к красным девкам и является чудным молодцом. Жжет эта любовь молодое сердце, крушит свежие силы, сохнет и вянет та красавица, на которую падет эта страшная любовь! И стала мало-помалу сохнуть и вянуть Васена...

Но не в одной Васене произошла дурная перемена — задумался и Федюха, доселе ни над чем не задумывавшийся. И он переменился. Болел он душою и за Васену, над которой тяготела людская молва и с которой произошла какая-то непонятная перемена, болел и за себя, потому что Васена совсем переменилась к нему. Встретится ли он с ней, поклонится — она поклонится неприветливо, заговорит ли с ней — отвечает неласково. Неласкова и неприветлива, например, и сестра его Дуня с крестным братом Антипкой: вечно шпыняет, или толкнет, или выбранит. Да то совсем другое: в ее грубом обхождении была своего рода короткость или ласка, сквозь крупное и сердитое слово проглядывала привязанность — такова уж была Дуня, так выражалось ее чувство. Но не так в доброе старое время выражались привязанность и ласка Васены: голос ее был мягок, слово приветливо!

Конечно, мало верил Федюха бабьим сплетням, на то он был мужчина. Мужик бабью речь в одно ухо впускает, а в другое выгоняет, молчит себе, только в бороду глядит и не поперечит, а свое смекает, и что думает, то держит себе на уме. Но Федюхе было осьмнадцать лет, и шибко полюбилась ему Васена, и шибко задевала его за сердце ее видимая перемена, и работа у него не спорилась и от рук отбивалась, а страда была в самом разгаре, и крепко нужны в эту пору крепкие руки для тяжелой и спешной работы.

Раз — было это около бабьего лета, то есть когда лето уже миновалось и желтый да яркокрасный лист зашелестели на деревьях — раз Федюха, напоив лошадей, вместо того чтобы поужинать да лечь спать после трудового дня, стоял, прислонясь к плетню, да бессознательно глядел на околицу. Видит он — идет Антипка по улице и, завидя его, подошел к нему.

— Што, Федюха, ты все тово... — сказал он. — Ведь, чай, и спать пора.

— Да што, брат, плохо! — отвечал Федюха. — И сон на ум нейдет!

Антипка хотел, казалось, сказать ему что-то, да, верно, не придумал и молча стал тоже у плетня.

— Работа из рук валится, — продолжал Федюха,— так бы, кажись, на свет не глядел. Какая тут работа, и батька бранится: што ты, баит, за себя работника, што ли, нанял? или мы, баит, на те-я работники? Хлеб-то, баит, сам для те-я в закромы ляжет да печеный в рот полезет, а твое дело—жевать только? Во на старости лет кормильца какова себе взростил... И мама тоже, да все больше молчком берет, только ономнясь сижу я тоже этак да спать нейду, а она увидала меня да и говорит: что, баит, спать не идешь, или все о Васене думаешь? ишь нашел, баит, раскрасавицу, у нечистого, прости бог, што ли, перебить захотел...

— А вправду, брось ты ее, Федюха, — сказал Антип,— выкинь ты ее из головы.

Федюха усмехнулся:

— Выкинь! А как ее выкинуть? Сор, што ли, это какой? Сам вижу, что плохо и правду они бают, да што будешь делать — не могу!

— Да што же это с Васеной-то сталось? — сказал Антип.

— В толк не возьму, — отвечал Федюха. — Уж я и подсматривал, раза два в избу к ней в полночь заглядывал — ничего! темно! А раз и видел... да немного.

— Э?

— Да! Пошел я этто как-то с неделю назад тоже поглядеть, прошел мимо избенки — ничего. Вот я и залег в траве, и лежу. Лежал, лежал, близь полночи уж, чай, было на дворе, стожары высоко так взошли, вдруг слышу — скрипнула дверь... глядь — выходит Васена... Вышла она, на плечах шубенка накинута. Осмотрелась этак да и пошла к старому дому, почитай возле меня прошла. Я все лежу, молчу, гляжу, што будет. Вот подошла она к дому, села лицом к лесу, кругом, знаешь, все видно, села и сидит — такая бесстрашная! Вот она сидела, сидела этак, знаешь, подгорюнившись, сидела, сидела, вплоть до петухов и петухи пропели — все сидит. Потом слышу — вздохнула этак, поднялась, посмотрела кругом и пошла к избушке. Как поровнялась со мной, я не вытерпел и встал. «Кого, я говорю, это ты ждала, Васена?» Как она отскочит! Испужалась больно, а потом, как узнала меня, да и напустилась... «Што, баит, коли ночью в избе не спится, так нельзя и на двор выйти? Што ты мне за дозорщик? Днем, баит, от людей проходу нет, да и ночью-то тоже! Этто, баит, дрожжец надо было, подошла я к вам, думала у Дуни попросить, да наткнулась на мать твою, так мало она меня позорила: и, баит, чернокнижница-то я с бабушкой, и еретичка-то, и, баит, нам с ней людей только изводить да лиху болезнь напускать... и во двор ходить запретила, а тут ты еще досматривать пришел! Што, баит, я твоя жена ра-е или полюбовница? Ввек не буду ей!» — а у самой глаза так засверкали...

— Ну, што ж ты?

— Да што, я сначала-то так и опешил, а потом маленько оправился. «Васена, говорю ей, а у самого голос так и дрожит, Васена, говорю, ра-е я для лиха за тобой подсматриваю, ра-е мне не тяжело, говорю, ночей не сплю, все о тебе думаю: что, думаю, с ней сделалось, рассердил, что ли, я ее чем, отчего я ей опостылел так? Бабы на те-я невесть што сплели, все отшатнулись от те-я, я один не отшатнулся! Вспомни, я говорю, Васена, так ли жили мы с тобой?»

— Ну, а она што ж?

— Она словно и разжалобилась. Вздохнула да и говорит: «Не вспоминай, баит, Федюха, что было: что было, то сплыло и быльем поросло. Спасибо, баит, те-е за любовь твою и за ласку, только не труди ты ими и себя, и меня. Много, баит, у меня и без тебя горя, не прибавляй ты его ночным дозором да встречами, люди, баит, увидят — еще больше сплетут, и коль любишь меня, дай мне

зарок и не подходить ночью к избе, а то, баит, ввек не прощу и слова не вымолвлю с тобой». Дал я ей зарок и заклятье, только, говорю, не сердись на меня, хотел было, знашь, за руку взять, а она вырвала ее да таково жалостно говорит мне: «Прощай, говорит, Федюха, не та стала я теперь...» — взяла да и убежала... Поглядел я ей вслед — сердце так вот захватило, инда слезы прошибли, и пошел домой...

— Это дело! — сказал Антип. — Так ничего и не узнал?

Федюха задумался и потом ударил кулаком по плетню, так что тот затрещал.

— Нет мочи моей! Невтерпеж совсем, надо порешить чем-нибудь! — сказал я. — Дал я Васене зарок не подглядывать за ней — и не буду, а не давал зарока узнавать, кто крушит и изменил ее, не давал — и узнаю!

— Да как же ты это узнаешь?

— То-то вот как: думал баушке Никоновне поклониться. Уж кабы она взялась, так уж сделала бы дело. Хоть нечистому душу бы продал, да узнал наверное! Только не пойдет Никоновна против внучки. К Федосевне ра-е?

— А што, и взаправду! Оно, знашь, Федосевна супротив Никоновны не постоит, а однако все-таки тово... смекает дело...

— Пойду, попытаюсь, — сказал Федюха и отправился.

— Скажи, мотри, што она-те скажет!

— Ладно.

Они разошлись в разные стороны, но Федюха предварительно завернул в клеть, покопался там что-то и отправился.

В маленьком мире сельца Ознобихи тетка Федосевна была не последняя спица в колеснице. Никто не заподозревал ее в знахарстве или коротком знакомстве с личностями, известными под именами нечистых, но нужно ли было свадьбу сладить, игры снарядить, больного ребенка с уголька умыть или совета спросить — за всем и про все шел деревенский люд с поклоном к Федосевне, и шел недаром: знала Федосевна всякий уряд и порядок, знала все, что, когда и как творилось в старину, следовательно, знала все, что́, когда и как должно твориться и нынче, должно нерушимо перейти и к потомкам. Немало знала она и того, что творится в каждой семье и избе. И от всех

был Федосевне почет за ее знание, и поило, и кормило это знание Федосевну.

Несмотря на довольно позднюю пору, в избушке Федосевны был еще огонь, а сама хозяйка что-то копошилась у печки, когда пришел к ней Федюха. Он снял шапку еще в сенях; войдя, три раза перекрестился и низко поклонился Федосевне.

— Здорово, родной. Зачем бог принес? — сказала она.

Но Федюха вместо ответа полез в карман, вынул двугривенный с дырочкой и, звякнув им, положил на стол. Увидев приношение, Федосевна с своей скорой перевалкой подошла к столу, стерла с него тряпицей пыль, чинно села на лавку и приготовилась слушать.

— Прими, тетка Федосевна, не побрезгуй, — сказал Федюха, — только пособи горю.

— Вперед не приму, родной, ни зá-што не приму, а коль увижу, что могу пособить, тогда дело иное, — сказала она. — Што ж тебе?

— Да так и так, Федосевна, от тебя неча таить, — продолжал Федюха и рассказал Федосевне свое горе.

Лицо Федосевны, чинное и неподвижное, приняло задумчивое выражение, хотя ее серые маленькие глаза и часто поглядывали исподлобья на рассказчика, словно хотели уловить и выпытать его тайные думы, но на открытом и отуманенном горем лице Федюхи не было ничего скрытого.

— Ох, родной, недоброе творится с твоей Васеной! — таинственно сказала потом Федосевна. — Повадился к ней опасный гость, не совладать тебе с ним и не устоять супротив него!

— Слыхал я это, тетка, да плохо верится, — заметил Федюха. — Научи ты меня, как увидать ворога, дай ты мне увидать его — в этом и просьба вся моя.

Федосевна задумалась не на шутку, хотя и говорила нерешительно:

— Можно... Оно, пожалуй, можно... В избу в полночь глядел? — прибавила она.

— Глядел и больше не буду: я сказал те-е, што зарок дал, — сказал Федюха.

— Ну, коль ты не побоишься, так сделай ты, парень, вот што, — надумала Федосевна. — Возьми ты нож острый, и ступай ты в лес, чтó позади Никоновниной избы, и выдь ты в ночь на раздорожицу, а ноне же кстати и ущерб начался, обведи ты ножом круг около себя и воткни нож посередь круга, и сам в нем стань. И жди ты первую ночь до первых петухов; коль никого не увидишь, то

вторую жди до вторых петухов, а на третью жди до третьих петухов, и коли тут уж ничего не увидишь, так, значит, те-е талану нет. А вот те-е ладонка: на себя надень — с ней ничего те-е не будет.

Она пошла в сундук, порылась, достала ладонку и отдала Федюхе. И Федюха вышел от нее, довольный советом.

«Всё ему, горемыке, с ножом-то ничего не приключится», — подумала Федосевна, запирая дверь.

В некоторых местах России, где в давние времена сходились и бились неведомые враждебные племена и ряды низких курганов над костями падших в бою да молва народная сохранили темное предание о забытых битвах, — в этих местах есть поверье о **белом коне** [50]. В годовщины битв, говорит оно, в темную полночь зажигаются огоньки над могилами и слышится свист молодецкий, и на этот свист, откуда ни берется, и выбегает белый конь, и мчится, развеяв по ветру гриву, между могил, жалобно ржет и ищет в течение веков верный конь своего падшего в бою всадника.

Неизвестный год, который шел над нашими действующими лицами, не был, как и все предыдущие и многие последующие, отмечен местными жителями той или другой цифрой, но был он памятен знамениями небесными и явлениями чудными, и эти знамения и явления крепче всякой цифры сохранят его в народной памяти, и предания о нем долго будут передаваться в длинные зимние вечера у дымящейся лучины дряхлой бабушкой трепещущему от страха и любопытства внучку. Летом в тот год видела вся деревня змия огненного, осенью пронесся слух, что в лесу, близ поляны и заросших бурьяном и кустами курганов, слыхали по ночам свист молодецкий и видали белого коня, прядущего во тьме меж могилами.

Несмотря на эти слухи, несмотря на то, что неподалеку от поляны была раздорожица, где должен был стоять Федюха, несмотря и на то, что не знал он, с кем лицом к лицу предстояло ему встретиться, в эту же ночь, выйдя от Федосевны, взял наш парень нож острый и пошел в лес на опасное свидание.

Месяц был на ущербе. Поздно поднялся из-за леса его тонкий полуистаявший серп и осветил уж Федюху в лесу на раздорожице. Стоял Федюха под навесом дуба, который

растянул над ним свои кривые полуобнаженные ветви. Справа и слева бог весть откуда бежали и сходились две узкие дороги и прямо перед лицом полуночного сторожа сливались в одну, выходящую на зады избушки Никоновны. У ног Федюхи, воткнутый в землю, блестел острый нож.

Но месяц едва показался и скрылся. На темном осеннем небе заблистали звездочки, пожелтелый лес слабо шумел сухими листьями. Долго стоял Федюха, всматриваясь в темноту, прислушиваясь к шороху, — и ничего он не видал и не слыхал, кроме темноты и шелеста. Чу! Какой-то ранний петух, никак, закричал на деревне, слабо долетел его крик по лесу, вот подхватили его и сильней разнесли другие петухи. Вздохнул Федюха, вынул нож из земли и побрел домой.

Наступила вторая ночь. Месяц еще тощей и еще бледнее, словно трудно больной, собравший свои последние силы, опять приподнялся и уж едва выглянул над лесом. Опять увидал он Федюху на прежнем месте, осветил его минуту слабым лучом и тотчас же опустился. И Федюха, как месяц, был, казалось, бледней и худее вчерашнего, но, несмотря на усталость и душевную тревогу, бодро ждал неизвестной встречи. А небо все темнело и темнело, едва видные звезды мерцали в вышине, полночь спускалась на землю, и тишина стала по лесу. Долго ждал Федюха в темноте и тишине, и вот слабый крик петуха-запевалы долетел до него, другие подхватили этот крик и, как проснувшиеся сторожа, протянули его и разнесли по деревне и потом снова смолкли и уснули. Тогда изредка тихий треск послышался по лесу, видно, проснулся зверь голодный, видно, птица ночная реет между ветвями, и черная тьма осветила для нее то, что скрывает божий свет. Федюха все стоял, сердце его билось сильнее, чуткое ухо пугливо прислушивалось, и взгляд, привыкший к темноте, тревожно всматривался. Но опять напрасно ждал он: в другой раз запели петухи. Вынул Федюха нож из земли и, теряя надежду, побрел к дому, опустив голову.

И вот наступила третья ночь — темна, неприветлива, сошла она на землю. Не было на небе ни звезд, ни месяца, словно не хотелось им выходить в такую ночь на обычный дозор. А между тем вышел в эту ночь на свой дозор наш ночной сторож. Закутанный в осенний мрак, угрюмо стоял обнаженный лес, простирая во тьме сухие искривленные ветви. Угрюмее его стоял Федюха на своем месте, и не один осенний мрак наложил темные тени на его лицо. Стоит и ждет Федюха. Глубокой тишиной сошла полночь на землю, сошел вместе с ней весь сонм незри-

мых и страшных существ, которыми так обильно населен мир народных поверий. Проснулись в расстроенном воображении Федюхи все слышанные им сыздетства рассказы, живее уверовал он в те страшные преданья, в которых он никогда не сомневался. И вдруг, как будто в подтверждение этих рассказов, послышался ему свист отдаленный, и вскоре на этот свист, чудится ему, слабо ответило с поляны ржание коня. Кровь сильно била в жилах Федюхи, сердце сильно стучало, но стоит он терпеливо и ждет. И вот видит он сквозь чащу леса какой-то слабый блеск... Волчий ли глаз светит во тьме, зажглись ли полночные огоньки над могилами падших? Но чу! Запели первые петухи по деревне, и отраден был ему этот успокоительный крик.

И опять все замолкло, но не надолго. Лес слабо зашумел, и вся ночная жизнь стала просыпаться в нем. Вот хрустнула ветка под чьей-то невидимой ногой, вот какой-то глухой странный крик протянулся и замер в воздухе, вот пахну́ло Федюхе в лицо чье-то холодное дыханье и кто-то, словно в испуге нежданной встречи, отпрянул от него. Ярче забегали во тьме и замелькали в чаще леса блуждающие огоньки, волки печально завыли вдали, и опять слабое ржание коня послышалось с поляны. Силы начали изменять Федюхе. Он едва стоит от волнения и усталости. Но запели вторые петухи. «Недолго», — подумал он, и наступил последний срок страшного ожиданья.

Снова замерло все в лесу и воздухе. Предутренний сон как будто одолел и природу. Гуще и темнее сошел предрассветный мрак, и эта темнота и это затишье тяжелее всех страстей ночных ложились на сердце. Но у Федюхи будто замерло сердце, он не чувствовал ничего, только напряженный слух его стал чуток, как у зверя дикого, только зрение его, привыкшее к темноте, стало зорко, как у птицы ночной, и он всеми силами прислушивался к тишине и всматривался в предрассветную мглу.

И вот далеко-далеко где-то послышалась ему тяжелая поступь, вот яснее и тихо она застучала по дороге, идущей от избушки. Смотрит он — и что-то белое мелькает сквозь чащу ветвей и приближается. Затрепетал Федюха, как лист, затаил дыхание, вытянулся вперед и весь обратился в зрение... А кто-то близится, близится... и поравнялся с ним... И увидал Федюха, несмотря на мрак ночной, ясно и отчетливо он увидал... Крик злобы и отчаяния вырвался у него из груди, мгновенно поднятый нож блеснул у него в руке. Но чей-то испуганный конь рванулся вперед, чья-то тень быстро пронеслась мимо, и раздавшийся

топот глубже и глубже уходил в лес, тише и тише доносился издали и неслышно замер.

На другой день, бледный и истомленный, очнулся Федюха дома. Перед ним стоял Антип, который давно выжидал его пробужденья и с этой целью даже неоднократно поталкивал его в бок.

— Ну что? — спросил Антип. — Кого видел?

Федюха сначала постоял, что-то смутно припоминая, потом вдруг так тряхнул головой и курчавыми волосами, как будто за тридевять земель хотел отбросить какую-то тяжелую мысль, и махнул рукою на весь крещеный мир. Ничего не добился и ничего не узнал больше Антип, только с тех пор не подсматривал больше Федюха за Васеной, избегал с ней встречи и не говорил с ней, точно никогда и не знавал ее, да с той же поры, словно желая размыкать какое-то безотвязное горе, завихрился Федюха и закутил во всю ивановскую.

Прошла тяжелая страда и кончилась дожинками, прошли разные помочи для других работ: колотушки, потрепушки, супрядки [51], но не было на этих помочах Васены, — никто не звал ее, никому она не была нужна. Наступили и веселые капустницы [52], гурьбой собирались девки капусту рубить, полакомиться кочерыжками, и живо шла работа под веселую песню. Прошло Вздвиженье, шуба потянула с мужика кафтан [53], и настал тот тяжелый месяц глубокой осени, в котором, как говорят крестьяне, только и добра, что пивом взял [54].

Раз в эту пору сидела Васена перед своей избушкой на завалинке. Был ясный осенний день. Вдали голые поля чернели неприветливо, выжатая пашня, точно выстриженная борода, желтела торчащей соломой, обнажился ближний лес, и только изредка какой-нибудь одинокий красный лист трепетал на сухой ветке, точно чахоточный румянец на осунувшемся лице. Солнце светило ярко, но еще грустнее, под его лучом выдавались резкие, ничем не смягченные краски и без того грустного вида.

Васена вышла погреться на солнышко — видно, плохо грела ее, бедную, молодая кровь. В самом деле, в лице у нее не было, как говорится, ни кровинки, но, бледное и похуделое, это молодое личико все еще было очень хорошо. Смуглота и печаль наложили на него легкие тени, темнокарие глаза стали будто больше, хотя и глядели

как-то грустнее. На темнорусой голове Васены был красненький платочек, на плечах поношенная коротенькая шубенка, а в ушах довольно богатые для крестьянки серьги. Но все это было надето потому, что попалось под руку, надето не старательно, без мысли кому-либо нравиться. И кому, в самом деле, нравиться ей? В деревню она не ходит, и узкая тропинка к их избе почти заросла травою; как прежде, на ней тяготела дурная молва, про нее ходили странные слухи, и маленький мир, в котором была замкнута и доселе жила она, оттолкнул ее с презрением. Грустно нести это иго общественного отчуждения и в лета зрелого возраста, еще грустнее и тяжелее ложится оно на молодую голову, гнетет и убивает расцвет той весны, когда так тепло и бойко бьется сердце, так и хочется весело и приветно броситься в полную жизнь свежими силами и встретить веселый и приветливый отзыв в людской толпе.

А он? Что ж он, этот таинственный и неведомый нам гость, который вдруг огненным метеором разразился над головой молодой девушки, словно заколдованной чертой отделил ее от деревенского мира, позором и страшной молвой покрыл ее, — что же он? Выкупил ли он своею любовью все, чего лишил Васену? Заставил ли он ее забыть всех, кто забыл и отверг ее? Что он дал этой бедной крестьянской девочке, у которой только и было добра, что красота да честное имя, — красота, им разрушенная, имя, им опозоренное? Бог знает! Часто видали в последнее время Васену с заплаканными глазами. Радость и счастие не крушат и не сушат, и, видно, правду говорит народное поверье, что только жжет и изводит девку эта нечистая любовь...

Васена сидела на завалинке, взгляд ее бесцельно бродил по окрестности и был грустен и не оживлен, ничего она им не искала, никого не высматривала. Однако ж одно обстоятельство, не совсем обыкновенное в деревенской жизни, остановило на себе ее внимание.

Вдали, на единственной и широкой улице Ознобихи, собрался народ, посреди него стояли две тройки насупротив Федосевниной избы, а может, и соседней с ней. И вот кто-то сел в телеги, замахали шапки, и лихие тройки с свистом и шумом, гремя бубенчиками, тронулись и понеслись к околице. Что это, не свадьба ли? Не выходит ли Дуня замуж за Антипа? Нет! Поезд мал, и едет он не по той дороге, он едет сюда — знать, в город. «Кто бы это?» — думала Васена и старалась всмотреться в лицо едущих в то время, когда они, трясясь в телегах, подъ-

езжали ближе и ближе по дороге, которая лежала невдалеке от Васениной избушки. Вон они уж поравнялись, а она все не узнает, вот сейчас проедут мимо...

— Стой, братцы! — сказал кто-то на передовой телеге. — Дайте мне проститься напоследях!

Тройка остановилась, и с телеги сошел Федюха. На нем был новый нанковый полушубок [55], смущатая шапка набекрень. Он подошел к Васене.

— Здорово, Василиса Матвеевна! — сказал он, снимая шапку. — Я с тобой попрощаться пришел.

— Куда это ты? — с недоумением спросила она, приподняв голову и смотря на него.

— А в службу царскую везут: ноне некрутчина.

— Да ра-е на вас очередь была?

— Нет, — отвечал Федюха, — мы тройники, а черед был с четверников [56]. До нас бы не скоро дошло, а к тому времю братишко бы подоспел... Да мир сказал батюшке, что, бают, завихрился, Васильич, твой Федюха, миру он не подмога — отдай его! И отец баит: я сыну не потатчик. А по мне все равно! Чем я царю не слуга? Я охотой иду, только бы и ставили меня как охотника. Ишь, с каким весельем везут! — сказал Федюха, кивнув на тройку, и ухмыльнулся.

А в голове у Федюхи было, кажется, для бодрости немного заложено. Но посмотрела Васена печально на Федюху, и ему как-то неловко стало. Улыбка сбежала с его лица, и он потупился.

— Васена! — сказал он прерывисто. — Это ты всё, Васена... Бог те-е судья... Послушай, Васена, — тихо продолжал он, — я всё знаю... всё знаю! Отрекись ты от него, забудь его... Ведь уж он не воротится... забыл уж, чай, он, что ты и на свете есть... Полюби ты меня, Васена... Будем жить по-прежнему... Я те-я за себя возьму... век ничем не попрекну... Еще есть время, отлыню я от некрутчины, подставной пойдет... Руку себе отрублю, изувечу себя, а отлыню... Пойди за меня! — молил Федюха.

Сам он был бледен, слезы дрожали у него в голосе, у Васены текли они по лицу.

— Спасибо те-е, Федюха, за честное слово, — сказала Васена. — Не могу я за те-я идти... Да и что я те-е! Ра-е мало девок на деревне лучше меня? За что те губить себя из-за меня? Возьми другую... А мне... куда уж мне!

— Полно, Васена, — говорит Федюха. — Уговорю я и батюшку, и матушку, другой человек буду... Выдь только ты за меня!

Но Васена прервала его.

— Нет, Федюха! Не таков мой талан, доля моя не такая выпала, и не проси лучше. Запала мне эта дорога. Не пойду, ни за кого не пойду! — сказала Васена, и в тихом голосе ее звучала твердая решимость.

Федюха стоял, опустив голову. Он еще боялся думать, что это было последнее слово Васены, он не решался ступить шаг назад, потому что не было ему возврата с этого шага, когда из телеги послышались голоса:

— Ну, иди, Федюха! Полно там те-е!

Приподнял Федюха голову, взглянул на Васену и снял шапку.

— Так прощайте, Василиса Матвеевна, — сказал он и кашлянул, потому что у него что-то словно засело в горле. — Прощайте! — сказал он. — Видно, вам не любовь моя дорога... Подвесочки, видно, вам полюбились дорогие... сережки разноцветные...

Вспыхнуло лицо Васены, как зарево. Она схватилась за серьги, сломала их и бросила. А Федюха тем временем заломил шапку набекрень, повернулся и пошел молодцом.

Не успел Федюха дойти до телеги, как по дороге послышался чей-то голос и показались две женщины. Увидев, что лошади остановились, они отдалились от толпы и побежали. Старшей было лет за сорок, но, видно, трудовая жизнь, дети и горе состарили ее. Она была худа, стан ее согнут, продолговатое лицо бледно, на нем дрожали неотертые слезы и лежала какая-то страшная печаль. Она едва бежала и кричала что-то, голос ее прерывался, ноги подкашивались, но она бежала и кричала. Другая бежала Дуня, с заплаканным лицом.

— Батушки, погодите! Погодите, родимые! — задыхаясь, кричала она, увидев, что Федюха садился в телегу. — Дайте мне обнять детище... дайте мне впоследние обнять его... Федюха, родимый, подожди мать свою! Подожди, Федюха! — с отчаянием закричала она.

Но лошади рванулись, Федюха махнул ей шапкой и тотчас же запел:

Ох, да голова ли ты моя, головушка,
Голова ли моя разудалая,
Никому-то ты, голова, не надобна...

Да так громко запел, так громко, как будто хотел заглушить и не слыхать голос матери и другой голос, который, может, звучал у него в груди.

Еще несколько шагов пробежала старуха вдогонь за тройками, потом от усталости ли или отчаяния упала на колени, склонилась ничком на землю и продолжала выть

и голосить. А между тем пыль ложилась на дороге, и звонкая песня едва долетала.

— Полно, полно убиваться, мама, — говорила Дуня, поднимая ее. — Полно... уж не воротишь...

Старуха приподнялась, взглянула — вдали уж никого не видно, и все тихо кругом нее. Сильнее взвыла бедная старуха; тихо поддерживаемая дочерью, она повернулась к деревне, хотела идти и вдруг увидала Васену.

— А, это ты! — воскликнула она, и худой стан ее выпрямился, и слезы застыли в глазах. — Это ты, змея подколодная, извела его! Ты с своей ведьмой-баушкой его околдовала! Так знай же: чтоб тебе ни на том свете, ни на этом покоя не было! Чтоб тебе...

Васена встала и ушла в избу, но долго еще проклятия матери слышались по дороге и отзывались в ушах Васены.

Прошла грязниха[57], наступили заморозки, и вскоре появилась зима. Снова, как в первый раз, когда мы взглянули на Ознобиху, избушки ее, словно в теплую шубу, закутались в солому, и их мало-помалу начало заносить снегом. Появились зарневицы. В темное зимнее утро, когда еще не знаешь, наступает ли день или ночь, вдруг блеснет огонь в стороне и в отверстии низкого соломенного овина, ярко освещенные горящей лучиной, замелькают тени молотильщиков, мерно и звучно размахивающих цепами. Взойдет ли солнце в тумане и навстречу ему из каждой трубы поднимутся белые и тонкие столбы дыма с клубящейся верхушкой. Наступает ли ночь, на ясное небо высыплют звезды, и выходит сметливый крестьянин посмотреть на них. Неспроста смотрит он: есть для него звезды многовещающие, знает он тайну их рождения, а они молча с небес подают ему советы и предостережения. Не пойдет он в путь против Чигирь-звезды[58]; стожары дают весть ему, когда в лес на медведя идти; знает он, кем населено Утиное Гнездо[59] и отчего оно порой так ярко блещет;слыхал про трех Проклятых сестер, которые горят и догорают Девичьими Зорями... и многое еще знает он.

В одну из таких ночей вдруг разнеслась по деревне страшная весть, что на небе что-то творится неладное. Высыпала вся деревня на улицу и видит, что, скользя меж разорванных облаков, катился полный месяц, но край его какая-то невидимая рука задернула черной по-

лосой и все больше и больше скрывала его; вот остался один только светлый серп его, вот и его не стало, одно только черное пятно тихо плыло перед смущенной толпою... Знали старые люди, отчего тускнеет светлый месяц, и со страхом смотрели на страшное дело, которое свершалось перед ними...

В одной кучке стояли две бабы и о чем-то толковали. Одна из баб была наша знакомая, Федосевна, другая — соседка ее. Маленькая девчонка, дочь этой бабы, куталась в длинный отцовский тулуп, который волочился по земле, и жалась к матери.

— Мама! Мама! Что это? — спрашивала девочка.

— Ну, полно, дура! Много знать будешь — скоро состаришься... Ишь, какое дело опять затеяли! — сказала она, обращаясь к Федосевне.

— И не говори, мать моя! — отвечала та. — Что-то ноне больно супротив других годов куролесить начали...

— А ты слышала, у нас-то вечор какая беда стряслась? — сказала баба. — Пегую-то кобылу, не к ночи молвить, домовой в ясли забил, насилу поутру-то вытащили, чуть живехоньку! И не знай что с ним сделалось, никаких проказ нам от него не было, добрый такой был, еще буланке гриву плел, а тут вдруг, прости бог, задурил! А кажется, ничем не прогневили...

— Оно бывает, мать моя, что он бесится, да весной, а теперь рано бы еще. А ты скажи хозяину-то своему, чтобы он кнут с онучами лошади-то на шею привязал; он подумает, что сам хозяин на лошади сидит, и не тронет ее.

— Дело, матка, дело! Спасибо те, научила! А то вот говорят еще, козла хорошо больно держать: духу-то, слышь, он его не терпит. Намеднись останавливался у нас кучер с заводу, старик Антон — знаешь, чай — так он сказывал. У нас, говорит, жил козел — и все благополучно было. Да блудлив больно был козел-то: всё бодался. Вот он и околей. Да и околел-то отчего: на плетне красный платок висел, а он в его и ну пырять, да и завязил рога-то в плетню, а рожищи были, баит, страшные, — так и нашли на другой день мертвого. Вот, баит кучер-то дядя Антон, и пошло, баит, неладно у нас: что ни утро, посмотришь, а одна лошадка — белая была, мудрено как-то называл — стоит, слышь, в мыле или поту, да и лошадь-то что ни есть любимая молодого сына-то управляющего, что летом в побывку приезжал. А невзлюбил-то он ее, должно быть, оттого, что не русская была, а знать, горская, что ли. Вот, баит Антон, и говорю я молодому-то:

так и так, неладно у нас, Александра Иваныч, велите вы козла на конюшню дать. Ну а он что? Известно, ничему не верит, только смеется; да и пострел кучеренок-то, баит Антон, что в городу жил, тоже ухмыляется, — вишь, и он, знаешь, там ума-то уж больно много набрался, умнее старых людей стал... Ну а мне што, баит Антон, лошадь не моя, я и молчу, а лошадь всё, глядишь, в поту да в поту. Да вот уж, баит, по осени, перед самым отъездом, прощаться с ним Александра-то Иваныч стал да и говорит: ну, баит, Антон, велел я тебе козла на конюшню дать, не будет теперь никто на моей лошади ездить. Что ж, матка, ведь и в самом деле: всё, слышь, с той поры благополучно. Вот оно и смейся над козлом!

— Мама, а мама! Да что это? — приставала опять девчонка.

— Ну что канючишь? Ра-е не видишь? Злые люди скрадывают месяц!

— И кто это, — сказала Федосевна, — такой грех творит? Уж не затеяла ли чего, прости бог, старуха Никоновна?

— И не говори! — прибавила другая, подперев рукой щеку. — Не к ночи молвить, больно нечисто у нее! Да и с внучкой-то...

Меж тем на месяце проглянул светлый край, вскоре он зашел за тучи, и вся деревня, несколько успокоенная насчет его судьбы, поспешила в теплые избы отогреваться на печке.

А что делается у Никоновны?

Снова мы видим избушку, полузанесенную снегом; замела метель и тропинку к ней; снова опять, как два светящиеся глаза, блестят слабым огоньком ее маленькие окна. В избушке на печи опять слышится странный глухой шепот, сверчок кричит где-то в углу, у стола снова сидит Васена, прядет и поет песни, но не такова была уж и песня, и певица.

Случалось ли вам слышать женщину, когда она поет и вместе плачет? Могу вас уверить, ничего грустнее, ничего безотраднее вы не услышите, как это странное сочетание слез и пения. Я слышал подобную песню. Какая-то еще молодая женщина сидела подгорюнившись, пела и горько плакала. Я не помню, где и когда слышал я, у меня не остался в памяти даже образ этой женщины, но мне стоит только закрыть глаза и вздумать о ней, как

потрясающий звук этой песни, этот плач и рыдания, переливающиеся в долгой, однообразной ноте, так и раздадутся у меня в ушах, и снова, как в первый раз, когда я услышал их, сердце мое сожмется и заноет от боли. Это не пение Дездемоны у ног проклинающего ее отца [60], это не плач, вырванный отчаянием в страшную минуту жизни, — нет! Это тихое заунывное пение, вызванное тихим, но глубоким горем; это длинная грустно-переливающаяся русская песня, которая слабо дрожит от неудержанных слез и изредка прерывается сжавшимся от плача горлом; она не приведет вас в ужас, но, как тонкое жало, больно и глубоко вонзается в сердце.

Так пела и Васена. Худая, бледная, но все еще прекрасная, сидела она на поддонце прялки, вырывала из мочки длинную нитку, тихо пела длинную грустную песню, и слезы медленно катились из глаз ее по смуглым щекам. Она пела:

Хорошо тому на свете жить,
У кого нету стыда в глазах,
Нет стыда в глазах, ни совести,
Нет у молодца заботушки,
В ретивом сердце зазнобушки!
Зазнобил меня любезный друг,
Зазнобил сердце, повысушил,
Без краснова солнца высушил,
Без мороза сердце вызнобил...

Она пела, и не знаю — песня ли вызвала ее слезы, слезы ли вызвали ее песню, но долго она пела и тихо плакала, и уныло, безвыходно-грустно звучала эта песня в полутемной, почти пустой избе.

Но вот на печке послышался шорох; кряхтя, завозилась старуха, кряхтя и лепясь, слезла с печи, прикрыла рукой глаза, дрожа подошла к столу, села на лавку против Васены и, облокотясь на стол, стала всматриваться в лицо внучки.

— Ишь как извелась! — сказала она, качая дряхлой головой. — Полно те плакать-то, полно убиваться-то, тоску инда нагнала.

Васена замолчала.

На сморщенном лице старухи показалось что-то похожее на участие.

— Хошь пособлю я тебе? — тихо сказала она.

— Не пособишь, — отвечала Васена.

— Гм! Не пособишь! — обидясь, сказала Никоновна. — Што я, даром, што ли, век-то изживаю, даром, што ли, я таскаюсь по лесу да по болотам и днем, и в глухую

ночь? Да знаешь ли ты, какая трава у меня есть? У меня есть прикрышь-трава, есть у меня сон-трава, есть цвет кочедыжника, семь лет кряду доставала я его под Иванову-ночь, есть плакун-трава, что всю нечистую силу устрашит, есть тирличь-трава... — таинственно сказала она. — Вот только нечуй-ветра нет, оттого что зрячим не достается она, как совсем ослепну, так поищу, — прибавила Никоновна, как будто говоря сама с собою.

Васена слушала и молчала.

Старуха продолжала ворчать:

— Другая бы слезно вымолила у меня эти травы, сказала бы: «Баушка, что это у те-я? Расскажи-ка мне, научи меня». Я стара, умереть могу, прахом все пойдет, — вздохнув, прибавила она.

— На што они мне? Ведь не помогут, — сказала Васена.

— Они не помогут те-е, так от другого помогут. А для те-я есть у меня слова такие, верные есть слова. Хошь, што ли, отведу?

Васена задумалось.

— Нет, баушка, — сказала она, помолчав. — Мне мила моя тоска и дума; что я буду без нее... У меня только и осталось, — сказала она и заплакала.

— Ну, плачь! Плачь, коль охота! Изводи себя! А он, чай, с другими разгуливает, других дур сушит...

У Васены слабо вспыхнули щеки, она отерла слезы, с любопытством посмотрела в лицо бабушке, как будто хотела удостовериться на нем в ее знании, и потом нерешительно и робко сказала:

— Нет, баушка, не нужно меня отводить, а не можешь ли ты, не знаешь ли ты... такова слова, чтоб его прилучить?

Никоновна задумалась.

— Стара стала, память плоха! Дай вспомнить... А знала!

Старуха припоминала что-то и тихо шептала. Васена тревожно всматривалась в ее лицо.

— У тя нет его волос? — спросила она.

— Нет, — стыдливо отвечала Васена.

Опять старуха о чем-то задумалась и молча трясла головой.

— Поди, — сказала она, — поди посмотри, в кою сторону ветер дует, не в его ли сторону, да принеси с дороги снегу пригоршню.

Васена вышла из избы и скоро воротилась со снегом.

— В его сторону дует, — отвечала она.

— Ну! — сказала старуха. — Сама я вдруг всего не припомню, ино слово и выпустишь, я лучше те-я самоё выучу, ты ровнее скажешь.

Старуха опять замолчала и, собирая в памяти какие-то слова, только шевелила губами, потом придвинулась к Васене, сказала ей: «Слушай!» и начала дрожащим, дряхлым голосом что-то ей причитать.

Сверчок чирикал за печкой, лучина дымилась и трепетно светила, а слова старухи звучали каким-то мерным, глухим напевом...

Было около полуночи. Тучи сплошь заволокли небо. Ветер гулял по снежному полю метелицей и, завывая, проносился мимо избушки. На крыльце стояла Васена. Она была в одном сарафане; русая коса у ней распущена, длинные волосы распались круг лица, ветер развевал их и снежной пылью порошил волосы и лицо Васены. В правой руке она что-то крепко сжимала.

За Васеной в темной впадине дверей едва виднелась какая-то согбенная фигура и дрожала головой.

— Начинай! — сказал голос за Васеной, и Васена начала говорить:

— На море, на окияне, на острове на Буяне [61] лежит камень алатырь; под тем камнем лежит доска, под той доской лежит тоска. Плачет тоска, рыдает тоска, белого света дожидается. Мечется тоска, рвется тоска, на белый свет просится. Мечись, тоска, кидайся, тоска, в его буйну голову, ему в тыл и лик, в его очи ясные, в его сердце ретивое, в ум его и разум, в волю и хотенье. Плачь, тоска, рыдай, тоска, дожидайся свету белого. И чтоб он так плакал и метался, меня рабу дожидался. И чтоб не мог он без меня ни быть, ни жить, как рыба без воды, как младенец без матери. Чтоб не мог он ни пить, ни есть, спать и не заспать, думать и не задумать ни на утренней заре, ни на вечерней, ни обыдень, ни в полдень, ни при чистых звездах, ни при буйных ветрах, ни в день при солнце, ни в ночь при месяце. И чтоб была я ему краснее солнца красного, нужнее воздуха вольного, милее света белого, и будь мое слово крепко и лепко, и несите его, ветры буйные, к милу другу, несите и не оброните...

Голос Васены сначала был тих и не тверд, но мало-помалу он крепчал и звучал сильнее. Волосы ее разметались, румянец зажегся и разгорелся на бледном лице, глаза засверкали; громко и грозно сказала она последние слова, размахнула похуделой рукой и пустила чары на ветер...

НА ДОРОГЕ

РАССКАЗ

«Наши женщины (женщины, а не барышни) в любви как-то тяжелы на подъем; они туги на любовь: их надо сначала долго раскачивать, чтобы подвинуть на чувство. Это не значит, чтобы они были благоразумны или холодны, нет! Они не прочь от чувства, но любят, чтобы это чувство вымогали у них, брали их, но с сотнею приговорок, как папоротник в Иванову ночь[1]. В них нет свободного порыва, они просто нерешительны и щепетильны; исключения бывают только при мимолетных встречах где-нибудь на водах, на дороге, когда они поставлены необходимостью решить тотчас, «быть или не быть».

(Из частного письма)

Май был в начале. Дороги только что стали просыхать под горячими вешними лучами и от свежих, а порой и теплых ветров. Мелкие полои[2] сбежали, и под ними ярче и моложе другой начинала пробиваться зеленая трава; овражки тоже давно уж отыграли и вместо шумных и мутных вешних вод весело, но тихо катили по дну еще полные, но уже просветлевшие воды. Однако большие реки ее и не думали сбывать, и многоводная Волга сильно и высоко налегла на нагорный берег, широко разбежалась по луговому, верст на двадцать затопила все поймы[3], охватила все пригорки и, как глаз окинет, блестела водой, среди которой то дремали уремы[4] полузатопленного, уже зазеленевшегося леса, то пестрели черные или зеленые острова с селами, деревнями или одинокими ветряными мельницами.

В эту пору по дороге от Казани к Нижнему, которая перегибается по нагорному берегу Волги и носит название сибирского тракта[5], ехал небольшой так называемый казанский тарантас тройкой. На козлах сидел, избоченясь, ямщик в расстегнутом полушубке и пестрядиной[6] рубахе, возле него молоденький мальчик-слуга, который, кажется, пересел на козлы ради собственного удовольствия, потому что хозяйство его — шинель и ситцевая подушенка[7] — лежали в кузове тарантаса; в самом тарантасе с закругленным, а не колясочным кузовом, которого верх был открыт, сидел молодой человек в темной ваточной шинели с потертым бобровым воротником.

Молодой человек был, по-видимому, лет двадцати пяти, светлорус, недурен собой, станом жидок — словом, принадлежал к тем худощавым чиновникам, которые, по замечанию Гоголя[8], на службе занимают большею частью **косвенные** и не приносящие существенных выгод места.

Начинало уже вечереть. Солнечный день был ясен и тепел, воздух напитан запахом оттаявшей земли; шире и

свободнее дышала грудь в этом воздухе и, как давно не виданного и милого знакомого, с отрадой и волнением встречала его. Кругом все стояло тихо, но это была какая-то торжественная и бодрствующая тишина, будто чувствовалось среди нее, как пробивается на вольный свет молодая трава и развертывается в лист тугая и яркозеленая почка дерева. Весело и приятно в такую пору быть в дороге!

Молодой человек ощущал, казалось, эти чары весны. С удовольствием смотрел он вокруг, хотя вид был очень обыкновенный, русский вид, или, пожалуй, собственно вида, ландшафта не было никакого. Местами покат пригорка с мелкой и тощей, но зеленеющей травой и желтыми цветками, местами еще голенький березник, только что начинающий одеваться листом, местами черные глыбы недавно взрытой пашни, на которой едва пробивались тоненькой щетиной всходы. Но приятен и нов этот вид вставшей из-под снега природы; умеет наш неизбалованный роскошью красок глаз найти и уловить свою тонкую прелесть в нашем бедном русском виде, так же отрадно и неизъяснимо сладко щемит и тихо ноет сердце от этого бледноголубого неба, легкой и незаметной чертою ложащегося вдали на землю, от этой земли, исподволь переливающейся из неясной тени в неясную тень; так же многозначительно и чудно шумит и шепчет наш лес своим тонким и мелким листом, как для человека другой стороны блестит синее небо, встают своеобразные горы, шумят и зеленеют своим пышным листом высокие и душистые рощи юга.

Тарантас двигался довольно медленно. Медленно и исподволь менялись окрестные виды. Ямщик, помахивая кончиком кнута, тихо мурлыкал какую-то песню; ему, казалось, приятно было среди этого благорастворенного воздуха потихоньку везти терпеливого барина. Мальчик на козлах тоже смотрел кругом такими глазами, как будто он в первый раз видит голую землю, тощую траву и распускающийся лист. Молодой человек смотрел рассеянно, но взгляд его был весел, и тонкая улыбка изобличала отрадные мысли: под лад и строй природы вызывал он самые приятные и светлые картины, и если бы можно было постороннему глазу взглянуть на то, что в настоящую минуту незримо оживало и проходило перед его внутренним взглядом, он бы только и увидал хорошеньких девушек да женщин, но зато сколько их! В какой светлой рамке и с какими веселыми и милыми сердцу речами являлись, исчезали и снова являлись эти живые

тени! Экая счастливая, благословенная пора — эта весна! Не говоря уже про молодость, — на другого, сильно помятого и потертого жизнью человека отрадно действует она, и тот испытывает ее благотворные силы — как полуживое дерево: видит оно, что не зазеленеют сучья его засохшей половины, но чует оно, что движутся в нем свежие соки, но чувствует, что есть еще у него живые ветви, и с надеждой глядит в эту сторону и думает, что, может быть, широко и пышно еще развернутся они, и снова зацветут, и снова раскинутся, и снова зашумят густою листвою. А что если к весне-то природы да прибавится весна жизни!

Долго ехал таким образом наш проезжающий, не замечая, кажется, ни длинной станции, ни тихой езды. Но вот, перебравшись через какой-то животрепещущий мост, ежегодно сносимый и ежегодно устраиваемый инженерными сведениями исправника, ямщик встрепенулся, лошади тоже, кажется, знали, что с этого места начинается лихой подъезд на станцию, который, как последнее впечатление, должен изгладить всю прежнюю медленность и заслужить на водку, лошади тоже встрепенулись, и тарантас, вздымая пыль, бойко взлетел на пригорок, шибко пронесся еще с полверсты и въехал в зажиточное село.

День был праздничный. У ворот и на завалинах иногда кучками, иногда поодиночке стояли и сидели мужики и бабы и лениво провожали тарантас глазами; беловолосые мальчишки, спустив рукава рубашки и перебегая через дорогу перед самыми лошадьми, так что ямщик раза два выразительно вскрикивал: «У, вы, пострелята!», тоже смотрели на проезжающего; некоторые из них не выдержали и по сочувствию русского человека к тройке во все горло тоненьким голосом кричали: «Эй вы, что ли!» Плотно срубленные избы промелькнули длинным и тесным рядом, и тарантас остановился перед станционным домом с его пестрыми столбами.

Станция помещалась не в казенном, а частном доме, выходящем на улицу длинным боком с четырьмя окнами; посередине было крылечко и дверь. Дом был новый, прочный, и свежий сосновый его сруб блестел на заходящем солнце. Он стоял как-то особняком и, судя по надворным строениям, плотному амбару, клетям, клеушкам и пристройкам, по огороду и даже садику с двумя ветлами, который виднелся сбоку, был занимаем домовитым жильцом. В стороне от дома, против ворот, оглоблями навстречу приехавшему стоял какой-то большой отпряженный экипаж.

Молодой человек вышел из тарантаса, взглянул на экипаж и, не увидав в нем никого, вошел в сени. Направо была дверь к смотрителю, налево в комнаты для приезжающих; он отворил последнюю.

Комната, в которую он вошел, была не похожа на обыкновенные почтовые комнаты, безжизненные, с положенными по штату принадлежностями. Напротив, все в ней показывало обитаемость, домовитость, видно было, что станционный смотритель считал ее более предназначенною для своего собственного, а не постороннего комфорта. Были на стенах, в черных рамах, известные объявления, все ограждающие личность смотрителя и почтовых лошадей, а не проезжающего, но было и много картин полулубочного достоинства, большею частью вроде барыни в шляпке, с подписью: Юлия. Затем все вещи, напоминающие обязанность смотрителя, как например, стол под черной клеенкой с толстой книгой для записи подорожных и тоненькой — для жалоб, припечатанной к стене на длинном снурке вроде Прометея, прикованного к скале [9]; вообще все эти вещи где-то скрывались в отдалении, а стоял перед ситцевым диваном овальный лаковый стол, такой, что хоть бы и в деревенской гостиной, и вдобавок на этом столе красовался графинчик с водкой.

Все, что я говорю: домовитость комнаты, ее обстановка и особенно графинчик с водкой — прежде всего прямо бросились в глаза вошедшему и произвели на него такое же, как и на нас, впечатление; потом молодой человек уже обратил внимание на двух особ, сидевших около графинчика.

Первая особа, помещавшаяся на диване, был человек лет сорока пяти, в расстегнутом архалуке [10], лицом совершенно сплошь красный, с светложелтыми коротенькими волосами, невысокий и коренастый, возле него лежал измятый картуз [11] в пуху. Видно было, эта особа была тоже проезжающий. Напротив, на стуле, помещалась другая особа, высокая, полная, с темным рябым спокойным и самоуверенным лицом. Свободный расстегнутый форменный сюртук ясно обличал ее общественное положение: то был смотритель.

Приход нового лица немного смутил беседующих: они не слыхали, как подъехал его экипаж. Вошедший взглянул на сидевших, те оглядывали его; смотритель встал, но не торопливо. Это продолжалось мгновение, но смотрителю, кажется, достаточно было его, чтобы сразу смекнуть, что́ был за человек новоприезжий. Довольно скромная, молодая и приличная наружность вошедшего была

из тех, которые с радушием встречаются во всяком порядочном доме, но которые не внушают никакого особенного уважения станционным смотрителям и вообще тому сорту людей, над которыми, как говорится, кто палку взял, тот и капрал. Такого рода впечатление произвела она, по-видимому, и на настоящих заседающих в комнате лиц. Господин, сидевший на диване, не переменяя развалившегося положения, осматривал его с ног до головы, а смотритель не подошел к нему, не уступил места, даже не поклонился, но только тихо приподнялся и спокойно обеими руками приподнял и поправил борты своего сюртука.

Молодой человек вынул подорожную [12] и подал ему. Точно так же спокойно, не торопясь, смотритель развернул ее, несколько отставил и медленно прочел про себя: «От Мензелинска до Корчевы, по делам службы, состоящему при *** гражданском губернаторе для особых поручений губернскому секретарю [13] Темрюкову давать из почтовых...» Далее он не читал. Медленно свернул он подорожную, подал ее губернскому секретарю Темрюкову и сказал снисходительным, несколько покровительственным тоном:

— Повремените немного, лошади скоро будут, — и потом в виде утешения и примера прибавил:— Вот они тоже ждут, — и он показал на господина, сидевшего на диване.

При этом замечании господин, сидевший на диване, кивнул головою, как будто хотел сказать: «Да, и я жду, следовательно ты и подавно можешь подождать». Смотритель опять медленно опустился на стул.

Молодого человека, прозывающегося, как нам теперь известно, Темрюковым, этот прием несколько озадачил. Он видал смотрителей учтивых и изредка сознающих свое смиренное положение — с ними он был сам ласков и снисходителен; видал смотрителей мрачных, невыспавшихся и грубых — и по молодости лет горячился с ними, но такого сановитого и важного смотрителя он еще не встречал, так что это даже его смутило. Он не знал еще этой особенной породы смотрителей, которые встречаются только в местах промышленных, на путях торговых — преимущественно на приволжских и изредка сибирских станциях. Эти смотрители предназначались, по-видимому, судьбой к несравненно важнейшим общественным положениям и только ошибкой попали в смотрители, но и тут не теряли чувства огромного собственного достоинства. Получив станцию на выгодном месте, сидят они на ней лет по десяти и по пятнадцати и большею частью не только пользуются

в ограждение личности, но и действительно имеют вожделенный 14-й класс. Станция у них — дело побочное, они ею занимаются слегка, как главный надзиратель над старостой и прочим людом, хотя и тут своего не упустят; настоящее их занятие — какой-нибудь торговый оборот хлебом или другим, чем удобно. Есть у них в комнате ящик с какими-нибудь Павловскими изделиями, но и их они не навязывают; но такова уже внушающая уважение эта смотрительская личность, что робкий или бесхарактерный проезжающий сам из подловатости купит что-нибудь и заплатит втридорога; точно так же, более, чем другому, дадут ему и за самовар или за какую-нибудь порцию телятины — не только потому, что все у него подано хорошо и обильно и не им самим, а кухаркой, но потому, что совестно как-то такой важной особе дать двугривенный.

С таким-то господином встретился в первый раз Темрюков, и неторопливая самоуверенность его и сознание собственной важности так озадачили молодого человека, что он несколько растерялся и сел в стороне. С своей стороны, присутствие Темрюкова стеснило отчасти двух беседующих. Прошла минута затруднительного молчания, однако красный господин, которого мы, по неизвестности его имени и звания, будем называть проезжим, скоро, по-видимому, оправился и взошел в свою колею; это явствовало из того, что он взял графинчик с водкой, налил полную рюмку, выпил ее, крякнул и опять налил.

— Ну-ка! — сказал он, пододвинув ее смотрителю и кивнув на нее головою и в то же время принимаясь за колбасу, завернутую в сахарную бумагу.

Смотритель чувствовал, что он может уронить собственное достоинство в глазах Темрюкова, и отвечал:

— Благодарствуйте, довольно!

— Ну-ну, полно! Для нового знакомства!

— Не много ли будет? — заметил смотритель. — А то **они**, пожалуй, меня сочтут за пьяницу, — и он снисходительно повернулся боком к Темрюкову.

— Чего много! Всего вторая! — сказал проезжий и, подмигнув, дал заметить, что-де этот счет вон для того, а мы свой знаем.

Смотритель, еще повернув свой стул, скромно заметил: «Уж разве последнюю», выпил рюмку до дна и так сморщился, как будто крайний недуг заставил его прибегнуть к отвратительному лекарству.

— А колбаски-то! — и проезжий господин отрезал широкий кружок колбасы.

Смотритель стал закусывать.

Темрюков молча смотрел на эту сцену и от нечего делать вынул и закурил сигару.

— Не хотите ли и вы с дороги? — спросил его проезжающий, кивнув головою на водку.

— Благодарю вас, я не хочу, — отвечал Темрюков.

Проезжий не настаивал, он, кажется, сделал предложение только, как говорят эти господа, для **блези́ру**[14]. Он обратился к предмету разговора, по-видимому прерванному появлением Темрюкова, и сказал смотрителю:

— Ну, так как же? Как это ты вывернулся? Я, братец, сам с низших должностей начал, прошел, как говорится, и огонь, и воду, и медные трубы, я люблю эти штуки!

Смотритель, у которого черствая колбаса как прах исчезала в здоровых челюстях, облизнулся, подбодрился рукой и начал:

— Ну, дал я ему покричать, икру-то эту выметать, да и говорю ему: «Напрасно, мол, вы себя изволите беспокоить, дело было совсем не так и все это написано облы́жно»[15]. — «Как, говорит, так, облыжно?» — «Точно, мол, так! И человек этот совсем не стоит того, чтобы из-за него да эдакое беспокойство хорошим особам принимать, пьяный человек, как есть, и все это в пьяном виде им показалось! Что лошадей не было — это действительно, вот извольте по книге проверить», — взял счёты да и начал ему на счетах прокидывать. — «Ну да, говорит, это так, а как же, говорит, ты купцов отправил?» — «Купцов действительно отправил, говорю, да на вольных, они и в книге не записаны». — «Ну, а чернильницы-то, чернильницы-то как же не дал?» — «А чернильницы, я говорю, хоть и не положено действительно давать проезжающим, но и в ней другим не отказываю, а как же им было и дать, когда они были в эндаком виде: ведь они могут написать какое-нибудь безобразие, а за книгу я отвечаю; пишите, я говорю, своим карандашом! Да и опять же думал, говорю я, не пройдет ли у него до следующей станции эта фанаберия[16], чтобы беспокойство начальству не причинять и сумления, мол, не сделать, что в нашем округе да эндакие кляузы».—«Так, говорит, действительно пьян?»— «Хмельнее, говорю, вина, извольте всех спросить». — «Ну, говорит, так мы так и напишем, а что стали лошади, так наложить рубль серебра штрафа на содержателя». Так и сделали.

— Молодец! Важно обделал дело! — заметил проезжий. — Молодец! Выпьем-ка!

Проезжий господин протянул руку к графинчику, а Темрюков, чтобы не стеснять их беседы, встал и вышел.

Вышел Темрюков на крыльцо, осмотрелся кругом, постоял и сел на ступеньку. Справа и слева тянулись избы с крестьянами на завалинах. Сбоку стоял экипаж; у ворот на камне сидел ямщик и, мурлыкая песню, бессознательно смотрел вдаль. А даль эта была чудная. Прямо перед крыльцом с высокой горы на весь охват взгляда ширился разлив Волги. Сначала он шел глубокою и широкою гладью, потом в эту зеркальную гладь начали врезываться своеобразными полосами и островами возвышенности незатопленной земли, и на каждую из них можно было засмотреться. Под косыми и румяными лучами заходящего солнца то пестрела деревня своими серыми избами, то большое село с белою каменною церковью и горящим, как огонь, золотым крестом. Далее опять извилинами и заливами блестела вода, среди нее высился лес, зеленая поляна луга терялась вдали, синеватый пар встал над разогретой землею, и в его тумане, там, далеко, где уже глаз ничего не мог различать, вдруг ярко сверкала, как чистая сталь, еще светлая полоса: и там вода! А вечер был тихий, ясный, в воздухе стояла та раздражающая свежесть весны, от которой, как пар от земли, поднимается, и томит, и хватает за сердце чудная и мучительная вешняя истома, словно к кому-то тянет тебя, так бы и обнял кого-то крепко-крепко...

Под этими чарами весны сидел Темрюков, сначала долго любовался на вид, потом стал смотреть на него бессознательно: перед его внутренними очами вставали другие местности, проходили другие лица. Чувствовал он, что и его тянет куда-то, что и его молодой груди хотелось бы прижать к себе кого-то, и стал он думать, кого бы из всех им знаемых и виденных хотелось прижать ему, и ряд молодых, стройных, хорошеньких образов то порывисто, то медленно проходил перед ним.

Долго ли, мало ли сидел таким образом Темрюков, он и сам бы не мог сказать, но в то самое время, когда его распаленная мечта сильнее и сильнее вызывала милые образы, когда он, как зарывшийся в своем гареме султан меняет наложниц и не удовлетворяется ими, менял эти вызванные тени, то останавливался на одной, то бросал ее и быстро проходил мимо других, то снова останавливался и все не удовлетворялся, и все искал кого-то, — вдруг мягкий женский голос, послышалось ему, назвал его по имени, и он весь вздрогнул.

— Иван Павлыч! Да слышите ли! — повторил голос.

Темрюков ясно расслышал его, вздрогнул и повернулся лицом в его сторону. Взгляд его уперся на экипаж проезжего, это был какой-то большой желтый рыдван [17]. На длинный тарантасный ход был постановлен старый каретный кузов, выкрашенный потрескавшейся яркожелтой краской. Сперва Темрюкову бросился в глаза этот безобразный кузов, потом черный четыреугольник опущенного окна, и из его темного фона ярко выдавалась вся освещенная последними лучами солнца, свежая розовая, хорошенькая женская головка в дорожном чепце, из-под которого насильно выбивались курчавые волнистые светлорусые волосы.

— Анна Петровна! Вы ли это? — вскрикнул Темрюков и бросился к тарантасу. Сердце его встрепенулось и замерло в груди; ему показалось, что та желанная, которую так упорно искала и не находила мечта его, — что она, как вызванная милая тень, вдруг выплотилась и явилась перед ним. — Анна Петровна! Вы ли это? — повторял Темрюков и горячо целовал протянутую к нему из окошка руку.

Судя по этой встрече, можно было бы предположить, что Темрюков, страстно влюбленный в Анну Петровну, был с нею разлучен, думал и мечтал о ней, может быть даже спешил к ней приехать и вдруг нечаянно с нею встретился. Ничуть не бывало! За минуту перед тем, когда он приятно проводил время, перебирая в памяти всех любимых им когда-то или еще не любимых, но желаемых любить особ, и затруднялся в выборе, над кем бы из них он предпочтительно хотел исполнить свое невинное весеннее желание — прижать к груди своей, между всеми этими лицами, собранными им со всех виденных или не виденных им мест, ни разу и не промелькнуло личико Анны Петровны — так мало в прежнее время производила она на него впечатления. Судите сами.

Год или полтора назад в городе Д* жила, а может быть здравствует и теперь еще вдова Настасья Семеновна Крестовоздвиженская. Муж ее, губернский чиновник, умер несколько лет назад, оставив в наследство жене своей деревянный дом, много детей и очень мало денег; это уж большею частью случается: у кого много денег — мало детей, у кого мало денег — зато детьми хоть пруд пруди.

Вдова была женщина простая, добрая, в свет, то есть на званые вечера и обеды, не показывалась, но были у нее между старожилами дома два-три хороших знакомых, к которым она являлась иногда по вечерам выпить чайку, посидеть вдвоем с хозяйкой, когда никого нет, особли-

во если с той случалось **божие посещение**, то есть какое-нибудь семейное горе. Старушку все видали, знали в лицо — и едва знали по фамилии. Она решительно была незаметная, хотя на своем месте и полезная единица между губернскими жителями, и гораздо большей известностью она пользовалась у молодежи и местной аристократии как мать «Анюты Крестовоздвиженской». Анюта была ее старшая дочь, хотя и ее положение было далеко не блестящее.

Анюта росла сначала дома, потом мать при помощи сердобольных знакомых поместила ее в местный девичий институт. Местный институт был очень хорошо устроен, и все губернские аристократы отзывались о нем с покровительственным одобрением — но дочерей своих в него не отдавали.

Анюта вышла из него 17 лет, невысокого роста, полненькой, миленькой девочкой. У нее было розовое круглое лицо с ямками на щеках, прямой носик, веселые темно-серые глаза и светлые сильно вьющиеся волосы. Она поселилась в доме матери, половина которого отдавалась в наем.

Тут начались для Анюты те маленькие лишения, которые иногда стоят большого несчастья. Собственно нужды Анюта не испытывала, но вполне несла тяжелое положение бедной девушки, выезжающей в свет. Мать ее в свет не показывалась, но отпускала ее с теми или другими из своих знакомых, у дочерей которых она и гостила по нескольку дней. Наряд ее был чистенький, но бедненький. Молодежь, которая в провинции гораздо ближе и короче сходится с девицами, чем в столицах, любила ее как веселую и умненькую девушку, но не самою по себе, а как подругу той или другой девицы. Ей поверяли секреты, просили ее помощи, но за ней никто не ухаживал. Она была для молодых людей более приятелем женского рода, чем девушкой. Да кому нужно за ней ухаживать? Кому лестна победа над бедненькой девочкой мадмуазель Крестовоздвиженской? Она сама по себе была ничто, она осуждена была только оставаться спутницей той или другой планеты; ее охотно выбирали в поверенные, потому что она не выдавала секретов никому, кроме того, кому следовало выдать; с нею подруги ходили по зале, чтобы не ходить одним; ее всегда брали под руку, когда надо было идти в уборную. Кстати! Отчего это дамы и девицы не решаются ходить в уборную одиночкой, а непременно подцепят другую барыню или девицу?

Таково было положение Анюты в Д * обществе, поло-

жение, по правде сказать, незавидное. Анюта сознавала его и боялась пристально в него вглядываться. Прими она это положение ближе к сердцу, страдай ежечасно от тех невыносимых булавочных ран, которые так щедро наносятся в свете, особенно нежными руками подруг, — Анюта была бы достойна жалости; но она весело смотрела на жизнь своими молодыми глазами и оставалась просто добренькой и никого не интересующей девочкой.

Таково все в жизни! Живописная дорога никуда не годится для езды — ровная и гладкая ничего не дает избалованному глазу; все хорошенькие, несчастные и страдающие личности более или менее интересны, но не многие остановятся и обратят внимание на простую, здоровую натуру. А попробуйте-ка пострадать сами, да пострадать истинно! Бог с ней и с интересностью!

Анюта имела однако ж далеко не деревянную натуру, которой недоступны тонкие ощущения, но, как беспечное дитя, она боялась пристально взглянуть в темную глубину, где ничего отрадного не отыскал бы глаз ее, и тихо, подчас с затаенным вздохом отдалась течению.

Такою знал ее Темрюков в городе Д *, где провел года два своей первой молодости. Чаще всего он видал ее в семействе одного губернского аристократа — некоего господина Сивохвостова, хоть у господина Сивохвостова было собственных дочерей ровно полдюжины. В этом семействе родители не знали ни одного иностранного языка и потому не любили, чтобы дети говорили по-русски, и даже их христианские имена переделали для пущей великосветскости на какой-то нерусский лад. Неизвестно почему, они выбрали для этого преимущественно частичку «ка» и звали Марью — Мака, Наталью — Нака и прочее, исключенье сделали для одной Катерины, которую сочли за лучшее звать — Кага.

Темрюкову очень нравилась худенькая Мака, чем была особенно недовольна толстенькая Кага. Анюта была дружна с Макой, и потому — как это обыкновенно водится в провинции — Темрюков был очень дружен с подругой своего предмета, даже дружнее, чем с самим предметом. Анюта, с своей стороны, тоже хорошо была расположена к Темрюкову. Одно время даже питала к нему чувство более нежное, но это чувство у нее было как-то слишком отвлеченно. Этим отвлеченным чувством она влюблялась довольно часто в того или другого из порядочной молодежи, но склонность ее выказывалась только тем, что с большим усердием и готовностью она изыскивала случаи быть полезной своему избранному, и даже —

поверят ли! — без всякого чувства ревности способствовала успешнейшему ходу его сердечных делишек с другой счастливицей. Как ни непонятно кажется подобное самоотвержение, но оно объясняется тем, что Анюта смотрела на хорошую молодежь как на нечто ей совершенно недоступное, она очень хорошо чувствовала, что они не для нее, что не женится на ней ни богатый из них, потому что имеет право на блестящую партию, ни бедный, потому что с ней будет еще беднее, а что если ей суждено узнать прелесть брачной жизни, так изберет ее какой-нибудь из тех степенных чиновников, которые, устроив свои делишки и решившись жениться, ищут девушку, принадлежащую к порядочному кругу, чтобы могла быть представительной хозяйкой, и не избалованную судьбой, чтобы не была требовательна.

Таким образом Темрюков прожил года два в одном городе с Анютой. Мака ему нравиться перестала, и он перенес свое легонькое чувство на другую особу, вместе с тем расклеилась и дружба с Анютой; но они мирно встречались — иногда часто, иногда редко. Темрюкова перевели из города Д *, и он простился и с ним, и с его обитательницами довольно равнодушно:

«Была без радости любовь,
Разлука будет без печали!» [18]

Итак, вот каковы были отношения Темрюкова к Анюте, то есть Анне Петровне, до настоящей встречи; но не такова была, как мы сказали выше, их неожиданная встреча. Еще не отдавая себе отчета, как и почему, молодые люди страшно обрадовались друг другу.

— Анна Петровна! Какими судьбами вы здесь? — говорил Темрюков, перестав целовать, но не выпуская ее руку из своей.

— Мы ждем лошадей. Я задремала, просыпаюсь — ба! Иван Павлыч! Вы куда? Не в Д * ли опять?

— Нет. Я в отпуск к себе в деревню. Ну, как я рад! Скажите же однако, куда вы едете? С кем?

— Я замужем! — подсмеиваясь и немного зарумянившись, сказала Анюта.

— За кем?

— Вы, я думаю, видели моего мужа: он там на станции.

Темрюков выпустил ее руку.

— Куда же вы едете? — почти сердито спросил он ее.

— Ах, не спрашивайте! Страшно сказать: на край света, в восточную Сибирь!

— Зачем это?

— Муж получил там место...

Темрюков задумался и молча смотрел на Анюту.

— Что вы задумались? Что ж вы не расспрашиваете про Маку, Наку, Кагу, про Елену Г *, они все так же живут, замуж не выходят.

— Да, нынче девицы туго выходят замуж, — рассеянно заметил Темрюков.

— Кто же виноват? Вы вот, что не женитесь! Мака вас вспоминает.

— Что она, не пополнела?

— Нет, все такая же. Это вы ее иссушили.

— А Кага не похудела? — как будто нехотя спрашивал Темрюков.

— Увы! Не худеет! Леночка все такая же хорошенькая, — продолжала Анюта, улыбаясь и ямками щек, и веселыми глазами. — Вот бы вам жениться? Полно вам вести цыганскую жизнь!

Анюта замолчала, смотря на Темрюкова; Темрюков все рассеянно смотрел на нее.

— Да что с вами? О чем вы думаете? Так разве встречаются старые знакомые? — спросила опять Анюта. — У вас как будто есть что-то на душе, — прибавила она, и веселые глаза ее смутились беспокойным любопытством.

— Я думаю о вас, — медленно отвечал Темрюков, продолжая смотреть на Анюту.

Смущение Анюты сильнее проступило в глазах, но она все улыбалась.

— Ах, боже мой! Да что ж обо мне думать! Прежде, кажется, у вас не было этой привычки!

— И может быть, дурно было, что не было, — тихо и несколько грустно продолжал Темрюков. — Но время на время не приходит: я не знаю, почему, но теперь я глубоко, искренно принимаю в вас участие.

Анюта хотела подсмеяться, но в голосе Темрюкова слышалась такая правда, что доброму сердцу грешно было бы отвечать на нее неискренно, и Анюта смешала в ответе искренность с шутливостью.

— Что же, лучше поздно, чем никогда, — отвечала она. — Однако ж все-таки спасибо вам.

И Анюта подала Темрюкову руку. Темрюков взял и поцеловал ее. Ее слабо потянули назад, но он тихо удержал. Анюта оставила ее — так, как женщины обыкновенно оставляют свою руку: она как будто забыла ее, но краска сильно проступила на ее щеках.

— Так вы замужем! — сказал Темрюков, пристально глядя в глаза Анюты.

— Да, как видите, но всего три недели, мне еще самой не верится.

— Но скажите, какими судьбами, за кого вы вышли? Вы знали прежде вашего мужа? — горячо спросил Темрюков.

— Очень мало, — отвечала Анюта, подсмеиваясь. — Артемий Семеныч был в Д * проездом и остановился по каким-то делам у нас на квартире, я его видала всего недели две-три, а вышла я очень просто: он посватался, а я согласилась.

— Да как же согласились? За человека, которого почти не знали! Согласились ехать с ним в Сибирь, связали себя с ним навсегда! Навсегда, Анна Петровна! Понимаете ли, навсегда, на всю жизнь!

Темрюков точно озлобился. Видно было, что его хватала за сердце судьба Анюты и вместе сердило ее видимое легкомыслие. Он не хотел верить этому легкомыслию, он хотел оправдания.

Анюта видела это, и грусть начала подниматься на душе ее, и у нее в первый раз громче и яснее начал восставать строгий вопрос: как и зачем она навсегда связала судьбу свою с чуждым ей по всему человеком? Но она, верная своей привычке, боялась отвечать и себе, и Темрюкову, она по-прежнему старалась говорить весело и беспечно, лицо ее еще улыбалось, хотя в голосе слышалось уныние.

— Что же делать, надо же было выйти за кого-нибудь. Не потому, чтобы я скучала в девушках, вы знаете, я этим не страдала, но... У нас большое семейство, матушка стара, она уговаривала, просила меня, она говорила, что умрет спокойно, если пристроит меня при жизни, — вот я и пристроена!

Темрюков несколько мгновений смотрел на Анюту такими грустными глазами, что улыбка замерла на лице ее.

— Вот и пристроили вас, добрую, милую, умную, к...— он остановился.— Послушайте,— продолжал он быстро.— Мы одни. Мы с вами встретились на несколько минут и разъедемся, вероятно, навсегда. Нам некогда прикрывать мысли фразами, будем говорить прямо! Подумали ли вы, что вы сделали с собой? Что за жизнь теперь впереди вас? Что вы будете делать там, в Сибири, одни, глаз на глаз с мужем, с которым у вас нет ничего общего? Ведь вы отреклись от всего, что вам было мило, если не навсегда, то надолго! Вы там схороните свою молодость,

моя добрая Анна Петровна! Знаете ли что? Эти жертвы можно делать только для человека, который в состоянии все заменить вам собою! Любите ли вы настолько своего мужа, знаете ли вы настолько его?

По мере того как говорил Темрюков, Анюта становилась все бледнее и бледнее. Она уже была не в состоянии насильственной веселостью скрывать и от себя, и от других истину своего положения: эта истина, как нагой скелет, грозно вставала перед нею. Слезы стояли в горле у Анюты, она через силу могла отвечать.

— Я едва знала моего мужа, а теперь... мне кажется, лучше и не узнавать его! Но я говорила вам, Темрюков, настоящее слово, мне нужно было... меня хотели непременно пристроить...

— Да, я и забыл! — сказал Темрюков с такой сосредоточенной злобой, что бледность его приняла зеленоватый оттенок. — У нас любят пристраивать девушек! Знаете ли, что значит эта пристройка? Это значит — продавать, продавать молодость, красоту, лучшую пору жизни, продавать всю себя! И как вас дешево продали, Анна Петровна! Вас продали за кусок насущного хлеба, за сухой насущный хлеб, без всякой радости и отрады в будущем... Вас ужасно продали, моя добрая Анна Петровна! — и Темрюков припал к похолодевшей, как лед, руке Анюты.

Но Анюта не слыхала и не чувствовала более. Она закрыла другой рукой глаза и навзрыд рыдала...

Так прошло несколько мгновений. И Темрюков и Анюта не слыхали, что давно уже ленивый ямщик лениво закладывал ленивых лошадей, они не замечали, что густые сумерки спустились над ними и прикрывали их от посторонних взглядов.

Анюта первая пришла в себя.

— Боже мой! Что я сделала с собой! Что сделали со мною! Я погубила, погубила себя! — говорила она, рыдая. — Научите меня, Темрюков, что мне делать теперь, научите меня! — говорила она, не переставая рыдать.

Темрюков сам готов был разорваться; ему было так же горько, как Анюте, и он чувствовал, как будто что-то сжало его за горло и душило. Планы, самые несбыточные, мгновенно пронеслись в его голове. Первое, что ему пришло на ум, — это схватить бы Анюту и умчаться с нею, увезти ее куда-нибудь далеко-далеко... Потом вздумалось вызвать на дуэль, или нет, просто подойти прямо и убить ее мужа, убить хладнокровно, как бешеную собаку... И в то самое время, как эти мысли приходили ему в голову,

он очень хорошо сознавал всю их нелепость и неудобоисполнимость. А между тем они занимали его, точь-в-точь как праздного человека, который лежит на кровати и тешит себя, придумывая разный вздор. Это случается всегда, когда над человеком разразится какое-нибудь неотвратимое горе, которое его ошеломило, но им еще не совсем сознано: думаешь, что он весь убит и поглощен им, а в это время лезут ему в голову мысли одна другой нелепее. Темрюков так был погружен в эти мысли, что глядел тупо в сторону и забыл про рыдающую перед ним Анюту. Она вывела его от этой забывчивости.

— Говорите же, Темрюков! Научите меня, что мне делать! — воскликнула она голосом отчаяния.

Темрюков в смущении опустил голову, ему нечего было отвечать, он сознавал всю безнадежность положения.

Анюта поглядела на него и вдруг вырвала руку, подняла голову, и темносерые глаза ее, еще полные слез, блеснули гневом.

— Что ж? Не знаете? Так зачем же вы мне говорили все это? Зачем же вы открыли мне глаза на то, чего я не хотела, боялась видеть? Вы поддались мелочному, низкому удовольствию благоразумных людей, которые, увидав кого-нибудь в беде, начинают, как нянька ребенку, пенять и выговаривать: «Как можно было это делать!» Я была только беспечна — вы меня сделали несчастной. Довольны вы теперь?

Опустив голову, Темрюков стоял, как пораженный громом. Он сам не знал прежде, как далеко завело его участие. Горе душило его, двойное горе: и за себя, и за Анюту. Но упрек ее был несправедлив и слишком жесток, он не мог принять его. Темрюков тихо приподнял бледное, как снег, лицо; глаза его были полны слез; голос едва выходил из стесненной груди.

— Вы несправедливы! О, вы несправедливы, Анна Петровна! — сказал он. — Знаете, отчего я вам высказал все это? Потому что я не мог равнодушно смотреть на ваше положение, потому что мне невыносимо было видеть его, потому что я вас люблю, Анна Петровна! Да, люблю! Мне вас обманывать не из чего, через несколько минут мы расстанемся, но я не знаю, как и отчего это случилось, но в настоящую минуту я вас люблю, люблю так глубоко, так искренно, как никого еще не любил до сей минуты!

Темрюков остановился и вопросительно смотрел на Анюту. Не знаю, хотелось ли ему только увидать впечатление, которое слова его произвели на Анюту, или, как

всем влюбленным, желалось знать, отвечают ли ему тем же, любят ли его, нужды нет, что он расстается и что любовь эта умрет без всяких последствий, как на темном небе мгновенно вспыхнувшая и потухшая зарница. Анюта не отвечала Темрюкову, но по мере слов его различные чувства быстро сменялись на ее лице; как в солнечный день проносятся и скользят тени от бегущих облаков, так недоумение сменило у нее гнев, другое чувство уже сменяло недоумение в молодых глазах ее; и еще полные слез, эти глаза смотрели уже нежно, ласкательно, в них светилось то ответное чувство, с которым любящая женщина смотрит только на любимого человека. Темрюков продолжал:

— Вы думаете, может быть, что это минутное чувство? Не знаю, но что за дело, если нам суждено жить друг для друга только минуту и если на эту минуту оно сильно, как страсть! Если бы оно развилось в то время, когда мы мирно жили с вами в Д *, оно бы, может быть, долго горело тем тихим и тепленьким огоньком, которым мы так часто любили. Но то, что я чувствую теперь, могло родиться только теперь, в нашу мимолетную встречу. По крайней мере вы не заподозрите меня ни в каких расчетах — к чему мне обманывать вас! Теперь понятно вам, почему мне так безвыходно горько ваше положение? Мне хоть и больно, но страшно отрадно теперь, именно теперь, когда мы почти умираем друг для друга, повторять вам, что я вас люблю, глубоко люблю! — и он крепко сжал ее руку.

Темрюков сказал все, что у него было на сердце, и замолчал. Анюта не могла говорить. Целый мир новых ощущений и мыслей столпился у нее в душе. Только что успела взглянуть она на безвыходность своих отношений к мужу, как вот она слышит о любви в первый раз в жизни, слышит о любви к ней, и от человека, ей симпатичного, в первый раз в жизни чувствует, что какая-то новая жизнь разлилась в ней. Она не могла говорить, но в свою очередь горячо сжала руки Темрюкова, но говорили за нее в полумраке сумерек ее глаза, сквозь влагу которых, застенчиво дребезжа, ярко светился огонь ответного чувства и ласкательно, казалось, лился на Темрюкова.

Молча сжимая друг другу горячие руки, молча впиваясь друг в друга отуманившимися глазами, Темрюков и Анюта несколько мгновений оставались недвижны; какая-то сладостная и томящая атмосфера любви окружала их; их тянуло друг к другу, тянуло к чему-то лучшему; но им было так хорошо, что они боялись пошевелиться,

чтобы не нарушить очарования настоящей минуты: эта минута была полна ощущениями, как годы, и прошла быстро, как мгновение.

— Ну что, готовы, что ли, лошади? — протяжно и лениво спросил появившийся со двора заспанный лакей в шинели, подпоясанной платком.

— Го-то-вы! — лениво и протяжно отвечал ямщик и стал взмощаться на козлы.

Лакей поплелся в станционный дом.

— Уже! — сказала Анюта. И потом прибавила с горечью: — Недолго же было счастье!

Вдруг она встрепенулась.

— Прощайте, Темрюков! Прощайте! Скорее отворите дверцы, взойдите! — беспокойно и торопливо проговорила она.

Она походила в эту минуту на умирающую, которая, придя в память, вдруг чувствует, что уже жизнь ее на волоске, что вот она сейчас оборвется, и в ужасе боится умереть, не простясь с милыми сердцу, боится, что пропадет даром единственная оставшаяся ей минута жизни.

Темрюков повиновался скоро, но как автомат, он не думал ни о чем, он только повиновался. Он отворил дверцы, встал одной ногой на подножку, другой в карету. Кузов был низок; он опустился на колено перед Анютой, торопливо схватил ее руку, Анюта наклонилась к его щеке, и — не знаю, как это случилось — они встретились горячими губами. В одно мгновение Анюта вырвала свою руку, крепко обвила ими голову Темрюкова и крепко-крепко поцеловала его. Потом она оттолкнула его, закрыла лицо руками и упала в угол кареты. Темрюков, как ошеломленный, вышел, захлопнув дверцы, и прислонился к ним: он едва мог стоять.

Все это прошло так быстро и неожиданно; чувство, на развитие которого судьба дала только несколько минут, так спешило пережить все фазы сердца, свободно отдавшегося ему, так спешило его перечувствовать, что Темрюков и Анюта на несколько мгновений не могли прийти в себя: они были подавлены массою ощущений, переходом от первого слова любви к последнему слову разлуки. И в это время стали добивать те немногие свободные минуты, которые судьба так скупо отсчитала на их встречу и которые они так полно наделили жизнью.

На крыльце послышались голоса.

Как женщина — Анюта оправилась первая. Она опустила руки, лицо ее было бледно, но слез на нем не было; она начала говорить тихо, и голос ее, сначала дрожащий,

принял вскоре какой-то полный, грустный и мелодический, как музыка, звук.

— Прощайте, Темрюков! — слышалось ему из кареты. — Прощайте навсегда, потому что, если и суждено нам встретиться еще в жизни, так мы уже устареем, будем мертвы для любви. Вы мне открыли пропасть, в которую я навсегда упала, но вы мне дали одно светлое мгновенье, которое долго будет мне отрадой! Вы встретите других и забудете меня. Нужды нет! Но я — одна, там, в глуши — долго буду вспоминать вас, который хоть на минуту дал мне понять счастье жизни! Знаю, я его лишилась навсегда. Знаю, тем безотраднее будет мне жизнь теперь. Но по крайней мере я жила хоть минуту! Бог благословит вас, Темрюков, как я благословляю вас!

Темрюков молча смотрел на Анюту и понимал ее не по словам, которые как-то тупо принимались его сознанием, а по звуку голоса, который с малейшими изменениями прямо и полно ложился ему на душу. При синеватом свете сумерек в последний раз смотрел Темрюков на Анюту — и едва узнавал ее. Казалось, годы пронеслись над ее беспечной головкой и сильное чувство, как резец, прошло по ее круглому личику теми линиями и тенями, которые оставляет оно, как свою печать, вслед за собою: перед ним была не беззаботная веселая девочка, но женщина, для которой жизнь уже сбросила свой розовый покров. Бледная, как будто похудевшая, едва выдавалась фигура Анюты из темного угла кареты. Тихо звучал ее голос, полный искреннего и грустного чувства; и Темрюкову казалось, что она в самом деле точно умирает для него, что она говорит ему с края могилы. Безвыходная тоска душила его, ему страшно хотелось упасть к ногам Анюты и еще раз, тысячу раз сказать ей: «Я тебя люблю, я тебя никогда, никогда не забуду».

— А! Вы уж познакомились с моей женой! — раздался голос над самым его ухом, и широкая рука взялась за ручку дверцы.

Темрюков оглянулся — возле него был муж Анюты, Артемий Семеныч.

— Я с нею давно знаком. Я служил в Д* и прожил там несколько лет, — отвечал Темрюков.

— А! Так вы старые знакомые с женой! Может, еще волочились за ней, а? А ведь недурную жонку-то я подцепил! А?

Темрюков не отвечал Артемью Семенычу, но он пристально смотрел на его левую щеку: при всех миролюби-

вых наклонностях и уважении чужой личности, Темрюкову хотелось дать ему пощечину.

Артемий Семеныч не подозревал таких враждебных желаний: он был очень пьян, но в хорошем расположении духа.

— То-то, вы молодые люди! Вы все так только — поминдальничать или там насчет мелочи, а нет чтобы жениться да кормить жену! Вы все на фу-фу! Обузу-то не любите! А? Не лю-би-те!

Он последнее слово как-то осебенно протянул.

Темрюков не мог отвести глаз от его левой щеки: место повыше рыжеватой бакенбарды так и тянуло его руку.

— А мы обузы-то не боимся. Мы не любим мирлифлерничать-то [19]: понравилась — ну и женился, и корми жену. Слышишь, Анна? (Он полез в карету) Я тебя буду кормить, одевать, а ты у меня смотри! В глаза глядеть! А этих маркизов-то помпадур подальше! Ну, пошел! Демьяныч, приезжай к нам в Сибирь! Выпьем там на славу!

Последние слова относились к смотрителю, который стоял в некотором отдалении, и были сказаны уже на езде. Экипаж двинулся; мимо Темрюкова, полузаслоненная мужем, мелькнула белая фигура Анюты, еще несколько мгновений смотрел Темрюков вслед отъезжающим, но он не видал ничего, кроме потряхивающегося кузова, который тихо исчезал в пыли и сумраке...

— Не прикажете ли чаю? — спросил смотритель.

— Нет. Но, ради бога, дайте мне скорее лошадей!

— Теперь можно, — флегматически заметил смотритель. — Антиох, закладывай им лошадей! — и смотритель скрылся.

Ямщик Антиох, тот самый, который с приезда Темрюкова сидел у ворот на камне, лениво встал и пошел поить лошадей.

Темрюков сел на крыльцо, подпер голову обеими руками и пристально стал смотреть опять на расстилающийся впереди разлив Волги, не замечая, что ни разлива, ни Волги не было видно и один темный туман медленно поднимался кругом.

Темрюков не замечал, как мазали тарантас, долго ли запрягали лошадей. Он очнулся, когда ему сказали: «Готово» и спросил прогоны. Он рассчитался и сел в экипаж точно в чаду. Лошади тронулись. Темные очертания изб длинным рядом прошли мимо; проехали околицу, и поля обозначились черным, точно пустым пространством. Тем-

рюков рассеянно смотрел по сторонам. В голове его происходила какая-то путаница и произвол. Мысль его не останавливалась ни на Анюте, ни на том чувстве, которое, как метеор, пронеслось и разразилось над ним, но бродила и прыгала с предмета на предмет совершенно без толку. То вдруг ему неизвестно с чего приходила на память почтовая карта, которую он рассматривал перед поездкой: он ясно представлял себе сеть дорог, которая, поднимаясь выше, все становилась реже и реже. Вот две дороги сходятся вместе, вот и одна тянется одинокой чертой, кругом белая бумага — это пустыня, вот от Якутска идет черточка вбок, с цифрою — тысяча с чем-то верст — замыкается кружком и надписью: Порт Аян, далее дорога нейдет, далее пустыня и море! То ему — не знаю, с чего — приходила на память статья Жерара о львах [20]; Темрюков вспоминал, как львица равнодушно смотрит на бой, иногда смертельный, двух львов и потом идет за победителем, который с тех пор принимал обязанность кормить ее. «Но ведь на то они и звери!» — думал Темрюков. То ему с поразительной ясностью представлялась красная щека Артемья Семеныча, он, кажется, мог бы пересчитать на ней все волоски; и тогда бессильная злоба пробуждалась в нем: он сердился на себя — зачем не дал по ней пощечины, зачем благоразумие и нравственное чувство были так сильны в нем, зачем он не отдался своему желанию. «Тогда бы хоть что-нибудь да вышло», — думал он. Но все эти мысли были как вариации и фиоритуры на какую-то однообразную тему, которая была у него на душе. Как большая басовая труба, которая немолчно гудит в органе, потрясая воздух и покрывая тоненькие флейточки, которые выделывают разные переливы, в душе Темрюкова ныла и стонала какая-то сжимающая сердце страшная, безвыходная тоска.

Тарантас двигался медленно. Мальчик, скорчившись, спал возле Темрюкова. Кругом все было тихо, и прозрачная тьма весенней ночи медленно спускалась все гуще и гуще.

— Пошел, ямщик, пошел! — кричал Темрюков: ему бы хотелось врезаться всей грудью и утонуть в этой тьме, которая, как черная пропасть, стояла перед ним...

А надолго ли все это?

ПОЕЗДКА НА КУМЫС

ОЧЕРК

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

От Петербурга до Москвы

В бездомной жизни холостяка, домашний очаг которого удобно помещается в дорожном чемодане, есть наслаждение — поодичав немного в провинции, приехать в начале зимы в Петербург. Какой милый город Петербург зимою! Как удобна в нем вся хозяйственная, практическая обстановка жизни для человека, которого первое наслаждение — не иметь забот о домашнем хозяйстве! Как полна в нем спешная жизнь современным интересом! Да и где у нас этот современный интерес, кроме Петербурга? Где у нас эти теплые, еще животрепещущие новости, которых не вычитаешь в газетах, которые завозит в провинции — простывшие, перевранные — какой-нибудь заезжий? А опера, театры, маскарады, мокрые от типографского станка газеты, лошади цирка высшей школы, газовое освещение и прочее и прочее.

Да, есть высокое наслаждение прожить зиму в Петербурге, но еще высшее — уехать из него весною!

Пестрая разнообразными веселостями зима кончилась, прошел и Великий пост[1]; немногие виртуозы, дававшие концерты, разъехались; снег раскололи и свезли, грязь счистили, двинулась вода в реке и каналах, двинулись барки, нагруженные мебелью для дач; на тротуарах Невского проспекта запестрела сплошная масса разноцветных зонтиков, защищающих личность прогуливающихся от безвредного петербургского солнца; появились дни, в которые можно было рискнуть выйти в холодном пальто, — наступила весна.

Зимой везде снег и мороз; но весною, когда все в природе встрепенется и закипит жизнью, когда усталая грудь с болезненным наслаждением жаждет свежего, ароматного воздуха, когда кровь бойко бежит в жилах и хочется человеку простора, а какая-то дремотная нега клонит его от рабочего стола, — в это время тяжело и досадно дышать пылью, слушать немолчный стук экипажей по се-

рой горячей каменной мостовой, видеть кругом сплошные стены домов...

Под влиянием этого тяжелого чувства, к которому присоединялась нетерпеливость больного, боящегося упустить лучшее для пользования время, с первых чисел мая я жил в Петербурге и беспокойно ждал... попутного ветра. Наконец пахнул этот желанный ветер, и я мог выехать.

Но прежде, нежели поведу читателя по той дальней дороге, которую нам придется проехать, считаю нужным оградить себя от замечания, которое впоследствии он может мне сделать. Не имея ни права, ни желания занимать его любопытство своею личностью, я поневоле должен буду говорить иногда о себе — по той необходимости, что я описываю свою собственную поездку и, к несчастью, не могу вместо себя послать какую-нибудь интересную личность выдуманного мною героя. Говорю «к несчастью», потому что понимаю всю выгоду писателя, рассказывающего чужие похождения: во-первых, я бы постарался сделать моего путешественника таким интересным, что читатель готов был бы следовать за ним хоть на край света; во-вторых, путешествие его было бы полно самых разнообразных приключений, которых, бог даст, со мною никогда не случится; в-третьих, путешествия выдуманных героев производятся на счет издателей и стоят автору нескольких дней труда и нескольких листов белой бумаги. Но, несмотря на все эти выгоды, я все-таки не могу послать вместо себя какого-нибудь героя — не могу потому, что намерен говорить о том, что вижу, а не о том, что хотел бы видеть; не могу потому, ни на волос не будет мне легче, если заставлю растолстеть от кумыса моего героя; не могу потому наконец, что не хочу, сидя в кабинете, дразнить и раздражать свое воображение одною мыслью о том знакомом пути, о той любимой стороне, которые мне так хочется и так весело будет увидеть.

Итак, я собрался ехать на кумыс, в Оренбургскую губернию, куда меня призывали и расстроенное здоровье, и собственные дела. Оренбургский край нов и разнообразен; путь к нему пересекает пол-России. Много и мы, и иностранцы пишем про заграничные поездки, мало и редко наблюдательным взглядом путешественника смотрим по сторонам собственно наших дорог; поэтому я намерен в этих письмах говорить о своей поездке.

В одно прекрасное петербургское утро, когда не было ни солнца, ни дождя, ни ветра, а было нечто серенькое, очень хорошо известное жителям Петербурга, именно 18-го мая в одиннадцатом часу, я простился с северной

Пальмирой[2], чтоб отправиться в сердце России. Перед окном моей квартиры, на шоссе Обуховского проспекта, стоит старинный гранитный верстовой столб с солнечными часами и с надписью: «От Царского села 25 верстъ, от Москвы 725 верстъ». Накануне я посылал в Царское село по железной дороге, и мой посланный возвратился чуть-чуть не через час; прочитав надпись верстового столба, которая в переводе значит: трое или четверо суток езды, я отправился на станцию петербургско-московской железной дороги.

Русское простонародье зовет железные дороги **чугункой.** Есть у него название и паровозу, название, которое так и переносит вас в сказочный мир непонятных чудес: он называет паровоз **чортовым конем.** Но не думайте по этому имени, чтоб это изобретение запада казалось ему до того непостижимым, что он объясняет его себе содействием нечистой силы. Вообще не так легко озадачить чем-нибудь простого русского человека. В первый раз он как будто и удивится, и скажет: «Ишь, штука какая!», а потом будет смотреть на эту штуку как на вещь весьма обыкновенную, потому что хотя и не совсем поймет, а смекнет ее. Он уж и смекнул ее, он говорит: «Чортов конь — огневке брат», а огневка на его метком языке значит пароход.

Изо всего мною сказанного нисколько не следует, чтоб я думал именно об этом, подъезжая к станции железной дороги. Напротив, я был в прекрасном расположении духа и думал совершенно о других предметах, даже, кажется, ни о чем не думал. Мне просто было весело проститься на четыре месяца с милым городом Петербургом, с его толками, новостями, веселостями, пылью, стуком; я только наслаждался расставаньем с милыми предметами, потому что есть большое удовольствие покинуть милые предметы, когда видишь их сряду девять месяцев.

Жителям столицы нечего говорить о прекрасном здании петербургской станции железной дороги. Это двухэтажное здание с двумя воротами по бокам, из которых в одни ввозятся товары, назначенные к отправлению в Москву, а из других вывозятся грузы и выезжают приезжие из Москвы.

В одиннадцатом часу приехавшие из Москвы уж спокойно бреются в своих квартирах, и извозчики, их ожидавшие, уж разъехались. Экипажи, привозящие отъезжающих, не остаются; только незначительное число их, ожидающее возвращения провожавших, стоит в отдалении. Подъезжают торопливо путешественники к большо-

му подъезду, берут свои вещи с помощью собственного слуги или извозчика и скрываются с ними в двери; у здания опять пусто и спокойно. Но в большой со сводами зале, в которую входишь, сейчас бросается в глаза суетящаяся толпа отъезжающих. Тут все торопятся, хлопочут, беспокойно чего-то ищут.

Первое, к чему бросается неопытный путник, — это полукруглый, со стеклами, фонарь, внутри которого стоят весы и сквозь который виден разрез крытого двора с чугунной сетью стропил наверху и параллельными рядами рельсов на земле. Всякий торопится скорее сдать свои вещи.

— Потрудитесь принять мои вещи, — говорит отъезжающий, складывая в стороне от других свои чемоданы и коробки.

— Билет есть? — спрашивает приемщик, когда доходит до них очередь.

— Билета еще не взял, — отвечает путник.

— Так не угодно ли взять его вон там?

— Да нельзя ли принять вещи, а я билет уж после возьму, — продолжает отъезжающий.

— Нельзя! — отвечает приемщик, втаскивая сквозь отнятую раму другой чемодан.

— Да отчего же нельзя?

Приемщик продолжает взвешивать чужие вещи, и отъезжающий господин справляется, где раздают билеты; ему показывают бюро налево от входной двери, и он отправляется к нему.

— Билет на место первого класса! — говорит он.

— Позвольте паспорт, — отвечает кассир.

Он показывает паспорт.

— Он не прописан, — говорит кассир, отрезывая и штемпелюя билеты для других требователей.

— Да где же его прописать? — слегка побледнев, говорит неопытный господин, воображая, что ему надобно ехать куда-нибудь прописывать паспорт и пропустить час отхода поезда. Но кассир показывает ему на другое бюро; отъезжающий успокаивается и спешит пробраться к нему. На дороге ему встречаются знакомые и приятели, приехавшие его проводить, но ему не до них: он еще не уверен, поедет ли он, потому что число отъезжающих велико, а число мест ограничено.

Наконец паспорт его прописан[3] и на нем положен штемпель; отъезжающий начинает совершать обратное путешествие от бюро к бюро: получает билет, причем спрашивает, сколько он стоит, хотя знает наперед объявлен-

ную цену, сдает вещи, расплачивается за них у другого бюро, получает ярлыки с номерами билетов, наклеенных на чемоданах, бережно укладывает их в бумажник и, спокойный, довольный, отправляется в толпе отыскивать своих приятелей.

Между тем отворяется боковая дверь, и толпа отъезжающих с дорожными мешками в руках проходит через две комнаты в большую и красивую залу, уставленную по стенам и посередине лакированными деревянными скамьями: здесь ожидают минуты отъезда. Зала эта представляет совершенную противоположность предыдущей: тут все тихо, все сидят или стоят со своими знакомыми группами около своих мест; все в ожидании звонка хотят поговорить с отъезжающими, передать им какую-нибудь просьбу, поручить какую-нибудь комиссию [4], и все или помалчивают, или говорят пустейшие фразы; забытая вещь, несказанное слово вспоминаются уж обыкновенно тогда, когда свистнет свисток паровоза...

Но вот первый звонок. Растворяются двери на платформу, все хватают дорожные мешки, наскоро прощаются и спешат в свои вагоны, как будто боясь не попасть в них. Через несколько минут на галерее за балюстрадой остаются одни провожающие; между ними и вагонами пустое пространство, по которому ходят кондукторы и распорядители. Из окон вагонов виднеются разнохарактерные головы, кивающие друзьям и делающие им прощальные знаки руками. И опять тишина и ожидание; нет разносчиков газет и мелких торговцев, предлагающих на заграничных дорогах пищу для ума или желудка отъезжающих; все тихо, чинно.

Наконец послышался третий звонок, с ним вместе слился пронзительный звук свистка, клубы густого пара ударились в железную кровлю дебаркадера [5], и вот слышите вы тяжелые и резкие вздохи паровоза и постепенное звякание натягиваемых колец, которыми соединены вагоны. Вот звякнуло кольцо вашего вагона, и вся галерея с пестрым рядом провожавших отодвигается назад; отодвинулось, кажется, и самое здание; чаще и чаще послышались взлеты вырывающегося пара; здания и пустые вагоны, ожидающие клади, замелькали перед вами — и вы полетели.

В первое время пассажиры молча осматриваются по сторонам дороги, осматриваются вокруг себя. Но дорога идет по безжизненным болотам, и личность спутников удерживает за собою права на внимание. На лицах людей, считающих себя весьма образованными оттого толь-

ко, что они безусловно восхищаются всеми современными открытиями, видно самодовольствие: они гордятся торжеством ума человеческого, изобретшего паровозы. Вообще очень удобно ехать по 50 верст в час по гладкой дороге, в спокойной карете и гордиться этим торжеством ума, споспешествуя его развитию несколькими рублями за перевоз своей особы. Люди более скромные, отдавая должную справедливость гениальному изобретению, немного побаиваются его; они будут им гораздо довольнее, складывая свои вещи на извозчика. Остальные наконец, к которым принадлежит бо́льшая часть пассажиров третьего класса, принимают вещь очень хладнокровно и благоразумно: они не восхищаются ею и не боятся, а едут потому, что **нынче стали так возить.** Есть еще разряд пассажиров, которые принимают всякое изобретение и открытие, стоящее человечеству стольких трудов и времени, как дань, подобающую их особе, и очень недовольны человеческим умом, который не может отвратить легкого сотрясения, происходящего от быстроты езды.

Но вот раздаются два свистка, вслед за ними слышится скрип тормозов, и поезд останавливается.

— Что такое? — торопливо спрашивают явно встревоженные скромные путешественники.

— Что это мы остановились? — спрашивают с не менее сильным, но более скрытым беспокойством соревнователи и жаркие поклонники ума человеческого, невольно подумывая: не сплоховал ли немного человеческий ум, встретив какое-нибудь непредвиденное обстоятельство?

— Зачем мы остановились? — спрашивают небрежно первоклассные пассажиры, очень недовольные остановкой в стремлении их особы к Москве, в то время, когда они не имели желания останавливаться.

Кондукторы отвечают, что здесь запасаются водою, и все успокаиваются. Некоторые любезные кавалеры, за минуту встревоженные, с улыбкою легкой насмешки над трусостью женщин начинают уверять своих дам, что им бояться нечего. Многие пассажиры выходят на платформу, но не отходят от своих вагонов, боясь остаться. Но через несколько минут раздается звонок, все спешат на места, паровоз засвистел — и поезд снова двинулся.

Время идет, версты мелькают мимо; кругом всё болото, поросшее мелкими соснами; даль, как будто кружась, отодвигается назад, но вид не изменяется: все тот же лес и болото; пассажиры свыкаются со своим положением, ищут удобства в своем кресле и входят в свои роли.

Исключительная особенность русского путника, особенность, происходящая от характера и от малочисленности поездок или привычки делать их в своих экипажах, состоит в том, что он в дороге не эгоист. Если он хочет быть эгоистом, хочет иметь все удобства, он ищет себе отдельного места и готов заплатить за него втридорога; но раз садясь в общественный поезд, в почтовой ли карете, дилижансе или вагоне, он держит в нем себя совестливо, отрекается от своей личности, делается уступчив, услужлив и нетребователен. Нет у него ни спора за открытое окно, из которого в него дует, ни ссоры за место для своих ног, которое занял сосед своим мешком: он наперед обрекает себя на эти маленькие неприятности; от этого, может быть, мы вообще не любим дешевых мест и общественных экипажей.

Так все тихо и мирно шло в нашем поезде: не было ни у кого ни сегодняшней газеты, ни какого-нибудь «Путеводителя» в руках, все занимались друг другом или углублялись в самих себя. Это право ничего не делать и не заниматься в дороге многие находят одним из ее наслаждений. Только в первоклассном вагоне две дамы вынули из дорожных мешков французские романы миниатюрного брюссельского формата, да одна во второклассном — о, милая женщина! — начала читать русский роман; но вскоре предпочла ему апельсины и исключительно занималась ими бо́льшую часть дороги. Многие выразили сожаление, что не взяли с собою карт — не карт дороги, а обыкновенных наших игорных карт; один какой-то растрепанный и самоуверенный юноша, прожив в Петербурге два месяца, горячо начал рассказывать о нем своему соседу, а сосед его, почтенный человек лет сорока пяти, в первый раз выехавший из Петербурга, слушал его с большим интересом. Молоденькая дама, у которой в лице было много игры и, как говорится, физиономии, живо болтала с тремя кавалерами, сидевшими рядом и против нее; а одна девица, лет сорока, с очень добрым, хотя и неказистым лицом и едва ли имеющая собственное хозяйство, свое **я**, а, как кажется, долженствующая проживать весь век у родных и знакомых в качестве кузины, тетки или компаньонки, едва познакомясь с своими соседками, сказала им: «Мне вчера княгиня У * говорила, что мы очень хорошо доедем». Хотя никто из ее соседок не знал княгини У * и еще менее мог знать, почему княгине У * известно, что мы хорошо доедем, но никто не улыбнулся этой невинной заметке, и все, по-видимому, были очень довольны и предсказанием княгини, и соседкой, ко-

торая была знакома с нею. Но более всех остался доволен этим замечанием сосед мой, которого исполненные таланта и наблюдательности статьи я не могу назвать (они так известны публике, что это значило бы назвать его по имени) и которого счастливый случай послал мне в спутники.

Собственно о сооружениях железной дороги я говорить не буду: они так значительны и серьезны, что нельзя говорить о них вскользь, и описание их может быть предметом специальной статьи. Но нельзя умолчать, что все эти сооружения так изящны, удобны и часто великолепны, что не только в России, где они появляются в первый раз, но и в Европе дали бы полное право нашей петербургско-московской дороге на одно из первых и почтеннейших мест в огромной линии ее железных дорог.

Один из самых живописных видов, которыми так небогата наша дорога, находится на пересечении ее с Волховом и потом с Веребьею, через овраг которой поезд мчится около полуверсты по огромнейшему мосту, на двадцать сажен высоты от дна. Часто останавливается поезд, согласно назначению, на 5 или 10 минут на станциях для принятия пассажиров и для снабжения водою. На одной из этих станций вас ждет готовый завтрак; не торопясь, вы можете в 10 минут достаточно удовлетворить требования желудка и мчитесь далее. В Малой Вишере, за 150 верст от Петебурга, мы в первый раз остановились на 30 минут.

Представьте себе прекрасное, почти эллиптическое каменное здание, обнесенное крытой галереей. Близ этого здания, за исключением другого — круглого, назначенного для помещения и починки локомотивов — на десятки верст болото и пустыня, а между тем с утра в нем начинается деятельность: повара готовят обед на сотню кувертов[6], прислуга накрывает в большой зале длинный общий стол и несколько маленьких столов по бокам и уставляет его различными винами в бутылках или полубутылках, на которых вывешена их цена; несколько буфетов уставлено разными закусками. Кругом тишина и пустыня, а между тем в известный час прислуга, в черных фраках с медными значками в петлице, уже ждет на своих местах, и маленькая группа дам, принадлежащих к семействам должностных при дороге лиц, появилась на галерее в ожидании неизвестных гостей. Но вот вдали на одной паре чугунных рельсов, одиноко пересекающих пустыню, показывается белая струйка дыма; через несколько минут долетает звук свистка; и едва успевают поставить пятую та-

релку с горячим супом над четырьмя другими, составляющими каждый прибор, как уж длинная нить вагонов стоит у галереи, и из них один за другим выходят сотни гостей, бросаются к столам и в минуту усаживаются вокруг них самой разнообразной нитью. Несколько служителей беспрерывно принимают тарелки, другие обносят блюда с кушаньем; очень порядочный общий обед состоит из пяти блюд; наконец вам предлагают тарелку, на которую вы должны положить взамен всего съестного и испиваемого маленькое количество сребра или злата. Через полчаса слышится звонок, потом свисток — и новый локомотив, сменивший отъехавшего свою дистанцию, уносит поезд. Вокруг галереи снова пустыня, в большой зале тарелки с остатками кушанья, пустые бутылки и рюмки, прислуга, их прибирающая, и буфетчики, считающие деньги...

Ошибается тот, кто думает, что нельзя позавтракать в десять минут или пообедать в полчаса; можно не только пообедать, но выпить чашку кофе или чая и несколько минут для моциона проходить по галерее. Вообще опытный путешественник все делает не торопясь и никогда не опаздывает. По мере удаления от Петербурга все до некоторой степени приобретают этот практический навык. Останавливается поезд на пять минут — большая часть пассажиров выходит на галерею, прогуливается и по звонку мерно усаживается на своих местах.

Вечером на станции Бологовской вторая и последняя получасовая остановка. Эта станция стоит ровно на полдороге, и потому поезды, в одно время выходящие из Петербурга и Москвы, сходятся в ней. Езда по железной дороге так аккуратна, что в то самое время, когда мы входили в залу с одной ее стороны, в противоположные двери входили московские путники, подъехавшие с другой стороны здания, и мы не знаем, кто из нас приехал ранее. Опять все наскоро удовлетворяют возобновившимся требованиям желудка. Петербургцы большею частью пьют чай, московцы ужинают и потом перемешиваются, чтобы поглядеть друг на друга и посмотреть, нет ли между приезжими кого-нибудь из знакомых. Опять звонки, опять разъезд...

Между тем наступила ночь, не та светлая петербургская ночь, которая вдохновляла поэтов и при которой можно читать газеты, — ночь потемнее, но все-таки довольно светлая. В вагонах зажгли свечи, но скоро в свечах не оказалось надобности: всякий, кто мог дремать, дремал, иные просто спали. Беловолосый юноша, сидевший около молоденькой дамы, у которой было много физиономии,

единственный ее поклонник, потому что остальные вышли на дороге, закутавшись в испанский плащ, говорил тихо, но глядел большими глазами, если можно так выразиться, очень громко. Дама его, доселе живая и веселая, вероятно, показалась ему томной: ей хотелось спать. Вскоре она сняла шляпку, свернулась как-то эластично в маленький комок, удобно поместившийся в кресле, и заснула. В вагоне стало тихо, и среди этой тишины только слышались мерный, частый стук паровоза, да некоторые невинные души иногда всхрапывали так же громко, каждый своим собственным всхрапом, как они имели обыкновение еженощно это делать на своей постели.

На солнечном восходе, под Тверью, над нашим поездом промелькнула темная тень небольшого моста: это московское шоссе, пересекающее железную дорогу. Незаметно, едва потревожив его двумя мостиками, проскользнула под шоссе эта дорога. Что сталось теперь с пожарскими котлетами в Торжке, и с яжельбицкими форелями, кофеем с вафлями и медвежьей ветчиной Померании, и с этими пресловутыми валдайскими баранками, с поцелуями продавиц, которые в последнее время, как будто предчувствуя свое падение, вдруг постарели, так что баранки утратили свою лучшую приправу?.. Все это теперь сделалось воспоминанием [7], и чрез несколько лет сохранится только в местных преданиях.

Мы очнулись от сонной дремоты на подмосковных станциях. Молодая дама, у которой было много физиономии, причесала голову карманным гребнем, надела шляпку и по-прежнему стала весела и кокетлива, но юный кавалер ее потерял всю свою любезность: он несколько осовел. Галереи станций, у которых мы останавливались, были украшены березками, и свежий запах едва распустившихся срубленных деревцов разливался в утреннем воздухе; некоторые вагоны тоже украсились зелеными ветвями; по этому старинному русскому обычаю, имеющему свою поэтическую прелесть, но стоящему жизни нескольким тысячам деревьев, можно было узнать, что настал Духов день [8]. Поезд мчался так же быстро, как и прежде, но его движение казалось нам уж медленно: так скоро человек ко всему привыкает и всем пресыщается.

Наконец в урочный час — в девять часов утра, ровно через двадцать два часа по выезде из Петербурга, поезд остановился у дебаркадера московской станции; чрез несколько минут по предъявленным ярлыкам нам выдали вещи, и новый утренний прилив петербургцев рассыпал-

ся по улицам Москвы. Княгиня У *, сказавшая накануне одной из наших спутниц, что мы доедем прекрасно, сказала правду. Но при настоящем устройстве и отличном порядке нашей новой железной дороги можно смело пророчить прекрасную поездку для ее проезжающих: это предсказание всегда сбудется.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

От Москвы до Нижнего Новгорода. — От Нижнего Новгорода до Казани

Прямо со станции железной дороги я отправился в почтамт и успел найти место в почтовой карете, которая в этот же день отходила в Нижний Новгород. Устроив свой отъезд, я пошел в гостиницу, шагах в пяти от почтамта, куда отправил уже мои вещи.

Между множеством различных гостеприимных городов и стран, предлагающих приют проезжающим: между «Европой», «Парижем» и «Дрезденом», стоящими на Тверской, «Лондоном», отодвинувшимся к Охотному ряду, и «Лейпцигом» у Кузнецкого моста — я выбрал «Берлин» на Мясницкой. Вообще я сделал привычку к «Берлинам» с тех пор, как прожил полтора года в очень плохом «Берлине» Ярославском, который, впрочем, пользуется такою местною известностью, что в подражание ему есть в Ярославле другая гостиница, под фирмою «Малый Берлин», уж окончательно неудобообитаемая. Надобно отдать справедливость московскому «Берлину», что он, с своей стороны, тоже довольно плох; но его делает привлекательным для беспечных людей близость к почтамту, так что приезжая или имея намерение отправиться в почтовом экипаже, всего ближе отдать ему на несколько часов сохранение своей особы.

Первое, что делает в Москве большая часть петербургских приезжих, — это переводит часы. В то время, когда Петербург начал жить половину десятого, Москва уж истратила ее и принималась за одиннадцатый час. Мы, приезжие, в двадцатидвухчасовой переезд потеряли полчаса жизни: мы их не жили. Нам остается утешение наверстать их в обратный проезд.

Москва в день нашего приезда праздновала Духов день обычным гуляньем в Сокольниках. Московское гу-

лянье не то что петербургское. В последнем гулянье это — развлечение, произвольная забава; в Москве это дело, обычай, налагающий обязанность выполнения. И надобно видеть, что такое, например, гулянье в Духов день в Сокольниках! Все, что может двинуться в этот день, непременно двигается в Сокольники; все, кто могут блеснуть чем бы то ни было, непременно стараются обратить на себя внимание; и вот опять московская особенность — желать непременно чем-нибудь выказаться, отличиться. Взгляните на здешних франтов — что у них за туалеты! Ничего простого, ничего без эффектно-изящного, везде и всюду претензия. Точно то же и на гулянье: для него нарочно делают новые экипажи, новую одежду кучерам, и если не могут этого сделать, то по крайней мере закладывают эти экипажи как-нибудь иначе, чем обыкновенно; тут вы увидите четверню в ряд [9], а кучеров, одетых ямщиками; пролетки, заложенные тройкой [10], с раззолоченной дугой, бубенчиками и разноцветными лентами в лошадиных гривах, и рядом с ними старинная карета, скрипящая и звенящая, карета, в которой еще более претензии, чем в раззолоченных купеческих экипажах, потому что ее только раз в год, в этот день, проветривают на свежем воздухе. Все это пестро, оригинально, отчасти эффектно, а отчасти забавно, потому что почти в каждом из этих экипажей едет шагом какая-нибудь расфранченная личность, которая посматривает на пешеходов такими глазами, сидит в такой позе, что так и хочет сказать: «Эй вы! Любуйтесь мною, знай наших!»

Никому не нужно и, конечно, не будет интересно знать, как я провел несколько часов в Москве. В шесть часов вечера, в то время, когда все экипажи мчались по направлению к Сокольникам, почтовая карета повезла нас к Рогожской заставе, от которой идет нижегородское шоссе. Мы ехали, как я уже сказал, с тяжелой почтой [11].

В сумерки мы приехали на первую станцию, Горенки. На ней впервые в ожидании перекладки пассажиры выходят на шоссе отдохнуть от переезда и испробовать, долго ли им предоставляется удовольствие прогуливаться или дремать на своих местах. Тут впервые сквозь сумерки всматриваемся в лицо спутников и хотим угадать, кто они и что они; но лица моих спутников были, к несчастью, неинтересны. Какой-то немец с общенемецкой физиономией, какой-то пожилой господин со стрижеными усами в рыже-зеленом сюртуке с бронзовыми пуговицами, какая-то старушка в чепце — все добродушные лица с маленькими претензиями, умещающимися в наружных местах.

Впереди по шоссе тянулись двухэтажные здания **фабрики**; около них гуляли **фабричные**, то есть не то чтоб прогуливались, а гуляли, справляя праздники, как обыкновенно гуляет и празднует мастеровой человек. Позади нас стоял на шоссе красивенький домик для шоссейного сбора; эти домики своей свежей и опрятной наружностью производят приятное впечатление, все они украшены маленькими палисадниками и цветниками, что заставляет предполагать, что их смотрители больше любители ботаники или цветоводства.

Немного надобно времени, чтоб взглянуть на все это, гораздо больше его потребно было на перекладку тюков. С неприязненным чувством ко всем отправителям посылок, ко всем любезникам, посылающим по почте подарки, ко всем провинциальным потребителям, выписывающим себе разные потребности из столиц, поручая закупать их своим знакомым, смотрел я, как ямщики перекладывали грузные тюки. Некоторые из этих тюков были адресованы в Иркутск — сколько раз по дороге придется им переваливаться из одной телеги в другую! Многие были составлены из майских книжек журналов. Как негодовал я на вас, толстые петербургские журналы, за вашу толстоту! Как я был рад, что из нескольких сот тысяч читающих и нечитающих людей, составляющих нашу образованную публику, у вас едва наберется по четыре тысячи подписчиков! Как я был доволен нашим обычаем попросить у своего знакомого какой-нибудь книжечки почитать и потом зачитать окончательно эту книжечку! Что бы было в самом деле с проезжающими в почтовых экипажах, если б всякий образованный человек выписывал у нас книги или журналы, когда и теперь грузят их на каждой станции более получаса семь ямщиков на семь телег и везут на семи тройках!

Вслед за Горенками над живописно разбегающейся речкой Пекрою стоит барский дом, — дом действительно барский. Взглянув с шоссе на этот каменный двухэтажный дом с бельведером [12] и флигелями, соединенными колоннадой, взглянув на весь широкий размер этого богато и живописно обстановленного и природой, и искусством барского дома, воображение невольно рисует грациозные, живые и разнообразные лица общества, которыми хотелось бы населить это прекрасное место; невольно зарождается в голове нить игривого и полного жизнью романа, которую хотелось бы сплести и развязать в этой богатой обстановке... Но досужее воображение проезжающего писателя едет мимо — в том или другом экипаже, по той

или другой дороге, и темна для него та жизнь, которая вдруг иногда выставится наружу живописной стороною, затронет и пробудит в нем, как стаю спуганных птиц, неясную группу каких-то образов и скроется за перелеском или горою. Впрочем, Пекра, о которой теперь я говорю, была счастливее других мест, если только в этом есть какое-нибудь счастье: ее избрал граф Жюльвекур местом действия для своего весьма нелепого французского романа «Natalie, ou faubourg St. Wermain Moscovite» *. Помню, как сквозь сон, что, верный правилам нелепой французской школы, этот роман рассказывал какие-то нелепые вещи, и с тех пор Пекра потеряла для меня много своей прелести: все мне видится в ней какая-то графиня, влюбленная в урода-карлика, или карлик, утопающий в реке от безнадежной любви к какой-то графине, все слышится одна нелепая фраза, как на зло уцелевшая в памяти от всего романа: «á vos places, rebiata, — говорит дворецкий нарядным гребцам. — á vas places, rebiata: voilá la barie-nia qui vient avec ses gosti... ** — и живописный бег реки, широко разлившейся и теряющейся в группах кустов и деревьев, навсегда обезображен для меня какими-то уродливыми картинами.

Мы ехали далее, и Пекра осталась за нами. Вот и города начали попадаться на пути: вот Богородск, потом Покров. Если вы в первый раз едете в почтовом экипаже по этому тракту, вы с удовольствием мечтаете о приезде в город. Прошли десятки лет с тех пор, как Пушкин описал уездные гостиницы и станции [13], сбылись отчасти его мечты, и шоссе пересекли много земли в подмосковных губерниях [14], а трактиры для приезжающих все те же [15], и не изменили их ни время, ни порядочные дороги, ни общественные экипажи и увеличившийся проезд. Года пролетели над ними, а не сняли с них ни одной пылинки. И поневоле позавидовал я двум моим спутникам, верным старине и едущим с многочисленными узелками. С завистью и невольной улыбкой смотрел я, как старушка в дорожном чепце и пожилой господин в рыжевато-зеленом казакине, спросив себе одной горячей воды, предлагали друг другу попробовать чайку, взятому ими в Москве, и сравнить его достоинство. Развязали узелки и очутились окруженные разными сдобными и жареными подорожника-

---

* «Натали, или Московское предместье Сен-Жермен» (франц.).

** По местам, ребята, по местам, ребята, барыня идет с гостями (франц.).

ми[16], плодами собственной предусмотрительности и кухни или нежной заботливости своих знакомых...

На другой день, часу в третьем, мы были во Владимире и могли кой-чем удовлетворить аппетит в гостинице, известной оригинальностью своей карты, замеченной графом Соллогубом в его «Тарантасе»[17]: тут можно найти и **говядину на глаз,** и **арерус со стерлядью,** и заманчивое пирожное, носящее название **шпанских ветров.** Не имея намерения говорить об исторических памятниках, впрочем довольно редких на пути, не имея возможности увидать в них что-либо новое, смотря из окна почтовой кареты, я должен предупредить читателя, что в этих письмах он не найдет никаких исторических заметок, — я просто пишу очерк того длинного пути, который лежит передо мною, очерк тех картин, которые промелькнут перед моими глазами; не придаю этим очеркам претензии на серьезный труд и только желаю моим читателям не повстречаться в них со скукой.

На первых верстах за Владимиром экипажи наши остановились: они не могли проехать сквозь толпы народа. С высоты пригорка нам было видно, как по прямой полосе шоссе волновалась и медленно двигалась пестрая и длинная масса богомольцев. Это было 20-го мая — день, в который из Боголюбова монастыря, лежащего верстах в двенадцати от Владимира, ежегодно переносят в город икону Боголюбовской Божией Матери. Это шествие сопровождается всегда многочисленным стечением народа. Ровно год назад, в этот самый день, здесь случилась страшная катастрофа. Один из мостов над довольно глубоким оврагом, загруженный народом, не выдержал его тяжести, колыхнулся, затрещал и обрушился, а толпа, шедшая сзади, продолжала двигаться и напирать и к первым жертвам прибавила новые...

Рано утром на третий день мы спустились по крутой горе и очутились в Вязниках. Вязники — очень порядочный уездный город, лежащий под горою, скат которой густо усеян яблонями, бывшими уж в цвету. В Вязниках есть изрядная гостиница, помещенная в большом каменном доме. Гостиница эта замечательна не отделкой своей в купеческом вкусе с расписанным потолком и картинами, деланными, кажется, одной с потолком кистью, но тем, что в ней есть очень хорошие сафьянные диваны на пружинах — вещь, которая единожды встречается в гостиницах всего моего двухтысячеверстного пути. Она замечательна еще тем, что спросите ли вы себе чаю или обед, прежде, нежели исполнять по возможности ваши требования, вам

предложат непременно купить русского холста — точно так, как в Кельне ко всему подадут бутылку одеколона.

Мы напились чаю и ожидали, пока труба кондуктора возвестит отъезд, и во время этого ожидания между моими спутниками завязался интересный разговор. Спутники эти были, как я уж говорил, немец пожилых лет и в рыже-зеленом казакине наш соотечественник, которого значение в обществе до сих пор остается мне загадкой. Этот господин, покинутый своей спутницей-старушкой, оставшейся во Владимире, сделался гораздо сообщительнее; он отпил чай вместе с немцем, и у них зашел следующий разговор.

— А давно вы в России? — спросил господин в казакине своего иногороднего спутника.

— Два года с половиной, — отвечал немец довольно чистым русским языком.

— А как вы хорошо говорите по-русски! Я вот был на Рейне, там тоже понаторел по-немецки... ну, однако ж не так.

— Сначала я не учился по-русски, — отвечал немец, — потому что в России можно жить и без всякого русского языка; но раз я слышал, как читали стихи Пушкина: мне русский язык показался таким звучным, что я захотел выучиться ему и читать Пушкина, выучился и прочитал Пушкина.

— О! Пушкин! Пушкин чудо как писал! — сказал господин в казакине элегическим напевом, приподняв кверху глаза.

— А Лермонтов? Ваш Лермонтов тоже очень хорошо писал, я и его прочел.

— Лермонтов! Лермонтов! Удивительно писал! Лермонтов Пушкина бы за пояс заткнул, да рано умер! О, Лермонтов! — сказал наш соотечественник и опять поднял глаза кверху.

— А вот господина Гоголя я тоже читал несколько, но не совсем понимаю, — сказал иностранец.

— Ну, Гоголь не то! Гоголь смешит, правда, ужасно смешит, ну а не то будет! Да и **каррикатурен** очень. Вот в «Северной Пчелке» справедливо о нем говорят [18].

— Однако ж и господин Гоголь, как говорят, весьма гениальный писатель, — заметил любознательный немец.

— Нет, Гоголь не то! — с уверенной улыбкой заметил господин в зеленоватом казакине.

— А кто у вас из настоящих, новых писателей замечателен?

— Новых? Да у нас новых писателей известных нет.

— Однако ж, кто же пишет в журналах?

— Известно кто! Пишут там журналисты.

— Кто же эти журналисты?

— Да разные! Фамилий-то их, признаться, я и не знаю, иные вещи недурно пишут, прочтешь, ну, а на фамилию-то не посмотришь. Знаешь, что иная повесть или там роман какой в таком-то журнале был, а какое дело, кто их там писал! В каждой книжке человек десять пишут и все разные — где их упомнишь!

— Гм, — заметил немец, — ну нет, хорошую статью надо знать, кто писал, надобно выписать тот журнал, в котором известные авторы свои статьи помещают.

— Так что ж, по-вашему, один год один журнал выписывать, а на другой год другой? Да кто ж знает, каков он будет на другой-то год? Да и опять говорю я вам, что нет у нас теперь известных писателей.

— Быть не может! — заметил немец. — Ну, нет Пушкиных, Лермонтовых — такие писатели редки, а все, вероятно, есть более или менее известные писатели.

— Да нет же, говорю вам! Ведь вот я тоже читаю кой-что. Ну вот Гоголя я не читал, а все же знаю, что Гоголь был известный писатель. Как бы не слыхать про известных писателей? Да нет их, известных-то; есть, да все неизвестные.

— Гм! — недоверчиво заметил немец.

В это время затрубил кондуктор, и мы поспешили к своим местам.

— Вот, — тихо сказал мне господин в зеленом казакине, кивнув головой на своего спутника, который спускался перед нами с лестницы, — вот пристал! Скажи ему, кто теперь известные писатели! Ну, сами посудите, кто их знает, теперешних известных писателей! Ну, вот Гоголь умер, ну, и все говорят, что он был известный писатель, ну, и другие умрут — тоже, может, скажут, а теперь кто их знает!

Я с ним совершенно согласился, и мы отправились далее.

Около полудня мы подъехали к реке Клязьме. Мост на ней перестраивался, и перевоз устроен на хорошем пароме, который ходит по канату. Человек десять перевозчиков с лямками через плечо захлестывают ее концом, на котором прикреплена деревянная шишечка, за канат, и тянут, мерно и скоро, ступая под лад живой песни, из которой я запомнил только два стиха:

Ах ты лоцман, большой нос!
Ты вели давать завоз.

Едва перевозчик доходит до конца парома, как отхлестывает конец лямки и возвращается к началу каната. Таким образом нескончаемая вереница перевозчиков сновала перед нами, песня пелась стройно и живо, и мы не приметили, как с последним ее стихом причалили к противоположному берегу. Эта переправа была одна из самых веселых переправ, которые мне случалось делать; шапки перевозчиков, которые они сняли, провожая нас, не остались пусты.

Но я забыл сказать несколько слов о городе, который остался уж за нами. Этот город, мимо которого все проезжают и которого, вероятно, большая часть проезжающих никогда не видала, называется Гороховец. Я именно и говорю о нем из благодарности и уважения к скромности, с которой он прячется верстах в двух от станции Красное Село и дает о себе знать только тем, что заставляет почту употребить с час времени на отсылку следующего ему постпакета и на прием его тщедушной корреспонденции. Не могу умолчать, что он поступил бы еще любезнее, если б вовсе не заставлял ждать этой присылки или по крайней мере давал возможность ждать ее в каком-нибудь более удобном приюте. Мы взошли в знакомую мне комнату верхнего этажа постоялого дома, одна из стен которой украшена картою полушария, начертанною по системе Меркатора [19]. Мы имели достаточно времени полюбоваться бесконечно растянутой на карте Сибирью и Гренландией, прежде нежели по усиленным просьбам к нам явилась хозяйка дома, она же и содержательница ресторана. Накануне у нее была лихорадка, поставившая ее в дурное расположение духа.

— Нет ли чего поесть? — спросили мы.

— Да чего вам поесть! Варили себе щи да кашу — вы, чай, есть не станете?

— Нельзя ли яиц сварить? — робко заметил я.

— Сварить-то можно, да дорого будет, — отрывисто отвечала она.

— Отчего же это?

— Да для них надо самовар ставить.

Я разрешил ее на эту издержку, и через полчаса явилась тарелка с яйцами, серая соль и медная ложечка.

— Одолжите салфетку, — сказал я.

— А на что-те салфетка? — возразила хозяйка.

— Яйца горячи, нельзя держать в руке.

— Нежны больно! — заметила хозяйка, однако ж подала салфетку; но когда спутники мои рассмеялись и повторили ту же просьбу, она решительно рассердилась,

сказала, что они прихотничают, и едва-едва согласилась исполнить их требование.

Около шестидесяти последних верст нижегородское шоссе идет почти без сгиба по совершенно ровной местности, окруженной огромными болотами, поросшими сосной и изредка прерываемыми грядами сыпучего песку. Полагают, и не без основания, что на этом месте сливались во время оно Ока и Волга. **Стрелка**, как вообще называет наш народ острый мыс земли, образующийся при слиянии двух рек, стрелка заносилась илом и песком, все далее и далее врезывалась и отодвигала реки и, отогнав наконец Оку до горы, легла против Нижнего Новгорода.

С половины предпоследней станции, то есть верст за двадцать пять, вдали, по направлению шоссе, на горе начинают виднеться здания: это Нижний Новгород. Мы ехали скоро, и, отделяясь от ровной местности, город яснее и яснее вставал перед нами. Вот наконец и широкая ярославская дорога, усаженная березками, выглянула слева и стала, изгибаясь, приближаться к шоссе, вот она сошлась с ним у заставы, и мы въехали **на ярмарку.**

Шоссе в этом месте идет в высокой насыпи, справа примыкает к нему Кунавинская Слобода, слева поемное место, на котором построены здания знаменитой нижегородской ярмарки. Это же самое шоссе весной, во время полноводия, разделяет два моря — разлива: справа, затопив дома и пробравшись между ними, подходит разлив Оки, слева примыкает и расходится верст на двадцать вдаль огромный разлив Волги, и правильные ряды ярмарочных зданий стоят в нем, «как Тритон, по пояс в воду погружен!» [20].

В то время, когда мы въезжали в Нижний, окский разлив уж вступил в берега, и река была полна водами, как налитая вплоть до краев чаша. Но Волга еще не собрала свои воды, и разлив ее блистал далеко на солнечном закате, хотя уж блистал не сплошным зеркалом, а отдельными озерами, разорванными зелеными островами; он только огибал ярмарку, но ярмарка стояла уж на сухой земле. В настоящую минуту она была еще пуста и безлюдна; все временные строения, разобранные, лежали в штабелях, еще мокрые от воды; но пройдет несколько дней, вода сойдет окончательно, и тысячи мастеровых бросятся возобновлять этот огромный город, живущий в год только два месяца. В каких-нибудь пять-шесть недель масса балаганов и лавочек встанет на отведенных местах, мосты лягут через Оку и ее затон, и там, где теперь еще свободно ходит паром, из отощавшей реки вы-

двинется песчаная гряда, и на ней построятся трактиры, постоялые дворы и так называемый **железный ряд**, на котором производится вся огромнейшая торговля железом. К двадцатому июля ярмарка готова и ждет со всех стран съезжающихся гостей своих.

Нижний Новгород стоит на горе, омываемой с одной стороны Окой, с другой — Волгой; вид на эту гору, усеянную зданиями, особенно на Кремль, которого старинная зубчатая стена ползет по горе, глядясь с двух сторон в реки и окруженная с двух других бульварами, прекрасен; не менее хорош вид с горы на огромное расстилающееся перед ней блестящее реками и пестреющее селами низовье; вообще местоположение Нижнего Новгорода одно из самых счастливых и живописнейших.

Едва мы подъехали к перевозу, не дожидаясь, пока тяжелые экипажи будут переправлены на дощаниках через Оку, я взял лодку и поспешил в город. В нем, кроме многих добрых знакомых, должны были ждать меня спутники, которые намеревались отправиться со мною на кумыс; я боялся, чтоб они не уехали без меня.

— Есть пароходы на пристани? — спросил я у перевозчиков.

— А не знаем. Был один, да вчера в Казань убежал.

— Много на нем поехало?

— Господ-то? Да, кажись, поехало довольно.

О моих спутниках мне никто не мог дать сведений. В неизвестности и нетерпении увидеться с добрыми знакомыми я поспешил в издавна мне дружеский дом, где для меня всегда гостеприимно открыта дверь и где ждал меня радушный прием.

Не знаю, случалось ли читателю, с которым я теперь беседую, коротко знакомиться с жизнью того или другого губернского города? Я говорю не о том знакомстве, которое делается мимоездом или в продолжение временного пребывания. Губернские города — города самолюбивые; они сначала становятся к заезжему человеку своей красивой стороной, и многие из их гостей, уезжая после нескольких недель веселостей и угощенья, со вздохом говорят: «Вот счастливая жизнь!» Я говорю не про эту жизнь и не про это знакомство, нет! Случалось ли моему читателю прожить в каком-нибудь уездном городе несколько лет и узнать свой город до последнего сустава? Если случалось, то я не скажу ему ничего нового; но чтоб иметь право говорить, делаю выгодное для себя предположение, что губернский город для моего читателя — страна неведомая, и продолжаю свои заметки.

Жизнь в провинции можно разделить на два периода. Первый — эпоха очарования: вы приезжаете в город, делаете знакомство и, к крайнему своему удивлению, находите себя в какой-то мифической Аркадии[21], обитаемой исключительно прекраснейшими и гостеприимнейшими людьми, разнообразными, оригинальными, каждый с своей маленькой странностью и особенной личностью, но без исключения людьми бесподобными. Прекраснейший человек и N. N., наживающий деньги, и N. N., проживающий их; бесподобный человек В. В., тихо ведущий свою мирную жизнь в среде семьи, у домашнего очага; отличнейший человек и В. В., не имеющий ни кола, ни двора, но встречаемый во всех домах, за исключением своего собственного. Губернская жизнь стоит перед вами лицевым фасадом, выкрашенным розовой краской: везде вы встречаете улыбку, крепкое рукопожатие и радушный прием; вы в восторге от губернской жизни! Второй период — период короткого ознакомления, период собственно губернской жизни. Вы часто бываете у одних из ваших знакомых, вследствие чего другие начинают не совсем благосклонно отзываться о вас: вы примыкаете к тому или другому кругу, с этой минуты вы человек губернский. Все, что б ни сделал N. N., будет в ваших глазах очень неблаговидно; все, что б ни позволил себе В. В., вы находите извинительным; вы горячо защищаете одного и порицаете другого: жизнь около вас мелка, интересов мало; всякая маленькая новость, всякий маленький слух становятся для вас громкими и занимательными: вы с удовольствием слушаете сплетни и еще с бо́льшим удовольствием их рассказываете. Как бы ни было велико ваше значение в городе, но к вам привыкают, и всякое незначительное новое лицо затмевает вас, и немудрено: оно имеет великий интерес — интерес новизны! Но утешьтесь! Как затмение не помрачает надолго солнца, так и вас не помрачит надолго приезжая личность: она или уезжает вскоре, или к ней также скоро привыкают, и каждый занимает свое место в общественной сфере. Видность этого места есть лучшая прелесть губернской жизни. Какое бы место ни занимали вы в губернской сфере, место это имеет свой вес и свое значение: вас не подавляет огромность общества, как, например, в столицах; вы чувствуете, что вы не незаметный атом этого общества, но один из его более или менее сильных рычагов, и немудрено: губернская жизнь так несложна, что в ней всякое колесо на виду, и вот вы, заметное колесо, вертитесь изо всех сил с шумом или молча. Если вы человек благоразумный и практический, то оботретесь

на своем месте, заведете связи, пустите, может быть, корни в губернскую жизнь и окончательно в ней акклиматизируетесь и мирно будете вращаться до тех пор, пока не совершите в ней свой кругооборот.

Я провел в Нижнем шесть лет молодости[22] и сохранил одно из самых приятных воспоминаний о радушии и гостеприимстве его общества. Но общество это не очень велико и преимущественно состоит из людей служащих. В городе едва можно насчитать три-четыре дома, принадлежащие помещикам. Жизнь его, мало самостоятельная и отчасти разъединенная за недостатком коренных старожилов, около которых она могла бы группироваться, точно такова, как и жизнь всех губернских городов: она преимущественно оживляется зимою. Знаменитая ярмарка мало изменяет эту жизнь; она входит в нее как случайный элемент, не вытекающий собственно из местной жизни, и имеет значение только для тамошнего купечества да в хозяйственных закупках. В городе есть постоянная труппа актеров, оживляемая в ярмарочное время приезжими артистами. Собственно в городе она дает представления в ветхом деревянном здании. Несмотря на неудобное помещение, нижегородская труппа имела свое блистательное время. В ней были талантливые актеры; она охотно и постоянно привлекала публику, и некоторые из ее бывших сюжетов[23], как, например, госпожа Косицкая, господин Соколов и госпожа Шмитгоф[24] с успехом нынче играют на московской сцене. Но это доброе старое время прошло; нынешняя нижегородская труппа, как говорят, крайне незамечательна; публика к ней охладела, и она дает представления если не собственно для своего удовольствия, то для удовольствия очень и очень немногих лиц, принимающих участие в ее судьбе и заботы о ее существовании.

Я говорил, кажется, что почтовая карета привезла нас в Нижний Новгород после двухсуточного пути, часу в восьмом. Здесь вместе с добрыми знакомыми встретили меня добрые вести: двое моих приятелей, также чающих исцеления от кумыса, поджидали меня, чтоб ехать вместе, и на пристани был пароход, отправляющийся на другой день в Казань. В следующее утро мы запаслись билетами и в четыре часа после обеда собрались на берегу Волги, у так называемого Боровского перевоза, находящегося под Волжским откосом.

Часть горы, на которой лежит Нижний Новгород, об-

ращенная к Волге, или так называемый Волжский откос, прекрасно отделана, и эта отделка стоила больших усилий и сумм. Весь огромный откос выпланирован, овраги на нем засыпаны, бугры срыты, он сходит к реке ровным и крутым дерновым скатом, по которому разбит сад. Два большие съезда идут по нем с горы и сходятся у реки. Тут же стоит небольшое, но превосходно устроенное водоподъемное здание, которое двумя паровыми машинами снабжает город ключевою водой, собранною в колодцы. Жаль, что этот откос виден только с Волги; въезжающие в город не водою — не видят его.

Лет десять назад ходили по Волге с грехом пополам три или четыре плохие парохода, принадлежавшие астраханским купцам-армянам. Теперь существует несколько компаний пароходства, имеющих в сложности более шестидесяти пароходов прекрасного устройства. Некоторые из этих пароходов железные, от четырехсот до шестисот сил. Верстах в пяти от Нижнего устроена фабрика, выделывающая все нужные для пароходов машины; в городе Балахне (в 35-ти верстах от Нижнего) их строят. Проезжая по Волге, в иной день встречаешь до семи пароходов, ведущих подчалки [25]; зато неуклюжие конные машины с каждым годом встречаются реже и реже. Но, несмотря на это развитие, волжское пароходство находится еще в детстве: это только начало прекрасного дела, которое со временем должно принять огромное развитие. Особенно это относится к пароходам пассажирским, потому что пароходов собственно для пассажиров еще не существует, и вы можете иметь каюту только на тех, которые везут какую-нибудь кладь или идут за нею. В рейсах нет никакой правильности, дни отхода параходов не назначены, их не знают заблаговременно даже и в самых конторах компании, поэтому о них и не публикуют. Приехав в прибрежный город, вы должны справляться и ежедневно наведываться.

Шестидесятисильный пароход «Рафаил», на котором мы должны были ехать, принадлежит одной из лучших и благоустроеннейших компаний, под назвнием «Меркурий». Он вел за собою одну **баржу** * с дровами. Каюты его удобны; две кают-компании, особенно назначенные для пассажиров 1-го класса, обиты обоями, украшены картинами, статуэтками, снабжены часами и вообще отделаны очень чисто и мило.

---

* Баржа — род высокой барки, на которой везется кладь (прим. автора).

Мы приехали на пароход большим и веселым обществом. День был славный. В пять часов после обеда прозвонил третий звонок, белый пар начал мерно рваться из трубы, колеса зашумели — и мы двинулись. Пассажиров было немного. В первом отделении трое нас, едущих на кумыс, дама и девица, сестры одного из моих спутников, ехавшие в Василь-Сурск, за 160 верст, в гости, — и только, да во второклассных каютах было человек пять мне не известных лиц, между которыми я встретил двух моих спутников по почтовым каретам: любознательного немца и господина в зеленоватом казакине; но каюты наши, устроенные внутри, в кормовой и носовой частях, отделенных машиной, постоянно разделяли нас, и мы с ними сходились изредка только на палубе. Общество увеличивали еще несколько наших общих знакомых, поехавших проводить нас верст за двадцать.

Мы сидели на палубе, и знакомая мне панорама волжских берегов двигалась перед нами. Сначала показался живописно приютившийся в полугоре древний Печерский монастырь, некогда, как говорят, стоявший гораздо выше, но откос горы, на котором он был построен, от неизвестных физических причин, скользя, спустился по склону, и монастырь со всеми зданиями опустился с ним вместе. Подобным скольжениям огромных масс земли есть много примеров, и едва ли это скольжение незаметно не продолжается и доныне. За монастырем потянулись длинной вереницей избы Подновья, в котором приготовляются известные подновские огурцы. Нижний стал скрываться за горою, вскоре вместе с ним скрылись и все подгородные строения, и мимо нас однообразно потянулись: справа — глинистые горы, сплошь поросшие лесом; слева — нижний берег луговой стороны, местами затопленный еще стоявшим разливом. Но мы, полюбовавшись живописным видом Нижнего Новгорода, не скучали однообразием выступавших берегов: на палубе и в нашей общей каюте было весело и шумно, — тут шли проводы, не те грустные проводы, когда надолго расстаешься с близкими сердцу, а веселые проводы приятелей, расстающихся до скорой и веселой встречи.

Незаметно проехали двадцать верст, и почтовая станция, до которой провожали нас нижегородцы, уж показалась на горе, когда мы увидали вдали по реке маленькую струйку дыма. «Пароход навстречу!» — закричал лоцман, и вскоре мы ясно различили бегущий вверх по реке пароход. Он быстро приближался к нам по другому фарватеру. Мы подняли флаг, закричали в рупор — и он ос-

тановился; наскоро простились мы с нашими гостями, шлюпка отчалила, отвезла их на встречный пароход, и мы отправились далее.

Из всех способов перевозить с места на место свою особу переезд на пароходе по реке есть, по моему мнению, самый приятнейший и удобнейший: вы не чувствуете ни тряски, ни качки, сидите в каюте или гуляете по палубе, по сторонам вас движется панорама берегов, и вы, не чувствуя усталости, наслаждаясь всеми удобствами плавучей квартиры, быстро несетесь вперед. Прибавьте к этому общество добрых знакомых и приятелей, с которыми вы давно не видались, — и вы будете иметь понятие о нашей поездке, одной из самых приятных поездок, которые мне случалось делать.

Вот справа, на высокой горе, опускающейся крутым и лесистым скатом в Волгу, виден верх белого двухэтажного павильона. Это павильон, выстроенный в саду князя Д *, дом которого едва проглядывает сквозь зелень деревьев. Ежегодно 8-го июля все лучшее нижегородское общество съезжалось за сорок верст в дом князя. В этом павильоне, убранном цветами и южными деревьями, бывал большой обед и потом бал, длившийся до рассвета. Этот ежегодный сельский праздник, этот бал среди цветов и зелени, в павильоне, сквозь отворенные двери и окна которого гляделась теплая июльская ночь, а внизу сквозь ночную темь виднелась широкая темная полоса Волги, вероятно, долго будут памятны нижегородцам. Но в нынешнем году в этот день дом не отворился для шумных гостей, павильон остался пуст: князь Д * умер в Москве нынешней зимою.

Ночью мы подплыли к Макарьеву. Ныне это один из незначительнейших уездных городов Нижегородской губернии, но некогда он был знаменит своею ярмаркой, переведенной впоследствии в Нижний Новгород, и до сих пор у купцов и простонародья известной под именем Макарьевской. Шумно пробежал наш пароход мимо самых стен монастыря св. Макария — патрона ярмарки: освещенные луной, белые стены древней обители стояли в водах разлива, и этот ночной вид тихого монастыря, глядящегося в дремлющие воды, был чудно-хорош, а за ним стояла затопленная и как будто выросшая из воды роща. На противоположной горе темным вырезанным силуэтом раскидывалось село Лысково, окруженное сотнею ветряных мельниц. Это богатое село с семью церквами, известное своей хлебной торговлей и пристанью, дня за три до

нашего приезда схоронило своего столетнего владельца князя Георгия Грузинского.

Благодаря комарам, которые, забившись от холода в каюты, не давали нам спать, мы как тени бродили целую ночь с палубы в общую каюту и из каюты на палубу. Часу в шестом утра пароход бросил на несколько минут якорь перед Василем-Сурским. Полусонные, простились мы с нашими спутницами, которых лодка высадила на берег, и, оставшись одни, с ожесточением напали на комаров, выгнали их из наших кают и, закупорившись герметически, в страшной духоте проспали едва не до Казани. Впрочем, более ничего нам не оставалось и делать: берега Волги на этом переезде очень мало представляют замечательных или живописных мест, на которых взгляд останавливается с удовольствием.

В первом отделении нас было трое, которым вместе предстоял еще долгий путь; спутники второго отделения играли в карты в своей общей каюте, и из них никто не интересовал нас особенно. Однако ж об одном из них я должен сказать несколько слов.

Надобно прежде заметить, что рядом с нашей общей каютой из коридора, по бокам которого идут двери в частные каюты, был вход в буфет; поэтому мы сначала нисколько не обращали внимания на одного высокого и видного мужчину с бородой и в длинном сюртуке, какие носят обыкновенно купцы или мещане. Мужчина этот выходил по нашей лестнице в коридор, осторожно проходил его, взглядывал в нашу общую каюту и потом скрывался в соседнюю дверь. Через несколько минут он выходил оттуда, таким же порядком возвращался и оставался на некоторое время невидимкой, потом снова возвращался и снова уходил; но вот этот сам по себе незначащий процесс повторяется днем, повторяется ночью, постоянно повторяется весь следующий день и всю следующую ночь и крайне заинтересовал нас. По окончании тридцативосьмичасового переезда мы полюбопытствовали узнать, что делал этот господин в свои частые посещения в буфет. Оказалось, что он выпил две бутылки хересу, восемь бутылок пива и сорок рюмок водки! «А ничего не кушали-с, — прибавил словоохотливый буфетчик, сообщивший нам эти статистические сведения. — Решительно ничего-с! Раз только сказали, что скушали бы вот они поросенка под хреном, да поросенка у нас не случилось, так они ничего и не кушали».

Коснувшись статистических данных, я не излишним считаю сказать о ценах мест на пароходе. Каюта в первом

отделении от Нижнего до Казани стоит 10 рублей серебром, во втором 8 рублей, места на палубе 3 рубля, а место на барже 1 рубль, за место для экипажа берут 10 рублей. Впрочем, эти цены несколько изменяются, смотря по устройству пароходов. На пароходе есть буфет и кухня, и цены за все очень умеренные.

Плавание весною на речном пароходе мало подвержено случайностям: нет ни мелей, ни перекатов, фарватер широк, ночи светлые и коротки, и потому пароходы на ночь не останавливаются. Впрочем, во избежание столкновения по бокам парохода на ночь вывешиваются красный и зеленый фонари и простой фонарь на верхушке мачты, кроме того в сильный туман они обязаны часто звонить в колокол.

Итак, мы плыли спокойно и прекрасно вниз по Волге, когда на третий день, часу в шестом утра, нас разбудили известием, что скоро остановимся на месте. В самом деле, впереди, едва возвышаясь над разливом воды, в утреннем тумане показались строения Казани, и через час «Рафаил» бросил якорь в Услоне. Это большое село, расположенное на правом берегу Волги, против устья Казанки. Ближе к Казани за мелководьем Казанки пароход подойти не мог. Нам оставалось еще верст семь переезда водою; мы наняли дощаник [26], перегрузили на него вещи и экипаж и простились с пароходом. На берегу в Услоне, прямо против того места, от которого мы отправились, на довольно большом деревянном доме была вывеска, мы могли разобрать на ней надпись: «Уездный трактир»; ниже было еще что-то написано, но, к крайнему сожалению, мы ничего более не могли прочесть.

Часа полтора мы употребили на то, чтоб переехать Волгу и подняться вверх по Казанке. Через сорок часов после отъезда из Нижнего, и то благодаря сырым дровам, которыми топился пароход, сделав переезд около 400 верст и избежав весьма незавидный летний тракт между Нижним и Казанью, мы были в последнем.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

От Казани до Башкирии

Казань — один из самых больших губернских городов. В ней есть общество и очень, как говорят, значительное, чего нельзя сказать про все наши губернские города; уни-

верситет придает ему еще большее значение. В Казани есть даже маленькая литература, и, не говоря о постоянных ученых трудах господ профессоров университета, время от времени появляются в ней книжечки ее собственного произведения.

Кроме всего этого, в Казани есть новость, которою она всего более занимается в настоящее время, — это новое каменное здание театра и новая его труппа. Я намерен сказать о нем несколько слов по многим причинам. Первая из них — это значение театра в настоящей казанской жизни; вторая состоит в том, что театр во всяком городе есть в некоторой степени мерило эстетического образования публики. Казанский театр в этом случае есть явление утешительное и достойное подражания, потому что устроен не промышленными видами какого-нибудь антрепренера, а иждивением общества, чувствующего в нем потребность. Новое каменное здание театра просто, удобно и чисто; оно могло бы быть изящнее, но хорошо и то, что есть, только партер нам показался уж слишком мал. Дирекция составлена из нескольких образованных лиц, употребивших небольшой капитал на содержание труппы и в этом случае далеко оставила за собой нижегородскую; декорации новы и очень мило написаны господином Живокини, братом известного артиста [27] московской сцены: этому же опытному и знающему свое дело агенту было поручено дирекцией составление труппы, и оно исполнено им по возможности удовлетворительно. Вообще дирекция имеет и, вероятно, сохранит в нем деятеля, весьма ей полезного.

Мы приехали в Казань в субботу и должны были остаться до понедельника. На столе нашего знакомого, давшего нам приют, лежала афишка, извещавшая, что в воскресенье даны будут пьесы: «В людях ангел, не жена, дома с мужем — сатана» и «А и Ф» [28].

«Будете вы в театре? — спрашивали нас. — Поезжайте смотреть Стрелкову и Владимирова [29]. Стрелкова... — говорили казанские театралы, в числе которых был и наш гостеприимный приятель. — Стрелкова — это чудо что за актриса! Жаль только, не увидите ее в «Материнском благословении». В «Материнском благословении» Стрелкова выше Самойловой. А Владимиров! Да Владимиров в иных ролях выше Мартынова!» [30]

Надобно сказать, что провинциальные театралы если уж начнут кем восхищаться, так не восхищаются вполовину, они сейчас сравнят свои знаменитости с петербургскими, да еще и отдадут им предпочтение. В Казани мно-

го театралов, это хороший залог для театра: пока театралы существуют, театр не останется пустым. Казанские театралы делятся на стрелкистов и прокофьистов[31]. Госпожу Стрелкову 2-ю я знал еще на нижегородской сцене, когда она играла в «Новичках в любви»[32] и танцевала «стирнанский танец». Госпожу Прокофьеву, на стороне которой не столько драматический талант, сколько физические дары природы, я прежде не видал и потому ожидал спектакля, чтоб посмотреть, в какой степени развернулся талант первой и каковы другие казанские знаменитости.

В воскресенье после обеда мы были в русской Швейцарии. Это большой парк с расчищенными дорожками, расположенный на горе. В нем устроены качели и трактиры для простого народа, глубже есть несколько дач. Несмотря на пасмурную погоду, народа было много, но исключительно рабочего класса. Вид с горы на разлив Казанки очень живописен. Верстах в двух, на другой горе, видная другая Швейцария — немецкая, но мы в ней не были, потому что спешили в театр.

Я уже говорил про пьесы, которые в нем давались; выполнены были они очень недурно; но господа театралы, сравнивающие госпожу Стрелкову 2-ю и господина Владимирова с госпожой Самойловой 1-й и господином Мартыновым, кажется, смотрят на достоинства своих артистов в слишком увеличивающую театральную трубку. Госпожа Стрелкова 2-я действительно много развернулась с тех пор, как мы видели ее дебюты на нижегородской сцене. У нее есть талант, особенно для ролей, в которых чувство проявляется в сильных и резких выражениях. Так, например, в пьесе «В людях ангел, не жена, дома с мужем — сатана» вторая половина пословицы была выполнена ею очень удовлетворительно и правдоподобно; но первой в ее игре мы не видали. Вообще при старании госпожи Стрелковой 2-й и ее любви к театру из нее может выйти очень хорошая актриса, но ей надобно много трудиться, чтоб преодолеть некоторые недостатки в манерах, голосе и дикции. Игра госпожи Стрелковой 2-й была вознаграждена двумя букетами, из которых один был из сирени. Роль госпожи Прокофьевой (в «А и Ф») была так незначительна, что по ней нельзя судить о ее таланте, если он только есть у нее, потому что она ничего не сделала, чтоб придать какое-нибудь значение своей роли. Господин Владимиров играл в обеих пьесах; в первой хотя роль Прындика и была им исполнена оригинально, но он отнял у нее всю комическую сторону и сделал

ее очень скучною, тогда как в пьесе это одна из лучших ролей. Гораздо лучше он играл в «А и Ф» и напоминал игру господина Мартынова в этом фарсе; и этого уж довольно!

Но, по чувству справедливости, я должен сказать несколько слов об одной актрисе, игравшей тоже в первой пьесе, актрисе замечательной, о которой никто ни слова не говорил мне в Казани: я говорю о госпоже Стрелковой 1[33]. Затемненная свежестью, молодостью и удачными дебютами своей меньшой сестры и воспитанницы, она, кажется, не обратила на себя внимания казанской публики; но, зная давно игру госпожи Стрелковой 1-й, мы едва ли ошибемся, если скажем, что это лучшая артистка казанской труппы, особенно для ролей старух и сварливых женщин.

В Казани есть еще очень добросовестный и хороший драматический актер — господин Афанасьев, но в этот раз мы его игры не видали.

Заговорившись о казанском театре, я забыл, что мне предстоит еще длинный путь, и, отъехав 1400 верст, я все еще, как Вечный жид[34], слышал голос, который говорил мне: «Вперед! Вперед!» Пробыв более двух суток в Казани, мы наконец собрались в дальнейший путь.

Путь этот был уж не таков, как мною сделанный: не было на нем ни пароходов, ни паровозов, ни почтовой кареты к услугам проезжающего, ни гостиниц для его питания — словом, начиналась езда на поэтической разбитой тройке, в тарантасе с деревянными осями, которые горят всю дорогу, с пуховыми подушками и перинами от тряски и запасом провизии на несколько суток, потому что путь идет по стране, в которой можно найти только самовар с горячей водой да там и сям одну какую-нибудь курицу. Действительно, я должен был купить в Казани тарантас, которого ось дымилась во всю дорогу, и с запасом чая мы пустились в путь.

Не раз проезжая по настоящему пути, зная вообще, что такое езда по большим дорогам, я нахожу, что лучшая система езды по этим дорогам — езда без остановки и отдыха, езда бессонная, но по крайней мере скорая: спутники мои думали иначе и мечтали с надеждами об уездных городах, которые лежали на нашем пути.

От Казани до Бугульмы учреждена вольная почта. Удобство ее состоит в том, что, заплатив при выезде двойные прогоны за весь путь, вы уж не встречаете задержки в лошадях, которой, впрочем, по этому тракту и прежде не было, потому что татары и башкиры рады были возить

всех за обыкновенные прогоны и были совершенно довольны, если вместо пяти копеек ассигнациями их рассчитывали по полторы копейки серебром за версту.

Выехав в полночь, мы вскоре проехали **дунькин-враг,** лежащий верстах в семи от Казани. Это название осталось за ним, как говорит предание, по имени женщины-атамана, которая разбойничала здесь с своей шайкой.

К утру мы приехали в Шуран. Вы, по всей вероятности, не знаете, что такое Шуран и чем он замечателен. Но в мои неоднократные поездки в Оренбургскую губернию ни разу я не проезжал эту деревню или, лучше сказать, одно место этой станции, чтоб в моем воображении не всколыхнулся и не встал целый ряд картин, когда-то живых и разнообразных, а теперь — увы! — бледных и только интересных по воспоминанию.

Представьте себе огромную гору, которая крутым красноглинистым обрывом упирается в реку; река эта — Кама. Кама не похожа ни на одну из наших европейских больших рек: широкая и многоводная, она как-то особенно пасмурно и угрюмо бежит в своих пустынных берегах. Над этой бурной рекою, на горе, почти свесившись над обрывом, стоит двухэтажный старинный разваливающийся каменный дом с заглохшим садом и двумя рядами длинных каменных служб по сторонам — дом, в котором, видимо, когда-то жили по-барски, но дом мрачный, угрюмый и пустынный, как река и голый обрыв, над которыми он высится.

Припомните теперь, читатель, то доброе старое время, когда вы с наслаждением и учащенным биением сердца вместо нынешних простых и обыкновенных, как наша ежедневная жизнь, повестей жадно читали цветистые и страшные повести Марлинского[35]; припомните одну из этих повестей, под заглавием «Латник» в которой у бивачного огня рассказываются разные страшные происшествия и между прочим приключения одной Софьи или Лизы, которая, соединясь узами брака с своим возлюбленным, томилась за это в подземельях старинного, едва не разбойничьего дома. Этот дом я вам сейчас описал: страшная драма повести разыгрывалась в Шуране. В лета моей ранней молодости я видал этот романический дом; ночью, переменяя лошадей на шуранской станции, которая помещалась и помещается во флигельке этого дома, обращенном окнами в сад, моему горячему воображению, настроенному рассказом Марлинского, представлялась влюбленная чета, гуляющая по этому заброшенному и поросшему травой саду, чудились стоны и крики, кото-

рые неслись из подземелья разрушающегося и нависшего над рекой дома. Но — прошли года, и старинный дом, теперь подновленный и подштукатуренный, вовсе не грозно стоит над рекою; повести Марлинского нравятся нам теперь, как нарумяненная женщина с претензиями и мушками, над которой не смеемся только потому, что знали ее блистательную пору, и, что всего хуже, прошла и самая молодость с чудесно настроенным воображением... и Шуран замечателен теперь для нас только потому, что под ним, спустившись с крутой горы, переезжают Каму, по которой, мимоходом сказать, нынче тоже ходят пароходы.

Первое разочарование моих спутников, надеявшихся на уездные рестораны, ожидало их в Чистом Поле. Этот хорошенький с виду городок лежит, окруженный сотнею ветряных мельниц, на гладком и ровном, как ладонь, месте, которое дало ему, вероятно, свое название. При въезде в одну из улиц мы увидели с удивлением и прочли на питейном дому татарскую надпись. Поклонники Мухаммеда, которые и прежде любили простое винцо, но, из уважения к запрещению Корана, пивали его обыкновенно, отвернувшись лицом в уголок, теперь, вероятно, не соблюдают этой скромности. Нас подвезли к какому-то трактиру или, правильнее, харчевне. Не зная, чем можем мы располагать здесь для удовлетворения аппетита, мы поспешили к вывешенной на стене карте кушаньям и прочли следующее:

«Холодное:

Рыбное и скоромное вообще — 80 к. (ассигн.)

Горячее:

Рыбное и скоромное вообще — 80 к.

Жаркое:

Рыбное и скоромное вообще — 80 к.»

Выбор был, как видите, очень обширный; впрочем, половой прибавил, что это «так только, для видимости», а в сущности есть было почти нечего. По счастью, мы нашли маленьких стерлядок и ограничили обед плохонькой ухой. Зато карта винам была не так обща, но очень разнообразна: в ней было и **кагор**, и **фаяльское**, и **беникарло, греческое белое и красное, сантуринское, мушкатель** и, в заключение, **тотемское шампанское** и **пуншт** простой и двойной. Впрочем, чтоб не распространяться о неудовлетворенном аппетите, чему подвергается всякий незапасливый проезжающий, замечу, что в Бугульме, втором на этом пути городе, в трактире нам предлагали только одну соленую рыбу, которая, по сознанию даже самого трактирщика, была **не очень** хороша, и потому трое суток мы по-

утру и вечером пили чай, обедали — часм и ужинали — часм. Приехав на место, мы на несколько дней получили отвращение от этого благодетельного напитка.

Вскоре по въезде в Оренбургскую губернию начинается та превосходная дорога, которою она славится вместе с сибирским краем. Дорога эта состоит из черноземно-глинистого грунта, ежегодно удабриваемого хрящем. Это удабривание так идет к грунту, что, соединясь с ним, составляет крепкую кору, по которой даже в сильные дожди езда не делает колеи и экипаж едва оставляет следы. По тракту от Бугульмы до Уфы устроены каменные мосты. В лошадях при обилии охотников из татар и башкирцев, как я уж сказал, всегда возить за прогоны, остановок нет, и возят прекрасно. На станциях, благодаря попечению почтового начальства, везде найдете одну или две опрятные комнаты, и если на всем пути едва сыщете кусок съестного, то это уж не его вина.

По старой привычке я говорю в **оренбургской губернии,** тогда как, едва въедешь в нее, через несколько десятков верст врезывается по тракту угол Самарской губернии, в которую вошел бывший прежде в Оренбургской Бугульминский уезд. За две станции не доезжая Бугульмы, больные другого рода поворачивают на известные сергиевские серные воды.

В исходе третьих суток самого продолжительного и скучного переезда мы приехали в Уфу. Это один из самых небогатых губернских городов, в котором сосредоточено гражданское управление губернии, тогда как военное и жительство генерал-губернатора находится в Оренбурге. Этот город, несмотря на небогатство своего строения, очень живописно раскинут на горе, омываемой рекою Белой. В Уфе так мало замечательного, что говорить о ней почти нечего. Общество в ней очень немногочисленно. Лучшие в ней здания казенные, и только нынче там строится прекрасный дом дворянского собрания. Мы пробыли в Уфе несколько часов и отправились далее по оренбургскому тракту.

Но длинный путь наш и его описание клонятся к концу. По такой же прекрасной, как и предыдущая, дороге мы проехали с небольшим сто верст и около полудня, свернув с последней к Стерлитамаку станции влево, переехали Белую и были на месте, в Башкирии, слишком за 2000 верст от Петербурга. Весь этот переезд по железной дороге, в почтовой карете, на пароходе, по вольной и обыкновенной почтам сделал я, за исключением остановок, в восемь суток. Кругом меня была Башкирия с ее горами,

лесами и цветущей степью; после городской жизни на нас целебно пахнул свежий воздух моей родины; в краю новом и разнообразном для нас началась сельская жизнь с ее тишиной и разнообразием, жизнь в деревне, окруженной башкирцами. На другой день по приезде за обедом мы выпили по первому стакану кумыса. Но о кумысе я буду говорить в следующем письме.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

Кумыс. — Башкирия

...Луною чуть озарена,
С улыбкой жалости отрадной,
Колена преклонив, она
К его устам **кумыс** * прохладный
Подносит тихою рукой...
(Пушкин «Кавказский пленник»)

На другой день нашего приезда за ранним деревенским обедом на столе стояла большая бутыль с жидкостью молочного цвета.

— Что это, кумыс? — увидав ее, спросили в один голос мои спутники, и их любопытствующие лица невольно поморщились при мысли о напитке, приготовляемом из кобыльего молока, как иногда морщится человек, глядя в раздумье на первую ложку новой микстуры и подумывая: «Посмотрим, какую-то штуку прописал мне мой медикус: должно быть, дрянь страшная».

Но я их успокоил.

— Это сыворотка, — сказал я. — Перед кумысом надо несколько дней попить сыворотку.

— А из какого молока? Из коровьего или...

— Из коровьего, — отвечал я.

Затем, взболтав жидкость, я налил стакан и с удовольствием выпил давно знакомый мне и любимый напиток.

Выпили его и мои спутники, но без знаков особенного удовольствия.

---

* «Кумыс делается из кобыльего молока. Напиток этот в большом употреблении между всеми горскими и кочующими племенами Азии. Он довольно приятного вкуса и почитается весьма здоровым». (Пушкин, прим. 6 к «Кавказскому пленнику»)

— Каково? — спросил я.

— Недурно, — отвечал один, оптимист страшный.

— Так себе, — отвечал другой, немного поморщившись. — А кумыс будет похуже этого?

— Немного.

— Гм!

Но тут я их поздравил с началом кумысного лечения: напиток был башкирский кумыс, за которым, чтоб сделать сюрприз моим приятелям, я посылал верст за пятнадцать, потому что поблизости его еще не начинали делать.

— В самом деле кумыс? — спросили они с недоверием.

— Действительно. А что?

— Гм, ничего! — сказал оптимист, искоса поглядывая на бутыль.

— Дрянь порядочная, — заметил другой.

Я ему сказал, что через три дня он привыкнет, а через неделю полюбит кумыс. Он мне не поверил и несколько дней отзывался о кумысе весьма непочтительно, хотя и пил его; потом пил и молчал, а потом раз, наливая себе десятый стакан, заметил:

— А ведь ужасно пьется он, проклятый!

Оптимист с другого дня пил, крякал и похваливал.

Однако ж надобно сказать, что такое кумыс, где и как мы истребляли его.

Всем более или менее известно, что кумыс есть напиток, приготовляемый из кобыльего молока; но многие полагают, что это молоко и кумыс — одно и то же; смею уверить, что между ними величайшая разница. Кобылье молоко сладковато, очень пресно и чрезвычайно приторно, пить его (по крайней мере на мой вкус) крайне неприятно; между тем как кумыс есть один (все-таки на мой вкус) из приятнейших напитков, а приготовляется он следующим весьма простым способом.

Берется обыкновенное коровье кислое молоко (оно служит закваской *), и на него наливается цельное кобылье; эту смесь держат в избе или комнате (но отнюдь не на погребе), чтоб оно скорее могло скиснуться, и как можно чаще болтают. Для этого башкирцы, когда делают кумыс в турсуках, то держат в них палку с лопаточкой на конце, которою взбалтывают кумыс. Когда напиток скиснется — кумыс готов; но это делается только для начала, впослед-

* Закваску делают иногда иначе: в козье или кобылье молоко кладут высушенный телячий желудок, который употребляется для закваски сыра (примеч. автора).

ствии же, по мере убыли таким образом приготовленного кумыса, его добавляют только молоком и болтают или мешают до тех пор, пока он снова не скиснется, — и вот вам пресловутый напиток! Чем более болтают кумыс, тем он делается лучше. Он имеет цвет молока, вкусом кисловат, и эта кислота зависит от степени его окисления: молодой преснее, старый кислее; кроме того, он, как говорится, ядрен.

Башкирцы, которые употребляют его страшное количество и потому иногда имеют недостаток в молоке, подмешивают к нему воду. Умеренная подмесь ее не вредит кумысу и даже, способствуя брожению, делает то, что башкирский кумыс крепче на вкус и пьянее. Цельный домашний кумыс, приготовленный в бутыли, имеет игру, как шампанское: взболтанный перед тем, как наливать (что делается всегда, чтоб взмешать отстой), он шипит, пенится и даже рвет пробку. Мне случалось пивать хороший кумыс, который имеет отзыв горького миндаля, что, вероятно, зависит от трав пастбища; этот кумыс высоко ценится знатоками.

Очень часто башкирцы и киргизы держат кумыс в турсуках, особенно при перевозке. Но вы, может быть, не знаете, что такое турсук? Это очень удобный кожаный сосуд, который делается весьма просто: с задней ноги, разумеется, убитой лошади снимается кожа, шерсть кожи обжигается, самая кожа коптится, затем на широкий отрезанный конец этой кожи, сшитый так, как она есть на ноге, пришивается дно, узкий конец (у колена) затыкается камышом или травой — турсук готов. Поставленный на дно, он имеет вид большого окорока, да и немудрено, потому что это не что иное, как кожа с лошадиного окорока. Кумыс, который держится в турсуках, получает отзыв кожи и дыма, что — по моему вкусу — его нисколько не портит. Кумыс, как всякий благородный напиток, улучшается от перевозки, потому что в это время болтается, но он скоро может перекиснуть до крепости порядочного уксуса.

Мне сию минуту пришла в голову следующая мысль. Я уверен, что у бо́льшей половины моих читателей и у всех, думаю, без исключения читательниц настоящих заметок, которые не испытали удовольствия лично познакомиться с башкирским напитком, — я уверен, что у всех вас, мои читатели, при чтении или слушании предыдущих строк лица изменились известным и совершенно одинаковым образом. Это изменение, я полагаю, заключается в том, что левая половина губ ваших немного приподня-

лась и выдвинулась, а левая сторона носов немножко сморщилась. Смею вас уверить, что подобное выражение ваших лиц в моих глазах их нисколько не портит, но оно молча говорит следующее: «Хорош должен быть этот напиток, приготовленный из бог знает какого-то молока, молока, которое скислось, содержится в какой-то коже и получило ее букет с запахом копоти и дыма! Да хорош должен быть и вкус автора, который выхваляет подобный напиток!»

Если моя авторская проницательность не споткнулась в этом предположении торжественным образом, если она, как говорят дилетанты, не сделала фиаско, то я позволяю себе отвечать следующее.

Во-первых, милостивые государи и преимущественно государыни, о вкусах не спорят, что, по заведенному обычаю, я могу даже подтвердить пословицей: которая, впрочем, говорит по-латыни совершенно то же, что я сказал по-русски; во-вторых, я решительно не понимаю, почему мысль о молоке такого прекрасного животного, как лошадь, возбуждает во многих антипатию, тогда как молоко весьма доброй и почтенной, но отнюдь не красивой коровы пользуется совершенно другим кредитом. Я уверен, что в числе моих читателей нашлись бы некоторые, не разделявшие моего вкуса, например, к лимбургскому сыру и устрицам, если б я похвалил эти почтенные принадлежности гастрономии (а я бы непременно и не менее искренно похвалил их, если б пришлось к слову), но зато другая и большая половина читателей, конечно, заступилась бы за меня и сказала бы противникам устриц, сыра и моего вкуса, что они не правы, и не правы потому, что осуждают вещи (я говорю только об устрицах и лимбургском сыре), которых вкус и таинственную прелесть они не поняли, не хотели или не умели оценить. Точно то же, я уверен, скажут те немногие из моих читателей, которые пили в течение некоторого времени кумыс, и те многие башкирцы, которые хоть и не имеют преимущества быть моими читателями, но более всех их пьют кумыс, — точно то же, я уверен, скажут они и противникам кумыса.

Кумыс имеет то особенное свойство, что он чрезвычайно легко пьется и притом, употребляемый в огромном даже количестве, нисколько не обременителен. В жаркие летние дни мы его пили свободно стаканов по двадцати. Башкирцы же не знают ему меры; в праздники Байрама они разъезжают друг к другу в гости [36] и, целые дни сидя и попивая кумыс, доходят до того состояния, что не могут сжать в кулак отекшие и раздувшиеся пальцы рук.

Кумыс чрезвычайно питателен и, употребленный натощак или в большом количестве, производит особенное, ему собственно свойственное опьянение: на вас нападает лень необъятная, не хочется сдвинуться с места, тяжело протянуть руку, вы находитесь в какой-то неге и истоме, и вас тихо клонит ко сну...

Понятно, что кумыс при большой питательности и вместе с тем легкости, с которою он пьется и без обременения может быть употребляем в огромном количестве, должен развивать силы, значительно укреплять весь организм и благотворно действовать на него. В этом я полагаю все достоинство и всю особенность кумыса, но не думаю, чтоб он мог специально действовать на ту или другую болезнь. Впрочем, это мое личное мнение, а я профан в медицине, и весьма может быть, что в болезнях, в которых вообще с успехом употребляется молочное лечение независимо от своего укрепляющего свойства кумыс может излечивать радикально. Говорят также, что для того, чтоб кумыс вполне помог, надобно употреблять его два лета сряду. Справедливость этого замечания я отчасти испытал на себе, потому что курс нынешнего лета помог мне более прошлогоднего, но я думаю, что это основано на совершенно простом заключении, что хорошего чем больше, тем лучше, и на этом основании три курса кряду, вероятно, будут еще полезнее двух.

Во всяком случае благотворное действие кумыса не подлежит сомнению, и крайне жалко, что у нас так мало обращено внимания на это лечение, которое составляет исключительную собственность России. Так, например, проездом к Казани я слышал следующий случай.

Жена одного из тамошних жителей, молодая дама, была долго больна, и доктора присоветовали ей ехать в Италию. Она исполнила их совет, провела в Италии год, но благотворный климат юга не помог ей; она сделала консилиум, и местные врачи решили, что ей непременно надобно отправиться на кумыс... который можно найти в смежной с ее родиной губернии! Теперь эта дама уж в России, и если не воспользовалась, то, конечно, с весны воспользуется этим советом.

Впрочем, независимо от того, что кумыс еще недостаточно исследован в медицинском отношении, нельзя винить и тех больных, которые даже по совету врачей неохотно едут им пользоваться, и если им предоставлен выбор между кумысом и какими-нибудь минеральными водами или поездкой на юг, то предпочитают последние. Если вам скажут: поезжайте в Баден-Баден или в Эмс, вы

и едете или в Баден-Баден, или в Эмс, вы приедете туда, наймете квартиру, пригласите доктора и в большом обществе, среди удобств жизни и веселостей исполняете предписание врача. Но вам скажут: «Поезжайте на кумыс». — «Куда, доктор?» — «В Оренбургскую губернию». Но Оренбургская губерния велика! Там считается тысячами верст расстояние от одного конца края до другого; очень легко может быть, что Оренбургский край вам совершенно неизвестен, что у вас нет в нем никого знакомых, — где же остановиться на этом пространном и разнообразном крае? Где же раскинуть свою кочевую кибитку среди его необозримых степей? У какого дикого и резвого табуна его головастых кобылиц взять целебного молока? Какой широколицей и смуглой башкирке поручить его приготовить? Положим даже, что нехитро приехать в Оренбургскую губернию, остановиться в первой башкирской деревне или у первого кочевья, которого, мимоходом сказать, вы не встретите ни у одной большой дороги; но вы должны будете жить в самом неудобном помещении, одни, среди народа, который часто не поймет вашего языка, без всяких средств к удовлетворению самых необходимых потребностей жизни и решительно без советов врача, который бы сказал вам, как надобно пользоваться кумысом. Впрочем, последнее обстоятельство, как оно с первого взгляда ни кажется важным, на месте, если только состояние здоровья больного, кроме кумыса, не требует других пособий, оказывается совершенно не нужным. В самом деле, что может вам сказать доктор, когда кумысное лечение не приведено ни в какую систему? Кумысом у нас лечатся по каким-то преданиям да по расспросам и примеру башкирцев, пьющих его в страшном количестве, но которым никогда не приходила в бритую голову мысль лечиться им от чего бы то ни было. Спросите у зажиточного башкирца, который, впрочем, всегда верит в благотворное влияние кумыса, — как нужно лечиться его национальным напитком. Он вам ответит: «Пей, бачка (батюшка), больше кумыс да ашай (ешь) больше баранину» (говядины же, кстати, вы там и не найдете). Другой, похитрее, пожалуй, вам скажет: «Пей, бачка, один кумыс и, кроме его, не пей и не ашай более», что тоже при питательности кумыса весьма возможно. И вот вам вся диета и все правила кумысного лечения, и, кроме этого, могу вас уверить, ничего не пропишет никакой доктор, если только не прибавит стереотипную фразу: «Хороший моцион и спокойная жизнь!»

Так лечатся все, лечащиеся кумысом, так лечились и

мы. Но для тех, которые не могут находиться в одинаково благоприятных с нами условиях касательно помещения, я должен прибавить, что один из богатых оренбургских помещиков, господин Тевкелев, которому пространные и превосходные степи, огромные косяки (табуны) лошадей и его татары-крестьяне дают всю возможность приготовлять отличный и в большом количестве кумыс, завел у себя в имении кумысное лечение, где за известную плату можно иметь помещение, продовольствие, кумыс и советы доктора. Об этом истинно-благодетельном и давно-необходимом заведении было им объявлено в Оренбургских Губернских Ведомостях, но это объявление, не помещенное и не перепечатанное, сколько мне помнится, в других газетах, известно, кажется, очень немногим.

Чтоб покончить этот для многих мало интересный и сухой трактат о кумысе, я должен прибавить, что лучшее время для лечения, разумеется, весна, когда табуны тощих и иногда всю зиму бродящих на **подножном** корму (на тебеневке) башкирских или киргизских лошадей начнут питаться свежей, разнообразной и сочной травой душистых степей, и начало лета, когда эти степи покроются сплошным и густым ковром тысячи полевых цветов. По мере того как травы, спаленные жгучим солнцем, осеменяются и увядают, кумыс становится менее вкусен и, вероятно, менее полезен; он сам по себе начнет вам наскучать; наступает жаркая страда, в иной день ранняя осень мелким и беспрерывным дождем проглянет сквозь задернутое сплошными сизыми тучами небо, деревенская жизнь вам покажется крайне однообразной, вас потянет в другой край, в другой удобный, стоящий в кипучей среде общественной жизни дом. Что ж? Поезжайте: ваш курс лечения кончен, и дай вам бог надолго увезти с собой новый запас сил и здоровья... Впрочем, кумыс можно доставать до поздней осени, а иные очень зажиточные башкиры имеют его, уже как роскошь и лакомство, даже в течение всей зимы.

Теперь мне остается сказать несколько слов о том уголке Оренбургского края, который преимущественно богат кумысом и в котором мы приютились на лето. Я говорю о Башкирии.

Если, проехав Бугульму и оставя верстах в полутораста в стороне знаменитые Серные воды, вы своротите вправо с большой дороги и пуститесь прямо на уездный город Белебей, а оттуда по так называемому коммерческому тракту в Стерлитамак, то местами вы уж будете встречать башкирские деревни или, лучше ска́зать, пустые из-

бы, покинутые жителями, и странное произведут они на вас впечатление...

Вы въезжаете в отворенные и большею частью сломанные ворота околицы, и на вас вместо ожидаемых говора и жизни вдруг как будто дохнет и повеет пустыней. Скривленные избенки стоят уныло и тупо глядят окнами, в которых вместо стекол вставлен закопченный и гремящий от ветра пузырь.* На дворах ни телеги, ни животного, даже ни одна голодная собака, которых всегда так много в башкирских деревнях, даже ни одна собака, прыгая перед лошадьми с лаем, не встретит и не проводит вас: всё точно вымерло...

Зато иногда ночью, среди огромной пустынно и гладко меж гор раскинувшейся степи, в то время, когда сквозь сонную дрему ваш глаз уж привыкнет ничего не видеть, кроме темносинего неба с высоко и слабо мерцающими звездами и темной и низкой полосы земли, которая вся слилась в одну густую массу, — вдруг в стороне блеснут огоньки; как низкие стога или копны, выделятся из ночной темноты кибитки; вы подъезжаете ближе, и десятки собак яростно ответят на звонок вашего колокольчика. Ярко освещенный, с красноватым отблеском огня на смуглом и почти нагом теле, промелькнет мимо вас башкиренок, вскочивший с земли и провожающий вас бойкими любопытными глазами; сквозь открытый край войлока вы увидите иногда во внутренности кибитки котелок, повешенный на деревянный крюк или сучок, над слабо тлеющими угольями и возле него беспечно лежащего башкирца или присевшую на корточках жену его; рядом с кибитками, в загороди из кольев, вы едва рассмотрите силуэты неподвижно стоящих кобылиц, и только какая-нибудь морда жеребенка высунется из-за нее и осветится отблеском огня, как будто нарочно для того, чтоб с тоской и молчаливой жалобой показать деревянную рогульку, не дозволяющую этой мордочке прикасаться к материнским сосцам...

И тут уже, говорю я, на этом пустом и малопроезжем тракте, встречаете вы башкирцев и их кочевки; но мы еще глубже вдвинемся в край и, проехав снова несколько русских деревень, выедем за Стерлитамак.

Этот маленький уездный городок, стоящий на ровном месте над рекою Стерлею, которая, впрочем, получила

---

* Пузырь или требух — высушенная плена желудка, которая облекает внутренность животного, коровы или лошади. Она пропускает сквозь себя слабый свет и потому у бедных башкирцев часто заменяет стекло (примеч. автора).

свое название не от стерлядей, потому что их в ней не водится, нравится мне только по одному обстоятельству: с какой точки внутри этого города вы ни взглянете вокруг себя, вы не увидите самого города, или если вы и увидите несколько коротеньких улиц и маленьких домов, то они сейчас исчезнут перед широкою панорамою холмов, лугов и гор, которые раскинулись вокруг него, и весь маленький городок как будто сожмется у ваших ног, чтоб не заслонить окрестных видов.

Одна сторона этих видов, очень живописная, непременно обратит на себя ваше внимание. Взгляните на восток: одни ближе, другие дальше, на голубом и книзу желтоватом небосклоне ясно вырисуются перед вами несколько одиноко стоящих известковых гор. Странное и какое-то неясное, но глубокое впечатление производят они. По их белым и скалистым обрывам, по их общему родственному тону и освещению вы сейчас видите, что это дети одной семьи, но семьи разрозненной и разметанной. Бог весть когда и какая сила разметала их, но стоят они с тех пор одна в виду другой одинокими и суровыми массами, стоит каждая, высоко рисуясь своеобразным очерком над лесом, изгибами и оврагами, и сторожит реку.

Река эта — Белая... Вытекая из Уральских гор, она вплоть до Уфы не имеет постоянного нагорного берега, и только около Стерлитамака пять уединенных гор стерегут ее правый берег. Но наскучили ей и эти безмолвные и холодные стражи. Подмывая одну или две из гор, она далеко откинула от других прихотливый побег и оставила их одних, голых, хмурых и мрачных, одиноко выситься над богатыми растительностью долинами.

Я невольно и, может быть, слишком долго остановился над описанием этих гор. Две из них — одна длинная, с изгибом посредине, другая круглая и острая, называемая Юрак-Тау (Сердце-Гора), потому что ее профиль похож на очерк сердца, — первые приветно встречают меня на пороге к дому. Рано утром или поздно вечером, сидя у окна моего деревенского дома, я любил смотреть, как иногда облако заденет и станет у их вершины, как иногда сильный туман совсем закроет их, как будто и не было никогда этих гор, или когда словно затопятся и задымятся они выходящим из каменных ущелий паром, и, глядя на них, крестьянин скажет вам: «Горы затопились — ненастью быть», и будет непременно ненастье.

Переправясь через Белую и проехав между этих гор десятка полтора верст, вы въезжаете в Башкирию. Здесь, на земле, окруженной с трех сторон башкирскими селения-

ми и когда-то также купленной у башкирцев, мы остановились: здесь мы пили кумыс.

Хотя мы были и достаточно худы и достаточно бледны, чтоб возбуждать участие, но из уважения к действительности я должен сознаться, что, «луною чуть озарена, с улыбкой жалости отрадной колена преклонив...» — никакая **она** к нашим устам кумыс прохладный не подносила тихою рукой, а приготовлялся он для нас у одного довольно зажиточного башкирца, за уряд хорунжего, по имени Галиагбера, а попросту Калекбарки, к которому мы посылали за кумысом каждый день верст за шесть и с которым довольно часто ссорились, потому что он к целебной влаге подбавлял слишком много воды, не пользовавшейся особенно целебной репутацией.

Башкирцы вообще народ здоровый, умный, хитрый и в высшей степени ленивый и праздный. Работают они только тогда, когда им есть нечего; хлеба сеют мало, и то по распоряжению правительства, которое приучает их к хлебопашеству. Сенокос у них начинается поздней осенью, когда русский мужик принимается уж за жнитво ржи. Зато над этой ленью башкирца и любит подтрунить русский мужик: «Ишь, башкирская собака, — говорит он (наш мужик коли не зовет мусульманина хазретом, то есть приятелем, так непременно величает собакой), — ишь, собака, когда косить вздумал: у него Ильин-то день на Воздвиженье пришел!» * — «Эка, братец ты мой, — возражает другой, — зато сена сушить не надо: трава-то давно на корню высохла». — «Абдулка, наймись у меня хлеб жать, али нельзя — бока отлежал?» — говорит третий. Башкирец слушает молча и утешает себя мыслью, что в случае нужды он этих же подтрунивающих над ним мужиков, как говорится, проведет и выведет.

Башкирские деревни, лежащие в лесистых местах и поближе к городам и русским селениям, к **рассеи**, как выражаются тамошние крестьяне, довольно порядочны и даже некоторые, как говорят башкиры, **плантам строил,** то есть по распоряжению начальства строятся по плану. Жители этих деревень в кочевку не ходят, сеют немного хлеба и косят сено, работают иногда летом внайме у русских крестьян, а зимой возят руду на заводы. Зато другие, **в горах** деревни построены из лачужек, которые будто высыпаны сверху из большого мешка на землю и как и куда какая упала, так и стоит в том месте и положении.

---

* Воздвиженье Честного Креста 14 сентября; св. пророка Ильи 20 июля; около этого дня начинается сенокос (примеч. автора).

А бывают еще и не такие деревни.

Один мой знакомый послан был на следствие в дальнюю башкирскую деревню, отстоящую от Оренбурга верст этак на шестьсот. Это было зимою. Ехал мой знакомый сначала по двадцати верст в час, потом по двадцати верст в день, потому что дорога становилась хуже и хуже, и доехал он до таких деревень, к которым вовсе не было никакой дороги, а ездили иногда башкирцы верхом по тропе, заносимой снегом. Для того чтоб провезти его повозку, выходили целые деревни, прокладывали и уминали дорогу и, напутав гусем десяток лошадей, тащили ее кое-как; наконец в одно прекрасное утро лошади остановились, и провожатые башкирцы торжественно сказали: «Приехали». Знакомый мой выскочил из повозки и крайне удивился, увидав себя среди голой, занесенной снегом степи.

— Да где ж деревня такая-то? — спросил он.

— А здесь деревня, бачка, — отвечали башкирцы.

— Да где ж она?

— А вот! — отвечал провожатый.

И увидал мой знакомый шалаш из прутьев, занесенный снегом, с отверстием для дыма вверху и с лазейкой, в которую можно было влезть только ползком.

— Да в деревне значится сорок юрт (изб) — где же остальные?

— А вот другие, — отвечал башкирец, уткнув пальцем в воздух.

Тогда на расстоянии версты или двух увидал мой знакомый другой подобный шалаш, а за ним, на таком же расстоянии, третий, и узнал он, что вся так называемая деревня раскинута верст слишком на десять. Знакомый мой должен был прожить в этой деревне с неделю, писал деловые бумаги, лежа у огня на брюхе, и в буквальном смысле слова едва не умер с голоду, потому что съел свой запас хлеба, а хлеба достать было невозможно...

Многим может показаться это странным, а между тем совершенно справедливо, что некоторые кочевые народы, как например, киргизы и часть башкирцев, слишком далеко углубившиеся в самую малонаселенную часть края, живут иногда без хлеба. Да и где им взять муки? В чем испечь ее? Вскипятит себе башкирец воды в котелке, бросит туда горсть пшена, заправит варево крутом * — и **юра** го-

* Сыр, приготовленный из коровьего, козьего или иногда овечьего молока. Он имеет форму небольшой круглой булки и, для того чтоб не портился, сушится и коптится. Он очень жёсток, чрезвычайно солон, кисел и остер на вкус (примеч. автора).

това. Вообще надобно заметить, что этот народ может ограничиваться в пище удивительно малым. К весне и он, и его стада, стоявшие часто на подножном корму, отощают до последней возможности, зато наступит весна, появятся травы и кумыс — и как скоро они поправятся!

Впрочем, все это я говорю о самой отдаленной и глухой части Башкирии; другие живут гораздо лучше, работают, промышляют и между ними есть даже очень зажиточные.

Раз я разговорился с одним моим знакомым о житье башкирцев.

— Азиатец, как есть азиатец! — заметил он. — Все роскошь азиатская, нега восточная!

— Помилуйте, какая тут нега и роскошь, когда иному есть нечего!

— А отчего? От лени, от неги восточной. Затем правительство обязывает их хлебопашеством заниматься. Наш мужик с самой весны дня без работы не живет: то пар парит, то пашет, то сеет, то сено да хлеб убирает, а башкирец знай себе лежит да кумыс потягивает, ажно лопнуть хочет, или запряжет телегу, посадит всю семью от мала до велика и едет в гости на несколько дней! Наш-то мужик и зимой только ночью на печке погреется да на котомке спит, а он себе шувал * затопит да и сидит перед ним, поджав ноги; кусать ему нечего, а перина да подушка уж непременно есть, да сам с себя и сапог не скинет, а жену заставит — как же это не роскошь, не нега азиатская?

Зато надо видеть башкирца, когда, вынужденный необходимостью, он принимается за работу. Что за проворный, ловкий, сметливый народ!

Раз я рыбачил на Белой, сидел я в кустах и терпеливо ожидал, не вздумается ли какому-нибудь окуню или жадной щуке попробовть учтиво предложенной мною на кончике заостренного крючка пищи. Вдруг невдалеке по берегу слышу стук телег, говор, топот и страшный шум на воде. Тут уж было не до рыбаченья, я вышел из кустов и увидал странную картину: башкирцы подводах на ста собрались ехать за рудою и, чтоб не платить денег на соседних перевозах, решились ехать вплавь, а река в этом месте сажен в пятьдесят шириною, и хотя в мелководье бывает тут брод, но в настоящее время вода была далеко

* Род камина, весьма употребительный у башкирцев (примеч. автора).

выше малорослых башкирских лошаденок. Сначала башкирцы потолковали, потом бросились к подводам, и началась преоригинальная переправа. Лишних лошадей отпрягали и с шумом и гиком вогнали в воду; на которых посели верхами и перегнали на другую сторону; легонькие тележонки с неокованными колесами привязывали к лошадиному хвосту, сами бросались и плыли вместе с лошадьми и телегами. Бог весть откуда появилось у них несколько лодчонок, которые легче нести на себе, нежели их заставить нести себя по реке, и на каждые две такие лодки, ничем не связанные, парою колес в одну и парою в другую становили повозки, что погрузнее, и, гребя чем-то вроде лопат, стоя на ногах в корме, переплывали реку, разгружались и тотчас же возвращались; непрерывный шум, говор, плеск воды и суматоха в продолжение двух или трех часов — и все переправились. Однако ж пару лошадей утопили.

Разговорившись о башкирцах, мне хочется сказать несколько слов и о их прекрасном поле. Вообще этот прекрасный пол не очень красив, он страшно белится, румянится, сурмит себе брови и ресницы и красит ногти, но тип его лица, похожий на татарский, довольно правилен, мягок в очертаниях, и мне случалось видеть несколько башкирок вовсе недурных собою. Запросто они ходят в длинных синих рубахах, совершенно закрывающих их шальвары и отороченных на груди красненькой тесьмою; девушка заплетает две косы, у замужних одна и непременно повязана платком, которого одна длинная сторона спускается назади. Этим платком они при встрече с незнакомым иногда прикрывают лицо, но большею частью употребляют на это широкие рукава своей рубахи. Впрочем, обычай закрывать лицо, когда это лицо не совсем дурно, плохо соблюдается, особенно вне глаз соотчичей, которые могли бы найти подобную нескромность предосудительною; вообще же они не очень застенчивы, и одна, моя давнишняя знакомка, нынче при встрече со мною подала мне руку так развязно, как бы это сделала истая светская англоманка, с тою только разницей, что башкирки, по азиатскому обычаю, подают, здороваясь, не одну, а обе руки.

Незадолго до нашего отъезда мне случилось видеть в гостях зажиточную молоденькую башкирку с двумя падчерицами. Одна из падчериц была девушка, другая, как бы вам сказать, замужняя девица, или, правильнее, незамужняя женщина. Для тех, кому покажется странным подобное положение, считаю нужным сказать, что башкир-

цы, сосватав невесту и условясь в калыме, ездят к ней в дом на правах мужа, но не берут ее к себе до тех пор, пока не выплатят всего калыма: в этом неопределенном состоянии была и вышеупомянутая башкирка. Все три они были одеты очень нарядно: шелковые бешметы (род казакина) сверх рубах, нагрудники, вышитые шелком и золотом и унизанные монетами, а на головах колпаки — обыкновенные бумажные спальные колпаки с кисточкой, заломленные на бок, у одной только колпак был прикрыт бархатной шапочкой. Но меня поразили на их страшно набеленных и нарумяненных лицах какие-то блестки: это были налепленные мушки из сусального золота!

Главная принадлежность наряда всякой порядочной башкирки — монеты, вплетенные в косу и нашитые на грудь: как бы бедна башкирка ни была, у нее всё есть хоть несколько просверленных старых пятачков, которые звенят при ее движениях. Впрочем, я нахожу этот обычай довольно удобным. Раз, например, при мне одному башкирцу понадобился полтинник. Денег с ним не было, но с ним была жена; он поговорил с ней что-то по-своему, **покалякал**, как выражаются наши крестьяне, а вследствие этого каляканья отрезал с нагрудника жены требуемую монету и пустил ее в оборот.

Но я слишком долго, кажется, остановился на подробностях того уголка края, в котором мы провели несколько месяцев, подробностях живых, любопытных и разнообразных, когда они бросаются в глаза в действительности, сухих и, может быть, мало интересных на бумаге. Я не буду говорить вам о той природе Башкирии, полудикой и еще полудевственной, которая вместе с кумысом благотворно лелеет здоровье, о ее темных лесах, черной, как смоль, от тучного чернозема пашне, душистых и цветущих степях ее пастбищ и о других степях, голых, бесплодных и унылых, по которым случилось мне ныне проехать за Уралом; еще менее я буду говорить о тихих, ровных и спокойных днях беззаботной деревенской жизни, разнообразной той или другой охотой, рыболовством или поездками по окрестностям — всё удовольствиях чисто деревенских, незатейливых, но скрашиваемых одной чудной красотою, ничем не заслоненной от глаз природой. Влияние такой жизни на человека, ей не чуждого, стóит, по моему мнению, и для здоровья не менее всякого лечения. Но она хороша только для себя, и описывать ее здесь не место и у меня не было в намерении; даже как-то грустно и досадно вспоминать о ней, когда вступишь в другую заботливую жизнь, когда петербургская осень дождем, прон-

зительным ветром и снегом бьет в двойные рамы, а климат северной Пальмиры, этот верный и обязательный друг наших фельетонистов, которым он доставляет неисчерпаемый источник разговора, посматривает на тебя, как будто хочет спросить: «А что, брат, много ты там на кумысе-то здоровья набрался?» — и делает этот вопрос с явным намерением добраться до твоего здоровья и удостовериться лично в его прочности...

Для людей, требующих во всем обстоятельности, замечу, что спутники мои пробыли на кумысе полтора месяца, я — вдвое более, всем нам он помог более или менее. Затем напоминаю моим читателям, что я им не обещал рассказывать небывалые приключения какого-нибудь героя или говорить о вещах и бывалых, но лично до меня касающихся, я хотел только описать поездку на кумыс так, как она была, — и сдержал свое обещание.

Приложение № 1

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Борис Дмитриевич Четвериков (1896—1981), автор сорока шести книг — романов, повестей, рассказов, поэтических сборников, оставил огромный труд, которому отдал много лет, особенно в последний период жизни, и который не смог-таки завершить.

В интервью для радио в 1980 году он говорил:

— Сейчас я на очень большую замахнулся тему: пишу пятитомную «Повесть о человеке XX века». Первая книга написана, она называется «Стежки-дорожки». А вторая у меня на письменном столе, называется «Скитания». Тружусь. Мне очень хочется все успеть....

Не успел. Но сделал очень много — около 800 страниц на машинке готового текста и масса черновиков, набросков, зарисовок. Примерно половина законченных глав — это, как он называл, «археологические раскопки»: рассказ о предках — из уральских казаков по материнской линии и из пензяков по отцовской, о родителях, о своем раннем детстве, прошедшем в разных городах, так как его отец, учитель словесности и истории Дмитрий Никанорович Четвериков, был в царское время политически неблагонадежным и полиция гоняла его из города в город, так что, родившись в Уральске, Борис Дмитриевич жил потом и в Чердыни, и в Троицке, и в Ирбите, и — уже более длительное время — в Уфе, где и кончил гимназию, а с 1922 года обосновался в Ленинграде, тогда еще Петрограде.

Борис Дмитриевич сравнивал эту свою «археологическую» работу с реставрационной: как реставрировали, например, Меншиковский дворец в Ленинграде, так и он «задумал расковырять штукатурку времени, отыскать замурованные новыми поколениями двери и распахнуть их, восстановить в первозданном виде сверкающие росписью потолки — пусть даже наивные для современного глаза, непривычные в наш электронный век». Так он писал в развернутом вступлении к своим воспоминаниям, которое и само по себе представляет интерес, так как здесь Борис Дмитриевич дает как бы конспект каждого раздела.

«Мне кажется, — продолжал он, — что будет любопытно посмотреть, как в ту давнюю-предавнюю пору жили, любили, думали люди... какие мамонты ходили по земле в те дни, когда переливалось всеми

цветами радуги мое лучезарное детство, когда колосилась моя урожайная юность... и даже в более ранний период, до моего появления на свет, когда мой прадед по отцу Василий Иванович Четвериков, посмеиваясь в бороду, посматривал, как мотает денежки его сын, а мой дед Никанор Васильевич... или когда мой прадед по материнской линии казачий атаман Авдеев рассердился на царицу Екатерину и вышел из казачьего сословия... Первая книга моей многотомной повести будет посвящена в основном моим родителям и предкам, а значит — России прошлого века. Тут я опишу Оренбург и Пензу тех времен, Уральск и мало кому известную Буруновку. Тут я дам портрет писателя Михаила Васильевича Авдеева, брата моего деда, расскажу о нем все, что собрал по крупицам из разных источников. Без этого экскурса в прошлое я не могу говорить о себе и о своем времени, о двадцатом веке. Это прошлое — мои корни, корни нашего сегодня...»

Поскольку Борис Дмитриевич написал только две (и то не полностью) части из задуманных пяти, эта работа будет называться «Стежки-дорожки». Одну главу из них (в сокращенном виде) я и предлагаю читателям.

Н. Четверикова

Борис Четвериков

КРОВНАЯ РОДНЯ

(Глава из книги воспоминаний «Стежки-дорожки») *

Михаил Васильевич Авдеев. Это был значительный для своего времени писатель. И это был мой двоюродный дед, брат Виталия Васильевича Авдеева, отца моей матери, то есть ее дядя.

Материалов о его жизни сохранилось, к сожалению, мало. Была в Путейском институте его автобиография, написанная им, когда он там учился, еще перед Великой Отечественной войной была, я сам держал ее в руках, когда работал над историей ЛИИЖТА. А потом архивы за прошлый век были куда-то сданы... или в войну пропали... Современники Авдеева тоже писали о нем мало. Вернее, писали много, но не столько о нем самом, сколько о его произведениях. Но как бы мало я о нем ни знал, одно для меня несомненно: он дерзал высказывать в своих романах независимые суждения, он осмеливался противостоять реакционному дворянству и чиновничеству, он боролся

* Печатается в сокращенном виде.

за человечность, за справедливость в меру своих сил и способностей. И не случаен тот факт, что сочинения Авдеева издавались и переиздавались, собрание его сочинений было издано при его жизни, а затем и в более позднее время, последний раз — в 1907 году.

Не могу вам передать, с каким волнением я впервые — двенадцатилетним мальчишкой — раскрыл переплетенный в кожу огромный тяжеленный том произведений своего деда... Как мне хотелось, чтобы все в этой книге оказалось прекрасным! Как я боялся, что меня ждет разочарование! Я, конечно, и раньше знал, что у нас в роду есть писатель. Но только тут, взявши в руки этот том, осознал это полностью. Даже почувствовал какую-то ответственность за деда и какое-то обязательство — знать его произведения, чтить их, защищать его честь.

В нашей семье звание писателя почиталось самым высоким, какое только существует на земле. Если появлялась в доме новая книга, каждый старался завладеть ею раньше других и прочитать залпом. А потом начинались обсуждения, споры. Мы щеголяли цитатами, читали вслух особо запомнившиеся или поразившие нас места, делились своими мыслями по поводу прочитанного, не стеснялись и критиковать, если что не понравилось. Но все это были книги каких-то незнакомых, чужих для нас людей, неизвестно где и неведомо как живущих. Писатели представлялись нам какими-то загадочными волшебниками, это были в наших глазах какие-то неземные существа, пребывающие в недосягаемых сферах. И вдруг — Михаил Васильевич Авдеев, которого мама называет попросту дядей Мишей! Наш собственный Авдеев, даже дом его в Буруновке унаследовала мама! И этот Авдеев печатался, оказывается, в «Современнике», переписывался с Тургеневым, Аксаковым, Некрасовым, Жемчужниковым...

«Тамарин», «Ясные дали», «Подводный камень», «Горы», «Меж двух огней», «Нынешняя любовь», «Пестренькая жизнь»... Я перелистываю толстый том сочинений Авдеева. Вчитываюсь в каждую его строчку. Больше всего мне понравился его роман «Подводный камень». Мне пришлись по душе и Татьяна Григорьевна, и Соковлин, и мечтательная Наташа, которую в семье звали Талинькой...

Конечно, я не все понял в те годы у Авдеева, не во всем разобрался. Но читал этот том не так, как другие книги, читал взыскательно и осторожно, вдумчиво, вопрошая. Я радовался каждой удаче моего Авдеева, ликовал, когда мне было интересно, когда чтение захватывало, и огорчался, досадовал, когда что-то меня не удовлетворяло.

Некоторые фразы, хотя бы и вложенные в уста действующих лиц, вызывали мой протест. «Да и что такое счастье, как не тихая, безмятежная, легонькая скука?» — говорит у Авдеева Соковлин. А я был не согласен с этим. Вот уж нет! Счастье и скука? Это несовместимо.

Далее встретилось мне слово «затарантил». Я такого слова не знал, но что же, мало ли что не знал, отец давно приучил нас пользоваться словарем Даля, и я нашел у Даля это слово, там оно было узаконено.

У нас дома были в ходу словечки — особенно часто у мамы — выразительные, чисто русские, но сейчас их, пожалуй, зачислили бы в областные речения, давно забытые и изъятые из употребления слова. Иной редактор, прочтя подобное слово, предложил бы, наверное, сделать сноску. Не надо сноску! Надо знать и любить русский язык, надо уметь пользоваться всеми его богатствами! В произведениях Авдеева меня радовали такие слова, как «затарантил», «доброезжая тройка», «свихнулся», «полои», «язык без костей». Я выписывал отдельные выражения, иногда записывал и свои оценки. «У Соковлина сердце заколыхнулось»... Можно так сказать — «заколыхнулось»?

Вот с такой дерзкой придирчивостью и в то же время с любовью внук читал каждую страницу, написанную дедом, читал произведение за произведением всего Авдеева — с удовольствием и несколько раз. А впоследствии, уже взрослым, я с горечью узнал, что Михаил Васильевич Авдеев, как и многие-многие писатели девятнадцатого века, незаслуженно забыт. У меня лично есть двухтомник его сочинений, но — боже милостивый, с каким невероятным трудом и с какими затратами я его достал!

Мне искренне жаль тех, кто не читал Авдеева. Да и о жизни его надо знать. Учеба в Путейском институте, дружба со многими писателями, близость с поэтом-революционером Михайловым, с известным общественным деятелем Шелгуновым, за что Авдеев поплатился пятью годами ссылки — все это интересно.

Сравнительно коротка была жизнь Михаила Васильевича, он умер в 1876 году пятидесяти пяти лет отроду. А сколько написал! Как трудился! У нас в семье бытовало мнение, что Михаил Васильевич был замкнутый, мрачный человек. Но это, вероятно, относится к последним его годам. Впрочем, не знаю. Могу только сказать, что жизнь его не баловала. Возможно, что он и не был особенным весельчаком.

Я постараюсь, где это возможно, сделать так, чтобы Михаил Васильевич сам рассказывал о себе: в его произведениях и письмах я нашел автобиографические зарисовки, иногда поданные как лирические отступления, а иногда подаренные им своим литературным героям.

Родился Авдеев в 1821 году в Оренбурге, но пробыл там недолго. О детских годах, прожитых в Буруновке, в имении Авдеевых под Стерлитамаком, в его сочинениях можно найти лишь отрывочные сведения. Но кое-что все-таки есть. Отправившись в 1865 году за границу и посылая оттуда свои дорожные записи для напечатания в русских журналах, Авдеев иногда вкраплял в эти «Письма из-за границы» (блестящий, на мой взгляд, образец эпистолярного жанра, где к тому же наиболее полно и ярко выразились мысли, чувства, взгляды

самого Авдеева, его мягкий юмор и тонкая ирония) случаи из своего прошлого.

Например, когда Авдеев бродил по Италии и осматривал Миланский собор, ему вспомнилось далекое детство. Это великолепно написанная картина! Так и чувствуется рождественский мороз, и зимнее солнце, и снежные узоры на стекле... А какое неожиданное сопоставление: Миланский собор — и фигурка, получившаяся при гаданье. Нет, в этих строках — весь Авдеев. Критики терзали его самолюбие, упрекая, что он все кому-то подражает. В данном эпизоде Михаил Васильевич не подражает никому! А мне эта сцена дорога потому, что из нее я узнаю о детстве писателя, об обстановке, в которой он жил. Все здесь дышит провинциальной простотой, благополучием помещичьей усадьбы среднего достатка. Однако упоминание невыносимейшего надсмотра английских нянек и швейцарских гувернеров не случайно. По-видимому, и самому Авдееву довелось это испытать.

Как я уже сказал, в Оренбурге Авдеев провел только раннее детство. Ко времени учебы его семья переехала в Уфу. Михаил Васильевич поступил в уфимскую гимназию, но затем упросил родителей поместить его в Корпус инженеров путей сообщения. Не представляю, почему у мальчика возникло такое желание. Прочитал ли он где-нибудь об изобретении железной дороги, или наслушался чьих-то рассказов, или просто хотел избавиться от гувернеров и от чопорных бонн-англичанок?

У нас в России первая железная дорога протяжением 25 верст (Петербург — Царское Село — Павловск) была открыта для эксплуатации в 1838 году, а Мишу Авдеева отвезли в Петербург в 1835-ом и сдали сначала в пансион, а затем в закрытое учебное заведение — Корпус инженеров путей сообщения. Именно к этому времени курс обучения в Путейском институте был установлен в восемь лет, а учащиеся разделялись на две группы: младшие обучались по типу кадетского корпуса и только два старших класса были специально-инженерные. Однако везде царил казарменный дух, даже в ходу были телесные наказания. Воспитанники делились на роты и классы. По команде просыпались, по команде отдыхали, по команде ели и молились. По часам расписан весь день. Классы, где готовили уроки и слушали лекции, со стеклянными дверями, так что и здесь бдительное око наблюдало за воспитанниками. Особенное значение придавалось занятиям гимнастикой, фехтованию. И еще большее — танцам. Институтский оркестр наигрывал кадриль, польку-мазурку, вальсы. В «дамы» назначались обычно плохие танцоры, так как за даму танцевать легче.

Вся эта обстановка — и щеголяние вымуштрованными рядами на парадах, и броская форменная одежда — в какой-то степени нравилась Авдееву. Он и впоследствии придавал большое значение умению одеваться, умению держаться в обществе.

Институт Авдеев окончил — и окончил блестяще — в 1842 году

поручиком и в качестве инженера путей сообщения был направлен в Нижний Новгород. Здесь протекли самые светлые годы писателя. Ему было по душе окружавшее его общество, ему доставлял удовольствие успех собственных сочинений, которые стали одно за другим появляться в печати. Когда он приехал в Нижний Новгород, там намечалось большое строительство. Однако впоследствии планы изменились и центр тяжести был перенесен на магистраль Петербург — Москва. Это обстоятельство и позволило Авдееву сосредоточить внимание на литературной работе.

1-го ноября 1851 года железная дорога Петербург — Москва была открыта для общего пользования. Каждая верста обошлась в сто тридцать три тысячи рублей. Длилась постройка восемь лет. В 1852 году в «Отечественных записках» появился рассказ Авдеева о поездке по этой дороге. Рассказ этот, вернее очерк, называется «Поездка на кумыс» и состоит из четырех писем. Первое письмо и является описанием путешествия по новой железной дороге. В семидесятых годах двадцатого столетия по железнодорожным путям между Ленинградом и Москвой мчится «Красная стрела», расходуя на весь путь в 603 километра восемь часов, а есть скоростные и сверхскоростные экспрессы, преодолевающие это расстояние за шесть часов, а то и за три-четыре часа. Тем интереснее познакомиться с очерком Авдеева, где рассказано об одной из первых поездок по этой только что сооруженной магистрали. Авдеев любовался, гордился железной дорогой, построенной русскими инженерами, да еще и его однокашниками, товарищами по институту.

Не знаю, этот ли самый злосчастный рассказ Авдеева или какой другой попал в руки аракчеевского любимца Клейнмихеля, но только дело получило неожиданный оборот. Клейнмихель был в те годы главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями. Когда в 1852 году он увидел какое-то произведение Авдеева, ярость его была беспредельна.

— Это что это? Это тот самый Авдеев? — стучал пальцем по журналу аракчеевец. — Инженер-путеец? И это самое? Сочиняет? Я этого не потерплю! Мне нужны инженеры, а не бумагомаратели!

Хотя никаких распоряжений Клейнмихеля не воспоследовало, но Авдееву передали эти слова главноуправляющего, и Авдеев тотчас подал в отставку.

Эта история напоминает мне другой случай из жизни нашего семейства. Случай этот произошел совсем в другую эпоху, в давние времена, в восьмидесятые годы восемнадцатого века. Предок Михаила Васильевича Авдеева, а следовательно и мой предок — казачий атаман Авдеев — жил и благоденствовал тогда в Яицком городке. Вспыхнувшее Пугачевское восстание 1773 года не на шутку напугало Екатерину Вторую. Когда восстание было утоплено в крови, а Емельян Иванович Пугачев при огромном стечении народа казнен на Болотной площади в Москве, разгневанная царица сразу, в том же 1775 го-

ду, приняла все меры, чтобы истребить даже память о бунтовщиках. Поскольку пугачевское войско состояло в основном из яицких казаков и только позднее стали примыкать к восстанию крестьяне, горожане и все, кто испытал нужду и кабалу, — гнев царицы прежде всего обрушился на казаков. Перво-наперво она приказала: реку Яик переименовать в Урал, Яицкий городок отныне звать Уральском. Затем последовало новое ее распоряжение: лишить казаков былых вольностей, в частности — отменить извечное право казаков самим выбирать себе атамана, отныне атаман назначался... Ты печаль моя, застоюшка моя! Хоть и говорят, что казак в беде не плачет, но тут не беда, а бедствие постигло: пришел конец казацкому привольному житью... Крутой нрав был у нашего предка Авдеева, казачьего атамана. Он, в свою очередь, осерчал на царицу за ее бесцеремонное обращение с вольными казаками и — небывалый случай! — демонстративно вышел со всем своим родом из казачьего сословия. Ставши «частным лицом», он уехал в Оренбург, так что и все материалы об Авдеевых были изъяты и уничтожены. С концом.

Уходя в отставку в ответ на оскорбительную выходку Клейнмихеля, Михаил Васильевич как бы повторил поступок своего предка. Видно, оба были крутого нрава.

Как я благодарен нашему предку за его дерзкую выходку! И как рад, что и я из той же породы, что и я происхожу из давней казачьей вольницы. О них говаривали: казаки все атаманы. Они не отказывались выручить в беде Русское государство. Но сохраняя при этом свою независимость. Они сражались в войсках князя Ивана Андреевича Засекина-Солнцева в 1629 году. Были в 1634 году в отряде боярина Михаила Борисовича Шеина. Ходили под Чигирин в 1681 году. Участвовали в 1684 году в Крымском походе. Брали Азов. Не посрамили свою честь, были дерзки, бесстрашны, вольнолюбивы... Я горжусь, что родом из казаков. И питаю надежду, что авось и я унаследовал хоть частицу их крутого нрава.

Михаил Васильевич довольно легко пережил внезапный и ничем кроме самодурства Клейнмихеля не оправданный удар. В смысле общественного положения Авдеев, расставшись с деятельностью путейца, не претерпел больших неудобств: к этому времени он был уже признанный писатель, автор целого ряда повестей и рассказов, так что и с материальной стороны был обеспечен. Три больших произведения: «Варинька», «Записки Тамарина» и «Иванов»» — составили трилогию, которая в 1952 году была издана отдельной книгой под общим названием «Тамарин», а прежде чем выпустить эти повести отдельной книгой, Авдеев напечатал их в журнале «Современник». Они понравились широкой публике, Авдеев стал известен, его ставили в один ряд с лучшими молодыми писателями. Имя Тамарин вошло в обиход, как, скажем, Рудин Тургенева или Обломов Гончарова. Авдеев был счастлив и утвердился в уверенности, что обладает незаурядным талантом.

Впрочем, у меня составилось впечатление, что Авдеев, несмотря на полное признание и широкую популярность, был все-таки преувеличенных представлений о размерах своего таланта. Правда, в одном из писем он спрашивает Тургенева, каков «теперешний курс на нашу братию, писателя средней руки», но в душе, по-моему, Авдеев считал себя далеко не средним. Это приводило порой к курьезному соперничеству. Даже с Тургеневым, когда у них завязались довольно близкие отношения, Авдеев иногда брал несколько неудачный тон, не прочь был дружески пожурить его, что, вероятно, злило Тургенева, хотя воспитанность и светскость не позволяли ему это выказать. Тут еще имело значение то обстоятельство, что Авдеев помнил о своем происхождении из старинного знатного рода. Поэтому он держался со многими даже чуточку свысока.

От этого настроя, как мне кажется, происходит и неудачный замысел Авдеева с трилогией «Тамарин». Авдеев решил как бы подхватить эстафету Онегин — Печорин и на уровне гениальных творений Пушкина и Лермонтова продолжать рассказ о «лишнем человеке», о «печоринщине», выродившейся в далеко не демонический образ Тамарина. Сам Авдеев так писал в предисловии к трилогии при выпуске ее отдельной книгой:

«Автор разбора сочинений Пушкина заметил, что Онегин и Печорин составляют один тип, изменившийся при последовательном развитии. Это замечание дало мне мысль проследить дальнейшее развитие «героев нашего времени». Вот цель, с которой я задумал Тамарина. Лермонтов увлекся своим героем и поставил его в каком-то поэтическом полусвете, который придал ему ложную грандиозность. Ослепленное ярким эффектом красок и искусной драпировкой героя, большинство увлеклось им и, вместо того, чтобы увидеть в нем образец своих недостатков, стало рядиться в него, стало ему подражать; он породил Печориных в обществе. С этих-то действительных Печориных писан мой Тамарин. Показать обществу и человеку, как они обманывались, и показать разоблачение этого обмана — вот в чем была моя задача».

Таков был замысел — **продолжать** определенный литературный образ. А критики обвинили Авдеева в подражательности, в неумении создать что-то новое.

Я считаю, что Авдеев не был настолько слаб как писатель, чтобы не суметь самому построить сюжет. Поэтому смешно говорить, по-моему, о том, что он от полной беспомощности создавал в своем «Тамарине» те же самые ситуации, что и у Лермонтова. Авдеев хотел показать, что жизнь повторяется, но вот что осталось от Печорина с его демонизмом, с его фатализмом, с его мрачной философией и наигранным разочарованием: остался жалкий Тамарин, который даже не производит уже впечатления на провинциальных барышень.

По поводу романа «Тамарин» в критике были горячие споры. Одни восторгались, другие ругали Авдеева, третьи возражали и первым

и вторым... Авдеев не мог относиться равнодушно к нападкам критики, но в то же время знал, что ни один писатель не застрахован от этого, знал, как достается иногда от критиков даже таким крупным величинам, как Тургенев, каждый роман которого вызывал у одних восхищение, у других раздражение, даже брань. «Северная пчела» называла Гоголя русским Поль-де-Коком. Белинского не вполне удовлетворяла художественная сторона Герценовского романа «Кто виноват?», и он писал, что Герцен «больше философ и только немножко поэт». Чернышевский, вследствие своих особых требований к искусству, Некрасова ставил выше Пушкина... Шла ожесточенная борьба взглядов и убеждений, и были обычными жестокие оценки и беспощадные характеристики.

Авдеев гордо отмахивался от критиков. Он достаточно вкусил сладости литературного успеха, шума вокруг своих произведений. Забираясь в свою Буруновку, он уходил от волнений, споров, обид, обретал душевный покой и силы для новой работы. А вообще-то не очень и расстраивался. Я составил представление об Авдееве как о человеке, не склонном к самокритике. Он считал, что делает то, что нужно, мыслит так, как и следует мыслить. Сомнения не грызли его. К критическим замечаниям он прислушивался, статьи заставляли его задумываться, но вызывали больше досаду, чем разочарование. Что задевало его, так это обвинения в подражании. Он нашел случай и включил в рассказ «Горы» такую сцену:

«...Ко мне вошел Андрей Иванович Локтев, мой хороший приятель и сосед по оренбургскому имению...

— Здравствуйте, — сказал он, протягивая мне руку. — Что вы делаете?

— Подражаю, — отвечал я, поворачиваясь к нему с креслом.

— Кому?

— Да еще не знаю.

— Объясните, пожалуйста.

— Вот видите ли, — сказал я, — когда я предал тиснению свою первую повесть, нашли, что я подражаю Лермонтову; после второй решили, что подражаю Гоголю; теперь, может быть, найдут, что подражаю Бальзаку или Диккенсу. На свете столько было писано, что вовсе не хитро найти сходство. Как же мне знать, кому я подражаю»...

Как видите, Авдеев с большим сарказмом и сквозящей сквозь полушутливый тон горечью, обидой говорит о мнимом подражательстве, которое ему приписывают. И меня удивляет, что кое-кто не почувствовал иронии этих строк, принял их всерьез: будто Авдеев и сам признает, что подражает.

Михаил Васильевич Авдеев жил в провинции, но всегда находился в курсе всех общественных событий, много читал, знал все новинки литературы, следил за периодикой — словом, жил всеми интересами своей страны. Он всегда живо откликался на все новые веяния,

и его симпатии обычно оказывались на стороне демократического лагеря. Однако по политическим взглядам Авдеев оставался — при всей своей образованности — лишь либералом, сторонником реформ, хотя и почерпнул кое-что из общения с поэтом-революционером Михаилом Ларионовичем Михайловым, который, как и Авдеев, родился в Оренбургском крае, учился в Уфе, работал в Нижнем Новгороде, так что их жизненные пути часто пересекались. Близко соприкасаясь с деревней, Авдеев хорошо знал ее и верил в крестьянство, в крестьянский здравый смысл, а крепостное право считал первым злом, которое надо сокрушить.

В годы Восточной войны Авдеев был выбран начальником дружины оренбургского ополчения. Это были резервы, которые в ходе войны так и не включились в дело. Но если бы понадобилось, я уверен: Авдеев несомненно выполнил бы свой долг с честью. Когда война кончилась и дружина была распущена по домам, Авдеев решил, что пришло время осуществить свою давнюю мечту — побывать за границей, тем более что и материальное положение позволяло это сделать. И в 1857 году он совершает поездку в Западную Европу.

В Берлине Авдеев встречается с Тургеневым, у них устанавливаются хорошие дружеские отношения, они едут в Париж и даже некоторое время живут вместе, в одном доме. По возвращении Авдеева в Россию у них налаживается переписка, которая не прекращается всю жизнь. До нас дошло 17 писем Тургенева, адресованных Авдееву. 9 писем Авдеева, адресованных Тургеневу, хранятся в Национальной библиотеке в Париже. По этой переписке видно, что Авдеев держится с Тургеневым на равных, с чувством собственного достоинства, как дворянин с дворянином, прогрессивный человек с прогрессивным. Чувствуется, что он отдает дань таланту прославленного мастера, но знает цену и себе, считает, что они с Тургеневым единомышленники и друзья.

Из заграничной поездки Авдеев вернулся воодушевленный, полный впечатлений и замыслов. Еще находясь за границей, он обдумывал новое сочинение. А в 1860 году оно увидело свет. Это был роман «Подводный камень» — о семейной жизни, о праве женщины располагать собой, даже не останавливаясь перед разрушением брачного союза. Этот роман Авдеева появился, что называется, в самую пору, когда умы русского общества были заняты пересмотром существовавших устоев и норм вплоть до государственного устройства. Роман был встречен общим восторгом, хотя критики снова упрекали Авдеева в слепом подражании — на этот раз «Жаку» Жорж Занд и «Дворянскому гнезду» Тургенева.

В связи с выходом романа «Подводный камень» некоторые его почитатели стали шутливо называть Авдеева «ходатаем по бракоразводным делам». Но Авдеев был еще и ходатаем по крестьянским делам в самом прямом смысле этого слова. Еще в 1859 году, когда готовилась реформа по отмене крепостного права, было решено ввести

должность мировых посредников. Они должны были избираться самими крестьянами сроком на три года из местных дворян-помещиков, причем учитывались и личные качества избираемого, и земельный ценз. Так вот и Авдеев оказался членом по крестьянским делам присутствия. Он принимал самое горячее участие в бесчисленных тяжбах, в разборе жалоб крестьян на помещиков.

Оренбургское губернское по крестьянским делам присутствие находилось в Уфе. Здесь Авдеев и поселился. А так как он обнаружил либеральные взгляды и при разборе дел всегда становился на сторону крестьян, то естественно его возненавидели всеми силами души крепостники-помещики, всячески старающиеся свести на нет крестьянскую реформу, а также и чиновники, начиная с уфимского губернского предводителя дворянства Дурасова. Даже та в сущности невинная позиция, которую занял Авдеев, его чисто человеческое отношение к крестьянам, крестьянским ходокам вызывали ярость. О нем распускали нелепые слухи, а там полетели и доносы, направленные «по инстанции».

Впрочем, и в столице уже косились на Авдеева: ведь он был знаком с такими опасными людьми как Шелгунов, Плещеев, ведь он встречался с Михайловым, при обыске у Михайлова нашли письма Авдеева, а ведь Михайлов бунтарь, ведь никто другой, а именно он сочинил песню, которую распевали революционеры: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою», именно он отпечатал антиправительственную листовку, для чего ездил за границу... На Авдеева было обращено специальное внимание. А уж если человеком заинтересовалась полиция, ничего хорошего не жди!

В августе 1862 года оренбургский военный губернатор Безак получил извещение от министра внутренних дел, что «Авдеев по нахождению его ныне в С.-Петербурге, подвергнут аресту, бумаги же его препровождены в следственную комиссию».

Авдеев пребывал в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Вскоре губернатор Безак узнал и о дальнейшей его судьбе. На этот раз сообщение пришло от шефа жандармов князя Долгорукова: «бывший член оренбургского губернского по крестьянским делам присутствия, отставной инженер-капитан Авдеев оказался виновным в предосудительной в политическом отношении переписке с своими знакомыми, в выражении сочувствия к государственному преступнику Михайлову и в отношениях с некоторыми людьми, замеченными в неблагонадежности. И так как сверх того получены сведения, что он своим влиянием и образом мыслей может быть вреден в оренбургской губернии...» и так далее, и так далее, все в том же канцелярско-полицейском стиле, вплоть до вывода «из вышеизложенного», что, вследствие всего этого, «высочайше повелено, согласно постановлению комиссии, выслать капитана Авдеева на жительство в город Пензу, с учреждением за ним полицейского надзора».

И очутился Авдеев в Пензе...

Дед мой по отцовской линии — Никанор Васильевич Четвериков — из тех краев: город Ломов не так далеко от Пензы. Его старшие дети да и он сам вполне могли о ту пору встретиться на улицах Пензы с писателем Авдеевым, оказавшимся впоследствии моим родственником по линии материнской. Так причудливо перекрещиваются человеческие пути.

Обозревая незнакомый город, Авдеев сопоставлял, прикидывал, размышлял. Неожиданно всплыло в памяти, что когда-то в Пензе был губернатором Сперанский — тот самый, который предлагал смелые проекты преобразования государства, а в одном письме недвусмысленно поставил полный глубокого значения вопрос: «Кто метет лестницу снизу?»... Чем еще памятна Пенза? Двадцать с чем-то лет назад через этот город проследовал траурный кортеж: перевозили в Тарханы прах гениального Лермонтова, убитого на Кавказе Мартыновым, так, по-видимому, и не понявшим, на кого он поднял руку, какое злодеяние совершил... Как страшна инертная сила так называемого светского общества! Свет со злорадством встретил сообщение о гибели Лермонтова, свет был на стороне убийцы! Авдеев испытывал какое-то странное удовлетворение, что и ему довелось столкнуться с этой темной силой, именуемой «свет». Чуть ей не угодишь — и на тебя обрушатся кары. Авдеев чтил творения Лермонтова и перенес немало нападок со стороны критики за попытку — может быть, не совсем удачную — проследить в новых проявлениях личность Печорина. И сейчас раздумья о трагической судьбе Лермонтова, как и о своем жизненном пути, о неясном, туманном будущем, тревожили его сердце, даже вызывали какие-то смутные ассоциации...

С первых дней пребывания в Пензе Авдеев обдумывал, как ему выпутаться из беды и вернуться в свой родной Оренбургский край, в свою милую Буруновку. Он хлопотал, обращался с заявлениями к Безаку, писал объяснительные записки... Трудно сказать, убедили ли его доводы или просто минуло время и предержащие власти поняли, что нелепо искать заговорщиков среди уравновешенных либералов. А может быть, в отношении Авдеева рассудили, что пусть себе он уезжает из России, пусть хоть и не возвращается совсем? Так или иначе, но в 1865 году Авдееву было разрешено поехать за границу, в Эмс и южные страны, для «пользования от болезни», и он расстался с Пензой без сожаления.

Некоторое время Авдеев жил в Женеве, затем переехал в Соден — поблизости от Франкфурта-на-Майне. Он работал там над романом «Меж двух огней» и лечился водами. Нельзя сказать, что это только следование моде: все ездят «на воды» — значит, должен ездить и я. Здоровье у Авдеева было действительно неважное. Но в то же время Авдеев подвижен, деятелен, трудолюбив. Он много работает, а когда путешествует, то неутомимо карабкается по каким-

то древним развалинам, блуждает по закоулкам незнакомых городов, легко переносит тряску «линейки»...

Отправляясь в заграничную поездку, Михаил Васильевич, чтобы оправдать дорожные расходы, договорился с «Библиотекой для чтения» и с одной из газет, что будет присылать для печатания «Письма из-за границы». Многое в дорожных рассказах писателя и сейчас остается занятным. Рассказ о способах передвижения, о пограничных рогатках, о прописке паспортов — все довольно любопытно, и всюду присутствует сам автор, доверчиво протягивающий руку читателю, всюду его тонкий с горчинкой юмор.

В Берлине Авдеев остановился в гостинице на Унтер ден Линден. Комната, в которой его поместили, ему понравилась. Но умываться в тазу показалось негигиеничным: «Способ самообслуживания представляет неприятную дилемму — или умывать лицо в чистой воде немытыми руками, или чистыми руками мыть его в грязной воде». В Потсдаме и Сан-Суси Авдеев запомнил безобразные валяные башмаки, или, вернее, туфли, которые их заставили надеть при осмотре дворцов, «чтобы не портить совсем не драгоценного мозаичного пола». На лестнице Авдеев потерял эти туфли, «к великой злобе сердитой бабы», сопровождавшей туристов.

«Знаменитый фонтан, — рассказывает далее Авдеев, — тоже не удовлетворил нас: он далеко не производит впечатлений нашего петергофского Самсона». Это очень характерно для Авдеева: где бы он ни очутился, что бы ни осматривал, а перед его взором неизменно стояли его родные края. Эльбу он, сидя на палубе парохода, сопоставляет с Окой, Волгой и Камой... Унтер ден Линден сравнивает с Невским проспектом и находит, что Невский богаче, красивей... Повсюду Авдеев проводит аналогии с нашим, российским, постоянно ему вспоминается что-то родное, что становится еще милее на чужбине. Вот он, счастливый, что избавился от лечения в окутанном туманом Гастейне, пускается в поездку, оказывается в Линдау на берегу Констанского озера, готовится ехать на пароходе до Шафгаузена... и вдруг бросает взгляд на календарь:

«Это было 6-е сентября. Я знаю, там, в далекой деревне, чуть не на границе Азии, вы вспоминаете меня в этот день. Я знаю, перед барским домом были столы с пирогами, бочонок с вином и бочка с пивом; шумнее и шумнее под темнеющий вечер становилась добрая подгулявшая толпа, и вот у окна столпились бабы, один визгливый голос затянул, другие подхватили с незапамятных времен повторяющуюся песню «Виноград зеленеет, а цветики алеют» — и пошло веселье. И ночь опустилась, и вы поужинали, а по деревне еще долго раздавалась в том и другом конце проголосная песня, пока не допел свою последний гуляка и сторожа, позвонив для очищения совести в чугунную доску, не улеглись спать. Я вас всех вспомнил не менее горячо и много, но передо мной была другая картина: виноград дей-

ствительно зеленел по всему берегу, голубое, как лазурь, озеро стлалось перед окнами, и с того берега в тумане виднелась Швейцария»...

Хорошее, задушевное раздумье. И что же такое вспомнилось Авдееву? Очень просто: 6-го сентября день Михаила архистратига, Авдеев именинник. И надо полагать, не случайно назвали родители своего сына Михаилом: хоть и ушел авдеевский род из казачьего сословия, а все сердце-то ныло, всплывали в памяти боевые походы, степь, родной город Уральск, а в Уральске находится собор во имя архистратига Михаила — старинное, семнадцатого века сооружение. И в результате мы получили рассказ о том, как в помещичьем доме отмечают именины барина.

Меня радует, что и поныне, собравшись за праздничным столом, любят у нас петь и припоминают — наряду с сегодняшними — старинные, удивительно богатые, хватающие за душу песни. А какие лица становятся у поющих! На них взволнованность, озарение, нахлынувшие воспоминания, какое-то не передаваемое словами счастливое выражение. Я заметил, что особенно бывают растревожены пением женщины, эти неистовые хранительницы заветного, неизбывного, того, в чем и заключается вся наша суть. И мне досадно, что я не знаю песни о «цветиках, которые алеют». Много разных песен знаю, а вот этой, о которой упоминает Авдеев, не довелось слышать...

Но вернемся к нашему путешественнику.

Никак не выкроить из Авдеева «западника», нет! Любит он российские края, скучает по ним, жить без них не может. Он удивляется на Тургенева, что тот способен так подолгу быть далеко от России, и опасается, как бы его друг окончательно не оторвался от родного берега. В этом отношении очень характерно одно из писем Авдеева Тургеневу:

«Для того, чтобы Вас сохранить для Вашего дела, для Вашей — пора это слово выговорить — славы, — надо бы вырвать Вас из прелестного Бадена и окунуть по уши в орловский чернозем и петербургскую сырость, — а без этого героического леченья ничего не поделаешь».

Тургенев соглашался с Авдеевым: «Никакого нет сомненья, что русский писатель, поселившийся в Бадене, тем самым осуждает свое писательство на скорый конец, я на этот счет не обманываюсь», — отвечал он. Но возвратиться в Россию не мог. Авдеев же, путешествуя по Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, мысленно никогда не расставался с родной Россией, всегда безумно тосковал по ней и мечтал об отъезде домой.

«Вы не знаете того нестерпимого упадка сил, — писал он, — тех черных дней, которые нападают на вас за границей, когда долго не слышишь ни одного теплого, ободряющего слова, когда не знаешь, что творится с теми добрыми и любимыми существами, с которыми, может быть, благодаря Бога, ничего не творится и которые продолжают себе мирно играть в ералаш по маленькой»...

Авдееву мало помогло заграничное леченье, но все-таки он возвращается в Россию освежившийся, полный впечатлений и творческих замыслов, уверенный, что кара предержащих властей исчерпана тремя годами ссылки в Пензу. Не тут-то было! Ему объявляют, что ссылка с него не снимается, только в виде особой монаршей милости разрешается отбывать теперь ссылку не в Пензе, а у себя на родине, в Оренбургском крае.

Стоит крутая уфимская зима. Даже на Центральной улице наметены сугробы. Ветер завывает в печных трубах. Авдеев тщетно пытается что-нибудь разглядеть через окно: стекла покрыты сплошными ледяными узорами. «Люто! — поеживается Михаил Васильевич. — Вон и дым из труб стоит столбом, наверное не меньше двадцати пяти градусов мороза...»

Надо сказать, что не все прежние уфимские знакомые охотно поддерживают с Авдеевым отношения: все-таки ведь ссыльный, лучше от него подальше, вольному воля, спасенному рай, зачем же дразнить судьбу? Но передовая интеллигенция не только не обращает внимания на «особое положение» писателя, а напротив, подчеркнуто внимательна и старается отвлечь его от грустных дум.

Но наваливается, наплывает тоска! Охватывает полное отчаяние в этот зимний вечер, когда в доме, по самые окна заметенные снегом, мертвая тишина, а с улицы доносится медленный, навевающий щемящую скорбь звон гулкого колокола ближайшей к дому Успенской церкви. Авдеев тоскует. Авдеев мечется и бьется, как птица, попавшая в силок. Печатание «Писем из-за границы» дало ему некоторую сумму, но в целом материальное положение не ахти какое. Имение дает всего 600 рублей в год... Вся надежда на новый роман... Но когда еще он будет написан? И удастся ли его напечатать, особенно находясь в положении ссыльного?

Авдеев никак не желает сдаваться. Да и слишком рано было бы складывать крылышки, ведь ему едва исполнилось 45 лет. Впереди рисуется борьба, большие труды и новые успехи. Он работает над романом «Меж двух огней», он обдумывает новый план — издавать журнал или газету... Эта идея — попробовать свои силы в роли издателя — владела Авдеевым многие годы. Но, забегая вперед, надо сказать, что, несмотря на все старания, несмотря на все попытки Авдеева стать редактором газеты или журнала, эта его мечта не осуществилась до конца жизни.

Пришла весна. Авдеев поспешил перебраться из Уфы в свою Буруновку, пока не развезло все пути-дороги и переезд в деревню не стал затруднительным. В Буруновке, строго придерживаясь установившихся традиций, Авдеев как истый помещик ходит на охоту и не унывает, что добыча не велика. И вообще старается не унывать, хотя ссылка, конечно, тяготит его.

«Меня всё не отпускают и ни на что не отвечают, — пишет он Тургеневу, — так что я перестал делать какие-либо предположения.

Из этого Вы можете заключить, что Ваша добрая надежда увидеть меня в Бадене едва ли в нынешний год состоится, хотя очень бы желал повидаться с Вами и пожить в Вашем местечке, к которому питаю-таки нежность. Но жить в нем долго, если бы и была на это возможность, вряд ли решусь... Я человек ручной и люблю видеть около себя знакомые лица, а в Баден-Бадене у меня ведь кроме Вас — и временно Жемчужникова — решительно никого!.. Да и дела нет, кроме писанья романов, на которые я тяжел. А здесь все свое маленькое хозяйство и все ждешь хоть какого-нибудь занятия, хотя зима, да и весь круглый год — невыносимы... И дичь, черт ее знает, куда провалилась: верно тоже переехала в Ваши края, так что здесь ее встречаем только в переносном смысле...»

Но вот по прошествии пяти лет с Авдеева сняли полицейский надзор и отменили его ссылку в Оренбургский край без права оттуда отлучаться. Авдеев немедленно воспользовался этим освобождением и отправился в Петербург. Дел накопилась целая куча.

В январе 1868 года возник журнал «Современное обозрение». Журнал продержался всего шесть месяцев и был закрыт, но Авдеев успел поместить в нем свой новый роман «Меж двух огней». Только что возникший и столь же внезапно исчезнувший журнал не мог быть хорошим посредником между авторами и читателями. Впрочем, Авдеев вскоре издал свой роман и отдельной книгой.

И все-таки это произведение Авдеева прошло как-то незамеченным. Между тем, в романе «Меж двух огней» Авдеев изобразил все тревоги, все разгоревшиеся страсти в связи с крестьянской реформой и вообще затронул много животрепещущих вопросов, общественных и личных, и в частности — остро стоявшую в те годы проблему гражданского брака. Ошибаются те, кто приписывает Авдееву, что он требовал для женщины только свободы чувства. Он, так же как его земляк и друг Михаил Ларионович Михайлов, требовал эмансипации женщины. Может быть, именно Михайлов заронил в нем эту мысль. Ведь они, вероятно, говорили о бесправии женщины, о ее подневольном положении, встречаясь в Нижнем Новгороде и в Петербурге. Вероятно, Авдеев читал и нашумевшую статью Михайлова «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе». Впрочем, так называемый женский вопрос вообще не сходил тогда с повестки дня.

Анюта Барсукова в романе Авдеева — бесспорно, очень своеобразная и милая фигура, характерная именно для шестидесятых годов XIX века. Эта умная, добрая, энергичная женщина всеми силами отстаивает самостоятельность, даже тогда, когда соединяет свою жизнь с любимым. Камышлинцев — вполне обеспеченный человек, но Анюта, и став его женой, не хочет материально зависеть от него и сохраняет за собой свое дело, свой доход, свой заработок.

Авдеев хорошо подметил и изобразил в этом романе незримую власть кумушек, жестокую обывательскую тиранию. Камышлинцев и Анюта полюбили друг друга и стали супругами, но без оформления

брака. Травля, поднявшаяся вокруг, осуждение, не затрагивающее мужчину и целиком падающее на женщину, вынудило дерзких новаторов оформить брак — лишь бы отвязались, прикусили языки, не порочили Анюту, не портили жизнь чувствительной ее тетушке.

Мне кажется, удался автору и образ Камышлинцева. Он достаточно ярко обрисован Авдеевым и дает нам представление о либерально настроенных добропорядочных людях из дворянской среды. Более того: в романе «Меж двух огней» не один положительный герой, а несколько. Вот единомышленник Камышлинцева — Иван Сергеевич Мытищев. Он благороден, честен и не хочет отставать в борьбе с крепостниками от Камышлинцева. Они борются за справедливость, против злоупотреблений и искажений сути и без того куцей крестьянской реформы.

Авдеев осмеливается на страницах своего романа привести несколько стихотворных строк Рылеева, с большой симпатией изображает крестьян, крепостную девушку, которой Камышлинцев помог умным советом. Есть в романе и просто смелые места, если учитывать время, когда было написано это произведение. Например, рассказ о «бунтовщиках», о темрюковском деле, причем ценно и то, что это не вводный эпизод, он ложится в сюжетное построение как необходимое звено, ибо решает судьбу героя романа.

Вот почему и принят был, видимо, этот роман прохладно. Консервативная публика не простила автору, что он изобразил передового представителя дворянства, осуждающего крепостнические порядки, встающего на защиту крестьян, да еще к тому же и «нигилиста», безразлично относящегося к религии, отрицающего необходимость церковного брака. Что же касается более воинственно настроенных кругов, то их, напротив, не удовлетворил либерализм Камышлинцева, они остались недовольны его умеренностью. Так и вышло, что роман «Меж двух огней» оказался меж двух огней и произвел меньший эффект, чем ожидал Авдеев.

Хочу несколько остановиться еще на одном обстоятельстве, чрезвычайно для меня важном и вообще придающем роману особую ценность. Я имею в виду необыкновенную автобиографичность этого произведения. Всё здесь — почти точный, лишь с небольшими отклонениями рассказ автора о себе самом. В этом смысле роман «Меж двух огней» — сущий клад для биографов и исследователей Авдеева. Взять хотя бы историю с темрюковским делом. Она явно не выдумана. Совершенно очевидно, что Авдеев описывает случай, происшедший лично с ним, использует материал из собственной своей практики — в бытность его членом присутствия по крестьянским делам. Да и весь роман содержит много штрихов из жизни писателя.

Уже в самом начале романа Авдеев бегло, почти анкетно (хотя и с неуместными прибаутками) рассказывает о своих предках и сородичах, о себе самом, в то же время давая точные до мелочей описания. Даже этот семиоконный барский дом со ставнями, даже эта

постаревшая сучка Минерва, которую приехавший домой из заграничной поездки Камышлинцев обнял и поцеловал, — все это подлинная, взятая с натуры Буруновка. Та Буруновка, где похоронены мой дед и моя бабушка. Пусть ничего этого уже нет, все снесено прочь, все запахано, заровнено, исчезло бесследно. Но вот я открываю пожелтевшие листы книги, выпущенной книгопродавцом-издателем И. П. Перевозниковым, чей склад находился в Санкт-Петербурге в Банковском переулке № 31—32, — и передо мной, как в сказке Метерлинка, воскресают давние видения, начинают двигаться, говорить, улыбаться, мечтать и думать давно исчезнувшие, но близкие, дорогие мне люди...

«В доме началась беготня и суматоха; отперли двери; отворили ставни; несколько женщин высыпали поздороваться с барином, причем некоторые нараспев, как в причитаньях, запели: «А-а-х, батюшка, да как вы по-ста-ре-ли!», а другие, побойчее и находчивее как в барабан затрещали, вперебивку и скороговоркой: «А мы вас ждали, ждали, ждали, ждали, думаем: скоро ли, скоро ли»...

«Комнаты были в том же виде, как он их оставил, то же зальце, уставленное стульями, с раздвижным круглым столом посредине, те же старинные угловатые и жесткие красного дерева кресла и диван в гостиной. В своем довольно большом кабинете и вместе спальной нашел Камышлинцев те же покойные кресла, железную кровать, стол, уставленный письменными принадлежностями и безделками, ружья и фотографии по стенам...»

Авдеев не описывал в точности себя. Он старался кое-что присочинить для создания образа Камышлинцева. Например, подчеркивал «незнатность» этого человека, будто бы ведущего свой род от стрельца, за бунт сосланного в эти края, тогда как род Авдеевых вел свое начало от казачества допугачевской эры. Но многие детали чисто автобиографические. Авдеев подарил своему герою точное описание учебы в Путейском корпусе, только не назвав учебного заведения. Авдеев упомянул о дальнем родственнике Камышлинцева, к которому он «ходил в отпуск из заведения» и в котором мы без труда узнаем земляка и друга Авдеева Михайлова: «Этот родственник был одним из действительно образованных людей и принадлежал к кружку Станкевича и Грановского». И вот Камышлинцев-Авдеев понял, что он неуч, несмотря на то, что окончил одним из лучших учебное заведение. «Он был человек самолюбивый и, поняв свое невежество, принялся читать и учиться». И опять автобиографическая справка: «Года два-три провел он таким образом в Петербурге, когда старик Камышлинцев, опасно заболев, вызвал сына к себе в деревню и умер на его руках». Затем в этом даже не очень старательно прикрытом автобиографическом описании рассказывается, как Камышлинцев пробовал приспособиться к жизни и найти себе занятие, которое бы его удовлетворяло, и никак не мог его найти. «Но в это время случилась Крымская война, потребовалось ополчение, и Камышлинцев был выбран в него. Дружине, в которой пришлось служить Камышлинцеву, как и большей

части ополченцев, не довелось быть в деле. Камышлинцев прошел только добрый конец России, сделал поход, познакомился — не из книг, а вьявь — с бытом народа и воротился с ранней сединой в волосах».— Опять в точности страница из жизни самого автора. И дальше Авдеев говорит, ничуть не стараясь сочинить для своего героя какие-нибудь иные, непохожие черты, что Камышлинцев решил поехать за границу, «посмотреть, как другие живут», и поспешил вернуться домой, прослышав хорошие вести, что в России готовится крестьянская реформа. Так писатель и привел своего героя к началу романа, ведь роман начинается с точной даты: «В июне 1860 года в имении помещика...»— вот первые его строки.

Можно только пожалеть, что о жизни Камышлинцева рассказано слишком бегло и скупо: в этом произведении, как ни в каком другом, Авдеев использовал факты своей биографии, и будь он более щедр на подробности — мне бы удалось почерпнуть из его рассказов много интересного о нем самом и о других моих родственниках, о моей — по-видимому, многочисленной — родне, судя по тому, что Авдеев неоднократно упоминает, как их дом всегда был полон тетушек, дядюшек и кузин и как значительное состояние его деда было раздроблено между многими наследниками.

Я сказал сейчас: в этом произведении, **как ни в каком другом.** Но и в других есть — только в меньшем количестве — автобиографический материал, даже в «Письмах из-за границы», куда Авдеев то и дело вставлял сценки из своей жизни. (Помните? Описание барских именин в деревне, воспоминания детства при виде Миланского собора... Или разговор с поваром Василием...) Рассказ «Горы» тоже заставляет задуматься, не идет ли там речь о происшедшей с самим автором истории, закончившейся столь трагично.

Мысль об этом подало мне вскользь промелькнувшее замечание Чернышевского в его статье о творчестве Авдеева, что рассказ «Горы» показался ему автобиографическим. Я взял географическую карту, отыскал на ней Буруновку и сразу же обнаружил вблизи ее реку Большая Арметка, села Верхне-Арметово, Армет-Рахимово, Нижне-Арметово... А вот что рассказывает герой повествования Локтев о своей поездке на охоту: «Мы ехали долго. Проехали Чувашский Куганак и Церковный Куганак. Потом пошли Арметьевы: Большая Арметь, Средняя Арметь, Малая Арметь...» Так ведь это и есть окрестности авдеевской Буруновки! А вот на карте и Куганак нашелся. И Янгискаин. Все эти названия мы встречаем в рассказе «Горы». И хотя автор очень умело вводит в действующие лица и самого себя, писателя, который дружен с неким Локтевым, но при внимательном чтении становится ясно, что Локтев — это тоже Авдеев, даже с подробным описанием наружности, манеры держаться. А вся история «бедной сироты-башкирки» Изикэй? Очень похоже на то, что такая девочка была в действительности, что ее пригрели, обласкали родители Михаила Васильевича, что она нравилась ему самому в пору его

детства. Может быть, некоторые подробности в сюжете рассказа автор и изменил. Но рассказ об Изнкэй — бесспорно, не вымышленный, хотя Авдеев и препоручил его своему двойнику Локтеву, да и того заставил утверждать, что вся эта история выдумана им от начала до конца.

Ну, а если говорить о рассказе «Горы» как о литературном произведении, он написан занимательно, тепло, хотя его построение — рассказ в рассказе — несколько громоздко. Главное же его значение — в верности автора своей теме: положение женщины в современном обществе, эмансипация. Повесть о жестокой расправе за измену дополняет другие варианты авдеевских историй об изменах, разводах, неразделенной любви, семье.

Михаил Васильевич Авдеев представляется мне добряком и очень доверчивым человеком. Был он заядлый холостяк, жил довольно обособленно в своем имении под Стерлитамаком. Иногда выбирался из своей берлоги, охотно выезжал в Петербург, воздавал должное всем житейским удовольствиям, тем более что считал себя светским человеком, умел держаться в обществе, хорошо, со вкусом одевался, любил танцевать, вести интересный разговор, преподносить дамам комплименты. И все-таки у меня сложилось впечатление, что при всем этом Авдеев был, в сущности, очень одинок и в какой-то мере замкнут, не склонен к излишней откровенности. Рассказывая, например, о Петербурге, он ни разу ни словом не обмолвился о своих встречах, знакомствах и связях. Вообще, если у него и были друзья, он как правило избегает называть имена.

У Авдеева было незавидное здоровье. Он и сам не знал, что могло бы ему помочь. Ездил за границу — на грязи, на источники. Ездил на кумыс. Пил воду в Железноводске. И при этом не выпускал изо рта сигару. Курил непрерывно. Вряд ли это способствовало лечению. И неприятностей было у него предостаточно. И замысел его с издательским делом никак не удавался. Приходилось хвататься за любую работу. В одном из писем за 1869 год Авдеев сообщает: «...вспомнив, что был инженер, искал частного места на железных дорогах» и даже «вступил после пятнадцати лет отставки в Министерство путей сообщения», чтобы «удобнее найти место».

Мужественно переносил он удары судьбы и усиленно работал — всегда, всю жизнь. Нельзя пожаловаться: его произведения охотно печатают, каждое сочинение немедленно берет какой-нибудь журнал, тотчас находится и издатель. Авдеев пишет много и с удовольствием. В 1869 году помещает в журнале «Дело», а затем издает отдельной книгой пьесу «Мещанская семья», которая идет в этот сезон и на сцене Александринского театра. Печатает повесть «Магдалина», рассказы, очерки. Ему удается выплатить долги, наделанные братцем Виталием, и таким образом вернуть в свое владение родную Буруновку, которую было описали за долги брата. В летние месяцы он запирается там и не столько охотится, сколько сидит и строчит за

письменным столом в своем не слишком богатом и пышном «кабинете и вместе спальной». А зимой живет в Петербурге.

После выхода романа «Меж двух огней» Авдеев все чаще в разговорах с друзьями называет себя отставным писателем. Но это не совсем так. Почти ежегодно появляются в печати новые его сочинения, и он отнюдь не сходит со сцены литературной жизни в последние свои годы. В 1870 году печатает в «Вестнике Европы» «Письма в провинцию». В 1871 году выпускает книгу «Три повести», куда вошли «Магдалина», «Пестренькая жизнь» и «Сухая любовь». А затем задумывает серию критических очерков о наиболее замечательных литературных типах в произведениях русских писателей, начиная с Евгения Онегина и кончая Рязановым из повести Слепцова «Трудное время», — обзор литературы за истекшее пятидесятилетие. Эти очерки печатались в «Биржевых ведомостях», а в 1874 году вышли отдельным изданием под названием «Наше общество (1820—1870) в героях и героинях литературы».

На мой взгляд, это одна из лучших работ Авдеева, написанная серьезно, свежо и интересно. Недаром весьма сдержанный в оценках Тургенев, познакомившись с этим трудом Авдеева, прислал ему из Буживаля такое письмо:

«...На днях прочел Ваши этюды о «Героях и героинях русской литературы». Вы отвели мне в них такое почетное место, что я почти не могу решиться сказать Вам, до какой степени эти этюды показались мне умны, тонки — и дельны; впрочем, Вы довольно меня знаете, чтобы не искать в моих словах выражения благодарности. Этюды эти несомненно мастерские; в них резюмируются главные черты русской жизни за последние 40—50 лет — спокойно и свободно — sine ira et studio *. Но могу сказать, мое удивление возбудил этюд базаровского типа: точно Вы мне в душу забрались — и все подметили, на все указали, что я думал тогда, что старался выразить. Все это так, все верно до последних мелочей — и автору, которому Вы создали высшую похвалу, назвав его **правдивым**, остается только снять шапку и склониться перед проницательностью критика; а приятель крепко жмет приятелю руку...»

В другом письме этого же периода Тургенев писал:

«Вполне сочувствую также Вашей литературной работе: пока пишется — пишите. Оно и приятно — и полезно не в одном меркантильном смысле. Пока молодые не сменили совсем стариков — старикам не следует класть оружия. У меня оно вырвано из рук, а Вы — молодец».

Тургенев неоднократно приглашал Авдеева в Париж. И, кажется, Авдеев подумывал о такой поездке и намечал ее на 1875 год. Но так и не собрался в том году поехать. А 1-го февраля 1876 года умер —

---

* Без гнева и пристрастия, совершенно беспристрастно (лат.).

внезапно, в своей постоянной петербургской квартире, где всегда останавливался: на Лиговке, против Знаменья, в доме Фридерикса, второй подъезд.

Несколько слов о последних, можно сказать — предсмертных, произведениях Авдеева. В 1875 году он напечатал в «Отечественных записках» веселый рассказ «Переписка двух барышень». А роман «В сороковых годах», где выведен под прозрачным псевдонимом кружок Белинского и более других обрисован Герцен, только частично опубликован при жизни Авдеева, целиком же появился уже после его смерти в «Вестнике Европы».

Похороны Авдеева прошли незаметно. Его могила на Литераторских мостках Волкова кладбища находится поблизости от могилы Белинского.

Остались тома произведений Авдеева. Сохранилась небольшая часть его переписки. Каким-то чудом уцелели, например, письма Тургенева, присланные Авдееву. Я говорю — чудом, потому что вообще-то архив Авдеева постигла печальная участь, многие письма, полученные им от писателей, издателей, просто от знакомых, пропали. Печальную роль в судьбе авдеевского архива сыграла, увы, моя мать...

Михаил Васильевич умер как-то неожиданно, да еще не у себя в имении, а в Петербурге. В Буруновке, в домике о семи окнах, так все и осталось, как оставил он, уезжая. Думал ведь, что уезжает ненадолго. И бумаги не успел привести в порядок. И ни наказа, ни завещания не сделал. Имение перешло во владение брата Михаила Васильевича — Виталия Васильевича, его жены Надежды Егоровны и их детей — Василия и Клавдии. Клавдия, то есть Клавдия Витальевна, — это и есть моя мама. Когда умерли ее родители и куда-то сгинул брат Вася, она одна осталась наследницей Буруновки, а значит — и всех вещей, всех бумаг писателя Авдеева. Бóльшей неудачи для Михаила Васильевича не могло произойти! Дом мама продала — через посредника и, вероятно, за бесценок. Как распорядилась с вещами — я не знаю. А письма — письма известнейших людей России! — просто раздаривала родным и друзьям... Так что весь архив Михаила Васильевича Авдеева оказался развеянным по ветру.

Об одном таком случае я узнал уже теперь, в семидесятые годы, от мужа моей сестры Бориса Николаевича Евграфова, живущего ныне в Москве. Вот что он мне написал:

«В один из дней моего рождения, в 1924 или в 1925 году, Клавдия Витальевна подарила мне несколько писем. Я их свято берег — как священную реликвию — вплоть до 1937 года, не отдал бы их за десятки тысяч, если бы мне предлагали. А вот в тот тяжелый 1937 год, когда я усомнился, что смогу их сберечь для Родины, для истории, я согласился с предложением своей сестры (Марии Николаевны Прилуцкой) отдать эти письма в государственный музей. Она убедила меня в этом, и я отдал их ей. Она работала тогда сама в Музее изящных искусств им. Пушкина. Моя большая вина в том, что я не проверил

их дальнейшей судьбы. Приехав в 1939 году в Москву, весь закрутился в устройстве семьи, тяжелой для меня работы... Дальше война... Поверьте, выпало из памяти, я даже не вспомнил о них. Сейчас и для меня самого это странно. Но я как-то уверен был и не сомневался, что эти письма пошли по назначению, что она сдала их в Литературный музей на Якиманке (теперь ул. Димитрова). Поехал в музей — он сгорел, как мне объяснили живущие на этой улице жители, в апреле-мае 1972 года. Куда идти дальше?

Теперь наконец основное, что Вас интересует и что может быть для Вас полезно в Вашей работе.

Писем было пять:

1) Письмо Некрасова, на хорошей добротной бумаге, не как остальные. Само письмо строк 20—30, в котором он (можно догадаться в ответ на упрек М. В. Авдеева в задержке печатания его романа) объясняет, что печатание его романа не отложено, а задержалось по каким-то пустяшным причинам. Речь шла о романе «Подводный камень». В конце письма он добавил к своему объяснению, что литературными вещами он «не барышничает». Само письмо было весьма резонно и уважительно.

2) Весьма интересное и большое письмо на 4-х страницах от Аксакова, весьма пространно велись речи о славянофильстве. В каком аспекте велись рассуждения, не помню сейчас, боюсь напутать. По поводу каких-то тогдашних фактов, проходивших в жизни.

3) Записка (строк 5—6) от Тургенева, что он приедет в Москву тогда-то и остановится в гостинице у Земляного Вала, где и просит посетить его. Записка на 2-х листочках, формат бумаги в 2 раза меньше листа моего письма (данного).

4) Письмо критика Жемчужникова на 3—4 страницах, о чем, право не помню, только тоже о каких-то литературных делах, а не частных.

5) Записка Кавелина тоже подобного содержания на 2—3 страницах.

Даты писем, естественно, не помню.

Прошу искать эти письма, обязательно пошлите запрос, они могут быть сохранены где-нибудь. Мне не верится, что они хранились там, в незначительном маленьком музее на Якиманке, до последнего времени».

Запроса я никуда не посылал. А работая над изучением имеющихся об Авдееве материалов и его собственных сочинений, познакомился с моим предком и успел полюбить его. Это был хороший, порядочный человек, для которого какие-то принятые им устои, установки, принципы, убеждения являлись святыми и непреложными. Он никогда бы не принял взятки, не сделал бы ничего, порочащего его честь, никогда даже во вред себе не пошел бы на уступки в смысле своих передовых взглядов. А его передовые взгляды — это человечность, умеренная демократичность, осуждение всякого деспотизма, всякой

жестокости, бесчеловечности. Но все это — в рамках существующего строя. Все это — с признанием дворянского сословия, с благоговением перед светскостью.

Что я высоко оценил в Авдееве — это его прочную любовь к России, причем без фраз, без фальшивых нот, без сусальности. Это у него врожденное. Это чувствуется в каждом его слове, в каждом поступке. И мне почему-то чрезвычайно важно, чтобы он был таким.

Что касается его творчества — Авдеев, бесспорно, талантлив. Он великолепный рассказчик, он умеет построить сюжет, у него зоркий глаз. Его произведения дают представление об эпохе, они интересны и написаны живым, свободным, хотя и с некоторыми претензиями на «литературность» языком. Есть у него длинноты, есть порою слишком пространные фразы, которые — на мой взгляд — лучше было разбить на несколько предложений. Но это частности, это как раз то, что составляет стиль, манеру, индивидуальность писателя. А в целом, повторяю, он писал легким, невымученным языком, и это его немаловажное достоинство.

Читая и перечитывая Авдеева, вдумываясь в его незадачливую в сущности жизнь, я не только ощутил биение его сердца, но и как-то особенно близко почувствовал пульс минувшего века. Размышляешь о былых временах, о горячих спорах, настойчивых поисках, неистощимом порыве — и возникает мысль о преемственности, о чем-то неуловимо созвучном твоей душе. Это естественно: при всем различии, понимаешь отлично, что лучшие люди Прошлого — это наши предшественники, наши вдохновители, наша гордость и наша кровная родня.

Приложение № 2

ПРЕДИСЛОВИЕ М. В. АВДЕЕВА К РОМАНУ «ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ»

Настоящему роману выпал на долю, между прочим, один счастливый жребий: он возбудил огромные толки и в публике, и в журналистике. Трудно уловить общий характер первых, вторые были большею частию не в пользу романа; но что бы ни говорили те и другие за или против его достоинства, совокупность их, даже самая иногда до хрипоты доходящая раздражительность некоторых рецензий, доказывают несомненно, что мысль романа коснулась одной из наиболее натянутых и болезненных струн нашей жизни. Следящим за журналистикой известно, что я не имею привычки отвечать на критики и рецензии, как бы ни были иногда странны — чтобы не сказать более — отзывы, как бы ни было легко возражение на них. Еще менее имею

я желания оправдывать свой взгляд или извинять недостатки романа; напротив, не говоря о многих из этих недостатков, я охотно сознаю и хочу говорить о весьма важном, на который указывает сама разнородность суждений. Она меня убедила, что основная мысль моего романа недостаточно ясно проведена в нем, что моя точка зрения, верна ли она или нет, недостаточно обозначилась. Убеждение в этом существенном недостатке заставляет меня оговориться и договорить недосказанное.

Я не имел намерения рисовать идеалы и выставлять образцы добродетелей, достойные героических времен и детских повестей. Я не желал также ни поучать, ни развращать. Я хотел проследить развитие страсти в среде, менее всего способный подчиняться ее произволу, в обстановке, лишающей ее всех внешних поддержек и оправданий: словом, самое естественное и нормальное развитие страсти. Я выбрал для этого самое простое из простых положений: и муж хороший человек, и жена хорошая женщина, и любовник не дурной человек; страсть не имеет оправданий ии в ошибочном выборе, ни в недостатках мужа, ни в порочном развитии женщины или особенно благоприятных обстоятельствах: страсть пришла потому, что она присуща человеку, и развилась, отчасти вопреки логической последовательности, потому что она страсть. Оставаясь верным изображению жизни, какова она есть, я дал свою долю участия в ней тем побочным, по-видимому, причинам, которых источник так удален, что связь их с общим ходом действия ускользает от анализа и является нам чистой случайностью. Если бы ветка не хрустнула ночью под ногой Комлева, быть может Наташа устояла бы против порыва страсти и пуритане с удовольствием сопричислили бы ее к сонму героинь и добродетельнейших женщин.

Эта-то страсть, разрешающаяся в критические минуты иногда от ничтожных и побочных случайностей вопреки всем расчетам рассудка, и есть один из тех подводных камней, о которые разбивается счастье, имеющее за себя, по-видимому, все данные. Столкновение ее с теми охранами, которыми предание, общественные условия и наконец выработавшиеся предрассудки думают оградить прочность отношений, построенных на таком зыбком и изменчивом грунте, как чувства, было предметом драмы. Я взял главных действующих лиц из одной и той же среды, образовывавшейся под влиянием двух последовательных промежутков, еще близкого нам времени людей с их достоинствами и недостатками, и затем — они действуют в драме по убеждениям, которые в них выработались, действуют в весьма обыденной и — как всегда у меня — небогатой происшествиями драме, действуют просто, не рисуясь и не прибегая к громким фразам и эффектным позам... Вот в чем состояла моя задача; и, может быть, в естественности и вместе затруднительности тех столкновений, которые жизнь иногда придумывает капризнее всякого воображения и перед описанием которых я не отступал, особенно, может быть, в разрешении

этих столкновений с точки зрения убеждений, которые я разделяю с моими обыденными героями, — нужно искать объяснения многим странным и разнородным толкам и обвинениям, к которым подал повод настоящий роман. Ныне читающее и судящее большинство не привыкло еще уважать чужие убеждения, как скоро не разделяет их, хотя бы в искренности этих убеждений не имело никакой причины сомневаться. Оно хочет непременно подводить все под свой угол зрения и под свой аршин, как бы малы и неверны они ни были, согласовать со своими привычками и поверьями, которых часто не дает себе труда и проверить. Правда, оно допускает отступления от рутины, уклонения от общих правил там, где описывается какая-нибудь идеальная жизнь и действуют не люди, а герои. Там дело другое!

Но тут автор имел намерение вывести людей, правда, людей развитых, но все-таки людей, и — кто же считает себя неразвитым! — людей таких, как мы с вами, читатель; и эти простые смертные позволяют себе рассуждения, больше чем рассуждения — поступки, явно уклоняющиеся от общепринятых правил, позволяют их себе весьма просто, не кутаясь в непонятные страсти, не становясь на ходули презрения к человечеству!

В самом деле, как же они после этого могут иметь свои слабости и недостатки или быть действующими лицами романа? Посмотрим для примера первые попавшиеся на память и дошедшие до нас обвинения.

«Зачем Наташа, почувствовав склонность Комлева, не сказала о ней тотчас мужу?» У нее недостаток, может быть, смелости, решимости, может быть, стыд мешал ей? Какая же она героиня! У ней едва достало духу не солгать на вопрос мужа, да и то созналась она только почти молчанием и просьбой о пощаде!

«Зачем она мало боролась?» Конечно, можно бы возразить, что борьба борьбе рознь, что она длилась недели, что иногда в один день, в один час человек глубоко развитый и впечатлительный может пережить и перечувствовать более, чем иному удается в многие годы, что наконец Наташа решилась не видеться с Комлевым и, может быть, не пала бы, если б устояла против невинного, по-видимому, желания выйти на балкон... Но действительно, какая это борьба, едва обозначенная анализом, когда героиня не рвет на себе волосы и даже не ломает пальцев!

Да! Наташа еще раз не героиня! И зачем она, решившись оставить мужа, втихомолку уезжает с Комлевым за границу, а не подняла гордо голову и не крикнула, как Надимов, на всю Русь:[1] «Смотрите, как я презираю ваши условия и предрассудки!», а напротив, сознавая, что права перед собою, еще — по старой памяти — стыдится и сознает невольную вину свою перед мужем и обществом! А потом — это бесстыдство, с которым она возвращается к мужу? Но тут мне становится уже жаль ее, и я позволю себе заметить, что она не возвра-

щалась к мужу, что она, проезжая мимо сына ночью, не выдержала, чтобы не взглянуть на него, что встреча с мужем есть тоже случайность... Впрочем, лучше взять всю вину на себя и сознаться в ней! Да, я виноват, что мало оправдывал ее приезд. Я не упомянул ни слова о тех чувствах, которые волновали ее при приближении к дому, я не посмел и дотронуться ножом анализа до той груды противоположных, тяжких и, может быть, болезненно отрадных чувств, которые она должна была испытать, вступив вновь под оставленную кровлю: я просто описал только наружные признаки. Да, виноват я, господа! Но, каюсь, я люблю Наташу! Я торжественно сознаю, что она не годится в героини, не думал никогда отвергать, что она имеет свои недостатки, но ради моего сознания — оставьте за ней имя женщины!

Что касается до Соковлина, я не намерен вовсе защищать его и имею на это свои причины: пусть он защищается сам. Действительно, он человек хотя и добрый, но странный и, между нами сказать, колпак! Как! Самому отправлять жену к любовнику и еще заботиться о ней? Человек с более горячей кровью и верными понятиями о чести действительно отправил бы ее... но так, чтобы она, конечно, не вздумала бы возвращаться к нему. А разговор с Комлевым? Несмотря на то что я привык видеть Соковлина человеком смирным, но тут он так был взволнован и в таком положении, что, сказать откровенно, я сам думал, что дело не обойдется без пощечины и дуэли... Но он оказался и тут до того колпаком, что меня уже нисколько не удивила его встреча с женою и даже примирение! Что вы хотите? Человек немолодой, поломанный и все еще влюбленный! Конечно, русский человек, то есть настоящий русский человек, с татарской, а не немецкой подмесью, потешившись несколько над женою, так что она с неделю бы не вставала, и, отведя этим душу, сказал бы ей, не помня зла: «Ну! Бог тебя простит, давай жить по закону!» Но Соковлин и тут обманул ожидания многих истинно русских мужей. Кстати сказать, и меня он обманул, за это именно я и сержусь на него, и вот каким образом.

В одном месте моей рукописи он говорил: «Жизнь не есть долг, жизнь выше долга, и самый долг есть только служение истинным интересам жизни». И что же? Печатаясь за две тысячи верст от меня, он эти слова не сказал! Я не виню в этом редакцию журнала, в котором он появился, на ее совести в этом деле и без того много опечаток, но полагаю, что сказать громко эти — конечно, не важные, но характеризующие его, хотя и странные — слова он просто струсил! И затем — что вы прикажете с ним делать? Он действовал по собственным убеждениям, и я не имею никакого права заподозревать их искренность.

«Да! Но счастливый конец! — говорят иные. — Полное примирение, забвение прошлого и прежнее счастье после такого пассажа — воля ваша...» Но тут уже я сам себе не верю! Как счастливый конец? Как забвение? Значит, я написал не то, что я хотел написать?

Правда, читая некоторые рецензии, я не узнавал в них изложение собственного романа, — но мало ли у кого бывают какие фантазии и своего рода взгляд на дело, — но счастливого конца я не ожидал!

Я поставил последнюю точку там, где заканчивалась драма, которую проследить имел намерение. Действующие лица не умерли — ни физически, ни нравственно: они еще способны жить, «чтоб мыслить и страдать» [2], и с ними может быть еще десяток драматических происшествий, новых и несравненно более интересных романов. Я говорю, может быть, но кроме этой возможности, их взаимные отношения действительно вступили в такой фазис, который по своему драматизму и психологическому значению мог бы быть предметом любопытнейшего и в высшей степени интересного анализа, так что, можно сказать, настоящая потрясающая и глубоко сокрытая драма только началась с этой минуты. Я не посмел и затронуть эту невидимую, тщательно скрываемую, почти не пробивающуюся наружу казнь, которую с одной стороны ревность, подозрительность и глубоко оскорбленное чувство, с другой — сознание невозвратимо погубленного прошлого, неуверенность в себе и прочее заставляют испытывать людей в положении Соковлиных при малейшей попытке восстановить прошлое счастье; казнь, молча творящая свой суд и преследующая до тех пор, пока не притупеют чувства, пока время не запылит и не загрязнит всего, что было свято и дорого... Бывает иногда такая, по-видимому, невозмутимая жизнь вдвоем, перед которой бледнеют многие потрясающие драмы, и я отступил перед описанием подобной жизни! Я только намекнул на нее, говоря, что «рыдая, они встретили минуты до жгучей боли стыдом и воспоминанием отравленного счастья», да Соковлин сказал, что «чувство никогда не прощает и не забывает».

И это — счастливый конец!

Один остроумнейший, хотя ничего почти не написавший писатель, Ривароль [3], заметил, что не надо слишком полагаться на проницательность читателя. Может быть, забыв совет, я слишком рассчитывал на это внимание, если не на проницательность: что же делать! У меня не достает терпения входить в иные подробности — и смелости повторением одного и того же механически действовать на мозг читателя. Может быть, и это вернее, я многого не сумел резко очертить и ярко высказать, но...

Впрочем, пора кончить! Я высказал то, что хотел и считал недоговоренным или не ясно высказанным, и дело мое сделано. Затем, если мне посчастливится вновь встретиться хотя бы и с такими обвинениями, как, например, подражание семи писателям разом, или неуменье связать фразу, или наконец содержание романа будет пересказано так, что не узнаешь его, это уже до меня мало касается.

М. Авдеев

Приложение № 3

ПИСЬМА К М. В. АВДЕЕВУ

Ниже публикуется несколько писем Л. П. Шелгуновой и М. Л. Михайлова, адресованных М. В. Авдееву, хранящиеся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР, г. Москва): Ф. 109, оп. 214, ед. хр. 184.

Письмо № 1

Добрейший Михаил Васильевич,

по моему почерку Вы уже увидите, что я не в добром порядке. Даже и очень; вот уж два месяца как я больна, я была больна отчаянно, так что (приходили? — С. А.) ко мне смотреть, жива ли я или уж умерла. У меня сын Миша, ему уже два месяца, но не он причина моей болезни, а неизвестно что; у меня был упадок нервов, а теперь нарывы в груди, их режут и мучают меня ужасно. Перед болезнью я прочитала в корректуре первую часть Вашего романа и она мне так понравилась, что почти умирая, я спрашивала, не принесли ли второй части [1]*; сегодня наконец я кончила весь роман и он мне ужасно, ужасно как понравился, Михайлов, который по воскресеньям выезжает в большой свет, говорит, что о романе Вашем очень много говорят и всем он нравится; сегодня Мих(айлов) едет к цензору, уговорить его пропустить какое-то место, которое он зачеркнул, кажется, насчет деревенской церкви. Литературных сплетен еще совсем нет. Портретист Оже избил Степанова за какую-то карикатуру в «Искре», избил у Печаткина в магазине [2]. Михайлов изменил «Русскому Слову», и почти на таких же условиях при «Современнике» [3]. Злокачественный оставил 20 т(ысяч) долгу и куда-то упрятался [4]. Григорович приехал и привез повесть из крестьянского быта [5]. Я не читала.

Дорогой друг Михаил Васильевич, после того, как (написаны) эти строки, прошло уже несколько недель, а Людмила Петровна не могла окончить своего письма к Вам. Она сначала стала как-будто поправляться, но потом опять слегла, и чуть ли не хуже прежнего. Между прочим, у нее отнялись ноги, и нужно было поднимать и ворочать ее на простынях и полотенцах. Теперь ноги начинают немного шевелиться, но когда она поправится настолько, чтобы вставать с постели, мы не знаем. Вы можете себе представить, как нас всех это сразило, и верно простите, что так долго не получали от меня ни строчки. Не помню, благодарил ли Вас за высылку письма с передачею мне «Недели» [6]. Как Вы можете догадаться (нрзб.) за изда-

---

* **Примечания помещены в конце писем.**

ние, да и не примусь пока. Время самое неблагоприятное. Журналы плодятся, как грибы в дождливую погоду; но это бы не помешало, а главное — цензура свирепствует не по дням, а по часам. Просто ни о чем писать нельзя. В Вашем романе болван Рахмаников тоже вымарал несколько мест, которые очень были бы нелишни. Я не мог ничего отстоять, потому что у него голова дубовая. Роман Ваш хвалят, и к этим похвалам прибавьте и мою. Пишите еще, да только если Вы вздумаете писать, так Вас уж и не жди зимой в Петербург; а это было бы весьма недурно. Может быть, Вы (нрзб.) не видали, так хоть ее бы приехали посмотреть; театры скоро откроют. Новостей особых нет, а тем паче литературных. Тургенев в Париже и не вернется в этом году. Писемский продал собрание своих сочинений Стелловскому за 8000. Я продолжаю редакторствовать во многобранимом словаре, I том которого выйдет к 1 декабря[7], и пишу кое-что в «Совр(еменник)». Квартиру мы не изменили, и живем у Аларчина моста в доме Валуевой, рядом с гимназией[8]. Пишите сюда, а еще лучше — приезжайте сами. Корреспондентка Ваша едва ли скоро заведет с Вами аккуратную переписку; а на меня, дорогой друг, плохая надежда. Горбатого, видно, могила исправит.

Ваш *Мих. Михайлов*

17 ноября (18) 60
Спб.

Примечания:

[1] Речь идет о романе Авдеева «Подводный камень» («Современник», №№ 10—11, 1860).

[2] Возможно, имеется в виду одна из карикатур Н. А. Степанова в № 39 «Искры» за 1860 (7 октября); Степанов Н. А. — художник-карикатурист злободневного сатирического журнала «Искра» (1859—1873), прославился своими обличительными рисунками на современников; Печаткин В. П. — петербургский книгоиздатель, с 1848 по 1863 годы издавал популярный журнал «Библиотека для чтения».

[3] В 1860 году Михайлов стал членом редакции «Современника», возглавив в нем иностранный отдел.

[4] Речь идет об А. И. Хмельницком, управлявшем в 1859—1860 годы редакцией журнала «Русское слово».

[5] Видимо, подразумевается незавершенный роман писателя, первая и единственная часть которого под заглавием «Два генерала (эпизод из романа)» была напечатана в кн. 1—2 «Русского вестника» за 1864 год.

[6] «Неделя» — петербургский журнал середины XIX века.

[7] Имеется в виду «Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами», первый том которого вышел в 1861 году.

[8] В то время квартира Шелгуновых и Михайлова находилась у Аларчина моста в доме Валуевой (Екатерингофский проспект, № 65).

Письмо № 2

(декабрь 1860 г.) [1]

Добрейший Михаил Васильевич!

Вчера Мих(аил) Лар(ионович) получил Ваше письмо из Уфы, и из него я узнала, что Вы не получали нашего общего письма, адресованного Вам в деревню. Писали вместе месяц тому назад. Я уже 3½ месяца лежу, и все еще без ног, иногда прихожу в отчаяние, что навеки лишилась ног, а большею частию весела как рыба, хотя долежалась до пролежней и ворочают на простынях. Теперь я ничуть не полнее Вас. Пью восьмую банку йода. Я надеюсь, что могу быть снова Вашей корреспонденткой, потому что все наши обычные посетители заходят ко мне, и я начинаю слушать сплетни. Арапетов говорил Мих(аилу) Лар(ионовичу), что роман Ваш с жадностью читается дамами-аристократками [2] и они в восторге, а впрочем он везде произвел громадный эффект. Мы об этом уже Вам писали в деревню. Писемский сочинил повесть, но что-то возится с цензурой [3]. Майков сочинил прекрасную поэму из испанских нравов [4]. Тургенев в Париже... Московские славянофилы прислали к здешним славянофилам черногорца с рекомендательным письмом: что он герой, взял в плен пашу, разбил турок и бог знает что. Тут он жить, прожился, надо было денег ехать домой, его стали посылать к литераторам, прислали к Мих(аилу) Лар(ионовичу). Мих(аил) Лар(ионович) послал к Полонскому, тот собрал ему 50 руб(лей); а он повадился к ним ходить, да и кончил тем, что пришел, когда не было дома ни Полонского, ни Соколова [5], вырезал замок в конторе, взял 600 руб(лей), которые Соколов приготовил, чтобы ехать за границу, да и пропал, теперь ищет полиция, да уж он, верно, дома в Черногории.

Первый том Энц(иклопедического) словаря выйдет не ранее конца января, подписка на него идет очень хорошо. Говорят (а люди не врущие), что подписка на «Русское Слово» идет поразительно хорошо. Мих(айлов) совершенно с ними развязался и теперь при «Соврем(еннике)» (как они объявили) членом редакции.

Некрасов так надеется, что Вы, окрыленные таким успехом Вашего романа, примитесь еще писать, что обещал публике Вашу повесть. Он хотел послать Вам денег, но не знал куда, и послать мне, или Вы сами приедете, но Вы, вероятно, по случаю постройки мечети не приедете. Все-таки напишите об этом. Весною мы едем за границу, я еду приобретать ноги, меня сопровождает целая ватага: Николай Васильевич, Михаил Лар(ионович), кормилица с маленьким Мишей и ее сестра Маша [6].

Примечания:

[1] Дата письма установлена на основании замечания в письме Шелгуновой: «Писали вместе (т. е. с Михайловым — С. А.) месяц

тому назад», то есть 17. 11. 1860, следовательно, дата нового письма — середина декабря этого же года.

[2] Арапетов И. П. (1811—1887) — в период подготовки реформы 1861 года член редакционных комиссий по крестьянскому вопросу.

[3] Видимо, речь идет о произведении А. Ф. Писемского «Старческий грех (Совершенно романическое приключение)», написанного им в ноябре 1860 года.

[4] Вероятно, подразумевается поэма А. Н. Майкова «Исповедь королевы (Легенда об испанской инквизиции)» (1861).

[5] Полонский Я. П. (1818—1898) — русский поэт, прозаик; многие его стихи положены на музыку; Соколов — художник «Искры».

[6] Николай Васильевич — Шелгунов Н. В. (1824—1891) — русский революционер-демократ, публицист и литературный критик, близкий друг М. Л. Михайлова.

Письмо № 3

12 янв(аря) (18)61

Только что получила Ваше письмо, добрейший Михаил Васильевич, а из него вышла ссора с Мих(айловым). Он стал просить прочитать прежде меня, и я хотела прочитать также поскорее, Мих(айлов) переупрямил и, возвращая мне письмо, заметил: «Хоть Авдеев и пишет, что ему нечего делать, но писать он так торопится, что я не все могу разобрать».

За Ваше участие моим недугам очень Вам благодарна, лечат йодом, потому что кроме паралича в ногах у меня до сих пор не проходят раны на груди. Но мне лучше, я хотя с трудом, но могу иногда сама повернуться набок (на постели? — С. А.). Когда заживет грудь, попробую встать и ходить на костылях. Едем мы на воды того же свойства, как те, о которых Вы пишите: в Наугейм, около Франкфурта [1].

Вы не думайте, что я откажусь писать к Вам хоть каждую почту, я очень рада. Не писавши к отцу уже три года, я ныне от скуки завела с ним переписку и катаю ему каждую неделю, и очень довольна, что каждую же неделю получаю ответ, хотя они наполнены правоучениями и просьбами молиться богу.

Здесь все устраивают воскресные школы и в пользу их приглашают читать литераторов [2]. Гимназии стали устраивать театры (с этой же целью), а в антракте читают литераторы. Майков, разумеется, участвует всюду (он даже ездит читать в окрестные городки, както: Царское Село, Гатчина и т. д.).

Первая гимназия пригласила его и Мея [3], и гимназисты в благодарность за это приготовили закуску во время спектакля; Мей, разумеется, налег на водку, и был совершенно готов к тому времени как ему читать: вышел, сел, прочел две строчки, усмехнулся и стал за-

сыпать. В зале воцарилось молчание, но вскоре все зашумели стульями и стали расходиться (это было в конце спектакля), гимназисты опустили занавес; но тут Мей пробудился и закричал, чтобы подняли занавес. Гимназисты струсили и подняли. Мей, видя, что все уходят, закричал: «Оставайся, кто хочет, я не виноват, право, не виновит»; в публике кто-то закричал: «Ну за откуп виноват». Видя, что публика его не слушает и продолжает уходить, он принялся ругаться, да такими словами, которые вряд ли удалось великосветским дамам где-нибудь слышать. История эта только что случилась и, вероятно, будет где-нибудь описана. Вот еще история с Майковым: как Вам известно, это человек увлекающийся. Нынче он увлекся благодеяниями. Ему захотелось помочь как-нибудь профессору Павлову[4] (лишившемуся кафедры в Киевском университете), он и говорит Николаю Васильевичу и Михайлову: «Соберемтесь, хотя у меня, единомыслящих человек десять, сложимтесь по 10 руб(лей) и попросим Павлова прочитать нам несколько лекций о времени Ивана III-го, а деньги предложим ему в виде благодарности.

Вчера Николай Васильевич и Полонский отправились к Майкову на лекцию (Михайлов благополучно остался дома); приходят туда и видят, что вместо единомыслящих десяти человек, вдоль стен зала и кабинета сидят человек пятьдесят каких-то разночинцев никому не известных и не знающих друг друга; при каждом звонке Майков выбегал в прихожую, но вместо ожидаемого профессора Павлова в залу входило опять какое-нибудь неизвестное лицо; все сидели до (нрзб.), стали расходиться, а Павлов все не являлся, да как кажется и не знал, что для него собралось столько народа, который разозлился, что пришел напрасно, и разошелся.

Анненков женился на mdmle Ракович[5]. Только сию минуту прочла критику на Ваш роман, хотела вырезать и послать Вам, да Мих(айлов) сказал, что Вы верно уже прочитали.

Ник(олай) Вас(ильевич) и Мих(айлов) Вам кланяются. Мих(айлов) ездил сегодня к Давыдову и говорил ему о Вашем романе. Давыдов сказал ему, что 300 руб(лей) сейчас даст, а Вы не написали за сколько хотите продать — напишите. Теперь до свиданья, добрейший Михаил Васильевич, через неделю опять напишу Вам.

Л. Шелгунова

P. S. Мих(айлов) хочет поговорить о романе с Кожанчиковым[6].

Примечания:

[1] Наугейм — курортный городок в Германии XIX века.

[2] Воскресные школы возникли в России в начале 1860-х годов, явившись одной из форм внешкольного образования народных масс; в числе их инициаторов были известные общественные деятели П. В. Павлов и Н. И. Пирогов.

[3] Мей Л. А. (1822—1862) — русский поэт, автор известных исторических драм «Невеста» (1849) и «Псковитянка» (1849—1850).

[4] Павлов П. В. (1823—1895) — русский историк, профессор. За чтение на литературном вечере 2 марта 1862 года своей сатьи «Тысячелетие России», содержащей критические выпады против государственного устройства России, был арестован и немедленно выслан в Ветлугу.

[5] Анненкова (урожд. Ракович) Г. А. (1831—1899) жена П. В. Анненкова. Анненков П. В. (1812, — по другим данным, — 1813—1887) — литературный критик, историк литературы, мемуарист; подготовил первое научное издание семитомного собрания сочинении А. С. Пушкина (1855—1857).

[6] Кожанчиков Д. Е. (? — 1877) — петербургский книгопродавец и издатель. В его знаменитой книжной лавке на Невском проспекте часто собиралась демократическая интеллигенция; в 1862 году Кожанчиков был привлечен к делу «о сношениях с лондонскими пропагандистами» (Герценом и Огаревым).

Письмо № 4

Исполняю свое обещание писать к Вам каждую неделю, хотя на этот раз нечего мне Вам рассказывать, добрейший Михаил Васильевич. Новостей я никаких не знаю, всю неделю у меня никого не было. Поручение Ваше к Денкеру не исполнено и вот по какой причине: Мих(айлов) заказал себе новые штаны и сюртук и теперь куда я ни прошу его сходить, постоянно получаю один ответ: «Съезжу, когда буду в новых панталонах».

Аполлон Григорьев посажен в яму за долги[1]. Он говорит, что его посадили: Писемский, Островский и Эдельсон[2] и бранит их разными неприличными словами. Вы, может быть, подумаете, что он действительно им должен и его посадили? Ничуть не бывало, они только не дали ему в долг, чтобы уплатить тому, кто его сажал. Я все еще пью йод и начинаю терять надежду встать до весны, так что, если летом не вылечусь, то меня на зиму оставят в Ниццах, а кавалеры мои уедут в Россию. Это меня порядочно огорчает — да нечего делать. В самой же у меня начинают появляться силы, и вчера я в первый раз взяла на руки своего маленького Мишу.

Ник(олай) Вас(ильевич) и Михайлов Вам кланяются. Надеюсь, на будущей неделе написать побольше новостей. Сплетни я узнаю через Гербеля[3], а Гербель эту неделю ездил в Москву (откуда привез мне калач, который пахнет более сапогами, чем калачом), и я его не видела.

До свиданья

Л. Шелгунова

21 янв(аря) (1861)

Примечания:

[1] В очередной раз в долгое отделение (или, в так называемую тарасовскую кутузку, по имени ее содержателя — Тарасова) А. А. Григорьев был посажен 11 января 1861 года. «В долговом отделении, — писал в своих воспоминаниях А. П. Милюков, — Аполлон Григорьев был в каком-то привилегированном положении и даже пользовался некоторым почетом... Он (содержатель отделения — С. А.) смотрел на своего талантливого заключенника с нескрываемым уважением, оказывал ему возможное снисхождение и давал разные льготы, даже отпускал иногда в город, на честное слово воротиться ночевать; а если нашего узника навещал кто-нибудь из литераторов, то старик позволял видеться с ним вместо общей залы в своей собственной квартире и только просил позволения самому присутствовать, как он выражался, «при умной беседе господ сочинителей» (Милюков А. П., А. А. Григорьев) (Аполлон Григорьев. Воспоминания, М. — Л., 1930. С. 561).

[2] Эдельсон Е. Н. (1824—1868) — один из ближайших друзей Григорьева, литературный критик, один из участников так называемой «молодой редакции» журнала «Москвитянин».

[3] Гербель Н. В. (1827—1883) — поэт, переводчик, библиограф; известен и как издатель «Полного собрания драматических произведений Шекспира в переводе русских писателей».

Письмо № 5

Дорогой друг, Михаил Васильевич. Простите, что не исполнил еще Ваших поручений. Впрочем, я спрашивал Некрасова о деньгах для Вас и о приобретении романа. Деньги, как он мне сказал, велено Вам выслать; относительно же романа, он согласен только на половину назначенной Вами цены, т. е. на пятьсот рублей. Я на днях переговорю с Кожанчиковым. Из книгопродавцев только на него одного надежда; остальные, как Вам известно, издают только какие-нибудь грошовые гадости для толкучего рынка. Хотел было написать Вам что-нибудь о нашей внутренней политике, да что мы знаем о ней, хоть и живем у самого (нрзб.). Освобождение, которому назначали 17 февраля, говорят, отложено до марта. А там, может быть, и еще отложат. Цензура все такая же, и на лучшее надежды мало; денег нет ни у кого, и все дорожает до отвратительных размеров. Все это Вы, разумеется, и без меня знаете. О себе, что Вам сказать? Если у меня было много работы, когда Вы были здесь, так теперь вдвое больше. Я вовсе не прочь от дела, как Вы знаете, но, право, подчас берет одурь. Крутишься, как белка в колесе, и все за тем разве, чтобы впоследствии фонд литературный имел право и милость дать рублей двадцать в месяц пенсии.

Крепко обнимаю Вас
Мих(аил) Михайлов

21 янв(аря) (18)61.

Письмо № 6

Добрейший Михаил Васильевич, сегодня получила Ваши письма, и как видите, очень аккуратна. В первый раз пишу чернилами, меня посадили в кресло, и я сама разливала чай, все эти шаги к выздоровлению ужасно меня радуют. Некрасов дает за «Подводный камень» 500 руб(лей) и печатать сейчас же, и говорит, что потом и этого не даст. Завтра Мих(айлов) поедет к Кожанчикову и еще к кому-то и дня через три я напишу Вам результат. У Денкера он был, и тот сказал ему, что портрет Ваш послан. Мих(айлов) выбран в ревизионную комиссию и еще получил диплом из Германии от Schiller's Verein[1]. Вы хотели знать, кто такой Ваш (грешный? — С. А.) критик Гымалэ — это какой-то Юрий Волков[2], а в «Искре» подражание Лабрюйеру написал Щедрин[3]. Если Павлуша Михайлов еще в Уфе, — кланяйтесь ему и передайте ему, что брат мой Евгений едет в Гейдельбергский университет. Меньший Михайлов, кажется, влюблен, потому что он целое письмо наполнил восторгами об какой-то Адишь. Сегодня Мих(айлов) был у Писемского, и тот, дрожа всем телом и с горящими глазами от злобы, говорил, что если Панаев будет продолжать свои литературные воспоминания, то он опишет семейные дела Некрасова с Панаевым[4].

Во «Времени» критику пишет кто-то из Достоевских[5]. До свиданья, добрейший Михаил Васильевич, очень жаль, что мало сообщаю Вам новостей, хотя приобрела славу такой сплетницы, что даже Мих(айлов) боится говорить со мной, приговаривая: «Да Вы, пожалуй, Авдееву напишите».

До свиданья
Л. Шелгунова

5 февр(аля) (18)61 г.

Примечания:

1. Литературное общество Шиллера.
2. Волков Ю. А. — критик «Санкт-Петербургских ведомостей».
3. Имеются в виду сатирические заметки («эпиграммы в прозе» — Ф. М. Достоевский) М. Е. Салтыкова-Щедрина «Характеры (Подражание Лабрюйеру)», опубликованные в 25 и 28 номерах журнала «Искры» за 1860 год.
4. Первые главы «Литературных воспоминаний» И. И. Панаева появились в январской книжке «Современника» за 1861 год. Вопреки угрозам Писемского воспоминания были продолжены Панаевым в «Современнике», 1861, № 2, № 10—11.
5. «Время» (1861—1863) — петербургский ежемесячный литературный и критический журнал, издаваемый М. М. Достоевским. В начальных номерах «Времени» в его литературно-критическом отделе печатались статьи Ф. М. Достоевского, М. М. Достоевского и А. А. Григорьева.

КОММЕНТАРИИ

«ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ»

(Посвящается Ивану Сергеевичу Тургеневу)

Впервые опубликовано: «Современник», 1860, № 10, с.415—502, № 11, с. 103—188. Другие прижизненные издания: отдельной книгой в 1863 году; в двухтомнике «Сочинений М. В. Авдеева», 1870, т. 2. Печатается по тексту: Полное собрание сочинений М. В. Авдеева в одном томе (три части). — Спб.; Изд. И. П. Перевозникова, 1907. Ч. 2, с. 8—79. К Тургеневу, как к человеку и как к художнику, Авдеев питал сильнейшую симпатию, а в творчестве во многом шел по пути, проложенному знаменитым писателем. Разрыв Тургенева с «Современником» глубоко огорчил Авдеева. Посвящая роман Тургеневу, он тщетно надеялся на примирение Тургенева с издателями журнала.

Предисловие: (см. Приложение № 2 настоящего издания).

[1] «...и не крикнула как Надимов на всю Русь...» — Надимов — герой комедии В. А. Соллогуба «Чиновник» (1856). Приведенные слова Надимова были высмеяны как образец либеральной болтовни Н. Ф. Павловым в статье «Разбор комедии графа Соллогуба «Чиновник» (1857) и Н. А. Добролюбовым в статье «Литературные мелочи прошлого года» (1859).

[2] «...чтоб мыслить и страдать...» — Усеченная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Элегия» (1830).

[3] Ривароль Антуан (1753—1801) — французский писатель-публицист эпохи Французской революции конца XVIII века, автор книги острых памфлетов «Маленький словарь великих людей французской революции» (1790).

Текст:

[1] «...жуторились травами». — То есть кормились травами.

[2] Особнячок — особая, отдельная земля, пустошь (Словарь Даля).

[3] Казакин — полукафтан с бортами, с прямым воротником, без пуговиц, на крючках (Словарь Даля).

[4] Манкировал — пренебрегал.

[5] Раут — в высшем свете званый вечер без танцев.

[6] «Это было в пору самого сильного развития и влияния германской философии». — В 1830-е годы популярность среди русской интеллигенции приобретают сочинения немецких философов-идеалистов Ф. В. Шеллинга (1775—1854) и Г. В. Гегеля (1770—1831).

[7] «...но почувствовал те смиряющие обстоятельства, которые гиели «Гамлета Щигровского уезда». — Речь идет о судьбе героя упомянутой повести И. С. Тургенева — Василия Васильевича.

[8] «...если бы радушнейшая Татьяна Григорьевна провалилась вдруг... как Дон-Жуан в последнем акте». — Имеется в виду сцена из последнего акта пьесы Ж.-Б. Мольера «Дон-Жуан» (1665).

[9] Кардамон — многолетнее тропическое растение из семейства имбирных; семена его употреблялись как пряность в кулинарии.

[10] «...врал турусы на колесах». — То есть болтал вздор, бессмыслицу.

[11] «Соковнин принадлежал к той многочисленной и ныне уже вымирающей фаланге людей...» — Герой Авдеева тип русского дворянского интеллигента-идеалиста эпохи «тридцатых-сороковых годов», получивший широкое отражение в русской литературе второй трети XIX века.

[12] «...после этого разговора, несколько напоминающего разговор Подколесина со слугой в гоголевской «Женитьбе». — Имеется в виду диалог между Подколесиным и Степаном во втором явлении первого действия «Женитьбы» (1842).

[13] Петь Лазаря — прикидываться несчастным, жаловаться на свою судьбу с целью разжалобить окружающих. Происхождение этого выражения связано с жалобным пением духовного стиха о нищем Лазаре слепцами-лирниками.

[14] Весталка — у древних римлян жрица Весты, богини домашнего очага, принявшей обет безбрачня.

[15] Растушевка — палочка из мягкого материала для накладывания грима, для тушевки.

[16] «Старосветские помещики» — одна из повестей Н. В. Гоголя, входящая в цикл «Миргород» (1835).

[17] Дроги — длинная повозка без кузова.

[18] Кабриолет — легкий двухколесный экипаж без козел.

[19] Таратайка — легкая двухколесная повозка.

[20] Бурнус — род старинной верхней женской одежды, накидка.

[21] «...на мой закат печальный Блеснет любовь улыбкою прощальной». — Из стихотворения А. С. Пушкина «Элегия» (1830).

[22] Капот — женское домашнее платье свободного покроя.

[23] Масляная — то есть масляница, масляная неделя; в православной церкви празднуется перед «Великим постом». В это время обычно катаются с гор и на лошадях, пекут блины.

[24] «Не прал щитом против рожна...» — То есть не предпринимал что-либо рискованного, заведомо обреченного на неудачу. Прати — идти напрямик; рожон — рогатина.

[25] «Это было в тот год, когда после тяжкого, но благодетельного кризиса — на Россию повеяло новой жизнью». — То есть в 1856 год, когда после периода николаевской реакции («мрачного семилетья»: 1848—1855) происходит заметное оживление общественной жизни в России.

[26] Салоп — широкое женское платье особого фасона.

[27] Пошевни — широкие крестьянские сани, розвальни, обшитые лубом.

[28] «Соковлин завел речь о новых философских школах... Ему было не до Фейербаха и Фишера, не до безусловного существа...» — Речь идет о различных течениях вульгарного материализма, возникших в середине XIX века; его основными представителями были Фохт, Молешотт, Бюхнер. Фейербах (1804—1872) — немецкий философ-материалист и атеист. Безусловное существо, то есть бог по Фейербаху. Фишер (1824—1907) — немецкий историк философии, гегельянец.

[29] «...ума холодных наблюдений...» — Одна из заключительных строк посвящения П. А. Плетневу в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина.

[30] Говеть — у верующих: поститься и ходить в церковь, готовясь к исповеди и причастию в православной церкви.

[31] Иконостас — покрытая иконами стена, отделяющая алтарь в православной церкви. Клирос — место для певчих в церкви на возвышении по обеим сторонам. Пономарь — низший церковный служитель в православной церкви, в обязанность которого входило звонить на колокольне в колокол.

[32] Благовест — колокольный звон перед началом церковной службы.

[33] Пасха — у христиан: семидневный весенний «праздник воскресения Христа»; празднуется в первое воскресение после весеннего равноденствия.

[34] Христосоваться — у верующих: троекратно целоваться, поздравляя с праздником пасхи.

[35] «Жизнь не есть одно служение долгу, — жизнь выше его...» — Это суждение Соковлина заострено против тургеневской концепции долга как высшей нравственной опоры человека, получившей выражение в романе «Дворянское гнездо» (1859).

[36] «...и все остается у нас в уголку какой-то «Московский наблюдатель». — Здесь в переносном смысле: сомнение, неверие в очевидное.

[37] Линейка — многоместный открытый экипаж, в котором сидят боком к направлению движения.

[38] Застреха — в крестьянских избах: нижний, свисающий край крыши, а также брус, его поддерживающий.

[39] Стригунок — годовалый жеребец, которому обычно подстригают гриву. Мыт — понос у лошадей.

[40] Собакевич — персонаж гоголевской поэмы «Мертвые души» (1842), отличающийся грубостью и неуклюжестью.

[41] «...если бы ... не встретил его у Печкина...» — То есть в кофейне купца Печкина, помещавшейся в Охотном ряду.

[42] Камердинер — в буржуазно-дворянском быту: домашний слуга.

[43] Капор — детский, а также женский головной убор, с завязываемыми под подбородок лентами.

[44] Шлафрок — старинный домашний халат.

«ГОРЫ»

Впервые опубликовано: Отечественные записки, 1851, № 12, с. 163—210. Рассказ входил в издания сочинений писателя 1853, 1868—1870 и 1907 годов. Печатается по указ. изд.: Ч. 3, с. 135—149.

[1] «Года полтора назад, я очень мирно процветал в добром губернском городе...» — См. примеч. 9 к рассказу «Огненный змей».

[2] «...когда я предал тиснению свою первую повесть, нашли, что подражаю Лермонтову ... теперь ... найдут, что подражаю... Диккенсу». — См. примеч. 11 к рассказу «Огненный змей».

[3] «...для этого надо быть Бруммелем, этим Наполеоном моды...» — Бруммель Джордж (1778—1840) — знаменитый английский денди, законодатель мужских европейских мод конца XVIII — начала XIX века.

[4] «Имеет провинция свои особые права, скажу я, подражая Пушкину». — Измененная цитата из «Евгения Онегина»: «Имеет сельская свобода свои счастливые права...» (Гл. 4, строфа XVII).

[5] «Это что-то вроде лермонтовского фаталиста». — «Фаталист» — заключительная повесть лермонтовского романа «Герой нашего времени» (1840).

[6] Пыж — ком, сверток пеньковый, шерстяной, которым прибивают заряд, вообще затычка (Словарь Даля).

[7] «Коренная развозжалась...» — То есть от лошади отстегнулась вожжа, и она потеряла управление.

[8] «Оренбургская губерния — чудный край ... в Гурьеве зреет виноград ... на границе Вятской губернии с трудом поспевает репа». — До 1865 года Башкирия входила в Оренбургскую губернию.

[9] Черемисы — до 1918 года название марийцев.

[10] Мещеряки — устаревшее название татар-мишарей, живущих в Башкирии и Татарии.

[11] Тептяри — название социально-этнографической группы безземельных в прошлом крестьян тюркско-финно-угорского происхождения, расселившихся на территории Башкирии и Челябинской области. В настоящее время слились с башкирами и татарами.

[12] «...танцевальная зала ... по проекту Тона...» — Тон К. А. (1794 — 1881) — русский архитектор, родоначальник официально внедрявшегося царским правительством эклектичного русско-византийского (псевдорусского) стиля.

[13] Беллини Винченцо (1801—1836) — итальянский композитор; написал 11 опер. Наиболее из них известная—«Норма». Доницетти Гаэтано (1797—1848) — итальянский композитор; написал 64 оперы; наиболее из них известная — комическая опера «Дон Паскуале». Виардо Полина (1821—1910) — певица, вокальный педагог и композитор. Рубини Джованни Батиста (1795—1959) — знаменитый итальянский певец (тенор).

[14] «...монотонный голос азанчи...» — Азанча — в исламе служитель мечети, призывающий к каждой из пяти ежедневных молитв и один раз перед пятничной молитвой.

[15] «Это была высокая одинокая осокорь». — Осокорь — черный тополь.

[16] «...войлочный малахай...» — Малахай — теплая меховая или подбитая мехом шапка с широкими наушниками и плотно прилегающей к шее задней частью.

[17] «...в околицу подпустит...» — Околица — здесь выгон, пастбище при селении.

[18] «...поднял подъем...» — То есть подъемное окно, отворяемое подъемом, а не раствором.

[19] «...как серебряная бить...» — Бить — плоская проволочная нить.

[20] «...но сделав в три робера четыре ренонса...» — Робер — в некоторых карточных играх (вист, винт, бридж) — круг игры, состоящий из трех отдельных партий. Ренонс — в карточкой игре: отсутствие карты какой-либо масти у игрока.

[21] «Явись к ним в гостиную Манфред, Фауст, пожалуй, хоть Дон-Жуан...» — Герои поэмы «Манфред» (1817), стихотворного романа «Дон Жуан» (1818—1824) Дж. Г. Байрона и трагедии И. В. Гете «Фауст».

«ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ»

(Посвящается М. Л. Михайлову)

Впервые опубликовано: Отечественные записки, 1853, № 2, с. 145—186. Рассказ входил в издания сочинений писателя 1853, 1868—1870 и 1907 годов. Печатается по указ. изд.: Ч. 3. С. 175—191.

Все даты, связанные с обрядами и праздниками, приводятся в примечаниях по старому стилю.

[1] «По поднебесью летит он, злодей, шаром огненным... Сказания русского народа...» — Неточный пересказ народного поверья, изложенного во втором томе «Сказаний русского народа», собранных И. Сахаровым. Во втором томе «Сказаний...» приводится поверье, распространенное в Тульской губернии: «Всякий видит, как огненный змей летает по воздуху и горит огнем неугасимым, а не всякий знает, что он, как скоро спустится в трубу, то очутится в избе молодцем несказанной красоты. Не любя — полюбишь, не хваля — похвалишь... Без змея красна девица сидит во тоске, во кручине, без него не глядит на божий свет; без него она сушит, сушит себя» («Сказания...» — Изд. 3-е, Спб., 1841, 1849).

[3] «Во всех народах есть одно поверье ... берет над вами власть и распоряжается вами очень неприятно». — Это легендарное представ-

ление связано с распространенными у народов Восточной Европы (Особенно у восточных славян) сказками. См.: Сравнительный указатель сюжетов (Восточно-славянская сказка). Л.: Наука, 1979, с. 142, 480 С»).

[2] «...даже собирался на минеральные воды к Излеру...» — Излер И. И. — владелец увеселительного заведения в Петербурге.

[4] «Я б хотел забыться и заснуть!» — Строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

[5] «...в жизни, в которой заботятся ... об угождении ... какому-нибудь ... домовому». — Домовой — по суеверным в прошлом представлениям русского народа — сверхъестественное существо, будто бы обитающее в каждом доме.

[6] «...клеушка, загороженного тычинками...» — маленький хлев, обнесенный частоколом.

[7] «...ему надоели шармеровские фраки...» — Фраки петербургского портного Шармера отличались отличным покроем; его заказчиками были представители петербургской аристократии.

[8] «...поэзией нагольного тулупа и вымытой тряпицы». — То есть поэзией крестьянского быта.

[9] «...мой милый губернский город, где я так весело скучал...» — Спустя некоторое время по окончании в 1842 году петербургского Института путей сообщения Авдеев был направлен на службу в Нижний Новгород, где провел несколько лет.

[10] «...вот и торный проселок, на котором еще виден след Григоровича...» — Подразумевается роман Д. В. Григоровича «Проселочные дороги» (1852).

[11] «...Нас опять укорят в подражании...» — При появлении первых повестей Авдеева «Варинька» (1849), «Я. Записки Тамарина» (1850), «Иванов» (1851) критика отмечала их близкое сходство с романами «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова и с повестью «Полинька Сакс» А. В. Дружинина.

[12] «...и петух этот «хоть не человек, а свое дело знает и баб научает». — Несколько измененная народная поговорка: «Петух не человек, а свое скажет и баб научит.»

[13] «...и губерния ли тут или воеводство...» — Воеводство — в Русском государстве XVI—XVIII веков особая форма местного управления. Губерния — высшая административно-территориальная единица, введенная в России Петром I в начале XVIII века.

[14] «...а год — год тяжелый: греча плохо родилась ... а когда Касьян бывает именинник, так это високос, известно, тяжелый год». — Русские крестьяне полагали, что святой Касьян, день памяти которого отмечается реже, чем у других святых (раз в четыре года, то есть 29 февраля), обижен и наказывает за это людей. С этим связана легенда о святых Николае и Касьяне, известная по сборнику А. Н. Афанасьева «Русские народные легенды» (первое издание 1859 г.).

[15] «...а известно, что солнцеворот давно прошел, на Варвары зима мосты намостила ... и еще нечего беречь нос, потому что Афанасий не пришел, а потом будут Тимофеи полузимники...» — На Руси крестьяне долгое время приурочивали самые различные природные приметы к праздникам тех или иных святых; это был своего рода календарь.

Солнцеворот — солнцестояние. В данном случае имеется в виду зимнее солнцестояние. Крестьяне считали, что с 12 декабря солнце поворачивает на лето, а зима на мороз.

[16] «...на Варвары зима мосты намостила...» — примета о морозе, приуроченная ко дню памяти св. Варвары (4 декабря).

[17] «...на Савву гвозди заострила...» — примета о морозе, приуроченная ко дню памяти св. Саввы (5 декабря); считалось, что мороз тогда становится еще сильнее.

[18] «...до Петра полукорма еще не дошло...» — В день памяти св. Петра (16 января) крестьяне выходили осматривать амбары, полагая, что зимнего корма осталось ровно половина на оставшееся зимнее время.

[19] «...а уж об Васильев вечер день прибавил на куриный шаг...» — Васильев вечер отмечался 1 января. По сравнению с рождеством (25 декабря) день прибавлялся на семь минут. Васильевские вечера продолжались неделю.

[20] «...и еще нечего беречь нос, потому что Афанасий не пришел...» — По народному календарю 18 января — день памяти св. Афанасия — считается очень морозным. Существует поговорка: «Афанасий-ломонос — береги нос.»

[21] «...а потом будут Тимофеи полузимники...» — имеются в виду «тимофеевские морозы», начинавшиеся, как полагали крестьяне, с 22 января — в день памяти св. Тимофея. Было принято считать, что на этот день приходится ровно половины зимы.

[22] «...от водокрещ до Евдокеи семь с половиною недель...» — Водокрещ — праздник крещения (Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордань), отмечается 6 января. Евдокея — день памяти св. Евдокеи-Капельницы (1 марта). В народе связывают с ее именем первые оттепели, когда начинает капать с крыш.

[23] «...Илья-пророк три часа приволок...» — Одна из поговорок русских крестьян, приуроченная ко дню св. Ильи (20 июля), когда световой день на три часа продолжительнее, чем во время зимнего равноденствия.

[24] «...во что Макавеи, во то и разговенье...» — Правильно: Маккавеи (от еврейского «makkabi» — «молот» (на врагов) — первоначально название одного Иуды Маккавея, впоследствии распространенное на всех вообще защитников и исповедников веры во время гонения Антиоха Епифана. Приведенная поговорка связана с памятной историей о святых мучениках, погибших под пытками за отказ отведать идоложертвенное мясо (Брокгауз, Ефрон). День Маккавеи отмечает-

ся 1 августа Разговенье — употребление мясной и другой (скоромной пищи по окончании поста.

[25] «...и знают они, сколько морозов было ... и как какой называется...» — Имеются в виду так называемые «михайловские» (с 8 ноября), «введенские» (с 21 ноября), «никольские» (с 13 декабря), «рождественские» (с 25 декабря), «крещенские» (с 6 января), «сретенские» (со 2 февраля), «власьевские» (с 11 февраля) морозы, получившие свои названия от дней святых и религиозных праздников.

[26] Околодок, или околоток — окружающая местность, округ, участок.

[27] «Тауси? Ну пусть идет, таусень надо справлять». — Таусень — канун Нового года, Васильев вечер. В этот вечер молодые люди ходили по домам с поздравлениями и исполняли при этом обрядовые величальные песни — тауси (таусени), колядки, собирая деньги, угощения. Название праздника восходит к названию языческого божества Авсеня или Таусеня — покровителя первых весенних посевов. Но так как при Петре I произошло изменение в календаре (начало года не в марте, а с 1 января), то празднование Таусеня перешло на Васильев вечер.

[28] Поставец — вообще стол, столик; в других значениях — шкафчик стенной, угольный или посудный (Словарь Даля).

[29] Дудка — ствол полого бурьянистого растения, то же, что и курай (башк.).

[30] «Вдруг под печкой послышался какой-то шорох и будто кто-то тихо и осторожно начал есть.» — По народному русскому поверью считалось, что домовой живет зимою близ печки или на печи.

[31] «...зазвала их к себе вечер покоротать, святки справить обычной ворожбой и песнями». — Святки (рождество) праздновались от 25 декабря до 6 января. В этот период девушки обычно гадали о суженом и пели подблюдные песни. По народному поверью, святочные гадания на Васильев вечер всегда сбывались. В обрядовых святочных играх участвовали ряженые.

[32] «...со своим крестовым братом...» — То есть названным братом после взаимного обмена крестов (братания).

[33] «Федосевна ... спросила блюдо, хлеба, соли и угля и принялась устраивать подблюдные песни». — Речь идет об одном из святочных гаданий, которые обычно начинались с того, что приносились блюда с водой, кусочки хлеба, три уголька из печи, три щепотки соли. Девушки пели первую подблюдную песню, затем снимали кольца и загадывали на них. После этого в блюдо клали хлеб, уголь, соль и кольца, блюдо закрывали полотенцем. Затем пелись подблюдные песни, после каждой из них следовал припев: «Кому вынется — тому сбудется».

[34] «...торжественно запели «Славу» ...» — гадания начинались с

подблюдной песни «Слава». Первые строки песни обычно славили бога и царя, заключительные всегда прославляли хлеб.

[35] «И потом: «Покатилось зерно по бархату», и «Идет кузнец из кузницы», и «Летит сокол по улице», и «Поскакал груздочек по ельничку ... и пр.» — Здесь перечисляются названия подблюдных песен.

[36] «Быть тебе нонешний год замужем беспременно, выпала на долю ровня счастливая...» — Вероятно, из перечисленных песен имеется в виду — «Поскакал груздочек по ельничку...»: «Не груздочек скачет, а боярский сын, Не беляночки ищет, а боярышни».

[37] «Но не такова была доля Васены. Золото, жемчуг и камни самоцветные вышли ей в песне, но песня эта имела неопределенное значение». — Вероятно, известная по сборнику И. П. Сахарова подблюдная песня «Щука шла из Новагорода, Слава!».

[38] «Одно кольцо осталось только на блюде и одиноко звякало». — В центральных губерниях России последнему кольцу подблюдная песня не пелась. Владелице его предрекалась горькая участь.

[39] «...выйдите вы в полночь за ворота ... а коль увидит коя девичьи зори — годовать той в девках беспременно...» — Имеется в виду новогоднее гадание по звездам. Стожары — созвездие Большой Медведицы. Считалось, что если во время гадания девушка увидит созвездие, то вскоре выйдет замуж. Девичьи Зори — линия звезд Млечного Пути.

[40] «...трещи не трещи, а минули водокрещи». — Имеются в виду «крещенские морозы» (в начале января), известные своей суровостью.

[41] «...и наконец, последние, сретенские». — «Сретенские морозы» (со 2 февраля) в Тульской губернии считались последними.

[42] «Вот и пришли и капельники и плюшники; начались сорок сороков утренников». — По народному календарю капельники на севере Руси приходились на 7 марта, на юге — на 28 февраля. С этого дня обычно начинало таять на крышах. — Плюшники — так крестьяне называли черты, разделяющие лед и снег на клочки. Плюшники появлялись в марте.

«...сорок сороков утренников». — По народному календарю с 9 марта начинались утренники — утренние морозы и продолжались они 40 дней.

[43] «Алексей с гор потоки пролил, Дарья испортила проруби, пришли на Марью пустые щи, и вот Федул — теплый ветер подул...» — Эти народные приметы о погоде соответствуют 17, 19 марта и 1, 5 апреля.

[44] «Она пришла рано и, может быть, поторопилась от того, что на Красную горку ее дружно закликали девки...» — Красная горка — возвышенное место, с которого недавно сошел снег и на котором девушки водили весенние хороводы. Вместе с тем Красная горка — название первого весеннего обрядового праздника: встречают весну, венчают суженых, разыгрывают хороводы. Далее в рассказе следует описание этого праздника.

[45] «Известное дело: лягушка квачет — овес скачет...» — Народная поговорка, приуроченная к посеву овса (1 мая).

[46] «...на Петров день солнце поворотило на зиму — лето на жары...» — По народному календарю это происходило 12 июня в день памяти св. Петра Афонского.

[47] «...пришла убогая вдовица-купальница...» — То есть наступило 23 июня. Этот памятный день земледельческого календаря связан с народной легендой.

[48] «... и наступил сенозорник...» — Одно из народных местных (Тульской губ.) названий июля месяца.

[49] «Сбил он у мужика мужицкую спесь, что некогда и на печь лезть; и баба бы плясала, да макушка лета настала; а все это оттого, что на дворе пусто, а в поле густо.» — Народные поговорки об июле месяце.

[50] «В некоторых местах России ... есть поверье о **белом коне».** — Имеется в виду поверье, которое бытовало в некоторых селениях Рязанской губернии и было связано с легендой о татарском нашествии XIII века: о белом коне, искавшем павшего в сражении всадника. В народном календаре это поверье приурочено к 11 августа.

[51] «...прошли разные помочи для других работ: колотушки, потрепушки, супрядки...» — В центральных губерниях России с 18 августа начинались помочи, работы, предпринимаемые крестьянским миром в пользу вдов и сирот. Здесь перечислены названия некоторых из них.

[52] «Наступили и веселые капустницы ...» — В дореволюционной России с 14 сентября во многих русских деревнях начинались девичьи вечеринки — капустницы — и продолжались две недели: девушки ходили с песнями из дома в дом рубить капусту.

[53] «Прошло Вздвиженье; шуба потянула с мужика кафтан ...» — Народная поговорка, приуроченная к православному празднику Воздвиженья (14 сентября), когда наступала прохладная погода.

[54] «...настал тот тяжелый месяц глубокой осени, в котором, как говорят крестьяне, только и добра, что пивом взял». — Народная поговорка об октябре месяце.

[55] «...нанковый полушубок...» — Нанка — хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно желтого цвета, первоначально называлась **китайкою.**

[56] «...мы тройники, а черед был с четверников». — Набор солдат в армию (рекрутчина) в России середины XIX века в значительной мере был основан на учете рабочей силы семейств. Все семьи разделялись на три разряда: к 1-ому относились многорабочие, то есть имевшие не менее 4-х работников, ко 2-ому — «тройниковые», то есть имевшие 3 работников, к 3-ему — «двойниковые» и т. д. Герой рассказа — «тройник» — идет служить в армию по собственному желанию, вне очереди.

[57] «Прошла грязниха...» — Во многих местностях России крестьяне так называли осенние грязи, обычно наступавшие с 14 октября.

[58] «Не пойдет он в путь против Чигирь-звезды ...» — Народное название утренней звезды Венеры. Крестьяне полагали, что она показывает человеку счастье и несчастье, что можно и чего нельзя делать.

[59] «...знает он, кем населено Утиное Гнездо и отчего оно порой так ярко блещет...» — «Утиное Гнездо» еще одно народное название созвездия Плеяд, или Большой Медведицы. Бытовало поверье, что это созвездие населено духами, и в последний день новолуния пылает ярким огнем. По яркому свету угадывали погоду на следующий месяц.

[60] «Это не пение Дездемоны у ног проклинающего ее отца...» — Такая сцена в трагедии В. Шекспира «Отелло» (1604) отсутствует.

[61] «На море, на окияне, на острове Буяне...» — Здесь: зачин любовного заговора.

«НА ДОРОГЕ»

(Посвящается А. В. Трофимовской)

Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1857, № 3. С. 1—24. Входило в издание сочинений писателя 1853, и 1868—1870 и 1907 годов. Печатается по указ: изд.: Ч. 3. С. 245—254.

[1] «...но любят, чтобы это чувство вымогали у них ...с сотнею приговорок, как папоротник в Иванову ночь». — Иванова ночь — праздник Янки Купалы, к которому был приурочен христианский праздник рождества Иоанна Предтечи. В эту праздничную ночь, согласно легенде, поверью, в лесу расцветает папоротник. И кто найдет в полночь цветок папоротника, будет счастлив. См. рассказ Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» (1830—1831).

[2] Полои — мелкие впадины, заливаемые весенней водой.

[3] Поймы — прибрежные места вдоль реки, заливаемые во время половодья.

[4] Уремы — поречье, поемный лес или кустарник по берегу реки, поросшая леском низменность по руслу рек (Словарь Даля).

[5] Тракт — большая дорога с почтовым сообщением.

[6] Пестрядина — рубаха, сшитая из грубой пестрой или полосатой ткани.

[7] Подушенка — то есть маленькая подушка.

[8] «...словом, принадлежал к тем худощавым чиновникам, которые, по замечанию Гоголя...» — Имеется в виду рассуждения о тонких и толстых чиновниках в первой главе первого тома «Мертвых душ».

[9] «...вроде Прометея, прикованного к скале...» — Прометей — в древнегреческой мифологии титан, добывший для людей огонь, за что был прикован Зевсом к горам Кавказа.

[10] Архалук — род короткого кафтана.

[11] Картуз — мужской головной убор с жестким козырьком.

[12] Подорожная — проездное свидетельство для поездки в почтовой карете, в котором указывались маршрут, чин и звание предъявителя.

[13] Губернский секретарь — в табеле о рангах штатский чин 12 класса.

[14] «...сделать ...для блезиру...» — То есть сделать что-либо от нечего делать, ради забавы, шутки.

[15] «написанно облыжно...» — То есть лживо, ложно, с умыслом придумано и заведомо солганно (Словарь Даля).

[16] Фанаберия — спесь, гордость, надменность.

[17] Рыдван — колымага, большая карета.

[18] «Была без радости любовь, Разлука будет без печали!» — Заключительные строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Договор» (1841).

[19] «Мы не любим мирлифлерничать...» — Здесь: миндальничать, заниматься пустячками.

[20] «...статья Жерара о львах...» — Имеется в виду очерк Ж. Жерара «Рассказы о львиной охоте» // «Современник», 1852, № 2. С. 251—265).

«ПОЕЗДКА НА КУМЫС»

Впервые опубликовано: Отечественные записки, 1852, № 10. С. 107—115; № 11. С. 1—20; № 12. С. 129—141. При жизни не переиздавалось. Печатается по указ. изд.: Ч. 3. С. 192—212.

[1] Великий пост — период времени, равный 7 неделям до Пасхи: в течение которого православная церковь предписывает воздерживаться от некоторых видов пищи.

[2] Северная Пальмира — Петербург.

[3] «Наконец паспорт его прописан...» — Прописать паспорт — сделать отметку в паспорте о месте, куда выезжают.

[4] «Поручить какую-нибудь комиссию». — То есть просить похлопотать о чем-то; комиссия — хлопоты, порученное дело.

[5] Дебаркадер — платформа железнодорожной станции.

[6] Куверт — прибор за обеденным столом в ресторане, на банкете и т. д.

[7] «Что сталось теперь с пожарскими котлетами... с яжельбицкими форелями ...с поцелуями продавиц... Все это теперь сделалось воспоминанием...» — Этот отрывок представляет скрытую реминисценцию из пушкинского стихотворного произведения «Из письма к Соболевскому» (1826).

[8] «...настал Духов день». — Церковный праздник Сошествия Св. Духа: воскресный день называется Троицею (в честь бога-отца, бога-сына и святого духа), а понедельник Духовным днем, празднуется на 50-й день после Пасхи.

[9] «...увидите четверню в ряд...». — То есть четверка лошадей, запряженных в один ряд, что было признаком особого щегольства.

[10] «...пролетки, заложенные тройкой...» — Пролетка — легкий открытый экипаж, в котором обычно запрягали одну или пару лошадей; пролетка, запряженная тройкой, необычна.

[11] «Мы ехали ...с тяжелой почтой». — То есть в почтовой карете, нагруженной посылками.

[12] Бельведер — башенка на здании, имеющая декоративное значение.

[13] «Прошли десятки лет с тех пор, как Пушкин описал уездные гостиницы и станции...» — Имеются в виду произведения «Станционный смотритель», «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» (Гл. 1).

[14] «...сбылись отчасти его мечты, и шоссе пересекли много земли в подмосковных губерниях...» — Мысли и пожелания о благоустройстве проезжих дорог в России были высказаны Пушкиным в 7 главе «Евгения Онегина» (33 строфа), а также в «Путешествии из Москвы в Петербург» (Гл. «Шоссе»).

[15] «...а трактиры для приезжающих все те же...» — Описание русского трактира дано Пушкиным в 7 главе «Евгения Онегина» (34 строфа).

[16] Подорожники — пирожки, лепешки, взятые в дорогу.

[17] «...в гостинице, известной оригинальностью своей карты, замеченной графом Соллогубом в его «Тарантасе»...» — Описание комически несуразного меню владимирской гостиницы имеется в 5 главе повести В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845).

[18] «Да и каррикатурен очень. Вот в «Северной Пчелке» справедливо о нем говорят» — Имеется в виду предвзятая характеристика творчества Н. В. Гоголя, содержащаяся в двух статьях Ф. В. Булгарина («Северная пчела», 1851, №№ 277 и 283).

[19] «...одна из стен украшена картою полушария, начертанного по системе Меркатора...» — Имеется в виду карта полушария мира, построенная по принципу равноугольной цилиндрической проекции, предложенной фламандским картографом Г. Меркатором (1512—1594). Меридианы на такой карте прямые, отсутствует искажение углов.

[20] «...как Тритон, по пояс в воду погружен!» — Усеченная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

[21] «...находите себя в какой-то мифической Аркадии...» — Аркадия — родина древнейших греческих культов (гористая местность в центре Пелопоннесса). В античной литературе и в литературе Нового времени (17—18 вв.) картины природы Аркадии нередко являются фоном для идиллических сцен из пастушеской жизни.

[22] «Я провел в Нижнем шесть лет молодости...» — См. примеч. 9 к рассказу «Огненный змей».

[23] «...и некоторые из ее бывших сюжетов...» — Сюжет — подразумевается актер, исполняющий главные, ведущие роли.

[24] Косицкая (Никулина) Л. П. (1829—1868), популярная актриса московского Малого театра. Соколов М. П. — актер Малого театра. Шмитгоф Э. К. (1830—1860), актриса провинциальных театров.

[25] Подчалок — грузовое прицепное судно на Волге.

[26] Досчаник — плоскодонное судно с палубой, плавающее по Волге (Брокгауз и Ефрон).

[27] «... и очень мило написаны г. Живокини, братом известного артиста...» — То есть М. И. Живокини. Его брат — В. И. Живокини (1805—1874) — выдающийся русский комедийный актер.

[28] «...в воскресенье даны будут пьесы: «В людях ангел, не жена, дома с мужем — сатана» и «А и Ф». — «В людях ангел — не жена, дома с мужем — сатана!» — Комедия в 3 действиях Ф. де Курси и Ш.-Д. Дюпети. Была переведена и переработана Д. Т. Ленским, талантливым русским водевилистом. «Аз и Ферт» — шутка-водевиль в одном действии П. С. Федорова; впервые был представлен на сцене петербургского Александринского театра в сезон 1849/1850 годов.

[29] «Поезжайте смотреть Стрелкову и Владимирова». — Стрелкова А. И. (2-я) (?—1912), известная провинциальная актриса, игравшая и в столичных театрах. Владимиров Ю., провинциальный актер.

[30] «В «Материнском благословении» Стрелкова выше Самойловой. А Владимиров... в иных ролях выше Мартынова!». — «Материнское благословение или Бедность и честь» — драма в 5 действиях с куплетами А.-Ф. Деннери и Г. Лемуана, была переведена с французского Н. А. Перепельским (Н. А. Некрасовым). Самойлова В. В. (1824—1880) — известная русская актриса. Мартынов А. Е. (1816—1880) — великий русский актер, один из основоположников русской школы сценического реализма.

[31] «Казанские театралы делятся на Стрелкистов и Прокофьистов». — По этому поводу П. Д. Боборыкин писал в своих мемуарах: «...публика разделялась тогда (во второй половине 1840-х годов — С. А.) на «стрелкистов» и «прокофьистов», особенно студенчество. Эти театральные клички могли служить и оценкой того, что каждый из лагерей представлял собою и в аудиториях, в университетской жизни. Поклонники первой драматической актрисы Стрелковой набирались из более развитых студентов, принадлежали к демократам. Много было в них и казенных. А «прокофьистами» считались франтики, которые и тогда водились; но в ограниченном числе. Тоже в обществе, в зрителях партера и лож». (Боборыкин П. Д. За полвека: Воспоминания в 2-х т. М., 1967, Т. 1. С. 104).

[32] «...когда она играла в «Новичках в любви...» — «Новички в любви» — комедия-водевиль в 1 действии Н. А. Коровкина. Прокофь-

ева — актриса провинциальных театров, впоследствии игравшая в Александринском театре.

[33] «...я говорю о г-же Стрелковой — 1». — Стрелкова (Таланова) Х. П. (1822—1880), актриса Малого театра.

[34] «...я все еще, как Вечный Жид...» — Вечный Жид, или Агасфер— герой евангельской легенды, обреченный быть вечным странником за обиду, нанесенную им Иисусу Христу, который нес огромный крест к месту своей казни.

[35] Марлинский-Бестужев А. А. (1797—1837) — русский писатель-романтик, декабрист. «Латник» (1832) — одна из его исторических повестей.

[36] «...в праздники Байрама они разъезжают друг к другу в гости...» — Байрам — так называются два главнейших мусульманских праздника, один из которых — Большой Байрам празднуется по окончании Рамазана (месяца поста) в начале октября, другой — Малый, или Курбан (жертва) Байрам 60 дней спустя, с 10 декабря.

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Васильевич Авдеев

ПОЕЗДКА НА КУМЫС

Роман, рассказы, очерк

Редактор *Н. Грахов*
Младший редактор *О. Гилязетдинова*
Художник *С. Астраханцев*
Художественный редактор *В. Ковалев*
Технический редактор *Н. Зарипова*
Корректоры *Н. Пастушкова, Л. Семенова*

ИБ № 3339

Сдано в набор 11.11.86. Подписано к печати 30.03.87. П00004. Формат бумаги 84×108[1]/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 20,16. Условн. кр. отт. 20,52. Учетн.-издат. л. 22,79. Тираж 110 000 экз. Заказ № 822. Цена 1 руб. 70 коп.

Башкирское книжное издательство. 450000, Уфа-центр, ул. Советская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата Башкирской АССР. 450001, Уфа-1, проспект Октября, 2.

1 р. 70 к.